



ВОСПОМИНАНИЯ
СОВРЕМЕННИКОВ
ЭПОХИ 1812 ГОДА



В. В. Верещагин. - Наполеон на Бородинских высотах.

Государственная публичная историческая
библиотека России

*К 200-летию
Отечественной войны 1812 года*

**ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ
ЭПОХИ 1812 ГОДА**

**НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
«РУССКАЯ СТАРИНА»**

Москва
2011

УДК 94(47)“1812”
ББК 63.3(2)47
В77

scan waleriy

Печатается по изданию: Русская старина: 1870. №1. С. 137—144; 1871. №10. С. 305—378; 1873. №8. С. 125—167; №9. С. 253—305; №10. С. 754—781; 1883. №1. С. 1—46; №2. С. 375—394; №3. С. 539—578; 1883. №2. С. 305—322; 1883. №6. С. 507—524; 1889. №11. С. 257—288; 1890. №1. С. 1—20; 1890. №1. С. 105—114; 1896. №3. С. 471—505; №4. С. 3—20; №5. С. 291—317; 1901. №3. С. 597—633; №4. С. 153—168; №5. С. 373—394; 1908. №3. С. 522—541; №5. С. 351—368; 1912. №2. С. 271—283; №3. С. 481—490; 1913. №10. С. 20—24.

Воспоминания современников эпохи 1812 года на страницах журнала «Русская старина» / сост., ред., предисл., имен. указ. В. М. Безотосный; Гос. публ. ист. б-ка России. — М., 2011. — 464 с. — (К 200-летию Отечественной войны 1812 года).
ISBN 978-5-85209-268-7

Сборник знакомит читателей с лучшей мемуарной литературой эпохи 1812 г., опубликованной в виде записок на страницах журнала «Русская старина» с 1879 г. по 1913 г.

Выбранные воспоминания современников событий 1812 г. были созданы людьми разного возраста, социального и служебного положения, связаны со многими событиями — от начала военных действий до взятия Парижа в 1814 г. и пребывания там русских войск.

Все тексты даны по правилам современной орфографии с сохранением особенностей языка той эпохи. Издание дополнено современными примечаниями, помещенными в конце публикации каждого воспоминания, и именным указателем.

УДК 94(47)“1812”
ББК 63.3(2)47

ISBN 978-5-85209-268-7

© Государственная публичная историческая библиотека России, 2011
© Безотосный В. М., составление, предисловие, редакция, именной указатель, 2011
© Оформление ЗАО «Репроникс», 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мемуары эпохи 1812 г. — это бесспорный факт духовного развития русского общества XIX столетия и отражения подъема национального самосознания в тот период отечественной истории. Они насчитывают более 700 единиц публикаций, от кратких и обрывочных отрывков до подробных жизнеописаний, охватывающих несколько десятилетий. «Великими воспоминаниями 1812 года» назвал их знаменитый партизан Д. В. Давыдов¹.

Но не все даже опубликованные воспоминания очевидцев событий в равной степени сегодня доступны читателям. В настоящий момент сложился определенный комплекс мемуаров 1812 г. (из известных и громких имен и обладающий в первую очередь литературно-повествовательными достоинствами), которые по коммерческим причинам постоянно перепечатываются крупными издательствами. Значительное же количество очень интересных мемуарных памятников печатались до 1917 г. даже не отдельными книгами, а выходили в исторических журналах: «Русская старина», «Русский архив», «Военный журнал», «Исторический вестник» и др. Полные комплекты этих журналов хранятся лишь в специализированных или центральных библиотеках страны, да и современный читатель в силу незнания или по техническим причинам не имеет возможности познакомиться с публикациями этих почти забытых периодических изданий. Собственно, так и родился замысел этой книги — познакомить наших современников с лучшей мемуарной литературой эпохи 1812 г., когда-то волновавшей читающую

публику и вызывавшей огромный интерес. И было решено начать с главного исторического дореволюционного журнала Российской империи — «Русской старины», а для этой цели отобрали лишь некоторую часть записок, появившихся в разное время на страницах данного издания.

Выбранные нами воспоминания современников событий были созданы людьми самого разного возраста (от 8-летнего мальчика на момент описываемых событий в 1812 г., до убеленного сединами пожилого человека, застигнутого войной), социального и служебного положения (офицерами, видными и провинциальными чиновниками, гражданскими лицами) и даже пола (жены помещика, офицера ополчения). Да и сами записки очевидцев, разнообразные по манере повествования и идейной направленности, связаны с многими событиями — от начала военных действий до взятия Парижа в 1814 г. и пребывания там русских войск. Некоторые авторы дают фактически свое жизнеописание, другие вспоминают лишь яркие исторические эпизоды, важные для них и для страны в целом. Многие брались за перо уже в преклонном возрасте и писали не только с учетом житейского опыта (а их жизнь была далеко неординарна и насыщена событиями яркой драматической окраски), но и с учетом времени, которое спорные вопросы ставит на свое законное место в истинном виде. Эта «ретроспективность» воспоминаний придает им характер аналитического произведения, где каждое событие, лицо или эпизод рассматриваются автором с разных сторон и снабжены основательными выводами. Есть и записки, составленные по горячим следам событий, когда память о войне была свежа и злободневна, есть и так называемые мемуарные записи, то есть когда писал не сам очевидец, а с его слов другой человек, понимавший важность этих исторических свидетельств для потомков. Но всегда рассказ о произошедшем строился и проходил через призму личностного восприятия авторов, да и сам поток жизненных впечатлений людей прошлого всегда обращался к будущим поколениям, можно сказать, к истории.

В центре внимания обоснованно оказались военно-политические события. С этой точки зрения очень важны воспоминания чиновников, игравших важную роль в описываемых событиях (В.Р.Марченко, Я.И.Санглен, Д.П.Рунич, С.И.Маевский), дававших свою

интерпретацию механизма принятия решений и раскрывавших подоплеку закулисных интриг во властных структурах. Достаточно хорошо представлены воспоминания младших офицеров (П.М. Суханин, Ф.Ф. Берг, П.А. Колзаков, Е.М. Коньков, И.М. Казаков), запечатлевших тяготы военных походов, горечь потерь боевых товарищей, горечь отступления, радость побед, а также зафиксировавших подробности армейских будней и незамысловатый военный быт той эпохи. Мемуарный комплекс наглядно создает представление о географии событий: балтийские, польские, русские губернии, Сибирь, Германия, Франция; об основных военных баталиях той эпохи: под Смоленском, Бородино, Тарутино, Малоярославцем, Красном, Кульмом, Лейпцигом, Краоном, Парижем. Значительная часть фамилий офицеров, оставивших после себя публикуемые здесь мемуары, очень хорошо знакома читателям, интересующимся и знающим события эпохи 1812 г. Но есть и такие, сведения о жизни которых были неизвестны даже исследователям. Например, одни из воспоминаний оказались подписанными только фамилией — Суханин. И только архивные разыскания позволили установить его личность — это Петр Максимович Суханин (1-й), подпоручик 1-й артиллерийской бригады — и представить служебные вехи героя прошлого.

Значительное место занимают и воспоминания, вышедшие из-под пера гражданских лиц, — они освещали не военные, а «внутренние» стороны жизни страны. Конечно, в первую очередь речь идет о московских событиях 1812 г. и о том, что происходило в «священной древней столице России» (Ф. Беккер, Г. Я. Козловский). Это был центральный нерв жизни страны того времени (сентябрь — октябрь 1812 г.): исход населения из «белокаменной» столицы, знаменитый пожар, особенно бедствия оставшихся в городе москвичей. О странствованиях и о преодолении невзгод провинциального чиновника в Витебске, оказавшегося на территории, оккупированной неприятелем, с живым юмором рассказывает в своем жизнеописании Г. И. Добрынин, но особо ценны воспоминания помещицы А. И. Золотухиной, проводившей мужа в ополчение, ее кричащие душевные переживания и горести, ее миропонимание в тот критический момент русской истории.

Все тексты даны по правилам современной орфографии с сохранением особенностей языка той эпохи, важных в историко-лингвистическом отношении. По возможности сохранены вступительные статьи редакции журнала «Русская старина», а авторские и редакционные подстрочные примечания приведены в конце страницы. Все современные примечания помещены в конец публикации каждого воспоминания.

В. М. Безотосный

Примечания

¹ Давыдов Д. В. Сочинения. Т. 1. СПб., 1893. С. 148.

² Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого изучения. М., 1980. С. 263.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ВАСИЛИЯ РОМАНОВИЧА МАРЧЕНКО*

1782 — 1838

Воспоминания одного из видных российских чиновников первой половины XIX столетия Василия Романовича Марченко занимают особое место в русской мемуаристике как ценный вклад в историю эпохи. В первую очередь, безусловно, вызывает интерес сама фигура автора автобиографической записки, выходца из малороссийской шляхты, прошедшего, начиная с 14 лет, все иерархические ступени гражданской службы и дошедшего до должности государ-

* Малороссия дала Петербургу в прошлом веке нескольких заметных деятелей, последним из которых был автор предлагаемой «Записки». Марченко ничем не выделялись в Малороссии, и лишь один из родственников В. Р. Марченко подписался в 1767 г. под депутатским наказом Днепровского пикинерного полка: «старший канцелярист Василь Марченко» (Сборник Имп. Рус. ист. о-ва. XCIII. С. 50). В России, кроме статс-секретаря императора Александра I, уже в наши дни, в литературе стало известным имя А. Я. Марченко (Киев. старина. XXVII. С. 392). О печатаемой нами «Записке» давно уже упоминалось в печати (Сборник. LXII. С. 15); некоторые из трудов В. Р. Марченко, как государственного секретаря, изданы в последнее время А. А. Половцовым (Сборник. XC. С. 569); но автобиографическая записка его впервые появляется в свет. Кроме записки, автор оставил еще два приложения к ней: «События, в глазах моих совершившиеся при вступлении на престол императора Николая I» и «О молоканах и духоборцах». Мы печатаем «Записку» и оба приложения по копии, сделанной вслед за кончиною автора, лицом ему близким, судя по следующей заметке: «Копия эта списана с рукописи, писанной собственною рукою В. Р. Марченко и найденной в кабинете его, после его смерти. Жизнь его описана в этой же записке. Прибавить надобно только, что он в последние дни жизни, уже на смертном одре, пожалован был в действительные тайные советники и умер 6 декабря 1841 г. в 4 часа и 10 минут пополудни». Ред.

ственного секретаря и члена Государственного совета и в конце жизни получившего чин действительного тайного советника. Для сына мелкого провинциального чиновника и потомка полтавского казака Марка Марковича (жившего во второй половине XVII в.) сделать такую яркую карьеру было не просто, тем более, что, рано лишившись отца, он вынужден был начинать с должности повытчика Могилевской уголовной палаты, а затем писца в канцелярии белорусского гражданского губернатора. Следующим жизненным этапом стал переезд его в Петербург и служба с 1799 г. в Военном министерстве, а взлет его карьеры оказался тесно связан с деятельностью такой неоднозначно трактуемой личности, как граф А.А.Аракчеев. Именно этот «временщик», как его называют некоторые историки, сумел признать достоинства своего подчиненного — трудолюбие, исполнительность, добросовестность, умение организовать свою работу. Награды и чины посыпались на молодого чиновника как из рога изобилия именно за эти качества, так высоко чтимые Аракчеевым. В 1810 г. В.Р.Марченко назначили томским гражданским губернатором, но уже в 1812 г. вновь вызвали в столицу в связи с начавшейся войной. А.А.Аракчееву и императору Александру I понадобился ревностный и трудолюбивый исполнитель поручаемых заданий для работы в Собственной Его Императорского Величества канцелярии, органа, через который осуществлялось управление страной и армией в эпоху Наполеоновских войн. С конца 1812 г. молодой чиновник сопровождал российского императора на поля сражений в Европе, а затем в его знаменитых путешествиях: в Лондон, Вену, Париж, по Германии, Польше и России. Близость к императору таила в себе и известную опасность — вызывала ревность со стороны А.А.Аракчеева, чем в немалой степени объяснялись его «торможения» в подъеме по служебной лестнице. Находясь в эпицентре важнейших событий, В.Р.Марченко не раз становился свидетелем многих придворных интриг, которые не всегда хорошо отражались и на его карьере. Собственно, последний этап его служебных трудов оказался связан с отходом от государственной деятельности А.А.Аракчеева после событий 1825 г. и вниманием нового императора Николая I к личности такого опытного и образцового чиновника, как В.Р.Марченко. С 1830 по

1834 г. он занимал очень важную должность государственного секретаря, а затем до своей смерти оставался членом Государственного совета. Он пользовался доверием и расположением императоров Александра I и Николая I, его рукой были написаны тысячи манифестов и документов. Поэтому особенно ценны сведения и факты, сообщаемые мемуаристом, его личные переживания, характеристика государственных лиц, оценки возникавших ситуаций и рассказы об увиденном и пережитом. Безусловно, интересен сам взгляд мемуариста с высоты прожитых лет на свою собственную карьеру, мировоззрение самого чиновника в конце жизненного пути и критическое осмысление своего прошлого.

Автобиографическая записка Марченко целиком была впервые напечатана в журнале «Русская старина» (1896. № 3, 4 и 5), из них в настоящий момент публикуются только материалы, имеющие отношение к эпохе 1812 г. (1896. № 3 и 4). Первая публикация была осуществлена известным историком Василием Алексеевичем Бильбасовым (1838—1904), оставившим свой след в историографии монографией, посвященной жизни и деятельности императрицы Екатерины II, а также статьями в различных исторических журналах.

Часть I

Рождение и воспитание. — Кончина отца. — Служба в Могилевской губернии и у белорусского генерал-губернатора. — Приезд в Петербург. — Служба в комиссариатской экспедиции и в канцелярии Военного министерства. — Женитьба. — Граф Аракчеев, военный министр. — Эпизоды из шведской войны 1809 г. — Служба В. Р. Марченко в Сибири. — Характеристика графа Аракчеева и служба в его канцелярии. — Отечественная война

В непреложном уповании на милосердие Божие, никогда не роптал я на службу, и в стесненных обстоятельствах, когда самое существование казалось излишним, я поверял только деяния свои, но, с совестью спокойною, оставался уверенным, что дни скорби пройдут и наступит лучшее время: ибо таков закон Превечного, испытующего сердца наши, к несчастью, на все готовые при благополучии непрерывном. Да будет правило сие и

вашим, любезные дети. Для вас, собственно, давно желал я оставить описание жизни своей, но деятельная служба не позволяла заняться до 1822 г. Теперь судьба доставила мне должность легкую, и потому досужное время употребляю на предмет, мною желанный, и буду дополнять записку сию тем, что случится со мною с 1823 г., доколе не откажут, говоря словами закона, здравый ум и твердая память.

Я родился в белорусском Могилеве 28 декабря 1782 г. Отец мой, избранный генерал-губернатором* из малороссийских гражданских чиновников на службу в открывшееся, по приобретении от Польши Белорусского края, Могилевское наместничество, был уважаем начальством, как делец и честный человек и обожаем, могу сказать, местным дворянством, которое, даже по смерти его, вспомоществовало семейству нашему, после несчастья, описанного ниже. В начале 1795 г. был он губернским казенных дел стряпчим, в чине коллежского асессора; был произведен и в надворные советники, но указ о том Сената получен по смерти уже его. Он был напоследок представлен от генерал-губернатора Пассека в губернские прокуроры, дабы удержать его от перехода в Волынскую или Уфимскую губернию, куда приглашали его с лестными обещаниями генерал-губернаторы Тутолмин** и Вязмитинов***, знавшие его лично. Неожиданная кончина отца положила всему конец. Он занемог в 1795 г., на первой неделе Великого поста, простудною горячкою****, и дней через десять доктора объявили болезнь опасною. Еще несколько дней, и печальное семейство облеклось, на рассвете 21 февраля, в траур.

С сей минуты познало оно все несчастья. Дом наш, по пословице, был полная чаша: мы ни в чем не знали нужды и, видя ежедневно почти гостей, кроме годовых семейных праздников, весе-

* Генерал-губернатором Могилевского наместничества был с 1782 г. Петр Богданович Пассек, 1736—1804.

** Тимофей Иванович, 1740—1809, генерал-губернатор волынский и подольский.

*** Сергей Кузьмич, 1748—1819, генерал-губернатор симбирский и уфимский; с 1802 по 1808 гг. военный министр; 19 августа 1818 г. возведен в графское достоинство «за отличную отечеству службу». Автор комедии «Новое семейство», представленной в 1781 г. О нем см. «Русскую старину». Т. XXXII. С. 661.

**** Странный случай: директор таможни Пестов, приятель отца, привез из Толочи-на больную жену и остановился в беспокойном трактире, у жида. Отец мой, сострадая больной, предложил Пестову переехать к нему в дом, хотя другие не советовали ему, по предубеждению: не принимать в дом приезжего больного. С водворением Пестовых проявилась у нас горячка, наделавшая столько бед.

лились в младенчестве нашем. Несколько уже лет отец приискивал устроенную деревню, душ 400, не больше, говорил, чтобы не войти в долг, и остановился на том, что, может быть, перейдет служить в Волынскую губернию, то там уже и оседлость сделать. Письма Сесемана и Петра Савича Марченко* доказывали, что у них были на примете такие имения, из числа пожалованных, ценою от 27 до 32 тыс. руб. Намерение его было гласное; все приятели знали о том и что капитал его, в неизвестном только количестве, сохраняется в расходном сундуке губернского правления, где генерал-губернатор Пассек не доверял никому пересылочных сумм и, несмотря на стороннюю должность отца, поручил ему хранение сих сумм, простиравшихся иногда за 200 тыс. руб. в год, контролируя, так сказать, сим образом получение и выдачу денег, через губернское правление переходящих. По этому-то случаю и имел он свою шкатулку за его печатью, сохранявшуюся в большем расходном сундуке, при котором стоял всегда часовой. Надежда семейства на капитал, в шкатулке сей бывший, была несомненна: многие брали у отца деньги взаймы, под росписи, и знали, что в особом ящике его собственность, а прочее пространство шкатулки для казенных денег служит.

Смерть отца такую причинила горесть в доме, что один только я мог быть при погребении. Матушка, сестры, брат и большая часть людей находились в горячке; трое служителей вскоре умерли. Приятели отца, входя в положение наше, настаивали, и в ночь кончины его и после в течение девяти дней, чтобы освидетельствовать шкатулку и пересчитать деньги. Они вносили ее на руках в присутствие правления, и все слышали шарканье в ней бумаг и звон монеты. Но освидетельствование отлагаемо было до выздоровления матери моей. Наконец, через 10 дней (3 марта 1795 г.) прислан из правления чиновник, чтобы скорее привезти ключик от шкатулки. Собраны приятели отца. Я привожу ключ, и нам объявляется, что печать с шкатулки, вероятно, по неосторожности расходчика, оторвалась; отпираем шкатулку и находим в ней пустоту. Начался процесс, продолжался 12 лет, и мы не получили ни копейки. Вот урок вам, дети! не полагаться на наследство после родителей.

Обо мне, при жизни отца, различные были предположения. Еще когда обучался я в теперешней гимназии, а по-тогдашнему в

* Родной дядя автора записок.

Главном народном училище, то записан был в какой-то гренадерский полк (помню сие по амуниции и высокой гренадерской шапке, хранившимся в кладовой), потом записан был в гражданскую службу, но, для большего усовершенствования в науках, положено было отдать года на три в Шкловский дворянский корпус. Только внезапная болезнь отца остановила поездку в Шклов, а смерть его и похищение нашего капитала заставили меня вступить на действительную службу.

Итак, в марте 1795 г. явился я Могилевского верхнего земского суда в 1-й департамент. Прокурор потребовал, чтобы я занимался и по его части. Хотя сие трудно было 14-летнему мальчику, но впоследствии я был благодарен ему, ибо собственно по департаменту сему я узнавал уголовное только производство; занимаясь же у прокурора, по журналам и протоколам 2-го департамента верхнего земского суда, видел и утверждал в памяти своей ход дел тяжёлых. Кстати сказать здесь, что в тогдашнем возрасте и сиротстве моем судьба, на первом шагу службы, дала мне учителей. Председателем департамента был некто Мурашевич, а секретарем Хамкин, занятые тем, что могли писать стихи. Можно судить по сему, что слог их не был подъяческий, и, сверх того, председатель был большой педант по службе. Случалось иногда, что все дела кончены, или какое-нибудь дело, по обширности, не готово к докладу: ему все равно — он все же в присутствии и заставлял меня читать законы. Журнал того заседания составлялся таким образом: «№, число, дела докладованы не были (по такой-то причине), а члены занимались чтением узаконений». Занятия сии были для меня учебными лекциями; я радовался, когда председатель, как русский, объяснял членам-полякам смысл закона и позволял мне делать вопросы, когда чего я не понимал. Жалованья получал я 60 руб. в год.

В начале 1796 г. уголовная палата указом вытребовала меня из верхнего земского суда. Я, в чине коллежского регистратора, определен был повытчиком в палате (теперешние столоначальники). Удивляюсь, как можно было верить мальчику по 15-му году уголовные дела, для поверки, выписки из законов и для составления определения! Но мне почти оба повытца поручены были, ибо другой, товарищ мой, был пьяница, и сверх того я же заведовал расходом. Здесь давали мне жалованья 120 руб.

В 1797 г. из двух губерний, Могилевской и Полоцкой, составила одна, Белорусская, а губернским городом назначен

Витебск. На меня обрушилась и сдача решенных дел в архив, и доставление неоконченных дел в Витебск. Бог помог исполнить то и другое; но я, сдав нерешенные дела в Витебск, остался без жалованья и не знал, где служить. Мазурин, бывший протоколист губернского правления, с которым я жил в клашторе, советовал уже вступить в правление, как приезжает переведенный из Крыма в Белоруссию губернатор, тайный советник Жегулин*, и, отбирая в губернском правлении писцов для своей канцелярии, назначил, после нескольких вопросов, и меня в канцелярию, с прежним жалованьем.

Служба по канцелярии сей тем только лестна была для меня, что в губернаторе имел я человека умного, честного и правдивого. Он полюбил меня и всегда брал с собою, когда отправлялся по губернии; в 1799 г. он вышел в отставку. Пользуясь отъездом его в Петербург, решил и я искать службы в столице. Здесь очевидна милость Божия ко мне. Без денег, без покровительства, можно ли думать о Петербурге? Но мне проезд ничего не стоил, и, по прибытии на место, четыре года имел я приют у него же, Жегулина; следовательно, на квартиру и на стол ничего не издерживал.

В начале апреля 1799 г. прибыл я в Петербург на 17-м году возраста и имея не более 200 руб. денег. Мать снабжала меня пятьюстами рублей, но я не принял их, ибо у нее оставалось на руках четверо детей**. Предположение мое было определиться в канцелярию генерал-прокурора, но судьба поступила иначе. Осматривая город, пришел я в крепость, где комендантом был Сергей Козьмич Вязмитинов, прежний губернатор могилевский, знавший и отца моего, и меня. Захожу к нему без всякой цели. Старик вежливо принимает меня, расспрашивает о семействе и зачем я приехал. Узнав же причину, сказал: «Не хочешь ли у меня служить?» Я отвечал поклоном и с тем вышел, быв приглашен от него приходить обедать. Скоро после того переход через Неву сделался опасен, и я, дождавшись Святой недели, переезжаю реку, чтоб поздравить Сергея Козьмича с праздником. Но в какое пришел удивление, когда он сказал мне, что определил

* Семен Семенович, с 1789 по 1796 г., был правителем Таврической области в чине генерал-майора; при назначении губернатором белорусским получил чин генерал-лейтенанта; в тайные советники переименован при Александре I.

** Сестра Анна выдана была уже замуж в 1798 г. Оставались сестры: Александра, Катерина, Ольга и брат Петр, все моложе меня.

меня в комиссариат, о котором понятия я не имел. Жегулин еще более опечалил меня, не хваля сей службы и подозревая, что я искал ее, не сказав ему. Но делать было нечего; на Фоминой неделе явился я на службу в комиссариатскую Военной коллегии экспедицию, издержав на обмундировку последние деньги, и остался без гроша.

Умный и знающий дело секретарь Михайло Тихонович Тарасов скоро познакомил меня с делами комиссариата и полюбил меня отменно, ибо я работал усердно и заменял ему людей глупых, каковых достаточно было в экспедиции старого завода, из солдат, дослужившихся до офицерства. Жалованья получал я 250 руб., а после, по званию протоколиста, 450 руб., имея при том в виду казенную квартиру, если бы вздумал переехать в комиссариат. Сверх жалованья, давалась еще каждый год, к Святой неделе, казенная обмундировка тонкого сукна.

Отсель начинаю ощущать некое предопределение свыше, что-бы таскаться по свету 20 лет и увидеть его от Аландских островов до Томска, от Астрахани до Лондона, от Риги до Парижа и Вены, чего и во сне не представлялось прежде.

Не прошло двух месяцев службы моей в комиссариате, как Сергей Козьмич предлагает мне отправиться в армию Суворова, в Италию, говоря, что молодому человеку полезно увидеть чужие края и что другие издерживаются даже на то. Бесспорно, что это так, но я, не знающий языков, без денег, какой вояжир? При том же, не путешествовать мне предлагают, но быть при армии, следовательно, подвергать себя всем невзгодам и опасностям, не быв в военной службе. Соображения сии и мысль, что в случае, если я пропаду за границу, матушка не перенесет этого горя, заставили меня отказаться.

Судьба, однако, иначе располагала: я отказался в июле, в сентябре Сергей Козьмич вышел в отставку, в декабре собирались уже тучи на горизонте комиссариатском, а в январе 1800 г. разверзлись. Генерал-кригс-комиссар князь Сибирский и первый член экспедиции генерал-лейтенант Турчанинов посажены в крепость. По всему государству посланы ревизоры, к ним должно было прикомандировать грамотных людей. Нечего делать Тарасову в таком страхе: он расстается со мною, и я, с гвардейским полковником Ляпуновым, осматриваю комиссариатские депо в Кременчуге, Балте, Тирасполе, Береславе, крепости Св. Дмитрия, Екатеринограде и Царицыне. Проехав от Петербурга

через Белоруссию и Черниговскую губернию в Балту, видел я всю прежнюю турецкую границу, едва возникающую Одессу, Таганрог, Черкасск, всю Кавказскую линию до Кизляра, степь от Кизляра до Астрахани, и потом, через Рязань и Москву, возвратился в столицу, в августе 1800 г. Поездка сия послужила мне в пользу. Я был на всем содержании то Ляпунова, то, как проезжий, у местных чиновников в городах; ездил в одной с ним коляске, и оттого остались у меня прогоны на две лошади и жалованья за две трети в экспедиции.

К неописанной радости, нашел старика Жегулина я еще в Петербурге, следовательно, стол и квартира опять мне ничего не стоили. Вскоре определен был над комиссариатом генерал-интендант князь Волконский*, человек добрый, обласкавший меня до того, что я отменил намерение оставить комиссариат, по крайней мере, до некоторого времени.

В 1802 г. учреждены министерства. Здесь жил тогда дядя мой, познакомивший меня с графом Васильевым, который и предложил мне перейти в открывавшийся у него департамент Министерства финансов. Но я командирован был между тем с генерал-майором Ломоносовым** в Воронеж, для исследования, отчего много дурных сукон поставлено, и для изыскания средств к поддержанию суконных фабрик; а по возвращении дан мне чин коллежского асессора, и милость эта крайне затрудняла меня, чтобы не сделаться неблагодарным.

Обдумав, наконец, что комиссариат должно же будет когда-нибудь оставить и что в министерствах другая дорога, решился я просить князя Волконского, как человека доброго, чтобы он же доставил мне место в Министерстве финансов, где, как сказано выше, все уже слажено было, и уверен был, что он это сделает, как в одно утро князь, проходя в присутствие, сказал мне: «За что ж ты, милый, меня оставляешь?» Я изумился, отчего узнал он мою тайну, и полагал уже, что граф Васильев проговорился; но через час выведен был из недоумения. Тарасов, возвратясь из присутствия, сказал, по словам князя, что в Военной коллегии получен указ, дабы обер-секретаря коллегии Бижеича, члена экспедиции полковника Покровского и меня отправить к военному министру Вязмитинову, для составления министерской канцелярии. Я мог только поклясться, что ни сведения, ни видов на сию службу не

* Дмитрий Петрович, генерал-лейтенант, гофмейстер; умер в 1853 г.

** Григорием Андреевичем, 1767—1810.

имел и, покоряясь судьбе, пошел к министру. Не скрою, однако, что рад был расстаться с комиссариатом.

На первый раз определено мне было жалованья 750 руб., но в течение года я дошел уже до 1500 руб. Сумма весьма достаточная по тогдашнему времени, особенно же потому, что я имел еще квартиру и стол у Жегулина. Содержание таковое доставило мне способ всем обзавестись, помогать матушке и выписать брата к себе из Могилева. Первые три года служба моя была сущая каторга. Сергей Козьмич имел меня у себя при кабинете. С шести часов утра до двух я не вставал со стула; обедать должен был всегда у него, и с шести часов до 12 ночи опять оставаться приросшим к стулу. Я не мог даже пользоваться и тем временем, когда старик уезжал в театр — так много всегда было дела и собственного усердия. Многие предсказывали мне смерть, и я до того отвык от воздуха, что редкую зиму не было у меня двух горячек, а простуда непрерывная. Довольно также несносно было, что, при множестве наград в других министерствах и даже по комиссариатской и провиантской части, полтора года ничего я не получал. Наконец, в половине 1804 г. награжден чином надворного советника, за отличие.

Начинаются приготовления к войне, учреждается секретная часть и поручается мне. Трудов было множество и работать лестно. В 1805 г. произведен я в коллежские советники и после сделан экспедитором — награда тем приятнейшая, что и жалованье мое увеличилось до 2500 руб. в год.

С окончанием Аустерлицкой битвы, новые начали делаться приготовления к войне, как я называю Беннигсеновой*, и новые представились мне труды. Но я занимался в департаменте и, живя в доме Сергея Козьмича, имел уже, так сказать, отдельную часть: я не сидел в кабинете, меня не развлекали приезжающие к министру, и работа казалась не столь тягостною, ибо я сам располагал временем.

Служба в Военном министерстве составляет новую в жизни моей эпоху. Будучи у другого министра, может статься, я не так бы скоро женился. В 1804 г. нанята была квартира в доме надворного советника Шмита (в Почтамтской улице, напротив дома Безбородко). Меня особенно ласкала хозяйка, молодая, умная, веселая и прекрасная собою женщина. Они люди были богатые,

* Граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен, 1745—1826. Историю приобретения его записок см.: Рус. старина. Т. XVI. С. 387.

и мне отменно нравилось видеть хозяйку, вечером, в брильянтах, разряженную для Благородного собрания, а поутру идущую в погреб или приезжающую в карете с рынка. Русские барыни не знают сего: им надобно или не заниматься вовсе хозяйством, или, отказавшись, как они называют, от света, ходить ежеминутно с ключами, браниться и кричать. У Шмитовых, напротив, чистота в доме и порядок были удивительные. Один человек прислуживал 20 гостям, одевал хозяина и ездил за каретою. Прельщаясь такою жизнью, я говаривал товарищам моим, что или я буду иметь такую жену, как Марья Осиповна Шмит, или останусь холостым. Судьба подслушала, видно, меня и подшутила.

Марья Осиповна начала находить во мне добрые качества; самая застенчивость моя ей нравилась. Я влюбился, она также, и потребовала развода. Право ее состояло в том, что Шмит в малолетстве принудил ее за себя выйти, что она ему падчерица и что в день свадьбы торжественно объявила ему, что будет жить с ним дотол, пока не влюбится в другого. Шмит, опасаясь, чтобы насилие его не было открыто, согласился на развод, в 1805 г., зимою, и через три месяца женился на ключнице, жившей у него же в доме. Но мое положение было ужасное. Мысль, что я причиною расстройства семейного, убивала меня, невзирая на то, что сам Шмит желал нашей свадьбы и что Марья Осиповна решительно говорила, дабы я не брал сего происшествия на свой счет, так как уговора у нас никакого не было и она не нарушила супружеской верности. В довод того, узнав, что в доме Вязмитинова предлагают мне жениться на дочери Малышева, только что взятой из Смольного монастыря, Марья Осиповна предложила мне в подарок 20 тыс. руб., следующие ей по разводной записи; а сама, с остальным капиталом, намерена была уехать за границу.

Яоткрылся во всем Сергею Козьмичу, испросил благословение матушки, предложил Марье Осиповне руку и сердце, и 8 июля 1806 г., в Вознесенской церкви, поклялись мы перед алтарем в вечной друг к другу любви.

С сего дня зажил я своим хозяйством. Ломоносов подарил мне четверку лошадей, а квартира моя была на бульваре, в доме Кутайсова. Труды и с переменою жизни были те же, даже с опасностью, после истории Степанова [в канцелярии графа Ливена*]¹; но в марте 1807 г. отличен я был Анненским орденом, совсем не-

*Карл Андреевич, с 1826 г. князь, 1767—1845, начальник Военно-походной Е. И. В. канцелярии.

ожиданно, потому-то и рескрипт написан рукою Сергея Козьмича. Полтора года не увидели, как прошли. Но с наступлением 1808 г. лишился я почтенного начальника и благодетеля — Сергей Козьмич вышел в отставку. В пятилетнюю при нем службу получил я два чина и орден 2-й Анны. Сверх того, по представлению его, назначены были мне и Бижеичу кресты 4-го Владимира, но когда от Комитета министров объявлена высочайшая о том воля графу Аракчееву, то он не поднес указа к подписанию. Каково?

Отставка Сергея Козьмича погрузила весь департамент в крайнее уныние, ибо на его место определен граф Аракчеев, человек, не имевший в публике названия доброго. Мы, то есть экспедиторы, согласились посмотреть на прием его и, ежели он обойдется по обыкновению своему, оставить службу; на сей конец и просьбы об отставке были за пазухою у директора и трех экспедиторов.

Посылаем узнать эзекутора, когда примет новый министр департамент? «В 4 часа утра», — ответ был. Итак, в начале января, в жестокий мороз, при свечах, представились мы графу Аракчееву. Он был уже в полном мундире и, к удивлению, начал речь, не ожидаемую нами: «Господа! рекомендую себя; прошу беречь меня, я грамоту мало знаю, за мое воспитание заплатил батюшка 4 rubli медью; я долго не хотел брать этого места, но государю угодно было непременно меня определить. Мне ничего не надобно, а будет у нас дело хорошо идти, вам вся награда». Потом, расспросив каждого, у кого какая часть, приказал всем ехать к должности, а мне остаться.

Будучи взят в кабинет, выслушал я возможные вежливости и отзывы насчет службы при Сергее Козьмиче. Как два месяца, перед отставкою его, все доклады остались неразрешенными, и мы не знали, где они: у государя или Попова*, мешавшегося, со времени Беннигсеновой войны, во все части, то граф и приказал мне остаться, чтоб разобрать сии бумаги, отданные уже ему государем. По докладе некоторых из них, нужнейших в то же утро государю, граф указал мне место в своем доме и приказал делать по резолюциям исполнение. В 5 часов вечера, в другой раз, возвратился он из дворца, с докладами, и отдал опять мне до 50 записок, да столько же разных приказаний, по которым должно

* Василий Степанович, 1743—1822; с 1819 г. председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета, действительный тайный советник.

было заготовить исполнение к утру, и большею частию указы и приказы. Уснув не более трех часов, на другой день увидел я то же, и сотни бумаг, принадлежащих канцелярии графа Ливена, отдельной от министерства, имевшей свой штат и директора Паглиновского*. Думая, что граф незнаком еще с распоряжком, я объявил ему о том; но он мгновенно возразил, что знать ничего не хочет, и чтобы я заготовил указ о причислении графа Ливена к Иностранной коллегии. Проводя такую службу две недели, измучил я себя и чиновников своей экспедиции, готов уже был все бросить, чувствуя, что выбиваюсь из сил, как вдруг получаю два предложения: переехать в дом к графу Аракчееву, на житье, и быть директором Военно-походной канцелярии. Благоразумие воспрещало мне принять и то, и другое: первое потому, что я человек семейный, а второе потому, что канцелярия была в совершенном расстройстве за время императора Павла, и случай какой-нибудь мог помнить только Паглиновский, а поверки словам его делать было не с чем. На отзыв мой, что лучше мне быть хорошим экспедитором, чем дурным директором, граф, к удивлению, предложил мне занимать оба места. Но я и сие отклонил, опасаясь сделать упущение по которой-либо части**. Итак, через три уже недели, решился граф Аракчеев взять к себе Военно-походную канцелярию.

Не более, как через четыре месяца, в мае 1808 г., пожалован мне алмазный крест Анны 2-й степени. Последствие показало, что сим задобриваем я был к сочинению проекта о запасных рекрутских депо. Сперва о сем предмете был простой только разговор; но когда граф Аракчеев заметил, что я одабриваю план его, предложил мне все суждения наши записать и привести в порядок. Из этого составила порядочная книга, испестрившаяся, однако, подробностями и прибавлениями. Жаль, что у нас во всяком, можно сказать, случае нет терпения. Едва успел я положить на бумагу первые мысли, и граф Аракчеев начал поправлять и прибавлять свое, как всякая тетрадка, по мере переписки, летела в Эрфурт, где изволил находиться государь император, и, в то же время, другая отдавалась в печать, так что, с возвращением по-

* Дмитрий Моисеевич, директор Военно-походной канцелярии; издал несколько повестей, переведенных с немецкого.

** К удивлению, узнал я, в 1812 уже году, что указ был обо мне подписан и что граф Аракчеев при смене своей, показав его Паглиновскому, изорвал. Это сказывал мне сам Паглиновский при свидетелях.

следней тетради, книга была уже напечатана и потом немедленно приведена в исполнение. За сочинение сей книги пожаловано мне 1500 руб., а вскоре за тем сделана прибавка к жалованью 2000 руб., что составило большое пособие, ибо в три года семейство мое умножилось, дороговизна во всем сделалась непомерною, и я много прожил денег из приданого Марьи Осиповны.

1809 г. По окончании первой недели Великого поста граф Аракчеев взял меня с собою в новую Финляндию. Причиной поездки его была необходимость удостовериться, точно ли невозможно перейти Ботнический залив по льду, дабы, являсь перед Стокгольмом, заставить шведов склониться к миру. Невозможность сию, вопреки желанию государя, доказывал командовавший тогда армиею генерал Кнорринг^{**}. Осмотрев внимательно Свеаборг, где перед тем был взрыв, граф Аракчеев немедленно отправился в Або и, объяснившись с управлявшим гражданскою частью бар. Спренгпортен^{***} и корпусными командирами генерал-лейтенантами Барклаем^{****} и князем Багратионом^{*****}, положил намерение перейти залив. Как скоро Спренгпортен приготовил подводы, армия двинулась тремя колоннами. Первая, под командою генерал-лейтенанта графа Каменского^{*****} пошла за Торнео; вторая, под командою генерал-лейтенанта Барклая, из Вазы; третья, под командою генерал-лейтенанта князя Багратиона, из Або. При сей колонне был и военный министр граф Аракчеев; через сутки приехал к ней и Кнорринг. Сколь ни затруднителен был переход по льду, но всю опасность увидели мы уже на обратном пути, когда подул с моря ветер и лед получил трещины по сажени. Тут узнали мы, что среди жесточайших морозов, при ветре, исчезает в несколько часов лед на Ботническом заливе, и если бы несчастье это постигло корпус, то ни один человек не спасся бы; но Бог был милостив к нам. В

* Т. е. только что занятую русскими войсками и позже, но в том же 1809 г., присоединенную к России по Фридрихсгамскому мирному договору.

** Богдан Федорович, 1746—1825, генерал от инфантерии, главнокомандующий русской армией в Финляндии, «русский генерал из немцев», по словам Вигеля (III, 50).

*** Георг-Магнус, генерал от инфантерии. См. статью Я. К. Грота в «Журнале Мин. нар. проsv.» 1885 г. и соч. К. Ф. Ордина «Покорение Финляндии».

**** Барклай де Толли, Михаил Богданович, 1761—1818, позже граф и князь.

***** Петр Иванович, 1765—1812.

***** Николай Михайлович, 1776—1811; позже генерал от инфантерии, главнокомандующий русской армией в Турции.

три дня достигли мы главнейшего из островов Аландских; после небольшой сшибки заняты были нашими войсками все острова, и Кульнев* стремительно, с легким отрядом своим, перешел на матерый берег Швеции. Три марша, и корпус Багратиона мог быть у шлагбаума Стокгольмского, ожидая там подкрепления себе от Барклая, но шведы не дождались сего события. В Главную квартиру явилась депутация (с заявлением?), что упорству короля положена преграда. Между депутатами я помню одного генерал-адъютанта**, у которого разрубленная голова связана была обручем, и когда он горячился во время конференции, то обруч сей сдвигал. В чем состояли переговоры (по-французски), мне неизвестно; но, по окончании оных, тотчас отправлен был адъютант Чихачев в Петербург (и получил богатый перстень), а на другой день стали готовиться к обратному походу, и столь поспешно, что дней в пять собрались войска в Або к парадной встрече государя. Приезд Его Величества ознаменован был производством Багратиона и Барклая в полные генералы². Мне при сем случае весьма лестно было слышать от министра, что он свидетельствовал перед государем и о моих трудах, поистине тяжелых, ибо я один, без писаря даже, работал за весь департамент и Военно-походную канцелярию, и что мне предоставляется избрать себе награду. Размыслив, что для чина статского советника я дослуживаю уже срок и что 3-го Владимира не дают коллежскому советнику, я избрал для себя пенсион и считал его верным, потому что никто из нас не помнил, чтобы у графа Аракчеева какой-либо указ вынесен был неподписанным или чтобы не было то сделано, что он кому обещает. Но в сем случае еще более я удостоверился, что в свете нет ничего верного. Граф Аракчеев, возвратясь от государя, сказал мне, чтобы «я избрал другую награду, а пенсiona не дает государь для того, что ты оставишь после службу, чему многие примеры знает государь». — «Итак, нет для меня награды, ваше сиятельство! — отвечал я. — Две тысячи руб. не сделает мне состояния, а прочия, также и перстень, я уже имею».

Из Або поехали в Борго: там был сейм. Оттуда в Свеаборг, Тавасгуст и, через Выборг, приехали в Петербург 1809 г., в пятницу на Страстной неделе. Я и не думал уже о награде, как граф Аракчеев приказывает мне в Страстную субботу заготовить, у него в кабинете, по секрету, разные рескрипты, изъявляющие

* Яков Петрович, 1763—1812, герой Отечественной войны.

** Левенгельм, раненный в голову в русско-шведскую войну 1789 г.

милость государя, в том числе и мне на орден 3-го Владимира. Поправив черновые, велел он мне тут же их переписать, несмотря на то, что почерк мой никогда не был чист, — и вот причина, отчего рескрипт мой, вопреки всех правил, писан моею рукою. Признаюсь, ни малейшего впечатления не сделала на меня сия награда, по предчувствию ли какому или потому, что мне было уже 27 лет от роду и я, имея двух дочерей, Марью и Екатерину, ожидал третьей. Еще страннее было, когда граф Аракчеев, отдав мне поутру рескрипт, для истребования от Аршеневского орденских знаков, после вечернего доклада сказал, чтобы я крест не надевал, а сделать прежде справку для государя, кому в таких чинах, в его царствование, давались такие кресты (точные слова графа Аракчеева). Мне было больно. Я не остановился тотчас просить его, чтобы он отвез бумагу сию, для истребления; по крайней мере, повеленную справку сделал бы Бижеич.

Справка показала, что ни одному коллежскому советнику не жаловал еще до того времени государь ордена 3-го Владимира. На сей справке отмечено, что государь ее читал 10 апреля 1809 г., и она, вместе с рескриптом, две недели назад подписанным, выслана была от графа Аракчеева в департамент.

В исходе 1809 г. государю угодно было посетить Москву. Граф, отъезжая в Грузино, приказал мне быть туда, с генерал-майором Бухмейером*, к 30 ноября.

Три дня проведены в Твери, у Великой княгини Екатерины Павловны и супруга ее, и 6 декабря прибыли мы в Москву, где прожили неделю. Поездка в Москву осталась в памяти у меня (1835 г.) по двум случаям: частному и государственному.

Случай частный. У графа Аракчеева был адъютант г. А.³ В борьбе с совершенною бедностью пристал он ко мне, чтобы я упросил Аракчеева взять его в Москву. Решено было ехать: мне с генералом Бухмейером в кибитке, а А. с фельдъегерем на перекладной, и прибыть в Грузино утром 30 ноября (храмовой праздник у крестьян). Мы выехали из Петербурга вечером, но лошади пристали у нас на половине дороги, и должно было повернуть в Софию⁴, для перемены лошадей. Здесь, поправляя под собою сено в кибитке, заметил я, что пьяный камердинер Аракчеева забыл в кабинете трубку с картами, необходимыми по случаю бывшей тогда Турецкой войны. Хотели послать за нею фельдъегеря с камердинером, но А. умолил дать ему эту комиссию, уверяя, что

* Федор Евстафиевич.

ему крайне нужно поговорить с отцом и что он догонит нас ночью. На рассвете приехали мы в Чудово; ждали часа два и решились уже ехать, с повинною, чтобы поспеть в Грузино к обедне, как является сахар наш, в виде мумии, но с трубкою. До обеда прошло время в Грузине неприметно, в разговорах между съехавшимися гостями, которых было человек 20; но за обедом едва проглотил г. А. ложку супу, как упал со стула и одеревенел до такой степени, что ни растирание, ни кувшины с горячею водою, ни зеркало, на лицо положенное, не обнаруживали в нем жизни. Хотя измученный вид его, по приезде в Чудово, и остаток во фляжке сладкой водки доказывали цель поездки его в Петербург, тем не менее, каково было мое положение? Решено после ужина ехать в Москву, и покойника, оставленного в нижнем этаже при одной свечке, отвезти ночью в Петербург.

В тишине, в задумчивости, отпили чай; но часу в 8-м вечера входит в гостиную верхнего этажа кавалергардский офицер, и все удивились, узнав в нем г. А. Он ничего не помнил и уверял, что спал после обеда; когда же советовали ему возвратиться в Петербург, то заплакал, и это убедило графа Аракчеева взять его в Москву, где и положено начало женитьбы его, впоследствии совершившейся⁵.

Теперь о случае, имевшем значение государственное. На время высочайшего пребывания в Москве приказано было отправлять ежедневно из Петербурга бумаги с фельдъегерями, и один день с флигель-адъютантом, другой же с адъютантом графа Аракчеева (для экономии в прогонах). Все привезенные ими депеши разбирал я, и следующие в собственные Его Величества руки отдавал привезшему, а прочие распечатывал граф Аракчеев. В числе первых бывали листовые конверты, без надписи и со странною печатью; об одном из них сказал мне флигель-адъютант Марин, что получил его от камердинера Мельникова и что государь изволит знать от кого. После чего и не обращал уже я внимания на конверты сего рода; только впоследствии сказал об них графу Аракчееву, который, с усмешкою, отвечал: «Мельников важный человек!»

По возвращении в Петербург графа Аракчеева, около 18 декабря 1809 г., спрашивает он у меня, когда пришел я с бумагами: «Что слышно новенького?» Не привыкши к таким вопросам, я сказал, что ожидают в городе каких-то перемен. «Да и мне граф Румянцев сказывал, что все новости в Москве готовились», — был ответ графа. Тут показал он свое малодушие. При неограниченной власти, какую он имел, ему досадно было, что новости сии

скрыты от него. Он готовился ехать в Грузино; но государь задержал, обещая прочесть с ним наказ Совету (Государственному). Хотя, по словам его, он отзывался, что труд будет напрасен, ибо он гражданской части не знает, но приметно было желание узнать то, что всех занимало. Один вечер государь хотел прислать за ним; он и дожидался. Но докладывают, что Сперанский прислан от государя. Не прошло 10 минут, как граф, отпустив Сперанского, спросил меня с делами. Я и не видывал еще его в подобном бешенстве. Не стал слушать бумаг и приказал прислать их в Грузино, куда сейчас он отъезжает. После рассказывал, что Сперанский привез ему одно оглавление, дабы на словах рассказать существо новой организации; но он не стал ничего слушать и отпустил его с грубостью и послал письмо к государю об отставке. Тут припомнил он мне безыменные конверты, в Москву присланные. Три дня проведено в беспрестанной пересылке фельдъегерей в Грузино, но 30 декабря граф приехал в столицу. Сей и последующие дни прошли в объяснениях, прочитано образование Совета и (по словам графа) на вопрос государя: «Чем хочешь быть, министром или председателем?» граф Аракчеев отвечал, что «лучше сам будет дядькою, нежели над собою иметь дядьку». Вечером после сего, 31 декабря, государь прислал в подарок графу пару лошадей, с санями, что крайне его порадовало, ибо едва ли не первый это случай был в столице.

1810 г. 1 января 1810 г., возвратясь из дворца, он объявил, что сделан председателем Военного департамента Совета и что министр будет другой, почему и отказывается от дел наших. Но как ошибся в перемене места!

Около половины января объявлен военным министром Барклай де Толли⁶. С первой работы удивились мы сему выбору, и по нескольким бумагам, у графа Аракчеева явившимся, по которым не оставил он тотчас призвать нас к себе, заключили, что воистину он дядькою будет Барклая. Однако же, через неделю, все переменялось: докладные записки начали выходить с резолюциями, рукою государя писанными, и граф Аракчеев, увидев ошибку свою, начал ездить чаще в Грузино и проживать там по месяцу.

Хотя Барклай окружился своими людьми и стадом лифляндцев, но в департаменте не было никакой перемены. В один летний вечер получаю я записку от Пестеля*, что нужно ему увидеться со мною. Я не был с ним знаком и, наслышавшись о нем больше

* Ивана Борисовича, 1765—1844, генерал-губернатор Восточной Сибири.

дурного, нежели хорошего, не знал, что делать; однако же решился поехать на другой день. Ласковый прием, лестные отзывы насчет службы моей и поведения были приветствием Пестеля; далее, что он давно хотел познакомиться со мною и предложить службу с ним, но был уверен, что при графе Аракчееве успеть в том нельзя. Теперь же, когда прегражден путь к чину статского советника, он не обинуется предложить место, не хочу ли я служить в Сибири, и предлагает потому только, что ему нужны честные люди. Прием сей подействовал на меня, как удар электрический; в минуту родились новые мысли, и я потребовал времени на размышление, чтоб посоветоваться с семьей. Жена моя решила ехать в Сибирь с первого слова, итак, осталось узнать о кондициях. Пестель предложил мне место губернатора в Тобольске, с чином статского советника, я попросил к тому 5000 на подъем и право взять нескольких чиновников с собою. Получив обещание, поехал посоветоваться со старыми своими командирами Вязмитиновым и графом Аракчеевым и принял их одобрение. Расчет мой состоял в том, что содержание сибирского губернатора достаточно для прожития; пробыв там пять лет, пока дети потребуют воспитания, я сохраню тем приданое Марьи Осиповны, которого, по дороговизне петербургской, уже я коснулся; наконец, что, получа чин, открою себе дорогу, на будущее время, в Петербурге. Вследствие сего я объявил Барклаю о намерении моем. Хладнокровие сего человека показало мне, что он доволен очисткою места; но когда Пестель формально запросил его, могу ли я быть уволен, то, по докладу отношения его государю, увидел, что он не понимал предмета. С тем же хладнокровием спросил он меня, что государь желает знать: от чего переменяю я род службы? «От того», отвечал я, — что здесь не могу получить чина, о котором не радел, хотя выслужил уже и лета». На другой день предложение: переименовать меня в военные советники; «я не могу быть ни провиантским, ни комиссариатским». На третий день переименовать в полковники. «Семейство не позволяет мне учиться военной стойке, и все-таки я не буду статский советник», — был ответ мой. В сих переговорах Пестель нашел случай однажды, за столом у государя, где был и граф Аракчеев, говорить обо мне. Его Величество согласился на определение. Тогда отнесся Пестель к Козодавлеву*, и 26 июля 1810 г. состо-

* Осип Петрович Козодавлев, 1752—1819, товарищ министра внутренних дел, писатель, член Российской академии.

ялся обо мне указ. Только на первом же шаге я и обманут: вместо Тобольска определили меня в Томск; вместо 5000 выдали 3000, и открылось, что нет вакансий для чиновников, которых и было только двое у меня в виду: брат и Случевский. Зять Пестеля, фон Брин*, перешел из Томска в Тобольск и ему 2000 дано на проезд. Между определением сим выдержал я нервическую желчную горячку, от которой едва было не умер. За пособие в сей болезни обязан я всегдашнюю благодарностию доктору Гурбандту**.

Итак, в 1810 г. кончилась служба моя по Военному министерству, столь же неожиданно, как и определение в комиссариат, который соделался после для меня проводником в департамент министерства.

Проведя два года под начальством графа Аракчеева, я получил в сие время через него два ордена: 2-й Анны с брильянтами и 3-го Владимира; но он лишил меня и Бижеича — 4-го Владимира, пожалованного за службу при Вязмитинове, и не дал чина статского советника, зная, что скоро издан будет известный указ 1809 г., вследствие чего и поторопился произвести Персидского*** в коллежские асессоры. Впрочем, я расстался с ним (графом Аракчевым) хорошо и во время службы не только не имел никакой неприятности, но ощущал особенное к себе уважение: раза два назывался он обедать у меня и был доволен приемом; нередко подъезжал к департаменту, брал с собою кататься перед обедом; я у него обедал часто, что в тогдашнее время много значило; в Сибирь прислал он мне гравированный портрет свой и вел со мной переписку приятную. Но что в свете сем постоянно? Впоследствии он сделался врагом моим, и, Бог свидетель, не знаю иной тому причины, кроме замеченного им благоволения ко мне императора Александра I.

В управлении Военным министерством граф Аракчеев держался одного правила с Бонапарте: все гибни, лишь бы мне блеснуть. Самовластием беспредельным и строгостью, конечно, сделал он много хорошего: восстановил дисциплину, сформировал заново, можно сказать, армию, расстроенную неудачами 1805 и 1807 гг. (неисправно и жалованье получавшую); удовлетворил справедливые полковые претензии; учредил запасы и оставил наличных

* Франц Абрамович, позже сенатор.

** Георг, 1764—1832, доктор медицины, статский советник.

*** Алексей Иванович, 1770—1842, позже, с 1818 г., помощник статс-секретаря Собственной Е. И. В. канцелярии.

денег, как помнится, 20 млн руб. Но вместе с тем нанес и вред государству, отказавшись платить долги и опубликовав о том в газетах, с странною отговоркою, что он не может делать из одного рубля двух, подорвал сим более чем на 15 лет кредит казны и разорил многих подрядчиков; неумеренное же требование денег от государственного казначейства заставило Голубцова* столько выпустить ассигнаций, что серебряный рубль из 1 руб. 30 коп. дошел в два года до 4 руб. Унижение Голубцова перед графом Аракчеевым так было велико, что он подписал акт, дабы все начеты и взыскания как с чиновников, так и с подрядчиков, передавать государственному казначейству, а Военному министерству отпускать из оного деньги, тотчас по открытии начета. Со сменою графа Аракчеева бедный Голубцов немедленно отставлен без просьбы, и Аракчеев мог хвастать, что оставляет министерство в блестящем виде! Так и впоследствии затеял он военное поселение и оставил его, через 9 лет, с экономическим капиталом свыше 40 млн руб. Но как составлен капитал сей? Грабежом казны! Министерство финансов удовлетворяло непомерные сметы Военного министерства, заключавшие в себе необъятное число войск, давало особо деньги на поселения и, лишась крестьян, в военных поселан обращенных, лишилось дохода в податях.

Может быть, политика государя, после неудачных битв с французами и при расстройстве армии, заставила избрать министром именно графа Аракчеева, даже смотреть сквозь пальцы на деяния его, чуждые чувствам доброго Александра; и человек сей был ужасен. Г. Фок** справедливо изобразил его, при пожаловании графу Аракчееву фамильного герба, в стихе:

Девиз твой говорит, что предан ты без лести;
Скажи же мне, кому? коварству, злобе, мести!

Вот несколько анекдотов о графе Аракчееве, без систематического порядка:

По вступлении в Военное министерство завел он конвой: карету его, по очереди, окружали кавалергарды, лейб-гусары и проч., с обнаженными саблями. Потом со всех полков отряжаемы были к нему ординарцы, как к государю; наконец, и один флигель-

* Федор Александрович, 1758—1829, государственный казначей, сенатор.

** Михаил Максимович, позже директор канцелярии III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, † в 1831 г. См. «Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая по донесениям М. М. Фока» в «Русской старине». Т. XXXII. С. 163.

адъютант должен был являться на дежурство. Первоначально жребий пал на Ставицкого*, нынешнего сенатора, которому показалось это обидным, тем более что наряд был сделан не по высочайшему повелению. Отдежуривав, он объяснился с государем, поутру; но, по возвращении графа Аракчеева из дворца, Ставицкий тотчас услан в армию князя Голицына.

Никакого равенства с собою терпеть он не мог. Корсаков жаловался государю на дерзкие бумаги Аракчеева и получил такой собственноручный ответ, что с первой почтой прислал просьбу об отставке.

Граф Буксгевден**, главнокомандующий финляндской армией, отставлен за то, что партикулярным письмом*** просил с большею внимательностью к правде делать ему замечания⁷.

Даже Великий князь Константин Павлович имел от него неприятности до мелочей. Так, например, в один праздник граф Аракчеев никого не принимал, и адъютант записывал всех приехавших в книгу, которую на другое утро представлял графу. Увидя в ней, что являлась в 11 часов с поздравлением конная гвардия, с шефом своим, он отметил резолюцию: «Объявить, что военный министр один, так могли бы раньше приехать». Подобных чудес много в адъютантских книгах и на подлинных бумагах.

Один чиновник комиссариатский умер в Финляндии, на гауптвахте, где содержался по личному приказанию графа Аракчеева. На рапорте о том коменданта резолюция: «Вечная память — одним мошенником меньше». На сенатском указе о производстве чиновников за выслугу лет резолюция: «Поздравляю; чинов прибавилось, да прибавится ли ума и способности?»

Власть его была неимоверна: в крепости сажал без доклада государю. При мне призван был егерский шеф, помнится, полковник Жилка, и разруган за то, что при полку нашел граф Аракчеев множество чухонских подвод. Объяснения Жилки, что полк его новый, что он выступил с двумя ротами из Сибири, формировал его, не останавливаясь, на марше до Немана, а оттуда, тотчас по

* Максим Федорович, 1778—1841, генерал-лейтенант, сенатор.

** Федор Федорович, 1750—1811, отличившийся в роченсальмском бою, комендант Варшавы, петербургский военный генерал-губернатор, генерал от инфантерии, возведенный в 1795 г. прусским королем в графское достоинство. См. «Русскую старину». Т. XXXIX. С. 585.

*** Известное письмо от 13 сентября 1809 г., составление которого приписывали Гавердовскому. Богданович. Император Александр II. С. 391, 9.

прибытии, обращен в Финляндию, обоза же не мог он строить на походе, но заказал в Москве, который, вероятно, и готов теперь, в такое привели исступление графа Аракчеева, что он, не помня себя, закричал: «Ты еще разговоришься: нет, брат, не старая пора; я царю сказал, что я за все отвечаю и чтоб он в мелочи не мешался; да и покамест буду отвечать, не одну шкуру с вас сдеру, ты сгниешь прежде у меня в крепости, чем царь узнает», — и с сим словом, обратясь к адъютанту, графу Апраксину, сказал: «Отведи его в крепость, а оттуда ступай в Измайловский полк, возьми обоз, и чтоб полк проходил через город со своим обозом; а Измайловский полк получит деньги на счет этого командира татарской орды!» Все в одну ночь и исполнено.

Правивший в Саратове должность губернатора, Панчулидзева, в указе назван был по ошибке действительным статским советником. Покровительствовавший его товарищ министра внутренних дел, Козодавлев, воспользовался сим и, под предлогом, что цари не ошибаются, поднес указ о производстве; граф Аракчеев, узнав о сем от государя, тотчас поднес другой указ, в замену прежнего, с названием Панчулидзева статским советником, послал фельдъегеря в Саратов разменять указы и тем кончил недоумение.

По удачном переходе Ботнического залива, когда решено возвратиться в Або, и князь Багратион пришел на Аланд за приказанием, граф Аракчеев встретил его поздравлением с чином генерала от инфантерии; а, ко мне обратясь, сказал: «Вот Василий Романович и приказ заготовит к приезду государя о производстве вас и Барклая, которому можете послать (за 600 верст) и поздравить заранее». В самом деле, по приезде государя в Або, тотчас приказ объявлен, а главнокомандующий Кнорринг удалился после сего из армии в деревню.

Врожденному честолюбию и властолюбию графа Аракчеева много способствовало и баловство. Ростовскому полку велено называться его именем, потом бить барабан, когда он идет или едет; подарена царская яхта, содержание которой в Грузии стоило адмиралтейству столько же, как бы она за границею находилась. Все это давалось потому, что граф Аракчеев не принимал ни фельдмаршальского сана, ни Андреевского ордена. Повторяю: он не хотел ни с кем быть равным.

Лыстцов и сродников жаловал он и награждал; но, прогневавшись, мстил им наравне с другими. Полковник Тишин, сердечный был друг его, за язык, но по выходе графа Аракчеева из ми-

нистерства, проговорился, что «он не понял образования совета 1810 г., которое подмыло его, как крепкий дуб водопольем». Это дошло до графа Аракчеева, и он таился два года, но в 1812 г., взяв опять силу, так наложил руку, что несколько представлений князя Барклая де Толли о производстве Тишина в генерал-майоры и о награде орденом 3-го Георгия остались без действия; после и при отставке даже не дано чина. Генерал-майор Бухмейер, указавший некогда дорогу Аракчееву в Гатчину и заплаченный им за то впоследствии, был дружен с ним до унижения (осматривая каждое утро конюшни и кухню) и, по окончании французской войны, употреблен по новгородскому военному поселению. Тогда не было еще ни комитета, ни совета, ни штаба по сей части, и все делалось по-домашнему. Но огромность затей и издержек и страх, что выйдет из мужиков, целыми волостями обученных военному ремеслу, избавленных от податей и еще получающих от казны не только для себя и детей обмундировку, но дома, как дачи устроенные, привели Бухмейера в недоумение: он прикинулся, или в самом деле начал бредить о беде и ответе, и отпущен с большим содержанием для излечения. Прожив года три в Орловской деревне своей и думая, что, с новым устройством штаба, комитета и прочего расстался он навсегда с военным поселением и числится по артиллерии, только что приехал с женою в Петербург, дня за два до Петергофского праздника, как граф Аракчеев узнает о том и о добром здоровье Бухмейера и присылает в обед, 21 июля, полицеймейстера Чихачева с высочайшим повелением: выслать Бухмейера с женою в Чугуев (где было также военное поселение), сопровождать до первой станции и, в самый праздник 22 июля, отрапортовать об исполнении, так рано, пока граф Аракчеев еще не пойдет во дворец.

Барклая возненавидел он с той поры, как, сверх ожидания своего, увидел его утвердившимся на посту министра и пользующимся доверенностью царя и всею помпою, изобретенною графом Аракчеевым лично для себя. Удаление Барклая из армии после Бородинского сражения успокоило дух ненависти к нему графа Аракчеева, и он бесстыдно рассказывал мне, как приезжему из Сибири, при гостях, за обедом или за чаем, о неспособности Барклая, гордости и вместе подчиненности жене, жадности к деньгам, так что содержание его, как министра, было в 80 тыс. и проч. Но неожиданное восстание Барклая опять раскрыло ха-

рактер графа Аракчеева. По назначении его, на место Чичагова*, главнокомандующим той армии, которая шла осаждать Торунь, он приехал в начале 1813 г. на почтовых из Эстляндии в Плоцк, чтобы представиться государю. Небольшой разоренный этот городок завален был постоем, по случаю переправы через Вислу, и Барклай, на сутки только приехавший, решился не хлопотать о квартире, а, остановившись на почтовом дворе, пошел во дворец, где и приглашен был к обеду. Пользуясь остающимся до того временем, старик побрел явиться к князю Кутузову и графу Аракчееву; но Аракчеев, живший за версту от дворца, заведя в окно Барклая, идущего по грязи, пешком, не сказался дома. Вслед за тем велел принести из придворной кухни три блюда; и я, работавший с ним утро и вечер, приписал все это занятиям, никак не предполагая, чтобы он остался обедать дома, единственно избегая встречи с Барклаем. Старик, получив приказания государя и откланявшись, притащился опять вечером к графу Аракчееву, но он отозвался больным; нечего делать: остался ночевать и в 7-м часу утра явился в шарфе, как объяснилось после, с просьбою доложить государю о назначении ему столовых денег. Вот уж натешился граф Аракчеев: заставил ждать в комнате, где один лакей чистил сапоги, а другой разливал чай; потом вышел в шлафроке, извиняясь, что, отвыкнув от визитов, особливо таких ранних, он не одет, да и не очень здоров, не попросил садиться, а, выслушав просьбу, отозвался, что это не по его части, ибо он секретарь государя, не больше, и пишет только то, что ему прикажут. Барклай, уезжая из Плоцка, писал, однако, письмо, чтобы доложил государю о столовых, и граф Аракчеев, возвратясь с докладами, сказал мне, что назначено 12 тыс. Я заготовил рескрипт министру финансов об ассигновании сей суммы серебряною монетою, как следовало за границую; но на другой день, получа Аракчевы доклады и указы, удивился, что в рескрипте слово «серебром» пропущено. Спрашиваю кантониста, при нем бывшего, Леонова, и узнаю, что граф Аракчеев приказал ему переписать в таком виде присланный мною рескрипт. Мщение гнусное! Когда Барклай поступил на место Кутузова, то сам докладывал и получил серебром; но государь отнес это к ошибке своей канцелярии.

* Павла Васильевича, 1762—1849, автор «Memoires inedits de Tchitchagoff». Paris, 1837.

Оправясь от болезни, готовился я в дорогу, дабы успеть до зимы в Томск. Наконец, распродав ненужные вещи и заведясь экипажами, пустились 20 августа 1810 г. в дорогу всем домом. Жена, две старшие дочери, третья, Лиза, двух месяцев, с кормилицей и мамка были в карете; я с немкою в коляске; брат ехал сам по себе, впереди, для заготовления лошадей; две женщины в особой кибитке, да четверо было мужчин и сибирский казак. Благодарение Богу, невзирая на все препятствия от осеннего времени, мы достигли Томска, 20 октября, все здоровыми. В пути имели отдыхи: одни сутки в Чудове (чтобы съездить оттуда прогоститься с графом Аракчеевым), двое суток в Твери (у Юрченки), трое суток в Москве, одни сутки под Владимиром (за лошадьми), одни сутки в Нижнем (за кибиткою), трое суток в Казани, двое суток на заводе Шаховской (для починки коляски), трое суток в Ревде (у Зеленцовых) и неделю на Иртыше. Следовательно, не с большим в месяц проехали 4500 верст.

Первые месяцы, занявшись со всем усердием новою службою, не приметил я скучной жизни в Томске; но впоследствии сделалась она неприятною и переписка с генерал-губернатором становилась горячее время от времени. Мне крайне было больно замечать род какого-то подозрения на действия, где все внимание обращено было со стороны моей, чтобы откупщики не обманывали правительство, и я, отправив письмо к Пестелю, в таком смысле, что его сбивает кто-нибудь, что честному человеку больно заниматься оправданиями и что лучше бы ему сделать поверку на месте всем трем губерниям, из коих по одной только моей никто его не бранит, не злословит, — предупредил жену, что не останусь долго в Сибири, и начал заранее запасаться бричками, вместо бывших прежде кибиток, задерживавших меня в дороге.

Ласковые письма Пестеля были уже для меня невероятны. Я все держал себя на той ноге, чтобы, при первой неприятности, бросить службу и чтобы ни с какой стороны нельзя было сделать ко мне привязки, как началась война с французами, и особенные попечения, по должности моей востребовавшиеся, заставили забыть свою личность. Назначенный сбор рекрутов остановил отъезд мой по губернии; присутствие должно было открыться в сентябре, и я целое лето отделявал госпитальный сад, для гулянья, и устроил в нем огромную беседку, при входе в которую посадил два кедра, на тридцати лошадях привезенные. Обязан будучи, по должности, дать праздник 30 августа, я назначил обед в новой

беседке и распорядился, чтобы сей сад, с решеткою, великолепно был иллюминирован, пригласив на вечер всех без разбора на гулянье; и похвастаюсь, что в сей вечер Томск увидел гуляющих татарок, бывших до того взаперти.

Я велел разбудить себя в 6 часов утра, чтобы похозяиничать, принять чиновников, съездить в церковь и после заняться угощением целый день и ночь, и, разумеется, с сею мыслью заснул не скоро и спал дурно, как начинают уже будить. Смотрю на часы — вижу 5-й, и думаю, что человек ошибся; но он докладывает, что курьер приехал. Выхожу тотчас в кабинет и, Боже праведный! какое принесу Тебе благодарение? Хотя курьер из Тобольска, но он сменил петербургского и привез указ, чтобы, сдав должность, немедленно следовал я в местопребывание государя, для особых поручений. На проезд дано мне 5000 руб., и в то же время пожалован я в действительные статские советники; а граф Аракчеев объявил высочайшее повеление, чтобы я узнавал дорогою о местопребывании государя и следовал туда, сколь можно поспешнее. Итак, опять неожиданная со мною перемена, опять покровительство Божие!

Перед тем только доставлены 6000 руб., взысканные с Нарышкина*, 5000 руб. еще пожаловано на проезд; можно сказать, что праздник наш 30 августа сделался и богаче и веселее. Одна лишь жена плакала от радости и от печали, ибо не могла ехать со мною и потому уже, что за наводнением России неприятелем не знал бы я, где оставить семейство.

В четыре дня, сдав должность и отслужив молебен, пустился я в дорогу 5 сентября. Тут только увидел, сколь любим я был в губернии. 200 верст провожали меня чиновники, и купечество угощало на двух станциях. Наконец, 7-го числа, распрощавшись в Чаусском, благополучно переехал Обь и Иртыш и 14 сентября приехал в Тобольск, сделав лишний даже крюк, чтобы видеть сей город в первый и последний раз.

Отобедав 15-го числа у губернатора фон Бриана, доехал я, не останавливаясь, до Екатеринбурга и должен был прожить в нем двое суток, в ожидании почты, ибо предыдущая ничего не привезла из Москвы, и сомнение было, занята ли уже столица сия неприятелем. Как и со второю почтою, ничего получено не было, то решился я пуститься в Пермь, чтобы, судя по тамошним вестям,

*Александр Львович, 1760—1826, обер-камергер, кавалер всех российских орденов.

или продолжать путь на Казань, или ехать в Вологду. В Перми заехал я прямо к почтмейстеру Красикову, почтенному старику, угощавшему меня в первом пути; но он также, быв в недоумении, советовал мне остаться на сутки, пока придет московская почта. Вечером за чаем привезли Сперанского, и я тотчас просил к себе частного пристава*, его привезшего. По секрету сказал он мне, что Москва со 2 сентября в руках неприятеля и что он послан графом Толстым** из Нижнего, где новые формируют силы. Поутру, повидавшись с губернатором Гермесом***, стариком немудрым и трусливым, поехал я прямо в Казань, в которой не только не нашел квартиры, но и на улицах не было места от людей, бегущих от неприятеля. Отобедав у почтдиректора, на вечер пустился я в путь и на первых станциях имел большие затруднения от Сената и Оружейной палаты, подводами которых и дороги, и поля заняты были; но в ночь на 1 октября прибыл в Чебоксары. День сей памятен мне потому, что кузнец не брался починить к утру брички моей, и я просил помощи у городничего Брежинского, прекрасного человека, умного и давшего мне идею о внутренней страже, вновь заведенной, после чего не имел он в распоряжении своем ни души, которую бы послать мог за кем-нибудь. Позавтракав у него, 1 октября прибыл благополучно в Нижний и остановился у председателя Юрьева; другой квартиры я здесь не нашел бы, ибо многие присутственные места из Москвы туда прибыли, равно как и арестанты из московского острога. Здесь формировал войска князь Лобанов-Ростовский и ополчение — граф Толстой; тут же были и шары, которыми занимался Ростопчин. Никогда не забуду я сего пути. Вся дорога от Казани до Нижнего уподоблялась петербургскому празднику: ни одного угла не было пустого и 5 руб. стоило добиться горячей воды для чая.

По самой дурной дороге добрался я до Костромы и не имел тут лошадей, потому что фельдъегерский офицер (Штос, помнится) забирал 70 лошадей под какого-то мнимого Шмита, с швеями, который хотел воевать на аэростате, в том же обозе везомом для окончания в Ораниенбауме****.

* Шипулинского.

** Сергеем Васильевичем, нижегородским вице-губернатором.

*** Богданом Андреевичем, позже сенатором.

**** Настоящая фамилия его, скрываема была будто бы от Наполеона, была Леппих. В Ораниенбауме работал он во дворце, по секрету, и государь несколько раз приезжал к нему из Петербурга. В исходе ноября назначил он день, в который прилетит в

Выпросив у Штоса лошадей, чтобы не мешал мне впереди, — приехал я на ночь в Ярославль, где все уложено было и лошади стояли в хомутах. Почтмейстер, старик, напуганный трус, не мог дать мне никакого совета. Угощенный чаем, в виде откровенности, он сказал только, что несколько раз в день сочиняются у Великой княгини Екатерины Павловны бюллетени, что их свободно ходят все читать во дворец, но не верят им, ибо все из дворца вывезено и для великой княгини стоят лошади в хомутах, тогда как бюллетени успокаивают каждого; что приходящие из уездов беспрестанно говорят о появлении в их местах французов и что, по сегодняшним вестям, одна неприятельская колонна пошла к Рыбинску.

Мне две дороги предлежали из Ярославля: через Рыбинск и Тихвин, по которой девять суток фельдъегеря ехали; и другая, вновь проложенная, через Бежецк на Вышний Волочек. Не добившись ничего от ярославского почтмейстера, сел я в бричку свою в 11 часов ночи и, в уповании на Бога, ни слова не сказал ямщику, по какой дороге ехать. В течение ночи изломались две оси, и кое-как утром добрался я до деревни. Вхожу в избу и с удивлением вижу, что парикмахер чешет какого-то дюжего мужчину. Попотчевав его чаем, узнаю, что я на новопроложенной дороге и что чопорный мой барин есть дворянин, ускользнувший от ополчения и избравший себе должность станционного смотрителя; похвалился он при том, что у него 300 душ... Вести, им сообщенные, состояли в том, что ночью прибежала внутренняя стража из ближнего города и что в Рыбинске неприятель, следовательно, дорога и назад мне отрезана. День настал прекраснейший и решил меня пуститься вперед, ибо, встретясь с неприятелем, надеялся я уйти на эту же станцию. Встречные на дороге подтвердили, что неприятель точно подходил к городу (кажется,

7 часов вечера в Таврический сад. Послали туда фельдъегеря и адъютанта графа Аракчеева, Тизенгаузена, чтобы первый тотчас скакал сюда, коль скоро шар поднимется, а последний прилетел бы вместе с Шмитом. В ожидании фельдъегеря, государь и Аракчеев сидели одеты; но в 8 часов приезжает Тизенгаузен и доносит, что шар лопнул прежде, чем поднялся. Был ли Шмит неудачный мастер или шарлатан (по мнению графа Аракчеева), я не знаю, только много извел денег. При отъезде из Петербурга мы передали его на руки канцлера графа Румянцева; в 1814 г. проявился он в Главной квартире, около Труа, и исчез. С той поры не слышал я уже ни об нем, ни о том, куда девался шар. О Франце Леппихе и его воздушном шаре см. «Сборник исторических материалов из архива Собственной Его Величества канцелярии», выпуски I и II. *Ред.*

Бежецку), но, увидя, что жители не разошлись, воротился ночью к Дмитрову. На другой станции встретил я толпу французов, но пленных, сопровождаемых бабами, под командою Измайловского унтер-офицера, который уведомил меня, что на пути моем к Угличу один страх, а неприятеля вовсе не было. Прибыв в Углич, в полночь, нашел я ополчение Ярославское, со всею строгостью занявшее посты по улицам и переправы. Должно отдать всю справедливость тогдашнему распоряжению: мужики, от сохи взятые, дворовые люди, унтер-офицерами наименованные, только что на ночь пришли в город, на мостовых и в поле расположились бивуаками и, соблюдая тишину, превежливо расспрашивали меня и смотрели подорожную. Даже дисциплина замечена мною.

Из Углича, без дальних уже хлопот, выбрался я на большую Московскую дорогу, в Волочек, и беспрепятственно прибыл в обеденное время, 23 октября, в Петербург.

Остановясь в Демутовом трактире, тот же вечер навестил Случевского и Жеванова, а поутру явился к графу Аракчеву, который объявил, чтобы в воскресенье (дня через два) представился я государю.

С самого приезда моего начали приходить приятные вести. Тот же самый вечер иллюминация возвестила взятие Полоцка, а после известно, какими главными победами ознаменовались последние месяцы 1812 г.

Представившись государю, удостоился я лестного отзыва насчет службы моей и разговора о делах иркутских; заключение же состояло в том: «Я выписал тебя в помощь графу Алексею Андреевичу (Аракчеву). Теперь у нас дела много; трудись с ним».

3 ноября, для умножения содержания моего, зачислен я в Государственный совет помощником статс-секретаря, что прибавило 3000 руб. жалованья. Работы, действительно, столько было, что ночи лишь оставались мне для отдыха. В один день оканчивались вступавшие бумаги; по несколько курьеров приезжало из армии и отъезжало в сутки. Бумаг вступало и по военной части, и по министерствам множество, в том числе на иностранных языках; а помощников у меня было только два: Танеев* (больше для переводов) и Немировский да три человека писцов-кантонистов. Неутомимое усердие вознаградило, однако, недостаток в людях.

* Александр Сергеевич, 1785—1866 гг., позже статс-секретарь, член Государственного совета.

Государь также изволил множество писать бумаг собственноручных; черновой указ, как бы измаран ни был, в том самом виде, посылаем был Его Величеству, перемарывался и опять отправляем был к подписанию. От сего тысячи бумаг во время войны писаны моею рукою, прямо набело, чтобы не останавливаться перепискою. Так прошло время до 6 декабря 1812 г., когда, без дальних приуготовлений, изволил государь отправиться к армии, в Вильно. 7-го числа ночью отправилась и канцелярия, получившая с сей минуты название Собственной Его Императорского Величества. На рассвете 12 декабря прибыл я в Вильно. При отъезде из столицы даны всем деньги на подъем, и я получил 3000 руб. асс.

Места от Невеля были все разорены; здесь взята была прямая линия к Вильно; выставлены артиллерийские лошади, и среди жестоких морозов ехали мы по трупам от самого Полоцка! Не говоря об ужасах, на пути сем бывших, и что случалось, вместо скамейки, садиться за стол на мертвых, прикрытых соломою; целые книги наполнены этою картиною бедствия французов!

Четырнадцать дней работали мы в Вильно так же, как в Петербурге, имея прегнусную, холодную квартиру, и такую тепель, что по колено в воде переходить должно было улицу к графу Аракчееву, а ночью возвращался я всегда по лестнице, устланной мертвыми французами, которые в бессилии обыкновенно искали места под воротами, или по лестницам, чтобы умереть спокойно. Наконец, прибыл из Великих Лук летний обоз государя, с флигель-адъютантом Альбедилем*; экипажи получили назначение, и на третий день праздника Рождества Христова объявлен поход.

Разоренными селениями дошли мы до Меречи, и канцелярии досталась квартира в кляшторе, на берегу Немана, где оставалось двое стариков-бернардинов, полунагих и без пищи. Целую ночь не дали мне спать глухие звуки, похожие на то, как будто что отваливалось от строения; поутру вижу в огороде под окнами мертвые тела. Любопытство повело меня по огромной парадной лестнице во второй этаж кляштора, и я с ужасом отступил, увидя залы, набитые французами, мертвыми и полуживыми, грызущими своих соседей. На поверку вышло, что бернардины выбрасывают из окон тех, которые кое-как выползут в коридор и заграждают

* Бароном Петром Семеновичем, 1770—1830 гг.; позже обер-гофмейстер.

проход. Это были несчастные больные, брошенные без призора, без пищи, а бернардины накануне только пришли и сами в кляштор. Государь, узнав об этом, тотчас приказал подать помощь, кому можно. Целый казачий полк употреблен был на очистку комнат; в сутки более 300 трупов вынесено было из кляштора и опущены в Неман; столько же оставалось не испустивших еще дух, но сомнительно, увидел ли кто из них отеческий кров, ибо не помнили они и того даже, как давно не ели!

В Вильно поручено было генералу Эртелю* очистить город от трупов и сжечь их. На площади стоит огромный костел, который нашли заваленным до такой степени, что двери не отворялись, и надобно было из окон купола выбрасывать тела. После узнали, что госпитальные чиновники, корыствуясь деньгами, положенными по штату на погребение, изобрели такое средство: скоплять умершую свою братию до весны, чтобы, с открытием реки, пустить их в море одним приемом.

1 января 1813 г., после молебствия, перейден Неман, а в первых числах января Главная квартира расположилась в Калише. В сие время познакомился я с походною жизнью и приучил себя к будущим недостаткам и неудобствам в пути. Содействием Безродного** фельдмаршал Кутузов поравнял содержание наше с интендантскими чиновниками, и от сего времени были мы уже с деньгами.

Мои соображения о войне 1812 года

Эпоха Отечественной войны описана в множестве книг; но справедливость их отношу я единственно к битвам и числу войск, а за остальное не держу пари ни рубля. Последнее сочинение генерала Михайловского-Данилевского, которому, по высочайшей воле, открыты были все архивы, должно быть вернее прочих; только я, грешный, при полном уважении к достоинствам и уму Александра Ивановича, не полагаюсь на правдивость его, видя, что он выставляет себя (примеч. через 20 лет) каким-то близким действующим лицом у фельдмаршала Кутузова и императора Александра; и более, что он чересчур уж льстит некоторым вельможам, играющим теперь важные роли, — отчего и звезды получа-

* Федору Федоровичу, 1768—1825.

** Василия Кирилловича, сенатора.

ет за книги и о фрейлинстве дочерей своих говорит как об обстоятельстве, зависящем от него: «сегодня представляю, и фрейлина!» Мне доподлинно известно, что до 1830 г. не был он фаворитом ни князя Петра Михайловича Волконского, ни графа Александра Ивановича Чернышева; даже через меня искал у последнего из них, чтобы назначили его в турецкую армию. Отчего же с издания книжек явилась со стороны их такая протекция? А насчет 1812—1815 гг. скажу, что в 1812 г. вступил Михайловский-Данилевский* в ополчение и был зачислен в канцелярию главнокомандующего так же, как В. А. Жуковский и другие милиционеры, не знавшие военной службы. В одно сражение, примкнув к толпе, ездившей за Коновницыным, ранен в ладонь пулею**, а весной 1813 г. переименован из титулярных советников в армейский чин и после переведен в квартирмейстерскую часть. Вслед за тем князь Кутузов-Смоленский скончался. Спрашивается: когда же и отчего мог быть Данилевский, молодой мальчик, близким к Кутузову, у которого были Коновницын, Толь, Безродный, Фукс, Скобелев и другие, каждый по своей части?

Весь 1813 г. и до вступления нашего в Париж Данилевский был в канцелярии князя П. М. Волконского, которою управлял полковник Селявин; на Венском конгрессе и до вторичного приезда в Париж (Данилевский) находился при князе Волконском по дворцовой части, заведую расходом денег и драгоценных вещей; да и в 1816 г. был не больше, как капитан. По этим должностям и чинам можно судить о хвастовстве Михайловского-Данилевского.

Не мое дело описывать войну 1812 г., а расскажу, что видел и слышал я, по возвращении моем из Сибири.

Петербург нашел я в болезненном каком-то состоянии; лица мрачные и на улицах полная тишина. Иначе и быть не могло: еще не перестало навевать пеплом из Москвы, войска в походе, много статских чиновников пошло в ополчение, все послы, кроме английского, оставили Россию, французская труппа распушена,

* Он очутился за границую, с детьми графа Завадовского. Поход Наполеона в 1812 г. заставил Данилевского оставить университет и ехать в Россию. Прибыв в Петербург, определился в Министерство финансов; но вскоре после того поступил, по сделанному правительством воззванию, в ополчение.

** В одно время ранен и почтамтский чиновник (теперь дейст. стат. советник) Долово-Добровольский — доказательство, что и статские толпились без надобности около Коновницына.

Большой театр сгорел, и оставался один только маленький деревянный. Эрмитаж, библиотеки, ученые кабинеты и дела всех присутственных мест вывезены водою на север, чем воспользовались и служащие, присоединив свои ящики к казенным, так что у графа Аракчеева, например, было в доме не более трех ложек. Затем все жили, по пословице, на мази: кто мог, держал хотя пару лошадей, а прочие имели наготове крытые лодки, которыми запружены были каналы. Закрытие банка и ломбарда, с пресечением присылки доходов из деревень, сделало то, что монетный двор не успевал перечекивать в монету приносимых сервизов. О званных обедах и помину не было. Грустное это положение дел, неизвестность о будущем и самое осеннее время раздирали сердце доброго Александра. Как будто убегая людей, жил он до ноября на Каменном острове, и граф Аракчеев едва мог отделяться от приглашений императрицы Марии Феодоровны к обеду, зная, что она станет любопытствовать, и ему придется или лгать, или невежливо отмалчиваться и пожимать плечами. Не хотели даже, чтобы знали о приезде курьеров из армии, и их направляли от шлагбаума по Лиговки во двор графа Аракчеева; здесь отбирались депеши, а курьеров отдавали на руки командиру фельдъегерского корпуса Касторскому, жившему в доме, где теперь выстроен штаб военных поселений. Тут жили они сутки и двое, а иногда отправляемы были и обратно, не выдав города, чтоб не болтали. Из этого смешные бывали анекдоты, а однажды вышел и серьезный.

Жена Павла Сергеевича Ланского*, страстная мать, имела известие, что сын ее, офицер гвардии, послан будет следующим курьером, и, разболтав радость свою, переселилась сперва в Ижору, а потом в Померанье. Сын⁸ не мог оставаться с нею на станции больше того времени, как запрягли тройку, и полетел в Петербург, а она притащилась вечером и, по пути, заехала к жене фельдмаршала Кутузова** заявить, что у сына есть письмо к ней от мужа, с посылкою. Удивилась старуха, не найдя сына дома, прошло и время ужина; она к Аракчееву: здесь отвечают, что нет курьера из армии, на шлагбауме ответ такой же; бросается в Ижору и у станционного смотрителя находит в книге, что Ланской проехал, но ящик не воротился. Новая беда! прохлопала всю ночь; но поутру добилась до того, что сын живой выса-

* Александра Михайловна, рожденная Ханыкова.

** Екатерине Ильиничне, рожденной Бибиковой.

жен на дворе у Аракчеева. Сама туда же, но ответ прежний. Она к Кутузовой и, по дружеском совещании, прокляли Аракчеева. Старуха Кутузова, гордая, умная, отпустив Ланскую, ту же минуту принялась за перо и послала к государю письмо, в таком тоне, что она не допускает в себе низкой мысли о подозрении государя насчет переписки ее с мужем, но поступок с Ланскою и задержка письма на целые сутки почти прямо указывают на перлюстрировку; что это интриги и выслуга графа Аракчеева и проч. Государь личным только вручением письма и посылки успокоил раздраженную бабу. Но с этого времени, тотчас уже по приезде курьера, отсылались к Кутузовой письма. Не прежде, как по получении донесения о победе под Красным, сделалось в городе веселее.

О первоначальном плане войны мне ничего не известно, и в канцелярии государя никаких следов этого не было. Без сомнения, план был; но, думаю, не решительный и основанный на том, собственно, чтобы не оставлять в тылу у себя Литвы, не открывать военных действий среди предателей-поляков. На Белоруссию полагались, видно, больше, ибо при мне еще, в 1810 г., приступало Военное министерство к постройке Динабургской и Бобруйской крепостей. Но если в плане было заманивать французов еще далее, то было бы ближе, кажется, возобновить Могилевские и Смоленские укрепления, чем начинать новые, требовавшие многих лет и миллионов денег. Едва ли не предоставлялось все времени и обстоятельствам: от этого такое расположение войск наших по границе, что армии Барклая и Багратиона не могли соединиться прежде, как под Смоленском, и на ретираде должно было сжигать хлебные запасы, чтобы не достались неприятелю.

В Вильно следовали праздник за праздником, в ожидании Балашова из Варшавы⁹, с (благоприятным, судя по сему) ответом Наполеона. Известно, что в самый разгул, на бале, данном гвардией, привез дипломатический чиновник Вейдемейер известие, что французы переправляются через Неман¹⁰, и с ним поступили, как с вестовщиком; но назавтра это подтвердилось. Балашов не возвращался, и началась ретирада до Дриссы, где пруссак Фуль, принятый в нашу службу генералом, устроил укрепленный лагерь. Тут положено было остановиться. Но когда прибыла армия Барклая, разнесся общий голос, что она соделается жертвою; тотчас приказано увозить орудия и что можно спасти из Динабурга, а прочее сжечь (при чем отличился артиллерийский полковник

Тишин, вывезший медную монету и сжегший ассигнации)¹¹. Войска стали ретироваться*.

После Бородинского сражения князь Багратион умер от раны, а Барклай удалился в свою деревню, около Дерпта, и Кутузов, оставшись один хозяином, сделал известный марш в Тарутино, скрывший его от Наполеона, так что две недели не мог он добиться, где русская армия.

В Петербурге, после сожжения Москвы, знали, что французы окружены нашими отрядами, что размножаются партизаны, что неприятелю затруднительно продовольствие, что наши в Тарутинском лагере укомплектовываются успешно, пользуются всем в изобилии и находятся в хорошем духе; но долгое бездействие опять стало погружать всех в уныние. Граф Аракчеев не скрывал от меня, что государь день ото дня более делается недоволен Кутузовым, и проговорился, что послал его в армию не по своей воле. Слухи, что доступ к нему очень труден, что большею частию спит или сидит с девками, переодетыми в казачье платье, происходили от писем Беннигсена, верившего человеку, при нем бывшему, флигель-адъютанту князю Сергею Голицыну. Когда дела приняли хороший оборот, то князь Кутузов, сведав об их интригах, выжил обоих из армии и после, не знаю уже почему, отправлен был Голицын из Калиша с фельдъегерем в Грузию, но по кончине Кутузова возвращен. Казачков же я сам видел впоследствии: они конвоировали старика, делавшего переходы на парных дрожках, и один из них был сын камердинера его, лет 16-ти, точно как переодетая девочка.

Если бы крайность не заставила Наполеона выйти из Москвы, то не знаю, что бы предпринял Кутузов зимою. В свое время это было загадкой и для людей высшего звания. Здесь занимались только формированием новых сил и брали меры заслонять Петербург. Винценгероде наблюдал за неприятелем из Твери, позади его скоплялись ополчения Ярославское и Тверское, и тянулись около Смоленской границы к Полоцку, чтобы подкрепить, в случае нужды, Витгенштейна и поставить его в связь с Винценгероде. Башкирцам дано было направление от Нижнего на Ярославль, Углич и Волочек, вслед за ополчением. От Новгорода до Волочка набирал Павел Васильевич Кутузов ямской конный полк, с которым и ротою конной артиллерии должен был идти к

* Здесь мы опускаем несколько строк, так как автору не были известны подробности отступления нашей армии, и он сообщает неверные сведения. *Ред.*

Полоцку. Когда бы Наполеон бросился на Петербургскую дорогу, то вся эта масса и Витгенштейн должны были противостоять ему, ожидая главного действия армии Кутузова в тылу у неприятеля; заменить же Витгенштейна на Двине мог Чичагов, шедший с свежими войсками из-за Днестра. План сей хорош был и тем еще, что, при отступлении Наполеона в Литву, та же масса умножила бы корпус Витгенштейна, для нанесения вреда неприятелю на марше через Белоруссию.

Неизвестность о намерениях Кутузова и дурные об нем вести едва не довели государя до того, чтобы опять приняться за Барклая. Это заключаю я вот из чего: в ноябре поехал Аракчеев на два дня в Грузино. В этот промежуток получаю я однажды от государя, между прочими бумагами, записку, чтобы прислать надежного фельдъегеря и бланк подорожной. Как приказания подобного рода случались и прежде, то я ничего не подозревал; но через несколько дней заезжаю сделать нужные справки в департамент (канцелярии?) военного министра и нахожу директора оного, Бижеича, в хлопотах*. Сейчас был у него адъютант Барклая, Кивер¹², и просил приказать отапливать министерскую квартиру (дом, где теперь училище правоведения), потому что на днях Барклая придет. По возвращении графа Аракчеева от государя я удивил его сею новостью и после узнал, что требуемый от меня фельдъегерь точно послан был к Барклаю. Вечером, воротившись из дворца, сказал мне граф Аракчеев, что государь сконфузился, когда он доложил о скором прибытии сюда Барклая; а спустя дня два государь отправился в армию, через Полоцк и Невель. Нужно ли было избежать свидания, я не знаю, но после сказывал мне генерал-майор Койленский, что об отъезде государя узнал Барклая перед Стрельною, что он думал воротиться в деревню, но потом решил, что, может быть, императрица Мария Феодоровна объявит ему волю государя, и, прибыв в столицу, остановился в трактире, несколько раз обедал у императрицы и, не получив, с приехавшим из Вильно уже фельдъегерем, никакого от государя приказания, возвратился в свою деревню. Беннигсен был хитрее, предвидел, по тогдашним обстоятельствам, что государь поспешит к победоносным своим войскам, и, удаленный из армии, не поехал Московскою дорогою в Петербург, а пробрал-

* У него не доставало на расходы канцелярской суммы; жена же Барклая, отъезжая в деревню, забрала все деньги за дрова и свечи, следовавшие на квартиру мужа ее, Барклая де Толли.

ся на Белорусскую, и государь, встретив его, сверх ожидания, в Порхове, должен был провести с ним на станции столько минут, сколько требовалось на закладку тройки лошадей в кибитку Его Величества.

Недолго, однако, прожил Барклай в деревне. Вскоре по приезде государя в Вильно Чичагов попросил увольнения, и, при совещании государя с Кутузовым, сей последний откровенно отвечал, что против Барклая ничего не имеет; но с Беннигсеном служить не может. Вследствие того Барклай назначен, вместо Чичагова, главнокомандующим армиею, шедшею осаждать Торунь (по каковому случаю он и приезжал в Полоцк, где так низко поступил с ним Аракчеев), а Беннигсен оставался в Петербурге и после смерти Кутузова, до той поры, как вздумали формировать в Варшаве особую армию из приведенного графом Толстым Низового ополчения, с прибавкою регулярных войск. Ему вверена была эта армия, и он едва успел с нею к сражению Лейпцигскому.

Впрочем, как бы кто ни думал о первоначальном плане войны, в который, конечно, не входили ни оставление Москвы, ни разорение 5 млн в местах, занятых неприятелем, только, благодарение Богу, война эта кончилась счастливо для России. Армия французская, ужасная в июне 1812 г., не существовала уже в конце декабря.

Мы нашли своих в Вильно хотя оборванными и во время Рождества в летних панталонах, но отдыхающими на лаврах, добрыми и веселыми, а казаков богатыми до того, что, для облегчения лошадей, они продавали на рынке мешочек наполеондоров или слиток серебра фунтов в 15 за сторублевую ассигнацию; доставались за 25 руб. ассигнациями дрожки, в которых находили, заколоченными, чайный сервиз серебряный или дюжины две ложек и тому подобное. Около Вильно все поля усеяны были экипажами разных наций, которых никто не брал за неимением лошадей. Одни лишь жида обдирали с них сукно, втулки и другие мелочи. Даже и казаки, при всей ловкости, не принимали в этом никакого участия.

Часть II

Краткий очерк кампании 1813 г. — Кончина князя Кутузова-Смоленского. — Пребывание в Париже в 1814 г. — Император Александр I в Лондоне. — Возвращение в Россию. — В свите государя на Венском конгрессе. — В Париже в 1815 г. — Назначение статс-секретарем и управляющим делами Комитета министров. — Характеристика графа Аракчеева. — Путешествие в Москву и в Варшаву в свите государя

1813 г. Наконец неприятеля не стало, далеко от границ наших он скрылся по крепостям, австрийцы ушли в Богемию и ничего не желали, как нейтралитета, герцогство Варшавское и Пруссия очищены. Пруссакки изготовились. Прощай Калиш! В исходе марта назначен поход гвардии, кирасирам и гренадерам прямейшим трактом, так чтобы в Страстную субботу вступить в Дрезден. Два перехода только: Рачков и Кропичин, и мы увидели Силезию. Опрятность деревень, чистота в народе и домах, гостеприимство, словом, все показывало, что мы выехали из Иудеи. Три перехода приблизили нас к Одере, а в Штенау мы перешли его по понтонному мосту. В Штенау встретил государя, при войсках, прусский король, как новый союзник и как старый друг, и присоединил гвардию свою к нашей. — Через Либен и Бунцлау (где занемог светлейший князь Кутузов-Смоленский, бывший перед тем и у государя, и на разводе) вступили мы в Саксонию — рай германский. Не говоря об изобилии сего края и об опрятности, свойственной всем немцам, в саксонцах есть что-то отличительное. Нигде не увидишь праздного человека, во всяком доме или стан, или машина; есть занятия по силам и ребенку, и дряхлому старцу. Народ видный, чистый, и особливо женщины, любят хорошо есть, нигде не видно нищих, и всякий весел, ласков, рад русскому. В таковом расположении народного духа пришли мы 12 апреля в Дрезден. Великолепный мост через Эльбу поврежден неприятелем, взорвавшим две арки, при бегстве своем. Картинная галерея бесподобна, были некоторые картины вывезены в Кенигштейн; но через два дня опять возвращены.

Войти в Дрезден спешили, как думали тогда, чтобы веселее провести Святую неделю в изобильном городе, на хороших квартирах; но оказалось совсем иное: в заутреню уже приметно было, что государь не весел, на другой день стали шептать, что неприятеля

тель усиливается у Лейпцига и Пегау; ночью приехал Виллие из Бунцлау, с известием о кончине князя Кутузова, и ему не велено разглашать о том. Во вторник вечером увидел я скачущего верхом из дворца графа Витгенштейна в андреевской ленте¹³, в среду узнал о пожаловании ему сего ордена, с назначением главнокомандующим союзной российско-прусской армией и вслед за тем приказ гвардии выступить через 24 часа. Торопились сразиться прежде, чем узнают солдаты о смерти Кутузова. Поручик гвардейской артиллерии Тиман, попавший в Люценское сражение в плен, потом бежавший от французов и пробравшийся, помошью саксонцев, горами, к нам при начале перемирия в Петерсвальде¹⁴, сказывал при мне графу Аракчееву, что французы имели подробные сведения о Кутузове, и по получении донесения о смерти его тотчас оглашено было о том в армии и приказано готовиться к походу в Дрезден.

Итак, Кутузов кончил свое поприще. Последнее об нем и слово. Он не хотел переходить не только Эльбы, но и Вислы. В Вильно должен был уступить настойчивости пылких голов, избалованных партизанством, что немцы, не видя русских, будут верить в бюллетени Наполеона; но появление наше за границею раскроет им глаза, и изорванная, прожженная на бивуаках одежда красноречивее всех прокламаций, сочиняемых Коцебу, убедит их в том, что сделалось с французами, когда в таком положении русские! Народное восстание в Германии предполагалось было неизбежным того последствием. Князь Кутузов указывал на малочисленность армии и изнурение людей. И действительно, состояние их было таково, что целый гвардейский корпус, о котором большее попечение прилагалось (разумея пехоту), можно было не только поместить, но и учить в Петербургском экзерциргаузе. Кутузов говорил, что партизаны, по личным выгодам, не могут иначе проповедовать; быть в строю связанному подчиненностью не то, что разгуливать по своей воле, писать о себе чудеса и на лету хватать награды. Однако ж вероятность их доводов, а больше уважение, что расстроенный неприятель не скоро оправится и что для нас все равно формироваться: в Литве ли, в герцогстве ли Варшавском, заставили старика перейти границу*. На Эльбе же не то было: неприятель на носу, и мы не знаем силы его; армия

* Далеко заходить не думали, до того, что к 15 марта велено было иметь в разных пунктах на Двине большие запасы хлеба, от которых погибли после князь Горчаков и Молчанов.

наша, малочисленная и прежде, теперь сделалась и еще менее от разбросанных отрядов по герцогству и партизанских партий, а на пруссаков не знали, можно ли полагаться в первой схватке.

Мысль Кутузова и была: не переходя Эльбы, стать на ней и держаться в оборонительном положении, доколе не укомплектуемся или не будем вынуждены ретироваться; в последнем даже случае неприятель ослабевал бы по мере удаления нашего, а мы беспрестанно усиливались бы подходящими из России резервами и выздоровевшими в госпиталях, которых одних было в пути, по последним донесениям, до 17 тыс. человек. Но Кутузова не послушали и, во время болезни его, далеко подались за Эльбу. Зато пять дней только и погостили мы в Дрездене, а на шестой выехали, по известиям, что неприятель собирается большими силами у Пегау. В тот же день прибыли в деревню возле Рохмеца и остановились у пастора на кладбище. Государя не застали уже; на рассвете уехал граф Аракчеев с Балашовым и Шишковым в Люцен, где началось сражение. Подъехал Безродный и здесь же остановился со мною. Через сутки прибыли мы в Вальдгейм, маленький городок между гор, а через два дня возвратились в Дрезден.

После двух дней пребывания в Дрездене двинулись далее и, прибыв в Бауцен, к старым хозяевам, не то уже нашли у них. В первый раз изобилие было во всем, прекраснейшая иллюминация и человек 70 музыкантов играли весь вечер у государевых ворот. Теперь — всеобщее уныние и ничего достать нельзя, с трудом можно было пообедать. С первого дня стали выбирать позицию; дрались два дня и потом начали войска переходить за Бауцен. Нас, т. е. канцелярию и обоз государя, услали в Герлиц.

Из Герлица, через три дня, подались мы на две мили вперед, в местечко Рейхенбах, и имели ту квартиру, где, ровно за год, стоял Наполеон. С неделю жили тут; смотрели, выходя в поле, на сражение; наконец объявлена ретирада. Ночью отправились в Герлиц, набитый ранеными, а с рассветом в Лаубах, пограничный город Саксонии. Вечером судили с Шишковым и Балашовым о том, что напрасно затеяли люценское дело и открыли Наполеону, что он и теперь уже вдвое сильнее нас, когда не успели еще прийти к нему из-за Рейна войска. Ночью отправили Голицына и Балабина навстречу резервам, а поутру пришли в Левенберг, в Силезию. Пруссаки не очень приятно на нас смотрели.

Ежeminутно ожидали известия о присоединении к общему союзу австрийцев, но тщетно. Итак, назавтра пришли в Яуэр и

Швейдниц, обширную крепость, которую срыл было Наполеон, но пруссаки начали оправлять ее со всем усилием. Ужасной величины колоколья и ядра, влипшие в стену в Семилетнюю войну, составляют достопамятность сего места. У Швейдница начали выбирать позицию, а мы переехали в местечко Рейхенбах. Неделью ожидали сражения; наконец объявлено перемирие, и в Рейхенбах переведена Главная квартира, а государева в замок Петерсвальде, с милю в стороне, где одна только свита помещалась и Преображенский полк.

Во время этого перемирия несколько раз случалось, что государь заставлял меня за работой с графом Аракчеевым и удостоивал разговора; в отсутствие же графа в Варшаву, была и переписка со мною и личный мой доклад. Я воспользовался этим временем и выхлопотал награды сибирским чиновникам, со мною служившим. Здесь-то пировали мы 22 июля, о чем с лишком 20 лет вспоминают Безродный, Крыжановский и Добровольский, и здесь-то, поехав в горы отыскивать полотняную фабрику, наехали мы на французские аванпосты и чуть было не попали в плен.

Из Петерсвальде часто ездил государь в горы, на дрожках, и раза два не ночевал дома. Из этого выводили разные толки, особенно когда Илья-кучер¹⁵ проговорился как-то, пьяный, что его славно угостила перед тем пасторша. Но после, когда я был в Иозефштадте, узнал, что там жил летом император Франц, который также ездил в горы, для свидания с Александром, вместо сомнительной дипломатической переписки.

Наконец, перемирие кончилось, австрийцы соединились с нами, шведы пришли к Берлину, Сакен очистил Ченстохов, и в начале августа армии тронулись. Главная пошла через Глац и Прагу, а корпус Витгенштейна прямо из Швейдница на Лебау, в Богемии.

Из Рейхенбаха выехали мы после обеда; вечером прибыли в Франкенштейн и тотчас пустились в Глац. С рассветом приехали туда; но крепость была заперта, и мы ночевали в поле, а часу в 9-м уже утра вошли в нее и уснули часа с два, чтобы опять продолжать путь.

В половине октября приехал я благополучно во Франкфурт-на-Майне, где учреждена была Главная квартира государя. Здесь отдохнули войска, укомплектовались, и попеременно приезжали сюда короли и герцоги германские, присоединившиеся к союзникам после лейпцигского дела. Пребывание наше во Франкфурте-

на-Майне продолжалось два месяца. Только в половине декабря выехали оттуда в Базель, когда исчезла надежда на заключение мира, объявления которого ежедневно ожидали. Сам государь, при освящении медалей в память 1812 г., на площади во Франкфурте, при большом параде, 21 и 24 ноября, говорил, что, может быть, скоро благословит Бог миром. По объявлении похода, мы в декабре выехали из Франкфурта и прибыли в Базель.

Обзор 1813 года

Люценское дело, без сомнения, преждевременно и оправдываемо, быть может, одним лишь важным, по-тогдашнему, обстоятельством — смертью Кутузова. Последствие показало, что Наполеон не имел возможности начать военных действий; но, видя стремление наше все вперед, должен же был противостать. Пусть бы он формировался у Лейпцига, мы то же бы делали в Дрездене, имея сверх того в виду: 1) что пруссаки, соединившие с нами войска свои в том умеренном числе, какое позволил им Наполеон содержать по Тильзитскому трактату, составили бы в короткое время из распущенных по домам старых солдат сильную армию, для которой отправили уже англичане 200 тыс. ружей; 2) что австрийцы, увидя союзников сильными, скорее отделились бы от Наполеона; 3) саксонцы не таили, что, коль скоро осадим мы французов за Веймаром, то войска их оставят французскую армию, под предлогом спасения короля, запертого в Кенигштейне. Все эти выгоды исчезли с ретирадою нашею, после Люценского сражения, и спасибо пруссакам, что они не струсили, увидя в земле своей опять неприятеля, сильно преследующего нас, а на иных трактах и опережающего. Действительно, странно было смотреть на карту расположения войск во время перемирия: войска должны были остановиться, где кого застигло повеление, и вышло, что наши подкрепления и курьеры следовали из России через города и деревни, занятые французами, а французские резервы через места, занятые союзниками.

Барклай, ускорив покорение Торуня, оказал важную услугу. Он привел 11 тыс. неизнуренных солдат в самое нужное время и, соединясь с Витгенштейном под Бауценом, дал возможность остановить натиск французов. Мы, оставя город, расположились по хребту Бауценских гор, который Наполеон должен был брать приступом, и, в глазах его, два дня бесполезно истреблялись це-

лые колонны наступающих. Но, стреляя беспрерывно от самого Люцена, увидели мы, что зарядов остается у нас немного, а оставленные в Варшавском герцогстве парки не могли подоспеть вовремя. В Швейднице нашел я артиллеристов, приводящих в наш калибр ядра, от Семилетней войны валявшиеся, в числе коих были и русские. Недостаток огнестрельных снарядов и малочисленность армии решили дальнейшее отступление от Бауцена, навстречу к идущим из России пособиям, тогда как Наполеон, следуя за нами, ослабевал бы, оставляя гарнизоны, больных и раненых и изнуряя остальных ежедневными маршами. Но вдруг объявлено перемирие. Все остановились на тех местах, где получено известие о том, и расположились на квартирах. Мы не знали, что положение Наполеона было хуже нашего, а спустя неделю начали являться выходцы из плена и единогласно говорили, что Наполеон столько потерял людей при переправе у Дрездена и под Бауценом, что не смел уже преследовать далее; парки его также истощились, а ранеными завалены были все деревни до Дрездена. Не зная точных сил, обе стороны боялись друг друга и обрадовались перемирию.

Началось перемирие тем, что все наши войска соединены в одну армию, вверенную Барклаю, а Витгенштейн остался корпусным командиром. Три месяца все толковали о мире, почему несколько раз и отсрочивалось перемирие, а между тем полки укомплектованы и одеты были так, что любо было смотреть. Две армии, русская и прусская, составляли сильную уже массу, но в подкрепление ей приготавливалась другая; на ходу ландвер учился стрельбе и эволюциям. Об австрийцах ничего не знала наша братия, и потому, вступая в Богемию, недоумевали, друзья мы или неприятели. Первая стычка с французами открыла, однако, что австрийцы отложились от Наполеона, а вслед за тем и Кульмское сражение удостоверило Наполеона в перемене счастья и сколь мало мог он полагаться на остальных немцев; только гордость его и упрямство удержали в Саксонии, несмотря на то, что он знал о движении Бернадота с одной стороны и Беннигсена с другой и что соединение всех сил будет для него губительно. Два месяца разыгрывал он кровавую игру, бросаясь, как тигр, окруженный ловцами, то на одну, то на другую армию союзников, и терял множество людей и пушек; наконец, увидя себя стесненным до того, что одна только дорога к Рейну оставалась свободною, сосредоточился у Лейпцига, подрался, как бы на прощанье, с Германиею

и бежал во Францию. Все утверждали тогда, что если бы не австрийцам поручено было наблюдать за ретирадою, то мало кому из французов удалось бы перебраться за Рейн.

Как в конце 1812 г. прогнан Наполеон из России за Неман, так в конце 1813 г.— из Германии за Рейн. Оставались в Германии французы в крепостях только, но обложенные союзниками, с требованием безусловной сдачи. Многие пункты и сдались прежде, нежели мы перешли Рейн. Вообще, 1813 г. кончился тем, что Европа выведена из очарования, и Наполеон остался при собственных только средствах, имея слабую, неверную надежду на итальянцев. Все другие нации шли к нему отплачивать визит, а Германия и Веллингтон в то же время беспокоили его, подобно нарыву в груди. В таком-то нездоровом состоянии встретил он 1814 г.

1814 год

В Базеле, 1 января, отслужили мы молебен, освятили воду на Рейне, и через город прошла парадом гвардия наша и резервная кавалерия.

Здесь отделался государь от неотвязного Балашова, командированного в Неаполь, где и застрял он так, что осенью умолял позволить ему ехать в Россию. Здесь же остался и Шишков, из трусости. Он предрекал народную войну и пагубу нам, в минуту даже прощанья моего с ним.

Путь из Базеля предпринят был чрез Монбельяр, место рождения императрицы Марии Феодоровны, а оттуда, проселочною дорогою, в Везуль и далее.

18 марта, на рассвете, прибыли мы в Бонди*; приехали рано и никого не застали, а канонада была близкая и сильная. Я поехал верхом, с Тюфяевым. На дороге разбросаны руки и ноги; встретил и три орудия изувеченных. Пробираясь виноградниками на гору, вижу рослого солдата, молодого человека, и шинель в крови.

— Которого полка?

— Московского гренадерского.

— Что, брат, ранен? Ступай на дорогу, прямо, там перевязка, и вот тебе рубль на водку.

* Деревня близ Парижа.

— Благодарю, ваше благородие, у меня отрезали уж руку, и я, слава Богу, здоров.

Этот ответ заставил меня вздрогнуть, и я точно увидел, что левая рука по плечо отнята.

Въезжаю на высокую гору. Какая картина: на горе и под горою стоят батареи. Влево Париж, вправо вся Блюхерова армия под ружьем и наша гвардия готовится к бою. Приезжает Добровольский от Блюхера. Тут узнали, что государь и вся свита сзади у нас, саженьях во ста. Через час и они приехали. Пленные и депутаты являлись непрерывно.

Часу в четвертом сбита последняя батарея на горе, и мы все поехали вперед. Егеря, отняв пушки, стреляли из них по французам. К вечеру перемирие. Я видел Париж и как разъезжали кареты по улицам.

Переночевал в коляске. В пять часов утра шум карет разбудил меня. Просыпаюсь, вижу парадные экипажи, ливреи и узнаю, что Париж сдался, а Наполеон только что успел уйти в Фонтенбло. Все вычистилось, вымылось и пошло в Париж парадом. Я поехал было верхом; но, узнав на шлагбауме, что мы не совсем еще приятели и что стреляют из окон, воротился в Бонди к обеду, по каналу, усеянному трупами пруссаков. В Бонди дом, вернее замок, сделался просторен, ограбленный казаками Волконского. Я занял комнаты Толстого и расположился спать; но в первом часу ночи последовало повеление следовать в Париж. На рассвете 20-го числа прибыл в сию столицу. Квартира в Елизе-Бурбон. Государь у Талейрана и все около него. Страстная неделя прошла в говенье; на Святой государь и вся свита переехали в Елизе-Бурбон. Я занял другие комнаты, во флигеле, в соседстве с графом Аракчеевым.

Так кончилась, в марте 1814 г., походная жизнь моя, и Париж заставил забыть все неприятности, бывшие в походе. Напротив, явилась утешительная мысль, что скоро увижу жену и детей, оставленных, в октябре 1812 г., в Сибири. Из Калиша даже не советовал еще граф Аракчеев выписывать мне семейство: так не уверен он был в успехе войны; но жена, в начале 1812 г., сама собою выехала из Томска и в марте приехала в Петербург. Здесь получила она все содержание мое, 8850 руб., а после, с пансионом, 13350 руб. Я же довольствовался заграничным содержанием, которое, при императорском экипаже, вполне достаточно.

В Париже награжден я орденом Анны 1-й степени и думал, что навсегда расстанусь с графом Аракчеевым, который, не будучи спрашиван пять недель с докладами, огорчился и решился остаться два года за границею. Перед выездом из Парижа отправил он письмо государю, чтобы он позволил ему остаться на водах, и указ, на мое имя заготовленный, но без моего ведома, чтобы, по прибытии в Петербург, рассортировал я дела канцелярии и сдал по принадлежности, в министерства и Иностранную коллегию, — затея, совершенно пустая и невозможная в исполнении. Государь после сего позвал к себе Аракчеева, и, как граф сказывал мне, были большие объяснения. Предлагаемо ему было звание фельдмаршала*; только кончилось тем, что он получил отпуск. Указ на мое имя не состоялся для того, что государь удерживал навсегда при себе особую канцелярию, и мне приказано следовать за Его Величеством в Англию.

20 мая, в первый раз в Париже, был граф Аракчеев с докладами, весь день и ночь. В самую полночь присылались еще из кабинета государева словесные, через разных людей, приказания заготовить то один, то другой указ.

А 21-го, утром, в шестом часу, государь изволил выехать из Парижа и, поработав несколько часов на первой станции (помнится, Сен-Дени), прислал оттуда много бумаг и прощальное, весьма лестное, письмо к графу Аракчееву, доказывавшее, что они расстались навсегда.

21 и 22 мая канцелярия без отдыха работала, и, окончивши все дела, отъехал я 23-го числа, поутру, в восьмом часу, через Амьен, в Булонь, куда и прибыл на вечер 24-го. Время было самое лучшее, какого желать только можно. Отсюда отправлены фельдегеря в Россию, ожидавшие моего только приезда, и коляска моя в тот же вечер отправлена была в гавань, для амбаркировки, но прилив столь мал был, что надлежало дожидаться другого, в полдень бывающего. К полудню открылась картина: весь канал, разделяющий Францию от Англии, уставлен был военными судами, в два ряда. Государь сел на фрегат в Булони и ровно в час отправились перевозные суда, при ясной и тихой погоде. В шесть часов вечера стояли уже мы перед Дувром, куда свита отправилась в каретах, а суда должны были ожидать прилива. Часу в восьмом

* Это задержало и приказ о пожаловании Барклая. Государь объявил ему чин фельдмаршала после сражения под Парижем, и все поздравили его; но приказа не было месяца два, и никто не понимал причины тому.

государь сошел с фрегата, при пальбе и восклицаниях народа, и назавтра, утром рано, уехал инкогнито в Лондон, в коляске графа Толстого, за которого там и был принят.

27 мая дали лошадей. Дорога и лошади бесподобные: до Лондона мы ехали только двенадцать часов. На станциях везде были завтраки на счет принца-регента. Дороги по Англии — сады, а деревушки — дачи. Чистота удивительная и архитектура своя. Домики небольшие, но уютные и опрятные. Везде видно богатство, и не встретился ни один нищий, тогда как во Франции облепят они приезжего и бегут беспрерывно за коляской.

Дорогою не было проезда от англичан: везде кричали «ура!» и женщины, на скаку, подбегали к коляске пожать руку. Миндальные пироги на столе и окна в домах — украшены именами Блюхера и Платова.

Дома отапливаются каменным углем; от этого смрад и тяжело для груди и головы. В самый лучший день туман поутру, а в пасмурный совсем темно. К тому же наводит уныние и самый цвет домов, которые не штукатурят и покрывают черепицею или аспидными дощечками. Лондон разделяется на старый и новый: в старом живет все купечество и там биржа; он, как старинный, имеет узкие улицы. Но новый совсем в другом вкусе: улицы широкие, по обеим сторонам тротуар, дома правильной архитектуры, с зеркальными стеклами, и чисты до того, что лестницы на улице моют мылом с мелом. Комнаты и лестницы всегда убраны коврами. Государь и Великая княгиня Екатерина Павловна занимали Hôtel Oldenburgh¹⁶, а свита размещалась в окрестных домах. Отсюда до старого города, по крайней мере, семь верст, и все жильем. Блюхер и Платов были в большой моде: 31-го числа из церкви народ повез на себе последнего из них. Три дня была иллюминация и видны были имена: Веллингтона, Кутузова, Шварценберга, Витгенштейна, Блюхера и Платова. В Лондоне без денег ступить нельзя. Казенные заведения покажут и за это даже требуют плату. Дороговизна ужасная. Нас было трое, и мы имели каждый день: бульон, рыбу, жаркое — говядину, телятину или баранину, вздорные пирожки, две бутылки пива и по апельсину. За этот стол в две недели или еще за тринадцать дней, кроме квартиры, свечей и уголья, заплатили мы пятьдесят червонцев. 11 июня, благодаря Бога, выехали мы из Лондона, поутру, в девятом часу; вечером прибыли в Кантенбюри, при иллюминации и ужасном стечении народа; а в двенадцатом часу ночи в Дувр

и стали в трактире, для прусского короля приготовленном. На рассвете, амбаркировав экипаж, мы сели на шлюпку и переехали на бриг, стоявший тогда, по мелководью, на якоре. 12-е число простояли на якоре. 13-го, в сильную погоду, пустились поутру,плыли часа четыре и увидели себя у Деля, совсем в противной стороне. В полночь сделался попутный ветер, и в девятом часу утра, 14 июня, стали мы на якорь у Остенде.

К вечеру бриг ввели в гавань; мы вышли на берег, и я не простился с англичанами, не позволившими дать на водку матросам 10 червонцев, так же хладнокровно, как отказали мне в требовании отдать бежавшего от меня слугу. Это был Андришка, мальчик доктора нашего Даллера, скрывшийся ночью в Дувре и укравший мои вещи из чемодана, за коляскою бывшего; по счастью, взял я в комнату к себе шкатулку с казенными деньгами. Когда я ехал на шлюпке, он стоял на берегу, зная, что англичане не выдадут его.

В Остенде на берегу встретил Воробьева и Григорьева и тотчас поехал к Антверпену. Лошади везде были готовы и везли скоро. В Антверпене, переменяв лошадей, пустился по прямой дороге к Литтиху. Часу в 11-м ночи приехал в Ахен и видел графа Аракчеева, расположившегося зимовать там. Часов пять уснул и поехал на Юлих, в Кельн, обширный город, где зажиточные дамы ходят за нашими больными. В Бонн приехали под вечер, и починка коляски продержала до полуночи. От Бонна и почти до самого Майнца надобно ехать по берегу Рейна. Картина величественная и вместе ужасная. Кажется, природа разломила горы, чтобы дать дорогу Рейну. С обеих сторон чрезмерной высоты горы, большею частью дикие и аспидные; а посредине тихо течет Рейн, с островками. Небольшие площадки по берегам наполнены деревушками, по большей части бедными, а на утесах стоят развалины башен и замков, напоминающих рыцарские времена. Дорога так узка, что на всяком шагу нужно опасаться или быть сброшену в Рейн, или быть завалену горою, которой скала висит над дорогой. Две последние станции, по 1 ¹/₂ мили немецких, к Майнцу переменяют уже картину. Рейн остается в стороне, и местоположение выравнивается. Майнц — большая правильная крепость. Ее проехал ночью и через Вормс прибыл в Мангейм. Тот же день (19 июня), к вечеру, приехал в пустой Бруксаль. Здесь жила у матушки императрица Елизавета Алексеевна весьма просто. Здесь же нашел я и Шишкова, с большими претензиями за манифест о мире. Он

не был во Франции и с января жил то в Праге, то во Франкфурте-на-Майне, то около Рейна.

21-го числа ездил в Баден, где нашел я графа Милорадовича в крайнем безденежье. 26-го, перед обедом, спрошен я был к государю, при Барклае. Когда сажались за стол, сам представил теще, маркграфине Баденской, почтенной старушке, в черном тафтяном платье просто одетой. Пошел разговор, как меня обокрали, как был уважителен беглец к казне, не унеся при амбаркировке, во время суматохи, шкатулки, где было до 150 тыс. руб. Но разговор тем и кончился: ни копейки не дано мне вознаграждения. Поводом к разговору был смешной случай: придя во дворец, с указами, во время обедни, застал я графа Толстого и князя Волконского спорящих. Толстой требовал денег, а у Волконского кредитивы франкфуртские все вышли; он давал ему адресованные на Лейпциг, когда деньги нужны в Бруксале, и не позже, как завтра. Я прекратил спор их предложением взять у меня из курьерских 5000 червонцев, лишь бы государь дал повеление. Толстой, тотчас после обедни, побежал к государю, объявить об этой находке, а я отпустил ему деньги. От этого и суждение, как не унес беглец шкатулки, во время моей отлучки со двора, или во время сна.

30-го выехал, через Франкфурт, в Лейпциг, нигде не останавливаясь; по расчету, надобно было приехать в Лейпциг в воскресенье и отслушать обедню в греческой церкви. С последней станции фельдъегерь, по обыкновению, поехал вперед, чтобы узнать мою квартиру; но каково удивление мое было, когда фельдъегерь объявил, что квартиру, мне назначенную, занял граф Аракчеев, оставшийся во Франции и получивший от меня более 1000 червонных на прогоны. Вот доказательство, что человек, привязанный ко двору, не может жить без него. При свидании с графом Аракчеевым нашел я его расстроенным и просящим пристроить его как-нибудь к свите, чтобы иметь лошадей. Как это зависело не от меня, то сказал я о сем князю Петру Михайловичу Волконскому, не менее меня удивившемуся, что Аракчеев едет в Россию. Он знал только, что граф выезжал из Ахена на станцию и виделся с государем; но никак не предполагал, чтобы он так скоро переменял свое намерение и опередил нас, пока мы жили в Бруксале. Вечером отправлен фельдъегерь в Петербург, с депешами, и ему поручено заготовить для графа шесть лошадей, после всех.

Из Лейпцига приказано было ехать, не останавливаясь, в Петербург, и путь взять по карте прямой линией, чтобы объехать Берлин, Кенигсберг, оттуда проселками в Ковно, Динабург и мимо Пскова, на Гатчину.

Во Франкфурте-на-Майне нужно только было, по повелению государя, отправить фельдъегеря, с кирасами, в Берлин. Из Лейпцига без роздыху ехал на Торгау, Франкфурт-на-Одере, Кюстрин, Мариенвердер, Кенигсберг, Вильковишки, Ковно и Псков. Ковно стоит на Немане, и спускаться надобно с крутой горы. На нее-то успел взобраться Иловайский, с 2 орудиями, при ретираде французов, и удивительно, как мог остаться из них кто живой.

Коляска моя, в которой путешествовал Его Величество, при коронации Павла I, в качестве военного губернатора, сколько ни была удивительна по огромности своей, прочности и помещению, но едва доехала до Петербурга, как на Литейной же рассыпалась так, что невозможно уже было чинить ее.

С несказанною радостью обнял я семейство свое, с которым без мала два года был в разлуке. 5 сентября 1812 г. расстался я с ним, а 16 июля 1814 г., в 4 часа пополудни, увиделся. Марья Осиповна похоронила дорогую дочь Варвару, родившуюся в Томске; но вместо нее увидел я в Петербурге другую, Надежду, родившуюся в Томске же, через 15 дней после моего отъезда.

Неприметно прошли шесть недель, и государю благоугодно было, при отъезде на конгресс в Вену, взять меня туда же. Не постигаю до сих пор, как это случилось. В исходе августа Марья Осиповна была очень больна, и граф Аракчеев (оставшийся в России) объявил мне, что государь не возьмет с собою канцелярии, так как занятия будут там только дипломатические и не долго. Точно ли так было или он начинал уже злиться на сближение мое с государем, по сей день не знаю; но когда объявил я графу Аракчееву о городских слухах, что я еду, то заметно было неудовольствие его, хотя, ссылаясь на его же слова, просил я, ежели нельзя остаться мне, по случаю болезни жены, то позволить по крайней мере пробывать в Петербурге, пока ей будет лучше. Мне позволено остаться на неделю; но поведение графа Аракчеева приметно сделалось сомнительнее, когда не отпустил он со мною Немировского, волового работника в канцелярии. Итак, взял я с собою Танеева, для переводов, да писаря Батракова, на тяжком уговоре, чтоб назад отдать его графу Аракчееву писарем же, а не

офицером. Вот в чем находила удовольствие душа первого вельможи!..

3 сентября, в 10 часов утра, простился я с Петербургом, получив через князя Волконского 300 червонцев на дорогу, я сам по себе отправился в Вену, через Могилев, Мозырь, Житомир, Острог, Дубно и Радзивилов. Государь же изволил проехать на Брест, Краков и Величку. В этом путешествии обрадован я был свиданием с матушкою, после 8-летней разлуки, с 1806 г., когда, после свадьбы моей, приезжала она в Петербург ко мне в гости.

От Радзивилова в 10 верстах, между песками, лежит первый австрийский город Броды, наполненный жидами, следовательно, неопрятный. Выехав из него, вечером 12 сентября, к обеду на другой день прибыл в Лемберг. Езда по Австрии самая мучительная: не останавливаясь, нельзя сделать в сутки более 18 миль (126 верст), по хорошему шоссе, которое становится хуже с того только места, где сошелся Краковский тракт, от перевозки величковской соли. От города Бельцы начинаются Карпатские горы, вплоть до Вены, и одна станция такова, что на двух милях 24 горы!

15 сентября, ночью, прибыл я в Вену и, вместо обещанных шести недель, прожил 8 месяцев, в совершенной скуке: так как, по незнанию языков и по нерасположению к весельям, не посещал я ни одного бала, ни праздника. Наконец, наступила весна, и прогулка в Пратер и загородные поездки сделали жизнь приятнее; но зато начали болеть ноги. Бегство Наполеона с острова Эльба прибавило работы; но и утешило надеждою, что конгресс Венский кончится. В самом деле, в мае 1815 г. простился я с Веною и, вместе с государем, отправился, через Мюнхен и Штутгарт, в Гейльсбрюн, где определена была Главная квартира и где дожидался уже походный обоз государев, прибывший туда из Варшавы. Время было прекрасное; я видел и столицы, и весь двор королей баварского и вюртембергского (о сыне коего была уже молва, что он сватается за Екатерину Павловну), только ноги мои не позволяли ходить и участвовать в праздниках. Странная болезнь: начали мокнуть подошвы, и кожа сделалась напоследок так тонка, что даже прикосновение пальцем было ощутительно. Виллие сказывал, что я их простудил в испарине, когда-нибудь зимою, оставшись ночь или две в коляске в сапогах. Присыпка, им данная, большую принесла пользу; но более месяца не мог я ходить.

Во время пребывания в Вене и в Гейдельберге имел я непосредственно дела с государем. Все военные распоряжения 1815 г. писаны мною, но как я не вправе был объявлять высочайших повелений, то бумаги сего рода подписывал князь П.М.Волконский, с которым я не служил, но чувствую, что можно с удовольствием служить, когда ни по одной бумаге не оказал мне целый год недоверчивости и подписывал их, не спрося государя, точно ли так изложена воля его.

По получении в Гейдельберге приятного известия об окончании дела при Ватерлоо, Главная квартира перешла в Мангейм и в несколько переходов достигла Нанси. Отсюда государь изволил отправиться, на почтовых, в Париж, а обоз пошел своим порядком, под прикрытием корпуса Раевского. В обозе были: Толь, Закревский, генералы и флигель-адъютанты, граф Нессельроде, граф Каподистрия и я.

Не более двух месяцев прожили на сей раз в Париже; но время это провел я очень весело с Закревским, Ермоловым и князем Мадатовым. К тому же благоприятствовала и хорошая летняя погода. К исходу августа собраны были все наши войска у Вертю, и туда отправились военные разными способами, ибо почтовых лошадей достать нельзя было, да и для государя выставлены были, на станциях, собственные его из обоза. Я, видя затруднения таковые, не будучи при том любопытен и зная еще, что статскому чиновнику не место быть при смотре войск, расположился спокойно гулять дней 5, в Париже, как накануне отъезда своего государь, проходя мимо меня после обеденного стола, изволил спросить: «А ты едешь в Вертю?» Когда я доложил, что статским места там нет, то государь не дал мне далее распространиться и, мгновенно обратясь к Волконскому, сказал: «Чтоб лошади ему были; отправь его непременно. Я знаю, что ты отшельник, не берешь участия ни в одном деле; но не поверю, чтоб не было любопытства увидеть на одной площади 150 тыс. стройных войск русских, чего не могу я дома сделать; приезжай непременно». Эти слова я тотчас записал, как памятник внимания государя, и тем более, что все, бывшие тогда в зале, начали меня ласкать и шутить со мною. Это называю я, дети, дворскою подлостью, которую хорошо узнал впоследствии.

Итак, положено было, чтобы я поехал в Вертю, через 12 часов после государя, и брал лошадей князя Петра Михайловича Волконского. 29 августа, приехав туда, остановился я на квар-

тире у Закревского. Иду назавтра поздравить Его Величество с днем тезоименитства. Входит в залу князь Петр Михайлович и спрашивает, видел ли я государя. На отрицательный ответ мой он сказал: «Вы поздравьте и поблагодарите — указ о пожаловании вас статс-секретарем уже у фельдъегеря». Тут я вспомнил, что, за несколько дней до выезда из Парижа, князь Волконский просил меня по секрету написать ему вчерне указ о пожаловании Каподистрии статс-секретарем. По словам князя, ему в то же время приказано было заготовить и другой — обо мне. Множество генералов, в залу собравшихся, и скорый выход к обедне (которая отправляема была на горе, под шатром, окруженным 120 тыс. воинов) не позволили мне объясниться с государем; но князю я открылся, что не знаю, радоваться или печалиться мне должно в новом звании, потому, во-первых, что, может быть, граф Аракчеев не хорошо это примет, и, во-вторых, что я лишусь содержания тысячи рублей, противу получаемого мною по званию помощника статс-секретаря. После обеда, бывшего в саду, на открытом воздухе, государь был столь милостлив, что, подойдя ко мне, сказал: «Я хвалю твой отзыв Волконскому и указ поправил, как ты сказал; а в содержании не сомневайся и напиши Гурьеву, чтоб статс-секретарское производимо было вдобавок к прежним твоим окладам». В самом деле, я увидел, в подписном указе, приписку рукою государя: «с оставлением при прежних должностях». Это считал я нужным, чтобы граф Аракчеев не подумал, будто бы я искал отделаться от него, и, действительно, угадал. Во-первых, он зашел в Петербурге к жене моей, с поздравлением, и рассказал мой поступок, чего ни она, никто другой не знал; во-вторых, отвечая на письмо мое поздравлением, не мог скрыть, сколько я знаю его, недоброхотства, и приметить мог, что в голове его село уже какое-то подозрение, когда государь не спросил его совета предварительно.

Милости государевы соделывались время от времени ощутительнее. По возвращении из Верту в Париж, король сардинский доставил государю 10 крестов, разной степени, ордена Маврикия и Лазаря, в том числе два первой степени, украшенные брильянтами. Все любовались красотою сих крестов, в комнате князя Волконского, и полагали, что один брильянтовый крест дан будет ему, а другой графу Нессельроде; но 15 сентября князь объявил, что один из крестов сих государь мне жалует: потому что у меня нет иностранных орденов. Итак, во второй вояж во Францию, я

неожиданно получил две награды, в две недели, тем драгоценнейшие для меня, что никакого посредства в том не было. Я не имел никакого над собою начальства.

16 сентября государь изволил отправиться из Парижа для осмотра иностранных войск; а я, пробыв три дня в Париже, для отсылки лишних тяжестей на фрегате в Петербург, отправился прямо в Дижон, где собраны были к смотру австрийские войска.

Обоз государев пошел из Парижа прямо в Петербург, а свита следовала на почтовых, разными городами. В Дижоне были с государем Великие князья Николай и Михаил и при них генерал Коновницын, князь П. М. Волконский, Виллие и я, не более. Их Высочества отправились оттуда прямою дорогою в Берлин, а прочие следовали за государем, через Швейцарию, Нюрнберг и Прагу. В Нюрнберге нашел я Арсения Андреевича Закревского и ехал с ним, в своей коляске, до Праги. Отсюда он отправился в Петербург, а мне и Виллие прислано на 3-й день приказание ехать в Петерсвальд, где, во время перемирия, жили в 1813 г. По прибытии в сию деревню, государь изволил только откушать и, через Франкфурт-на-Одере, продолжал путь в Берлин. Во весь обед разговор был о Сибири только, и меня удивило большое познание государя о сем отдаленном крае. Тут-то решил он быть непременно в Иркутске, когда устроит домашние дела, и оттуда возвращаться не иначе, как в санях.

Две недели мы прожили в Берлине, по случаю свадебного сговора Его Высочества Николая Павловича, и после поехали в Варшаву: до Калиша тою дорогою, как шла армия наша в 1813 г., а далее прямым и более проселочным трактом, самым гнусным, наипаче в тогдашнее осеннее время.

В Варшаве пребыли тоже не более двух недель. Пребывание сие ознаменовано устройством царства Польского, сообразно конституции, и наградю Ланского и чиновников, им представленных; после чего все они должны были отправиться в Россию.

Тракт из Варшавы взят был на Белосток, Гродно, Митаву и Ригу. Морозы были уже большие, а по России и настоящий зимний путь. Почему, бросив там коляску, отправился я в кибитке, которая рассыпалась в Нарве, и я, на перекладной уже, въехал ночью в Петербург, 2 декабря 1815 г., пробыв опять в разлуке с домашними год и три месяца.

Граф Аракчеев, по скрытному характеру своему, не показал мне при первом свидании особых знаков недоброжелательства;

однако, между разговорами, не упустил спросить: где я, по новому званию, служить буду? Ответ мой состоял «в приписанных государем словах в указе»; и он дал почувствовать, что, с окончанием войны, не будет уже более заниматься гражданскими делами. Однако, вслед за приездом государя в Петербург, предстала работа: разделение Военного министерства, и пошло все по-старому. С бумагами по сему предмету ездил к государю и граф Аракчеев, и я, вместе, и едва их кончили, как государь изволил предложить мне место Молчанова*, просившегося за границу. Я написал графу Аракчееву письмо, прося довести до высочайшего сведения, что не в состоянии исправлять обеих должностей Молчанова, т. е. по Комитету министров и по комиссии прошений; а ежели угодно, то приму одну из них, и преимущественно комитетскую. Я опасался докладывать по просьбам, зная, что граф Аракчеев не потерпит близкого сношения с государем, и видя из опытов ненависть его ко всем тем, с кем государь хорош, и желание всем заведовать, но так, чтобы ни за что не отвечать. Переговоры и приискание докладчика продлились до Рождества. 24 декабря сделан я правителем дел Комитета министров, а Кикин** определен уже в январе.

Дела по комитету начал докладывать граф Аракчеев; следовательно, удалена сим всякая недоверчивость ко мне, но, во время отлучек его из города или болезни, ездил к государю я, с бумагами по назначению графа Аракчеева. Для сего пожаловал мне государь придворный экипаж, узнав, что я не могу содержать его от себя. Помаленьку начал граф Аракчеев все прибирать к себе, отвечая, однако, всякому, что он никакой отдельной части не имеет и займется одним поселением войск. Дела советские¹⁷ решительно к нему поступали, министрам назначено столько предметов, по коим входили бы они в комитет, с представлениями, что иным ничего не оставалось к личному докладу государю; наконец, принялся было и за Кикина, но тот отгрызся.

Получив постоянное место в Комитете министров, я думал, что прогулки мои по свету уже кончились; но, сверх ожидания, в августе 1816 г. велено ехать в Москву и Варшаву. Граф Аракчеев, хотя скрыл негодование, зачем государь берет меня с собою, однако показал равнодушие свое тем, во-первых, что ни слова уже не говорил о том, поеду я или нет; во-вторых, ни теперь, ни

* Петр Степанович, 1760—1837, статс-секретарь Александра I.

** Петр Андреевич, 1775—1834, статс-секретарь, сенатор.

после, не испросил ни рубля мне денег на дорогу, зная совершенно нужду мою, и в-третьих, не дал мне ни чиновника, ни писаря в дорогу, под предлогом, что ему нужны, хотя все дела его канцелярии и журналы забирал я с собою, исключая поселенческих.

13 августа, поутру в 7 часов, выехал я из Петербурга и, пробыв часа два в Твери, у матушки (переселившейся туда по случаю выдачи сестры моей Ольги за Рахубовича), увидел обновившуюся Москву 16-го числа, в 5 часов вечера. Квартира была в Чудовом монастыре. Примечательного в сие время, по нашей части, было: награды 30 августа и назначение к должностям Сперанского и Магницкого, из которых о Сперанском указ сочинил государь сам, и граф Аракчеев, из излишней, вероятно, осторожности, спрятал отпуск у себя, чего с другими бумагами не делал.

31 августа, на рассвете, государь изволил отправиться из Москвы, через Калугу и белорусское поселение, в Киев, а я, прожив еще двое суток в Москве, проехал прямо в Киев, через Тулу, Орел, Севск и Нежин. Граф же Аракчеев с поселения возвратился в Грузино.

В Киеве прожил с 7 по 14 сентября, а сего числа приехал в Житомир, для предварительного объяснения с сенатором Сиверсом насчет пожертвования Волынской губернии. Доложив, по поручению сему, государю, получил благодарность за аккуратность и предосторожность. Поутру 15-го выехал из Житомира и, через Дубно, Владимир, Устилуг*, где переехал границу, Люблин и Прагу, прибыл утром 20-го числа в Варшаву, а 14 октября возвратился в Петербург.

Примечания

¹ Ошибка: Ливена звали не Карл Андреевич, а Христофор Андреевич.

² Оба были произведены в генералы от инфантерии одним приказом 20 марта 1809 г.

³ Мемуарист зашифровал под «А.» офицера Кавалергардского полка графа Апраксина Петра Ивановича, в 1808—1811 гг. адъютанта военного министра А.А.Аракчеева.

⁴ София, тогда район Царского Села.

⁵ Женился на Кузьминой-Караваевой Елизавете Андреевне.

⁶ Назначен военным министром 18 января 1810 г.

* Устилуг, Ружиямполь, местечко Волынской губернии Владимирского уезда.

- ⁷ Ф. Ф. Буксгевден действительно направил резкое послание А. А. Аракчееву, пытавшемуся вмешиваться в дела управления его армией. В нем автор доказывал незаконность «вторжения в область ведомства главнокомандующего» и блестяще «представил разницу между главнокомандующим армиею, которому государь поручает судьбу государства, и ничтожным царедворцем, хотя бы он и назывался военным министром» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 331). Позже это письмо получило рукописное распространение в общественных кругах.
- ⁸ Один из сыновей, оба служили в 1812 г. в чине поручиков в л.-гв. Егерском полку — Алексей и Михаил Ланские, оба занимали адъютантские должности, последний у генерала Л. Л. Беннигсена, а другой у генерала Д. В. Голицына.
- ⁹ Мемуарист путает события (свидетелем которых он не был), поскольку поездка А. Д. Балашова к Наполеону состоялась лишь после начала военных действий, и он был направлен не в Варшаву, а для переговоров с Наполеоном, который уже находился на российской территории.
- ¹⁰ Известие о переходе Великой армии через Неман было получено в Главной квартире русских войск в Вильно от передовых постов, вступивших в боевое соприкосновение с противником, а не от дипломатов.
- ¹¹ Полковнику Тишину было поручено вывезти все имущество, включая оружие, из Динабургской крепости при эвакуации.
- ¹² Имеется в виду Кавер Евстафий Васильевич, ротмистр л.-гв. Уланского полка, адъютант генерала М. Б. Барклая де Толли.
- ¹³ Официально П. Х. Витгенштейн был награжден орденом Св. Андрея Первозванного за сражение при Лютцене.
- ¹⁴ Донесение Тимана о его пребывании в плену и бегстве опубликовано: Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии: сб. документов. М., 1964. С. 199—200.
- ¹⁵ Лейб-кучер Илья Байков.
- ¹⁶ Отель «Ольденбург».
- ¹⁷ Т. е. дела, проходившие по Совету министров.

ЗАПИСКИ ЯКОВА ИВАНОВИЧА ДЕ САНГЛЕНА

Уже после своей отставки автор этих мемуаров Яков Иванович де Санглен был широко известен в московских литературных кругах. По свидетельству Т.П.Пассека, он был «живой, остроумный» собеседник, «рассказывал энергично, рельефно», знал «пропасть событий и анекдотов того времени... он представлял собою живую хронику»¹. Отголоском этих устных воспоминаний является записанный с его слов Н.Бергом рассказ об одной из операций русской контрразведки в Вильно². Но всегда личность Санглена окружала завеса тайны, вернее, тайна его предшествующей деятельности. Сохранилось большое количество мемуаров с упоминанием о нем, но большинство авторов относилось к нему с осторожностью, многие считали его связанным с полицией, называли доносчиком и шпионом, поэтому давали негативную характеристику³. Безусловно, он был неординарным человеком, прожил яркую и интересную жизнь, особенно насыщенной событиями оказалась первая половина его биографии. Необычным было и происхождение мемуариста. Он родился в Москве в 1776 г., но отец его являлся выходцем из Франции, отсюда нерусская фамилия мемуариста. Учился сначала в частном московском пансионе, затем в гимназии в Ревеле. После 6-летнего обучения поступил на службу в 1793 г. переводчиком в штаб командира Ревельского порта вице-адмирала А.Г.Спиридова. Воспользовавшись продолжительным отпуском Спиридова, Санглен умудрился выехать за границу, прослушать лекции в немецких университетах по философии в Лейпциге, курс астрономии в Берлине. Уже в 1804 г. после экзамена его назначили лектором немецкого языка в Московском университете, затем он открыл курс публичных лекций по военным наукам и тактике. В 1805—1806 гг. он являлся из-

дателем журнала «Аврора» и «Ученых ведомостей». В 1806 г. был назначен адъютант-профессором, а в 1807 г. был принят в штаб генерал-адъютанта П.М.Волконского. Выпустил несколько трудов: «О военном искусстве древних и новых народов» (М.,1808), «Исторические и тактические отрывки» (М.,1809), «Краткое обозрение воинской истории XVIII века» (М.,1809). Бесспорно, Санглен являлся весьма образованным пишущим автором, но, видимо, сказались его личные качества. Он не смог сработаться с Волконским, поэтому перешел на службу к другому генерал-адъютанту — А.Д.Балашову, занявшему пост министра полиции. В этом министерстве Санглен стал исполнять должность директора Особенной канцелярии, фактически ставшей предтечей тайной полиции Николая I и печально известного III отделения. Он сыграл заметную роль в дворцовых закулисных интригах перед войной 1812 г., особенно в так называемом «деле Сперанского», до сих пор досконально не исследованном историками. Но в результате Санглен испортил отношения со своим непосредственным начальником Балашовым и, по протекции императора, сразу был назначен директором Высшей воинской полиции 1-й Западной армии, ставшей в годы войны органом военной контрразведки⁴. Хотя многие мемуаристы упоминают о нем, но, по-видимому, ссылка Сперанского, в которой он оказался прямо замешан, в сознании современников затмила все остальное (обычно упоминали его полицейское прошлое), да и его истинная деятельность в военных событиях 1812 г. оказалась окутана пеленой секретности⁵. Собственно, в 1812 г., можно сказать, закончилась его значимая часть карьеры как государственного чиновника. До 1816 г. он оставался директором Высшей воинской полиции при Военном министерстве, а затем был зачислен по герольдии и проживал в Клинском уезде с наездами в Москву. С 1830-х гг. начал снова писать и публиковать свои работы по самым разным темам и, видимо, готовил «не для современников» свои воспоминания, охватывавшие период со времени Екатерины II до Николая I, по 1831 г. включительно. Его записки появились в печати на страницах «Русской старины» в 1882—1883 гг., почти через двадцать лет после его смерти (1 апреля 1864 г.). Мемуары Санглена, представленные в редакцию видным военным историком М.И.Богдановичем, стали важнейшим истори-

ческим источником, учитывая личность автора, его роль, которую он играл в тех событиях, его знание всех тайных пружин механизма функционирования государственной машины и принятия решений высшими чиновниками империи. В данном издании мы выбрали для публикации главы VI—XXI, помещенные в №1—3 «Русской старины» за 1883 г. и полностью относящиеся к эпохе 1812 г.

VI

Открылась мне вновь дорога на службу. А.Д.Балашов сделан был исправляющим должность с.-петербургского военного губернатора; я его знал еще в Ревеле, где, в царствование Павла, он был военным губернатором. Я явился к нему, и он предложил мне службу при нем. Я не иначе согласился, как с тем, чтобы он сперва узнал мнение обо мне государя, ибо я был ему оклеветан князем Волконским. Балашов сказал мне при первом свидании: «Я докладывал государю. Его Величество изволил улыбнуться и сказать: «Я знаю, Волконский приревновал его к жене своей, и он на него налгал»; и я был определен при военном губернаторе, который поручил мне иностранное отделение.

Когда учреждена была адрес-контора, то я сделан начальником иностранного отделения оной. За труды мои, при учреждении адрес-конторы и установленного в ней порядка, я пожалован был орденом Св. Владимира 4-й степени.

Теперь открылось мне новое поприще: учреждаются министерства. Сперва их было четыре, потом начали умножаться, и наконец назначалось Министерство полиции. Так как наперед известно было, что государь назначал на это место Балашова, то Сперанский поручил ему составить для себя учреждение этого министерства. Балашов поручил этот труд мне. Я, соображаясь с учрежденными уже министерствами и с лучшими творениями о полиции, написал этот устав, который Балашов отправил Сперанскому на рассмотрение. Я удивился, когда Балашов возвратил мне мое сочинение без малейшего со стороны Сперанского замечания, и с сей минуты Балашов поставлен был наряду со всеми тогда славившимися иностранными министрами полиции. Устав этот был утвержден государем. Балашов сделан был мини-

стром полиции, а я — правителем особенной его канцелярии, и был на равных правах с директорами департаментов.

В этом звании, я с Балашовым жил в добром согласии, и я не мог довольно им нахвалиться, — как вдруг явились обстоятельства, от меня не зависящие. Натурально, что я старался все заготавливаемые для государя доклады писать сообразно тому, как Балашов мне говорил, что государь их любит, т. е. чтобы доклады были как можно более сокращены, переписаны четкою красивою рукою и на хорошей бумаге. По словам Балашова, государь объявил ему, что особенная канцелярия имеет преимущества перед всеми департаментами. Один раз министр сказал мне с видом неудовольствия: «Только ваши доклады сходят, а прочие, из других департаментов, я привез». Через несколько времени объявил он мне, возвратясь от государя: «Поздравляю вас», и ироническая улыбка явилась на устах его, «государь приказал вам исправить доклады прочих департаментов». Хотя я и видел, что мне предстоит беда, т. е. неминуемая ссора с министром, но делать было нечего, а самолюбие не позволяло пренебрегать докладами. Однажды Балашов с величайшим неудовольствием сказал мне: «Государь приказал мне брать вас с собою в Царское Село, чтобы вы, в случае неисправности, поправляли доклады других департаментов», и прибавил еще: «Только ваши доклады и хороши».

С сего времени я уже всегда ездил с министром в Царское Село.

Однажды, в Царском же Селе, Балашов вышел от государя, объявил мне: «Государь желает вас видеть; пойдемте в сад; там мы его встретим». Так, действительно, и было; государь, поравнявшись с нами, остановился и разговаривал с Балашовым о погоде, переменах, которые желает сделать во дворце, в саду, и во все время разговора смотрел пристально в лорнет на меня.

Когда государь удалился, Балашов с иронической улыбкой сказал мне: «Поздравляю вас; вы теперь с государем познакомились».

«Да! — отвечал я, — как статуя, на которую смотрят; ваше превосходительство забыли сказать про меня, что я, как статуя Мемнона, издаю звуки при появлении солнца».

Балашов кисло улыбнулся, и мы возвратились в кавалерские наши комнаты. Наконец, объявил мне Балашов: «Государь спрашивал меня, не пожелаете ли вы быть полицеймейстером в Петербурге. Я отвечал, — продолжал Балашов, — что это место

может (быть) для вас не годиться: вы добротою своею и религиозностью все можете испортить».

Я поблагодарил Балашова за столь лестный для меня отзыв. Не менее того, я уже готовился подать в отставку, во избежание худшего,— как внезапно следующий неожиданный случай, встретившийся со мною, остановил меня.

Иностранцу шевалье de Vernègues затруднялись выдавать билет для прожитья в С.-Петербурге. Шевалье прибегнул ко мне. Я об этом доложил Балашову.

«Скорее,— сказал он мне с жаром,— прикажите ему выдать билет; это тайный дипломатический агент Людовика XVIII; постарайтесь с ним познакомиться поскорее; через него мы можем многое узнать».

Vernègues сделался вскоре у меня человеком домашним. Он рассказывал мне о связях своих с графами Толстыми и Армфельтом и что последний желает со мною познакомиться: «Il est tout aussi enchanté,— сказал он мне,— de votre caractère chevaleresque, que moi; allons un jour chez lui»*.

Я сообщил это Балашову, который поощрял меня вступить с ними в связь. На ответ мой, что я боюсь знакомиться с людьми хитрыми, крещеными во всех дворцовых интригах, Балашов просил меня убедительно продолжать это знакомство. Теперь посещали меня и граф Армфельт, и Vernègues. Долго оба интригана скромничали; наконец граф Армфельт начал пересказывать мне свои разговоры с императором и просил меня быть осторожным с Балашовым, ему ничего не доверять, ибо он в сильном подозрении у императора. Я довел и это до сведения Балашова.

«Врет он,— сказал министр полиции,— он сам в подозрении императора, и мне поручено иметь за ним строгий надзор».

Я испугался. Кто из них прав? Не оба ли? Тогда я попадусь между двух огней,— и решил отныне слушать и молчать. Бывают в жизни случаи, где никакая человеческая осторожность и предусмотрительность ничего сделать не могут; какая-то скрытая, неизвестная нам сила влечет нас, и горе тому, который ей будет сопротивляться.

* «Он восхищается вашим рыцарским характером, точно так же, как и я; сходим когда-нибудь к нему».

VII

В декабре 1811 г., пополудни в 6 часов, входит дежурный офицер с докладом, что Зиновьев желает меня видеть. Я думал, что это друг Балашова, толстый, высокий ростом, камергер Зиновьев, который снабжал министерский стол фруктами, и велел ему отказать. Дежурный воротился с объявлением, что Зиновьев утверждает, будто имеет крайнюю нужду до меня. Входит низенький, тоненький человек, который требует говорить со мною наедине. На вопрос мой: с кем имею честь говорить? — он отвечал: «Я камердинер Его Величества». Я ввел его в свой кабинет, где он вручил мне записку, слово в слово следующего содержания:

«Не имея возможности вас видеть сегодня, может быть, и завтра, я желаю, чтобы вы написали мне: в чем состояло повеление министра касательно известной бумаги, которую выполнить вам было невозможно? — Вы ничего не опасайтесь, но сохраните в то же время надлежащую умеренность к министру».

Можно вообразить мой испуг: это была рука императора! Следовательно, Балашов на меня жаловался, вероятно, и очернил. Не зная в первую минуту, что делать, я просил Зиновьева доложить государю, что я немедленно должен идти с докладами к министру, который уже два раза за мною присылал, и вручил ему известную бумагу (циркуляр), которая могла государю все объяснить; ибо, кроме ссоры за этот циркуляр, я другой с министром не имел.

Идучи к министру, думал я: не пересказать ли ему это происшествие? Но казалось неблагоприятным доверять тайну тому, который меня обнес. Я промолчал. По возвращении домой вручают мне записку от Vernègues:

«Monsieur le comte Armfelt me prie de vous annoncer que ce soir le valet de chambre de l'Empereur viendra vous chercher. Soyez prêt. Brûlez ce papier. Vernègues»⁶.

Действительно, Зиновьев опять явился с объявлением: государь вас ожидает.

«Я только прошусь с женою и детьми», — отвечал я.

«Сделайте милость, никому о том не говорите; государь именно это запретил».

Но я не послушался. Под предлогом того, что мне необходимо переодеться, я пошел к жене, просил не беспокоиться. «Вероятно, меня обнесли, — говорил я ей, — может быть, куда-нибудь ушлют;

но я увижу государя и буду просить об отправлении всех вас ко мне»; слеза навернулась, и я простился. Почему не пришла мне другая мысль поотраднее, не знаю; почему именно пришла эта, тоже не знаю. Не первая ли записка, и не описание ли, сделанное мне Балашовым о характере императора, были тому причиною? Не знаю. Как бы то ни было, я ничего хорошего не ожидал, и несчастная эта мысль решила будущие мои отношения к государю.

Мы сели с камердинером в сани, и нас подвезли к маленькому подъезду. Повели меня по множеству лестниц в самый верх Зимнего дворца. Зиновьев ввел меня в небольшую комнату, в которой стояли комоды и шифоньеры, и просил тут подождать. Нигде не было свеч; темнота эта наводила на меня страх. Это утвердило меня в моих мыслях, что буду отправлен. Какая несправедливость! — думал я. На беду, пришел мне на память маркиз Поза и разговор его с Филиппом; и я в положении маркиза, — сказал я про себя, и решился выказать в эту роковую минуту ту же твердость и возвышенность духа, которую выказал маркиз. Кроме самой резкой правды — ничего!

Наконец, сквозь щель двери в другой комнате проявился свет, зажигали свечи. Дверь отворилась, и император стоял передо мною. Я поклонился.

Государь, с удивительно милостивою улыбкою, сказал мне: «Entrez, je vous prie»⁷.

Я вошел, император сам притворил дверь и, подхватя меня под руку, вел по комнате к стоящему у стены юпитру и, остановясь, сказал:

— J'ai désiré faire votre connaissance, pour vous demander quelques renseignements sur des articles, que je ne puis bien concevoir, et que vous devez connaître⁸.

«Не полагает ли император, по фамилии моей, что я француз?» — думал я, и отвечал:

— Государь! я русский, и свободнее объясняюсь на отечественном языке, нежели на французском.

Государь как будто обрадовался, засмеялся, сказав: «Очень рад; ведь я русский; будем говорить по-русски». Погодя немного, император продолжал:

— Вы имели, я думаю, случай заметить, что я вашими трудами доволен. Писанные вами доклады не задерживались.

Я поклонился.

— Мне нужно иметь некоторые сведения. Балашов жаловался на вас, но я хорошенько не понял, в чем дело состояло?

— По долгу моему, я часто делаю представления г. министру, которые не всегда принимаются с тою благосклонностью, какой бы требовала чистота моих намерений. Впрочем, мне неизвестно, в чем состояла жалоба г. министра.

— Из присланной вами бумаги я вижу, что вы догадались. Вы, кажется, не хотели, вопреки желанию министра, контрасигнировать⁹ бумаги, им подписанные?

— Действительно, г. министр приказал мне заготовить циркуляры ко всем гражданским губернаторам, чтобы составить ревизские сказки всем раскольникам, находящимся в их губерниях. Я осмелился представить, что подобная мера может раскольников испугать, возжечь фанатизм, который пробуждать всегда опасно; может даже породить в них мысль, что раскол получает законную силу; и тогда число их значительно умножится. Наконец, полагал, что подобного циркуляра без высочайшего повеления отправить невозможно. Министр с негодованием объявил мне: «Я не совета у вас просил, а требовал исполнения». Циркуляры были заготовлены, но я воспользовался статьею Учреждения министерств, в силу которой я имел право не контрасигнировать.

— Вы очень хорошо сделали. Балашов все желает более и более пространства для своего министерства; он хочет завладеть всем и всеми. Это мне нравится не может. Вы не имеете причины бояться; можете говорить прямо. Что мы говорить будем, останется между нами.

— Не страх, государь, меня удерживает; я не осмелюсь говорить о том, чего не знаю и чего доказать не могу.

— Так отзывался об вас Армфельт, а прежде и сам Балашов, который становится мне крайне подозрителен. Вы знаете Сперанского?

— Нет, государь, я с ним не знаком.

— Вы можете познакомиться.

— Это, государь, не так легко. Какой предлог могу я иметь для знакомства с человеком, стоящим на столь возвышенном посту? Разве только под предлогом искать его покровительства, обманывать и сделаться презрительным в собственных своих глазах.

— Почему же? Я поручил то же самое (Балашову) и имею от него донесение.

— Я предоставляю каждому поступать и рассчитываться с своею совестью, как ему угодно; но я применять своей к обстоятельствам не умею.

— А если бы польза отечества того требовала?

— Я прямо пошел бы против того, который только задумал бы причинить оному вред; но, под личиною снискания себе покровительства, вонзить другому кинжал в сердце я неспособен. Рано или поздно, откровенность моя взяла бы верх, и я бы все испортил.

Император поцеловал меня в лоб, сказав:

— Балашов не так думает. Вот его донесение; читайте громко.

Я начал читать; содержание донесения было следующее: «Балашов, по высочайшему повелению, приехал знакомиться к Сперанскому». Я замолчал.

Государь спросил:

— Что вы остановились?

Я повторил «знакомится». Государь улыбнулся и приказал продолжать:

«Балашов пишет: приехав накануне, вечером в 7 часов, к Сперанскому, был он объят ужасом. В передней тускло горела сальная свеча, во второй большой комнате тоже; отсюда ввели его в кабинет, где догорали два восковые огарка; огонь в камине погасал. При входе в кабинет почувствовал он, что пол под ногами его трясся, как будто на пружинах, а в шкафах, вместо книг, стояли склянки, наполненные какими-то веществами. Сперанский сидел в креслах перед большим столом, на котором лежало несколько старинных книг, из которых он читал одну, и, увидя Балашова, немедленно ее закрыл. Сперанский, приняв его ласково, спросил: «Как вздумалось вам меня посетить?» и просил сесть на стоящее против него кресло, так что стол оставался между ними. Балашов взял предлогом желание посоветоваться: нельзя ли дать Министерству полиции более пространства? Оно слишком сжато, даже в некоторой зависимости от других министерств; так что для общей пользы трудно действовать свободно. Много говорили о тогдашней полиции Фуше; и наконец Сперанский, при вторичной просьбе Балашова о расширении круга действий министерства, сказал ему: «Разве со временем можно будет сделать это,— прибавив: — Вы знаете мнительный характер императора. *Tout ce qu'il fait, il le fait à demi*». Потом,

говоря далее об императоре, заметил: «Il est trop faible pour régir et trop fort pour être régi»^{*}.

Балашов заключил свое донесение просьбой к Сперанскому более не ездить.

Пока я читал, государь как будто всматривался в меня, прислонясь к стоящему пюпитру, подле которого находился я. Государь спросил: «Как вы это находите?»

Я молчал.

— Говорите откровенно.

— Ваше Величество! Я в комнатах Сперанского не бывал, и занимается ли он, как министр (Балашов), кажется, подозревает, чернокнижеством¹⁰, — не знаю. Но вот что меня удивляет: говорят, Сперанский человек умный; как решился он, при первом знакомстве, и с кем? — с министром полиции, так откровенно объясняться? Впрочем, та же фраза была сказана прежде о Людовике XV — это повторение.

Я довольствовался сими намеками, не желал явно повредить ни Балашову, ни Сперанскому, тем более что я во всем этом полагал мелкую дворцовую интригу, которая сама собой распадется. Однако внутренне негодовал на Балашова, который не посоветился представить такое пошлое, но вместе с тем злобное донесение на благодетеля своего; ибо Сперанский помог возвести его на степень министра полиции, дал ему даже право начертать Учреждение Министерства полиции, которое писал я; и, даже без поправки, Сперанский представил этот проект на утверждение государя.

— Балашов и Сперанский ошибаются, — сказал государь, — меня обмануть можно — я человек, но ненадолго, и для них есть дорога в Сибирь.

Кажется, государь высказал это сгоряча, ибо, улыбаясь, прибавил:

— Мы рассмотрим это с вами. Я решительно никому не верю.

Испуганный этим отзывом, я молчал.

— Однако же не мешает вам смотреть поближе за Балашовым; что узнаете, скажите мне.

— Государь! Он мой начальник.

— Я беру это на себя.

^{*} «Все что он ни делает, делается им вполнину». «Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым».

— Государь! Не прогневайтесь, если верноподданный осмелится умолять вас не доводить его до презрения к самому себе. Нет тайны, которая не была бы явна. Если злой умысел скрывается в Балашове или Сперанском, то он против истины не устоит; все развернется само из себя.

Государь отступил на шаг от меня, потом подошел и, пожав мне руку, сказал: «Прекрасно! но Армфельт ошибся; вы — не на своем месте».

— Нужда, государь! Семейство, места не избирают, повинуются обстоятельствам, случаю, но на всяком месте можно благородно поступать.

— Ваши правила, ваша откровенность мне нравятся, и в нынешних обстоятельствах они мне необходимы; смотрите, не перемняйтесь; мы часто будем видеться!

После нескольких минут молчания подошел я к государю и сказал: «Прискорбно мне будет утаить от министра тот важный час, в который я имел счастье предстать перед моим государем. Осмеливаюсь испросить на то приказания Вашего Императорского Величества».

— Вы более знать должны Балашова, нежели я; но вы меня компрометируете; я в свое время это ему сам скажу.

— Воля Вашего Величества будет исполнена.

Я поклонился; государь, улыбаясь, сделал прощальный знак, прибавив: «Мы скоро увидимся».

VIII

Ровно в 12 часов ночи возвратился я домой, и признаюсь, как будто отуманенный всем слышанным мною. К чему все это? Не серьезнее ли все, чем я прежде предполагал? Чем этот узел развяжется? И что, и чем я тут? Однако сплетение этих интриг меня пугало. Как против них устоять? Ну! Пусть будет, что судьбе угодно, сказал я и успокоился.

На другой день приехал граф Армфельт прямо из дворца и едва вошел в комнату, как вскричал: «*Qu'avez vous fait, mon cher?*»

— *Moi, m-r le comte?*

— *Oui, vous.*

— *Veillez bien me l'expliquer?*

— Sa Majesté vous a manifesté le désir pour que vous fassiez connaissance avec Speransky et que vous surveillez cet autre coquin Balacheff et vous avez osé refuser net!!

— Il faut qu'il y ait un mésentendu, m-r le comte. Un sujet russe ne peut rien refuser à son empereur, mais vu la clémence et la justice de son souverain, il lui est permis d'exposer les raisons qui l'empêchent de faire ce que la conscience lui défend.

— D'un seul coup vous avez renversé ce que vos amis et la fortune vous avaient préparé!

— Mais les amis auraient dû se convaincre auparavant si j'ai, les qualités requises pour remplir des fonctions contraires à mes principes et à ma religion.

— Ah, mon cher, avec ces bêtises on ne fait pas fortune, mais on la perd!

— Il est à savoir si je ne préférerai pas cette perte à tous les hochets d'une fortune qui m'avilierait à mes propres yeux.

— Tout ceci est bel et bon dans les romans, mais détestable dans la vie telle, qu'elle est, où le mal remporte sur le bien. Est-ce à force de vertus, que Speransky et Balacheff sont devenus ce qu'ils sont? Écoutez-moi tranquillement. L'empereur ne peut vouloir que le bien et pour y parvenir, il faut qu'il sache tout et qu'il connaisse les gens qui l'entourent. Quel autre moyen a-t-il que celui de les surveiller?

— D'accord, je trouve cependant plus juste de les surveiller avant de les élever si haut et puis chercher les surveillants dans la foule où il en plait, mais ne point proposer ces moyens d'existence à des gens qui ont le courage de vivre pour une idée et de mourir pour un mot.

— Vous êtes incorrigible, pensez-y. Vous avez femme et enfants, et avec ces belles idées vous n'irez pas loin; voyez le résultat, l'empereur ne vous n'appellera plus, et la fortune vous tourne le dos.

— M-r le comte, terminons une conversation qui ne peut être agréable à aucun de nous deux, d'autant plus que je suis comme vous venez de le dire incorrigible.

— Oui, vous l'êtes et un jour vous vous en repentirez, car les souverains aiment l'élévation, mais pas les sujets aux idées trop élevées. Remarquez cela.

— Si je ne gagnerai pas l'amour de mon souverain, au moins je garderai, comme homme, son estime et l'un vaut bien l'autre.

— Adieu! je vous enverrai Vernègues. Peut être parviendrat-il a vous faire entendre raison et vous faire cornprendre le mal que vous faites à votre famille*.

* — Что вы наделали, мой друг?

— Я, граф?

— Да, вы.

— Потрудитесь объяснить!

— Е. В. высказал вам свое желание, чтобы вы познакомились со Сперанским и наблюдали бы за другим негодяем, Балашовым, и вы осмелились отказать наотрез.

— Тут кроется недоразумение, граф. Русский подданный ни в чем не может отказать своему государю, но, зная великодушие и милосердие своего монарха, он имеет право высказать причины, препятствующие ему делать то, что запрещает ему совесть.

— Вы разом разрушили все то, что подготовили вам друзья и сама судьба ваша.

— Но друзья должны были бы сперва убедиться в том, имею ли я необходимые качества для исполнения обязанностей, противных моим убеждениям и верованиям.

— Полноте, друг мой, с этими глупостями не составишь карьеры, но погубишь ее.

— Дело в том, что я предпочту, может быть, отказаться от всех прелестей такой карьеры, которая уронит меня в моих собственных глазах.

— Все это прекрасно в романах, но непригодно в жизни таковой, как она есть на деле, где зло всегда торжествует над добром. Разве Сперанский и Балашов достигли своего настоящего положения благодаря своей добродетели? Выслушайте меня хладнокровно. Император может желать только добра, а для того, чтобы достигнуть этого, он должен знать все и знать также людей, окружающих его. Каким же путем он может достигнуть этого, как не следя за ними?

— Согласен; однако я нахожу более справедливым наблюдать за ними прежде, нежели они будут поставлены на столь высокий пост; наконец следует избирать надсмотрщиков из толпы, где их можно набрать массу, но не предлагать подобное средство к существованию людям, которые имеют храбрость жить для идеи и могут умереть за одно слово.

— Вы неправимы! подумайте об этом. У вас есть жена и дети, а с подобными убеждениями не уйдешь далеко; вот вам результат: император более не пригласит вас и счастье отворачивается от вас!

— Прекратим этот разговор, граф, который не может быть приятен для нас обоих, тем боле что, как вы сказали, я неправим.

— Да, вы неправимы, и со временем раскаетесь в этом, так как монархи любят все возвышенное, но не любят подданных со слишком возвышенными идеями, заметьте это.

— Если я не заслужу любви моего государя, по крайней мере, как человек, буду пользоваться его уважением; а одно стоит другого.

Из этого разговора понять можно, какого рода было участие Армфельта в этом деле, и ошибку его отрекомендовать меня, кажется, государю как человека, способного на подлое шпионство за Сперанским и Балашовым. Теперь понял я вполне и слова государя: «Армфельт ошибся». Наконец, из этого разговора я понять мог, что Армфельт и Балашов оба играют прежалкую роль и, желая подслужиться, запутывают только самих себя.

Вечером, поздно, явился Vernègues. Вероятно, зная неудачу Армфельта, дал всему другой оборот. Утверждал, будто государь восхищен моею откровенностью. На вопрос мой: от кого он слышал? отвечал: «От Армфельта».

«Странно,— сказал я,— что граф мне этого не сообщил».

Vernègues: Le comte vous aime beaucoup et a le désir le plus vif de vous servir, mais il gâte un peu par sa vivacité. Attaché de coeur et d'âme à la personne de l'empereur il voudrait l'entourer de gens comme vous, et s'il ne réussit pas tout de suite, le voilà qui s'emporte.

Я: Je vous dirai franchement, mon eher Vernègues, le comte devrait mettre moins d'empressement à me servir, car le parquet glissant de la cour n'est pas fait pour moi.

Vernègues: Allons, ne vous découragez pas. Suivez seulement les conseils du comte; c'est un vieux routinier, qui connaît par-faitement le parquet sur lequel il danse. Et il possède complètement la confiance de l'empereur,

Я: Je n'en doute pas, mais cela ne m'arrange nullement de jouer un rôle équivoque, sans savoir où cela peut mener.

Vernègues. Asperate, encore quelques jours et nous saurons à quoi nous en tenir.

Я: Grand merci! Vous et le comte vous me faites jouer a colin-maillard sans qu'il y ait quelqu'un qui crie: feu, gare, et je me trouve près d'un précipice.

Vernègues. Mon Dieu, prenez patience! Je vais vous confier un secret: il y aura un grand changement. La Russie sera sauvée, et c'est nous qui auront la gloire d'y avoir contribué.

Я: La Russie sera sauvée, mais où est le peril?

Vernègues. Attendez le dénouement. Deux ennemis de la Russie tomberont et avec eux Napoléon. L'année 1812 sera une année mémorable dans les fastes de la Russie.

Я: Vous me lancez là une quantité d'idées qui m'embrouillent et je ne sais comment m'y retrouver. Au reste dans la carrière que vous m'avez ouverte, je me suis mis des le premier pas hors du drame, car le comte m'a dit affirmativement que l'empereur ne m'appellera plus.

Vernegues. Comment! il vous a dit cela? Он задумался, потом прибавил: pas un mot, а qui que soit, du secret, que je vous ai confié.

Я: Vous pouvez être sûr qu'il sera scrupuleusement gardé, car je serais très embarrassé de communiquer un secret que je ne comprend pas*. Мы расстались; но разговор этот приподнимал немного тайную завесу, скрывающую будущее; но кто эти два врага России? Сперанский и Балашов что ли? И как это все похоже на комплот¹¹! И против кого? Наполеон, так и быть. Но Сперанский

* Пер. Вернег: Граф чрезвычайно любит вас и как нельзя более желает быть вам полезным, но он немного портит дело своею горячностью. Преданный душою и телом государю, он хотел бы окружить его людьми, подобными вам, и если это не удастся ему сразу, то он выходит из себя.

Я: Скажу вам откровенно, любезный Вернег, что графу не следовало бы так усердно заботиться обо мне, так как скользкий дворцовый паркет создан не для меня.

Вернег: Полно, не теряйте бодрости. Следуйте только советам графа, это старый рутинер, прекрасно знающий атмосферу, в которой он вращается, к тому же он пользуется полным доверием государя.

Я: Я в этом не сомневаюсь, но мне совсем неохота играть двусмысленную роль, не зная, к чему это может привести.

Вернег: Asperate, еще несколько дней, и мы будем знать, в чем дело.

Я: Благодарю покорно! вы с графом заставляете меня играть в жмурки, и никто не закричит мне: берегись! а у меня под ногами пропасть.

Вернег: Боже мой, имейте терпение. Я сообщу вам секрет: нам предстоят большие перемены. Россия будет спасена, и нам будет принадлежать слава, что мы этому способствовали.

Я: Россия будет спасена, но какая же ей грозит опасность?

Вернег: Подождите развязки. Два противника России падут, а вместе с ними падет и Наполеон. 1812 год будет памятным годом в летописях России.

Я: Вы подали мне множество мыслей, среди которых я теряюсь, не находя правильного исхода. Впрочем, в карьере, которую вы подготовили мне, я с первого шага стал вне борьбы, так как граф сказал мне положительно, что государь более не призовет меня.

Вернег: Как, он сказал вам это? Прошу вас никому не говорить ни слова о том секрете, который я вам доверил.

Я: Можете быть уверены, что я сохраняю его добросовестно, так как мне было бы трудно передать секрет, которого я не понимаю.

и Балашов для чего? Потому и дипломатика тут замешалась; а дипломатика и интрига есть поле, на котором Армфельт отличался при разных европейских дворах. Vernegues и Армфельт работали, следовательно, для Бурбонов.

На другой день вечером я был с докладом у министра; я заметил, что он слушал без внимания. Я хотел уже удалиться, но министр приказал мне подождать и после нескольких минут молчания сказал мне:

— Я в странном положении; Сперанский впал у императора в подозрение. Государь, который мне вверяет все тайны свои, приказал мне иметь над ним бдительный надзор. Наконец, желал, чтобы я с ним познакомился поближе и старался бы выведать его мнение насчет государя и прочего. Я исполнил его волю, был у Сперанского и доложил словесно, что видел и слышал. Император был очень доволен и приказал все изложить на бумаге.

Тут рассказал мне Балашов все ужасы, претерпенные им в комнатах Сперанского, и слово в слово все то, что я уже знал.

— Теперь, — продолжал министр, — кажется, государь сомневается в истине слов моих. Не довольствуется моими показаниями и требует все доказательства Я, право, не знаю, что делать? Мне хочется вас на это употребить.

— Меня, ваше превосходительство? Вы знаете, как мало я на это способен, не ловок. Идти прямо — я смело пойду; но идти кривыми путями — это лабиринт, в котором я растеряюсь. Да и войдет ли Сперанский в такую со мною откровенность, как с вами? Вы оба находитесь на таком посту, что можете друг с другом откровенно объясняться; а я Сперанского только один раз видел, и то издалека.

— Я мог бы дать вам к нему письмо, чтобы представить ему некоторые затруднения по Министерству полиции, и просил бы от моего имени, как бы все получше устроить.

— Что же будет, ваше превосходительство? Сперанский станет ли со мною говорить? Верно, скажет: хорошо, я сам с министром переговорю; следовательно, все останется по-прежнему.

— Вы не хотите? я скажу Бологовскому¹², он дружен с Магницким, а этот со Сперанским.

— Вот это ближе к делу, если Бологовский на это согласится.

— Он меня любит, и сомнения нет; прощайте!

Что дальше, то хуже, — думал я, выходя от министра полиции; *me voila entre deux feux*!¹³ просто хоть бежать. Однако мне жаль было Балашова. Вот что значит хитрить и поставить себя по произволу своему в фальшивое положение! Вынуждену быть лгать и, может быть, так запутаться, что и выхода не будет.

IX

Является Зиновьев, с приказанием прибыть к государю, который принял меня в тех же комнатах.

— Я был так занят эти дни, что не мог вас видеть. С Балашовым у вас дурно?

— Правда, государь! я не пользуюсь более прежним расположением министра.

— Какая тому причина? — сказал государь, улыбаясь.

— Наверно этого сказать не могу.

— Не знает ли он, что вы у меня бываете?

— Он мне даже о том не намекнул.

— Я считал Балашова умнее; хочет служить и мне, и себе, и споткнулся. Все его донесения самые пошлые, и это заставляет меня более и более его подозревать.

Я молчал.

— Везде ловлю Балашова во лжи. Он говорил мне, что употребляет доктора Эллизена, как франкмасона, для присмотра за Сперанским; между тем слышно, что Бологовский беспрерывно ездит от Балашова к Магницкому, а от этого к Сперанскому и Балашову.

— Государь! Эллизен мой доктор; я его хорошо знаю. Защищать невинного — есть долг каждого честного человека, особенно перед августейшим лицом императора. Эллизен не решится на подобный поступок.

— А как вы думаете о Бологовском?

— Я знал его в Москве, по дому князя Козловского, который женат на его сестре; вижу здесь у министра, с которым он с малолетства дружен.

— Вы знаете, что такое Бологовский? (Государь объяснил, что Бологовский один из злодеев и что этот человек называл его отца: *voila le tyran*...)¹⁴ Каково же мне теперь знать связь между

министром полиции, Магницким, и Сперанским, и Бологовским, qui n'a ni foi, ni loi, donc est capable de tout!¹⁵

Государь начал ходить по комнате, остановился и, обратясь ко мне, сказал:

— Вы франкмасон или нет?

— Я в молодости был принят в Ревеле; здесь, по приказанию министра, посещал ложу Астреи.

— Знаю; это ложа Бебера. Он честный человек; брат Константин бывает в ложе его. Вам известны все петербургские ложи?

— Кроме ложи Астреи, есть ложа Жеребцова, Шарьера и Лабзина.

— А Сперанского ложу вы забыли?

— Я об ней, государь, никакого понятия не имею.

— Может быть; по мнению Армфельта, эта ложа иллюминатов, и Балашов утверждает, что они летом собираются в саду у Розенкампа, а зимою у того и другого в доме. Нельзя ли вам поступить в эту ложу?

— Государь! Если это в самом деле орден иллюминатов, то оный совершенно различен от франкмасонского; здесь каждая ложа доступна каждому франкмасону; но надобно быть иллюминату, чтобы вступить в их собрание.

— Балашов сам вступил в ложу Жеребцова.

— Знаю, государь, от самого министра, и удивляюсь, каким образом министр полиции принят в сотрудники и собраты.

Государь засмеялся.

— Я думаю, нетрудно будет на почте перехватить переписку иллюминатов с головою их Вейс-Гауптом? Балашов говорит, что Сперанский регентом у иллюминатов.

— Я сомневаюсь, государь, как мог он узнать тайну, которая так строго соблюдается между иллюминатами.

— Почему не вступили вы в ложу Жеребцова?

— Я предпочел ритуал немецкий. Он проще; французский слишком сложен, театрален и не соответствует настоящей цели франкмасонской.

— Я не постигаю: в чем состоит эта цель?

— Слова: иллюминат, франкмасон обратились как будто в брань; но в корне своем ложи не иное что, как школа духовного

развития и возвышения человека. О злоупотреблениях молчу; где их нет?

— А для этого и надобно, чтоб тайных лож от правительства не было; а ложа Сперанского или Розенкампа должна обратить на себя внимание полиции.

— Если бы Вашему Императорскому Величеству угодно было спросить обо всем самого Сперанского, я почти уверен, что он во всем открылся бы Вашему Величеству.

— Это еще вопрос. Он человек чрезвычайно тонкий и хитрый; должен бы сам мне в том сознаться. Однако вы его порядочно отстаиваете.

— Государь! я Сперанского не знаю; и сам он то подтвердить может. Я не думаю отстаивать Сперанского, а человека, который оклеветан быть может. Нужны ясные, неоспоримые доказательства. И перед кем клеветать? Перед государем, владыкою всех нас, перед которым, как перед Богом, ничего скрытого быть не должно.

Государь поцеловал меня в лоб, сказав: «А за себя вы еще лучше заступаетесь».

Но я уже вошел в жар и прибавил: «Я могу Сперанского обвинить в том, что он взялся не за свое дело; ибо нововведенные министерства, à la Française, à l'anglaise, à la Suisse¹⁶, не пустили и долго не пустят корней на земле русской; но опутать его клеветой я нахожу неприличным, неблагородным, низким».

Государь, взяв меня за руку, отвечал:

— Ваши правила делают вам честь, и для того прощаю вам эту благородную вспышку. Aussi vous ai-je attaqué*! Но вы людей не знаете; не знаете, как они черны, неблагодарны, и как они умеют во зло употреблять нашу доверенность. К чему было Сперанскому вступать в связь с министром полиции? Он был у меня в такой доверенности, до которой Балашову никогда не достигнуть, а может быть, никому. Один — пошлый интриган, как я теперь вижу; другой умен; но ум, как интрига, может сделаться вредным.

Я молчал. Государь приказал подать чаю и потчевал меня. Много шутил, сказал про Армфельта:

«Он хлопочет, прислуживается, чтобы урвать у меня на приданое побочной дочери своей». — Про Балашова: «Вышел голубчик из нечистенького домика, притворился пьяным, и будочник

* Пер.: За это я и нападал на вас.

поколотил». Про Yernegues: «C'est l'amant déclaré de madame la comtesse Т...». Наконец прибавил: «Il faut employer Бологовский pour les exterminer tous»^{*}.

Отпуская, государь приказал мне прислать в запечатанном пакете полученное от Груннера, берлинского обер-полицмейстера, учреждение франкмасонских лож.

— Зиновьев — человек верный и живет в Михайловском дворце; вы присылайте мне, коли что нужно будет, краткую записку через него.

Х

Через несколько дней является Бологовский и просит у меня совета: продолжать ли ему быть посредником между Балашовым, Магницким и Сперанским, ибо это ему кажется опасным?

Я: Да разве ты их сводишь?

Бологовский. Балашов меня просил; как отказаться?

Я: Так что же! Я думаю, и та, и другая партия тобою довольны?

Бологовский. Да! Да мне дают такие вещи переносить, которые меня пугают. Как бы не попасть в беду?

Я: Вот это дело другое; по-моему, лучше бы было вовсе с ними не связываться.

Бологовский. Неужели Балашов меня выдаст?

Я: А почему же бы и не так? Ведь он министр полиции.

Бологовский. Ну! так те меня поддержат.

Я: А как никто?

Бологовский. Ты меня пугаешь.

Я: Совсем нет! а говорю только то, что случиться может. Так, по-моему, лучше бы не связываться с хитрецами. Пусть сами делают, как хотят.

Мы расстались. Через несколько часов Бологовский возвращается и говорит мне: «Сперанский и Магницкий велели тебе сказать: если ты еще будешь так дурно отзываться о Балашове, то они доведут это до (его) сведения, и тебе будет дурно».

^{*} Пер.: Про Vernegues: «Это известный любовник графини Т...». «Нужно воспользоваться Бологовским для того, чтобы всех их уничтожить».

— Спасибо! — сказал я, — может быть, я и в самом деле ошибся. Им лучше все знать должно.

Вот новое доказательство, сказал я самому себе, что никто остановить не может быстрого натиска колеса судьбы, и горе тому, кто, желая остановить это стремление, ухватится за спицы! Будет без рук, без ног, пожалуй, без головы.

Этот день был предшественником бурь. Балашов рассказал мне:

— Государь прогневался на жену Н. З. Хитрово, которая, быв у Коленкура на вечеринке, принесла ему при всех скамейку, чтобы он уложил на нее свою больную ногу. Велено иметь за Хитрово бдительный надзор. Не знаю, кто донес об этом государю. Государь думает, что это имеет связь со Сперанским; ибо Воейков, правитель канцелярии военного министра, в связи с Магницким.

Относительно меня, я подозревал самого Балашова в этом доносе. Он имел привычку подобные услуги приписывать неизвестному или тому, на кого был сердит. Но я молчал, потом сказал: «Жаль, что государя тревожат подобными рассказами, часто не очень верными, но всегда производящими неприятное впечатление».

Балашов. Что делать? Без этого обойтись нельзя.

Я: Могу ошибаться, но, по моему мнению, право, не стоит того, чтобы присматривать за русскими; поболтают, покритикуют, может быть, и побранят; а дойдет до дела, все: «падам до ног». Просто послать таких говорунов на экзекуцию розгами к Лаврову и дело с концом.

Балашов. Так вы полагаете, что шпионство не нужно?

Я: За иностранцами, — согласен; но за русскими, — нет! Вообще, заметил я, что у нас шпионство делается *argès cour*¹⁷; тут и надзор; а я полагаю, лучше предупредить зло, нежели верить одним доносам, которые подвергать надобно исследованию, строгому рассмотрению, а кто донесет лживо, того наказывать.

Балашов. Вы, кажется, берете на себя слишком много; не хотите ли свои законы издать? Что вы так смело говорите? Между нами не может быть ни приязни, ни дружбы: расстояние слишком велико.

Я: Я почел долгом отвечать на вопрос вашего превосходительства, не мечтая ни о дружбе, ни о приязни; впредь буду молчать. — И вышел.

Приехали ко мне Армфельт с Vernegue'ом.

— Vous avez gagné du terrain dans l'esprit de Sa Majesté, mais il y a du mauvais. Sa Majesté en me parlant de vous, m'a dit: je ne puis jaraais avoir raison avec lui.

Я: J'espère que c'est ua simple badinage de la part de Sa Majesté, car il n'a qu'a trancher le mot a ordonner, et je dois exécuter.

Vernegucs. Oui, mais vous êtes un peu récalcitrant, vous avez toujours des objections.

Я: Apparemment parce qu'on me permet de les faire et qu'il les trouve fondées sur le vrai.

Армфельт. Mais, mon cher, il est question de faire un chemin, et je vous annonce que vous resterez comme vous êtes. Vous avez un exemple: Каразин qu'a-t-il gagné? Il a aussi voulu faire le moraliste, il est vrai, dans d'autres circonstances; il a voulu changer, c'était trop tard. Je vous prie de me dire: pour-quoi prendre si chaudement le parti de Speransky et de Balachoff?

Я: М-г le comte! Est ce qui c'est prendre le pavti d'un quel-qu'un, que de ne poiirt accepter les calomuies les plus sottes et les plus extravagantes. Ne vaut il pas mieux attaquer de front? Pour ce qui regarde Balachoff, il est mon chef; quel besoin ai-je d'accabler un homme qui se condanme lui (??тѣше) par les plus plattes dénonciations? Que diriez vous si l'on vous calomniait et que j'aille souffler les étincelles qui tomberaient sur vous?

Армфельт. Vous voulez sauvez quelqu'un sans penser que cela tombera sur vous. Vous ne sauurez personue, et vous couperez votre carrière.

Я: Je ne veux qu'une chose, d'aller droit conformément à mes principes. Le resultat ne me regarde pas, car il ne depend pas de moi.

Армфельт к Vernegue'y: Vous voyez, il n'y a rien à faire!

Vernegues. М-г le comte, il ne peut plus changer de conduite; changer serait se perdre aux yeux de l'Empereur.

Армфельт ко мне: Je crois que Sa Majesté vous appellera ce soir ou demain. Balachoff lui a présenté un document incontestable de la felonie de Speransky, et vous n'aurez plus rien a dire. Adieu.

Vernegues. Remarquez bien, mon chère! Pour faire fortune auprès des rois, il faut leur cacher qu'on a plus de vertu qu'eux et même leur exposer un côté faible pour leur faire croire, qu'ils nous surpassent*.

Боже мой! думал я, если эти хитрецы правы, то справедлива русская пословица: «близ царя — близ огня».

Вечером принесены были мне все бумаги, захваченные у Хитрово¹⁸, в минуту его отправления. Как я ни рылся, но и тени того не было, о чем мне Балашов объявлял. Одни только письма Константина Павловича, которые компрометировали не Хитрово, а супругу его, — не говоря о многочисленных других интригах. Я почел долгом, через Зиновьева, довести это обстоятельство до сведения государя. Велено было, через Зиновьева, их представить. Я получил некоторые обратно, с приказанием вручить их

* Пер.— Вы выиграли во мнении монарха, но ваши дела не очень хороши; Е. В., говоря о вас, сказал мне: с ним я никогда не могу сделать по-своему.

Я: Надеюсь, что это не более как шутка со стороны Е. В., так как ему стоит только сказать решительно, приказать, и я должен исполнить.

Вернег. Да, но вы немного упрямы и на все имеете возражения.

Я: Без сомнения, потому, что мне позволяют высказывать их и находят, что они основаны на истине.

Армфельт. Но, друг мой, вам необходимо сделать карьеру, и я предсказываю вам, что вы не пойдете далеко. Вы имеете пример в Каразине: что он выиграл? Он также хотел читать нравоучения, правда, при других обстоятельствах, хотел переделать, но было уже поздно. Скажите мне, пожалуйста, почему вы так горячо принимаете сторону Сперанского и Балашова?

Я: Ваше сиятельство, разве не верить самой глупой, самой невероятной клевете значит брать чью-либо сторону? Не лучше ли напасть на человека открыто? Что же касается Балашова, то он мне начальник; какая мне надобность обвинять человека, который осуждает сам себя самыми гнусными доносами? Что бы сказали, если бы вас оклеветали, а я бы еще более стал раздувать пламя?

Армфельт. Вы хотите кого-нибудь спасти, не думая, что это падет на вас же. Вы никого не спасете и испортите себе карьеру.

Я: Я желаю только одного: действовать согласно моим убеждениям. Результат меня не касается, так как он не зависит от меня.

Армфельт к Вернегу. Видите, что тут ничего не поделаем.

Вернег. Ваше сиятельство, он не может изменить своего образа действий; изменить его значило бы уронить себя в глазах императора.

Армфельт ко мне. Я думаю, что Е. В. пригласит вас к себе сегодня вечером или завтра. Балашов представит ему несомненное доказательство вероломства Сперанского, и вам не останется более ничего сказать. Прощайте!

Вернег. Заметьте, мой друг, для того, чтобы выиграть во мнении монархов, следует скрывать от них, что мы добродетельнее их, и даже следует выказать им свои слабые стороны, чтобы они могли думать, что сами они превосходят нас.

г. министру, для доклада. Я представил их, при реестре всех прочих бумаг, г. министру.

— Есть ли тут записки Воейкова? — спросил Балашов.

— Есть, — отвечал я, — но все пустые, относящиеся более, как и прочие, к Анне Михайловне Хитрово.

— Не было карты России? — спросил министр.

— В числе присланных ко мне бумаг ее нет.

— Да! я и забыл, — прибавил Балашов. — Я ее представил государю. Слава богу, — сказал он, — кажется, сомнения государя на мой счет исчезли. Жаль, очень жаль, что из Киева получено с контрактов письмо на имя Сперанского, которое его сильно компрометирует.

Я: Бедного Сперанского теснят со всех сторон. Наконец, вся эта шутка государю надоест, и его, как Хитрово, отправят. Любопытно было бы узнать: догадывается ли Сперанский, что за спиной его делается?

Балашов. Не думаю; все что-нибудь да проскользнуло бы, но он хорош с Кочубеем и Мордвиновым. Они его поддержат.

Я: Неужели он на них надеется? В роковую минуту все откажутся.

Балашов. Как вы решаетесь судить о людях, стоящих на столь возвышенных постах? В них, верно, более возвышения, нежели в людях, стоящих на средних или низких ступенях службы.

Я догадался, хотя и поздно, что Балашов завел весь этот разговор, чтобы меня как-нибудь кольнуть, и отвечал:

— Виноват, ваше превосходительство! Правда, трудно нашему брату судить о людях, стоящих так высоко.

Балашов, обрадовавшись, сказал:

— Тут нужно знать все обстоятельства подробно, быть в связи с людьми, которые на высоте, быть в доверии у государя, а не быть подчинену частному лицу.

Я промолчал и откланялся.

Возвратясь домой, я крайне на себя досадовал, увидя, что выхожу совершенно из своего характера; прежде не скрывал ничего, говорил всегда правду, как она мне казалась и как ее чувствовал. Теперь притворялся, соглашался с безрассудством. Это меня до такой степени беспокоило, что я решился проситься в отставку.

На другой день, в 6 часов пополудни, я призван был к государю.

ХІ

— Стех пор, как мы не видались, — сказали император, — сколько происшествий! Кто мог бы подумать, что русский Хитрово мог сделаться прислужником Коленкура? Хорош и Воейков! Как выпустить из рук карту с означением маршрута армии в Вильно.

— Я, государь, этой карты не видал.

— Она у меня, — сказал государь.

— Не выкрадена ли эта карта у Воейкова? — отвечал я.

— Нет! она прислана к Магницкому, который ее передал Хитрово. Спасибо Балашову, который перехватил.

— Государь, я Воейкова не знаю, но удивляюсь, как на это решиться.

— Странно, что не только Воейков, но и сам военный министр утверждают, что на посланной к Магницкому карте никаких знаков карандашом не было; следовательно, Хитрово чертил сам. Но всё, Воейков виноват.

— Конечно. Хитрово мог бы ее купить у книгопродавца и чертить по своей воле.

— Вы военного министра не знаете? я хочу вас с ним сблизить. Он человек честный и отличный генерал.

Я поклонился.

— Вот еще новость, — и, с сими словами, подал государь мне распечатанное письмо. Я прочитал надпись: «его высокопревосходительству м. г. Михаилу Михайловичу Сперанскому. В С.-Петербург». — Сбоку приписано: «со вложением 80 т. руб. ассигн.»

Пока я рассматривал конверт, государь смотрел на меня пристально.

— Что вы так рассматриваете?

— Это получено не по почте, печатей казенных нет.

— Балашов мне письмо представил; прочтите.

Это письмо было из Киева с контрактов, в котором поляки благодарили за все доставленные им выгоды и в знак благодарности просили принять посылаемые 80 тыс. руб. асс.

— Что скажете?

— Судя по конверту, не знаю: могли ли тут уложиться 80 т. Но если могли, представлены ли Вашему Величеству?

Государь ударил себя в лоб, сказав:

— Как мне это на ум не пришло? Письмо было уже распечатано.

— Следовательно, и деньги у него.

— Прекрасно! Я их потребую; а вам легко с Сперанским познакомиться; вы важную оказали ему услугу.

Я видел, что не столько относилось ко мне, как с досады на неудачу, и отвечал:

— Мне хотелось бы, государь! хоть счесть эту сумму, ибо я никогда такой огромной в руках не имел.

Государь улыбнулся.

— Я доставлю вам это удовольствие, если Балашов мне деньги принесет, в чем, однако, сомневаюсь, — он сам до них охотник.

Я молчал.

Государь взял листок бумаги, что-то написал, свернул и, запечатав, сказал мне: «Отдайте это завтра Гурьеву. Кстати, купите мне «Походы эрцгерцога Карла» — это большое издание с картами. — Прощайте».

Едва успел дойти до дверей, как государь меня воротил.

— Я было и забыл вам возвратить франкмасонские бумаги. Завтра вы будете разъезжать по моим делам.

И, возвращая бумаги, вручил мне незапечатанную записку с сими словами: «Покажите эту записку Беберу, а в первый раз предложите сами в ложе, чтобы он выбран был гротсмейстером. Бебер и вы мне отвечать будете во всем том, что в ложе происходить будет; но чтоб моего имени в ложах не было. Относительно протоколов лож, представляйте их мне через министра полиции. Показав записку Беберу, вы мне ее возвратите».

Вот слово в слово содержание записки: «Je suppose que le but de la loge est noble et tend à la vertu, que les moyens à y parvenir sont fondés sur la stricte morale et que toute tendance politique en est proscrite. En ce cas la loge jouira de la bienveillance générale, avec laquelle, d'après le sentiment de mon coeur, je protège tous les braves et fideles sujets, dévoués à son Dieu, à l'état et à moi. Mais pour savoir si la société maconique est conforme au but que je lui suppose, j'ordonne que les travaux et protocols de chaque loge me soient exposés afin de me procurer les éclaircissements nécessaires sur la législation, le maintien dn bon ordre et la direction des affaires. En cas de désordre il faut que je sache à qui m'en prendre»*.

* Пер.: Я полагаю, что цель ложи благородная и стремится к добру, что средства

ХІІ

На другой день поехал я к Беберу, который крайне испугался, но утешился, узнав, что я с ним вместе буду. От него был у военного министра, который сказал мне по-немецки:

— Это все глупости; сердят государя, а в этом ваш Балашов великий мастер. Расстаться с Воейковым мне прискорбно будет: я к нему так привык.

Отсюда поехал я к министру финансов. Тотчас ввели меня в кабинет, и я вручил ему императорскую записку. — Гурьев спросил у меня: «Когда угодно вам получить деньги?» Этот вопрос меня ошеломил. Но я спохватился, сказав:

— Государю угодно, чтобы я их ныне получил.

— Вероятно, это вам?

— Мне приказано их представить государю.

Тотчас велено было одному чиновнику ехать со мною в казначейство, где мне немедленно выдали 5 тыс. руб. асс. Я просто ничего не понимал. Отправить ли мне деньги через Зиновьева? Но приказа не было. Решился дожждаться призвания.

Вдруг пришла мысль: не дано ли это мне, и не оканчивается ли тем моя придворная служба? Признаюсь: мысль это меня радовала; но денег без приказа оставить у себя нельзя. Дождусь: если не пришлет государь за мною, отправлю через Зиновьева.

Отношения мои к Балашову становились со дня на день хуже и затруднительнее. Он ко всему придирался и негодование свое обнаруживал так неловко, что я мог догадываться: верно, он узнал об отлучках моих.

Здесь нужно, для пояснения, обратиться к самому себе. Положено было, чтобы я вручал министру доклады, представляемые государю, всякий вечер в 7 часов. Теперь в этот час стал меня требовать к себе государь; какую причину я мог поставить на вид министру? Незадолго перед тем выпросил я себе в това-

к достижению его основаны на строгой нравственности и что ложи исключают всякую политическую тенденцию. В таком случае она будет пользоваться общей благосклонностью, с которою я по моим чувствам покровительствую всем верным и честным подданным, преданным Богу, государству и Мне. Но чтобы знать, согласуется ли масонское общество с той целью, которую я в нем предполагаю, я повелеваю, чтобы мне представлялись труды и протоколы всякой ложи, которые доставят мне надлежащие разъяснения относительно законодательства, поддержания порядка и управления делами. В случае беспорядков мне необходимо знать, кого следует в них винить.

риши Фока. Он женат был на дочери доктора Фреза в Москве. Фрез был доктором покойной моей матери, которая была крайне им довольна. Как будто в память усопшей матери я предложил Фоку быть при мне, а он занимал незначительное место дежурного офицера, для записки получаемых и отправляемых министром писем. Я уповал, что он, из благодарности, меня не выдаст. Частые мои отлучки заставили меня открыться Фоку, и я предоставил ему, во время моих отлучек, ходить к министру с докладами, которые особенной важности не заключали*.

Вечером в 7 часов я был призван к государю. У маленького подъезда принял меня Зиновьев с сими словами: «Государь приказал перед вами извиниться; неожиданно приехал военный министр с нужными делами. Государь просит вас здесь подождать». Он ввел меня в маленькую уборную государя, где он изволил ежедневно переодеваться после прогулки. «Государь приказал вас потчевать», — сказал Зиновьев, и, действительно, подали чаю, сухарей и проч., даже царскую трубку, которую я преисправно выкурил.

В 9 часов провел меня Зиновьев в первый раз в большой кабинет императора.

— Мне нельзя было, — сказал государь, — не принять военного министра, но, впрочем, я, как хозяин, велел вас угощать.

Я поклонился.

— Нам более прятаться нечего. Балашов, видно, догадался, хотя явно не говорит, а очень хвалит Фока. Что это за человек?

— Он человек, государь, не дурной, но, вероятно, обольщенный важными выгодами в будущем, он меня, своего благодетеля, выдал.

— Это не рекомендация, однако доказывает человека способного. Интриганы в государстве так же полезны, как и честные люди; а иногда первые полезнее последних.

Развязывая пакеты, думал я: не очень же выгодно быть честным человеком и, правду сказать, немного испугался этого отзы-

* С Фоком читатели «Русской старины» хорошо знакомы. Этот весьма образованный, тонкий и весьма хитрый человек владел отлично иностранными языками, приобвыкнуши, с легкой руки Я. И. де Санглена, многими годами к службе по секретной полиции, был впоследствии правою рукою шефа жандармов, гр. А. Х. Бенкендорфа. Обширные донесения Фока своему начальнику в 1826 г. напечатаны, в переводе с французского, в «Русской старине». 1881. Т. XXXII. С. 161—194, 303—336, 519—660.

ва.— Во-первых, вручил я государю «Походы принца Карла» и, при книге, расписку Клостермана, что заплатил 200 руб. асс.

— У меня примета: я никогда при себе денег не держу, но я прикажу вам их отдать,— сказал государь.

Во-вторых, возвратил обратно данную записку Беберу и доложил, что Бебер выбран гроссмейстером, а я его товарищем.

— Поздравляю,— сказал государь,— улыбаясь.

Наконец подал запечатанный пакет с деньгами.

— Это что?

— Полученные по приказанию Вашего Величества деньги от министра финансов.

— Эти деньги следуют не мне, отдайте их супруге вашей, она будет уметь с ними распорядиться.

Я принес государю мою благодарность за себя, за жену и детей. Государь, взяв меня за руку, сказал:

— Les petits cadeaux entretiennent l'amitié¹⁹.

— Если это так, государь, то с моей стороны, для поддержки милостивого Вашего Императорского Величества расположения, уже никаких средств нет.

Государь засмеялся.

— Я вами доволен,— сказал он,— этого достаточно; жаль, что у вас все испортилось с Балашовым, это вам повредить может.

— Я поступал, государь, согласно с повелением совести и чести, а в доказательство, что я ничего не ищу, кроме их удовлетворения, осмеливаюсь просить позволения подать в отставку.

— Пока я жив, этого не будет; но все бы лучше, если бы вы умели сохранить и расположение Балашова. Впрочем, вам бояться нечего.

— Государь! я давно желал прибегнуть к Вашему Величеству с этой просьбой, теперь осмеливаюсь повторить вам оную.

Государь нахмурил чело и отвечал:

— Я этого не люблю; что раз решил, того не переменяю.

Я замолчал. Государь сел в кресло и начал чинить перо. После нескольких минут молчания сказал: «Садитесь», указывая на место подле себя. Я поклонился. Он повторил:

— Садитесь сюда. Я немного крепок на уху.

Я сел.

— Из донесения графа Ростопчина о толках московских я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он, в учреждениях министерств и совета, хитро подкопался под са-

модержавие.— Государь остановился, потом продолжал,— граф Марков²⁰ отзывается о нем дерзко и предсказывает ужасную будущность, которую нанесет Наполеон России. Здесь, в Петербурге, Сперанский пользуется общею ненавистью, и везде в народе проявляется желание ниспровергнуть его учреждения. Следовательно, учреждение министерств есть ошибка. Кажется, Сперанский не совсем понял Лагарпа, моего наставника, которого люблю и почитаю, как только благодетеля любить и чтить возможно. Я дам вам этот план. Сравните оный с учреждением и скажите ваше мнение о министерствах. Лагарп писал по-французски, и вы пишете на том же языке.

Пока я завертывал сочинение Лагарпа в бумагу, государь позвонил и вошедшему камер-лакею приказал дать что-нибудь ужинать. Подали, государь выкушал рюмку шамбертена, отведал жареных рябчиков, леща, желе и потчевал меня. Мы во все время стояли, государь был очень весел и шутил насчет своих приближенных.

— Хорошо я окружен,— говорил он,— Козодавлев плутует, жена его собирает дань. Балашов мне 80 тыс. руб. не дает. Я пристаю, он утверждает, что пакет найден без денег. Все ложь! Граф Т... твердит уроки Армфельта и Вернега, который живет с его женой. Волконский беспрестанно просит займы 50 тыс. на 50 лет без процентов. Насилу я с ним сошелся на 15 тыс. без возврата. Вот все какие у меня помощники!

— Я сменил бы их.

— Разве новые лучше будут? Эти уже сыты, а новые за тем же все пойдут.

Я воротился около двух часов пополуночи домой, и весь разговор этого вечера пал мне тяжело на душу. Итак, говорил я сам себе, Армфельт прав... со справедливостью недалеко уедешь: передай я Балашову первое мое свидание с государем, что мне было им запрещено, путь к так называемому возвышению, хоть и бесовестному, был бы открыт. Больно мне было подумать, что Александр Павлович предпочитал интригу...

На другой день ко мне приехал Армфельт.

* Напомним по этому поводу, что горькие жалобы императора Александра Павловича на его приближенных, за время гораздо ранее описываемых событий, приведены в известной книге графа М. А. Корфа: «Восшествие на престол императора Николая».

АЛЕКСАНДР I

XIII

— Eh bien, mon cher, — сказал мне Армфельт. — Je vous l'ai predit et vous n'avez pas voulu écouter ni moi ni Vernègues. Ce coquin de Balachoff, justement parce qu'il est coquin, s'est dressé et est inébranlable sur son poste. On le craint et je commence à croire que Speransky est un honnête homme, parceque e'est lui et vous qui payerez les pôts cassés.

Я: Qu'y a-t-il à faire? Mais je puis vous assurer que, si la chose était à recommencer, je n'agirais pas autrement.

Армфельт: Monsieur, votre mère aurait du vous mettre au monde du temps des chevaliers de la table ronde.

Я: C'est du sarcasme, je vois très bien le gouffre devant moi; tom-bons s'il le faut, mais n'abandonnons pas nos principes.

Армфельт: Tout n'est pas perdu encore. L'empereur vous a com-mandé un papier sur les ministères, arrangez bien Speraусky, cela plaira.

Я: Vous me faisiez l'honneur de me nommer chèvealier de l'ancienne roche et maintenant vous me recommandez les bassesses de notre temps simplement pour parvenir. Est ce que cela vaut bien la peine, quand la vie et tout ce qui l'entoure ne vaut pas le sou.

Армфельт: Je voudrais comprendre la philosophie qui vous a inculqué ces principes. Encore si vous pouviez sauver quelqu'un, d'accord, mais je vous dis, c'est impossible; et vous allez vous perdre, et pour qui?

Я: Pour la bonne cause, pour l'auguste vérité.

Армфельт: Pa-per-la-pap! Sachez que Speransky, fautif on non, doit être immolé, c'est indispensable pour rallier la nation au chef de l'état et pour une guerre qu'il faut rendre nationale?!

Я: C'est possible, mais pourquoi avoir recours à des moyens méprisables. Supposons qu'on me le propose et de grand Coeur je me donne en holocauste. Mourir pour une bonne cause est un sort digne d'envie.

Армфельт: Et ceux aux quels vous avez à faire, sont ils à la même hauteur? Comprennent-ils l'élan généreux du devouement chevaleresque? Donc quels sont les autres moyens que les souverains peuvent avoir si non la dénonciation, la calomnie etc. etc. Faites moi l'amitié de jeter votre philosophie au diable et vivre comme nous.

Я: Avec plaisir, car je suis décidé a prendre congé.

Армфельт: Encore une bêtise. Adieu*.

Этот разговор открыл мне тайну, что Сперанский назначен неминуемо быть жертвою, которая, под предлогом измены и по питаемой к нему ненависти, должна соединить все сословия и обратиться в предстоящей войне всех к патриотизму.

Публика, подстрекаемая тайною, ибо явного преступления не было, толковала все по-своему, называла Сперанского изменником, а меня открывшим его небывалое преступление.

Балашов уже не требовал меня к себе, как только в тех случаях, в которых Фок найтись не умел. Я, увидя это, сдал Фоку как товарищу все текущие дела, а себе предоставил доклады госуда-

* Армфельт: Ну что, любезный друг, я предсказывал вам, а вы не хотели слушать ни меня, ни Вернега. Негодай Балашов, потому именно, что он негодай, утвердился на своем посту и стал несокрушимым. Его бояться, и я начинаю думать, что Сперанский честный человек, так как он вместе с вами за все поплатится.

Я: Что делать! Но уверяю вас, что я не действовал бы иначе, если бы дело это можно было переделать сначала.

Армфельт: Ваша матушка, милостивый государь, должна была произвести вас на свет в эпоху рыцарей «Круглого стола».

Я: Это злая насмешка; я отлично вижу пропасть, раскрывающуюся подо мною; упадем в нее, если нужно, но не откажемся от своих убеждений.

Армфельт: Не все еще потеряно. Император приказал вам составить доклад о министерствах; отделайте хорошенько Сперанского, это понравится.

Я: Вы сделали мне честь, назвав меня рыцарем, человеком прямым и честным, а теперь советуете мне действовать с подлостью, свойственно вашему веку, только для того, чтобы составить себе карьеру. Стоит ли это труда, когда жизнь и все окружающее не стоит гроша.

Армфельт: Я хотел бы постичь философию, внушившую вам подобные убеждения. Не говорю, если бы вы еще могли спасти кого-нибудь, но повторяю: вам это невозможно, из-за кого же вы себя погубите?

Я: За правое дело, за святую истину.

Армфельт: Тра-та-та! Знайте, что Сперанский, виновен ли он или нет, должен быть принесен в жертву; это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства и ради войны, которая должна быть национальной.

Я: Может быть, но к чему же прибегать к недостойным средствам. Предположим, что мне это предложат, тогда я радостью принесу себя в жертву. Умереть за правое дело — участь, достойная зависти.

Армфельт: Но люди, с коими вы имеете дело, стоят ли они на такой же высоте? Понимают ли великодушный порыв рыцарского самоотвержения? Итак, какие же иные средства могут быть у монархов, как не донос, клевета и т. п. Сделайте милость, бросьте вашу философию к черту и живите так, как мы живем.

Я: С удовольствием, так как я решил выйти в отставку.

Армфельт: Новая глупость. Прощайте.

рю. Балашов теперь распространял, не знаю — по велению ли или от себя, — через своих агентов, самые нелепые слухи о связях моих с Коленкуром, с сосланным Хитрово и проч., а между тем выказывал себя другом Магницкого и Сперанского.

XIV

11-го числа марта 1812 г. призван я был неожиданно утром к государю.

— Кончено! — сказал государь, — и как мне это ни больно, но со Сперанским расстаться должен. Я уже поручил это Балашову, но я ему не верю, и потому велел ему взять вас с собою. Вы мне расскажете все подробности отправления.

— Я в подобных отправлениях никогда не участвовал.

— В нынешнем случае это так должно быть.

— Позвольте, государь, просить у вас милости.

— Что такое?

— Балашов так связан со Сперанским и Магницким, что вынужден будет им делать снисхождение, которое, по моим правилам, им оказывать не следует. Это обстоятельство навсегда меня поссорит с Балашовым, и я навлеку себе сильного врага.

— Вам до этого дела нет. Я вам приказываю: это нужно для меня, ибо я уверен, что вы от меня ничего не скроете. Впрочем, предоставьте Балашову делать, что он хочет; а мне скажете, что сделано будет.

— Повинуюсь воле Вашего Величества.

— Так и должно! Я вами доволен и в доказательство моего доверия к вам скажу, что я спрашивал Сперанского — участвовать ли мне лично в предстоящей войне? Он имел дерзость, описав все воинственные таланты Наполеона, советовать мне собрать Боярскую думу, предоставить ей вести войну, а себя отстранить. Что же я такое? Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывался под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим. Балашов вас известит, когда ехать. Смотрите, чтоб я все знал. Прощайте.

Едва успел я дойти до двери, как государь меня воротил:

— Чтобы никто этого не знал! Ибо Сперанский и Магницкий ничего не знают.

XV

17 марта, в 5 часов вечера, потребовал (меня) к себе министр и с улыбкой, выражающею неудовольствие, сказал мне: «Мы нынче вечером едем с вами путешествовать».

Я: Куда это, ваше превосходительство?

Балашов: Отправлять кое-каких приятелей.

Я: Моих?

Балашов: Ну, нет!

Я: Кого же?

Балашов: Сперанского, Магницкого и Бологовского!

Я: Ваше превосходительство никогда меня в подобных случаях не употребляли.

Балашов (с горькой улыбкой): Государю так угодно! Я докладывал, что вы на это неспособны; предлагал Лаврова, графа Васильева и даже П. В. Кутузова²¹, но государю, кроме вас, никого не угодно.

Я: Позвольте рапортоваться больным.

Балашов: Нельзя!

При сем слове вбегает, без доклада, Магницкий, весь не свой. Увидев меня, он быстро взглянул, как будто испугался, и кивнул на меня Балашову головою; но Балашов сказал: «Ничего, что вам угодно?»

Магницкий: Вы обещали мне маршрут.

Балашов: Да, вот он!

Магницкий (поблагодаря поклоном): Сделайте одолжение...

Балашов (не дав ему договорить): Все будет сделано, не беспокойтесь, с вами едет избранный мною отличный офицер.

Магницкий: А маршрут жены моей?

Балашов: Вы не должны съезжаться. Ей другой маршрут дан будет.

Магницкий: Покорно вас благодарю.

Магницкий вышел, поклонясь одному Балашову, который сказал мне: «В 7 часов будьте здесь. Мы вместе едем».

«Вот как исполняются приказания государя», — сказал я про себя. — Они ничего знать не должны и предупреждены. Балашов сам себя поставил в такое положение, что не может не высказать благодетелям своим готовности им услужить, и, показывая себя их другом, умножает преступление свое против государя! Что бы ни было, у меня с Балашовым кончено. Кто с пороком ужиться и

ему служить может, тот сам должен быть порочен. Разве нельзя было Сперанского отставить? На что было придавать вид преступления, когда виновность ясно не доказана? В нововведениях Сперанский повиновался высшей воле; хотя скрытно он, может быть, имел европейскую цель, как и Лагарп. Что же будет со мною, которому объявлено, что интриган нужнее честного человека!

До 7 часов приводил я в порядок все бумаги по канцелярии: секретные государевы запер у себя, обошел все отделения, столы и, приведя все в порядок, заготовил, по обыкновению, дневной отчет; рапорт министру подписал, заставил подписать Фока и в 7 часов пошел к министру.

Аккуратно в 7 часов вступил я в кабинет министра.

XVI

— Пора! — сказал он, — я думаю, нас давно ожидают.

Мы сели в большие, запряженные тройкой, сани, подле саней скакали полицейской команды унтер-офицер и два драгуна. Все скакали во весь опор. Сперва приехали мы к Магницкому.

Он встретил нас в передней, ввел нас во вторую комнату и, указав на дверь, сказал: «Не угодно ли? Тут кабинет». Мы вошли.

Здесь все прибрано было, как для торжества.

— Не нужно ли вам чего-нибудь взять с собою? — спросил министр.

— Право, не знаю, — отвечал Магницкий, — разве этот пакет с некоторыми письмами.

— Возьмите, — сказал министр.

Магницкий посмотрел на меня; я молчал. Он взял порядочную связку и уложил в дорожный портфель, а Балашов прибавил: «Посмотрите, не нужно ли что еще?»

— Нет! — возразил Магницкий, — это все текущие дела и черновые бумаги, которые мне ни на что не нужны.

Мы вышли.

Балашов, обратясь ко мне, сказал: «Сделайте одолжение, эту дверь запечатать», — и подал мне сургуч и печать.

Принесли свечку, и я исполнил приказание министра.

У меня тряслись руки, вся кровь кипела во мне; Магницкий и Балашов это заметили, посмотрели друг на друга и потом с негодованием на меня. Магницкий просил нас в гостиную, где находились жена его и дети. Все уселись; обо мне никто не думал. Я стал к печке, посреди комнаты, похожей более на большую залу, нежели на гостиную.

Балашов рассказывал что-то, но так тихо, что я ничего слышать не мог. Магницкий горячился; движениями, жестами выказывал негодование и посматривал на меня, но ни единого слова до меня не доходило. Наконец, встали.

Магницкий просил Балашова доложить государю, что ему есть нечего, прибавив: «Ему стыдно будет, когда человек со звездой²² станет, как поденщик, рубить дрова для прокормления своего семейства».

Балашов отвечал: «Все должно будет, успокойтесь».

Магницкий продолжал: «У меня нет ни денег, ни шапки, ни теплых сапог».

— Я вам привезу шапку, сапоги, а сколько вам нужно денег?

— Сделайте милость, привезите хоть тысячи три; нужно оставить жене, взять на дорогу, да и приехавши в Вологду, нужны деньги. Кто мне их там даст?

— Все будет; я тотчас возвращусь.

Балашов хотел ехать. Магницкий собирался провожать, а я оставался у печки.

Возвратясь, Магницкий сказал громко жене своей: «*Quel bonheur, ma chère amie, d'avoir un ami, comme Balachoff! Que ferions nous dans ces circonstances desastreuses?*»

Жена тоже благодарила Бора за такого верного друга. «*C'est, comme vous l'avez entendu, ce diable d'Armfeld, qui nous à préparé cet alime et encore un monsieur, au quel nous n'avons rien fait et que je ne veux pas nommer.*»

Это меня взорвало.

— *Je suis très étonné, m-r Магницкий,* — сказал я, — *que vivant presque à la cour, vous avez eu si peu de perspicacité et que vous vous êtes endormi avec complaisance, surtout les faux rapports et les fausses assurances d'amitié qu'on vous a prodigué.*

Магницкий стоял, как громом пораженный.

— *Au nom du ciel, dites-mois un mot seulement, est ce Воейков, qui exile avec nous?*

Я молчал и смотрел на него с негодованием.

— Ayez-pitié de nous, monsieur, de cet enfant,— воскликнула жена его, проливая слезы,— dites-nous: est-ce Воейков?

— A quoi peut cela vous servir maintenant? — отвечал я.

— Peut-être cela nous sauvera,— возразил Магницкий.

Жена его при сих словах готова была пасть на колени предо мною. Я поддержал ее и, растроганный, отвечал:

— Бологовский part avec vous.

Магницкий сильно ударил себя в лоб: «Ah, les traitres! J'y suis,— вскричал Магницкий,— Dieu, quelle infamie!!»

Он начал быстро ходить по комнате, приговаривая: «Le coquin, l'infame et sot de Бологовский qui a encore donné dans le panneau»*.

Потом подбежал ко мне, сказав: «Сперанский еще не входил к государю, позвольте мне написать ему две строчки».

— Могу ли это вам запретить? — отвечал я.— Вы выйдете в другую комнату, куда я, из приличия, за вами не пойду, и без позволения моего можете дать знать Сперанскому, что вам угодно.

Он выбежал в боковую комнату и через несколько минут вошел, подошел ко мне и сказал: «Quel malheur pour nous, monsieur, que nous n'avons pu faire votre connaissance plutôt!»**

Я молчал.

Теперь свободно говорили при мне муж и жена о постигшем их несчастье. Он упрашивал жену скорее приехать в Вологду, а

* «Какое счастье, друг мой, иметь друга, подобного Балашову. Что бы мы стали делать при этих бедственных обстоятельствах?» Жена тоже благодарила Бога за такого верного друга. «Эту горькую участь (abîme) уготовил нам, как вы слышали, проклятый Армфельт и еще один господин, которому мы ничего не сделали и которого я не хочу назвать». Это меня взорвало. «Меня крайне удивляет, г. Магницкий,— сказал я,— что, живя почти при дворе, вы были столь недалёковидны и благодушно доверяли весьма ложным донесениям и всем лживым уверениям дружбы, которые вам расточали». Магницкий стоял, как громом пораженный. «Ради Бога, скажите мне одно только слово, Воейков отправляется в ссылку с нами?» Я молчал и смотрел на него с негодованием. «Сжальтесь над нами, над этим ребенком,— воскликнула жена его, проливая слезы,— скажите нам: Воейков ли?». «Какая вам будет от этого польза теперь»,— отвечал я. «Может быть, это спасет нас»,— возразил Магницкий. Жена его при этих словах готова была пасть на колени предо мною. Я поддержал ее и, растроганный, отвечал: «Бологовский едет с вами». Магницкий сильно ударил себя в лоб. «Ах, изменники! Теперь я догадался,— вскричал Магницкий,— Боже, какая низость». Он начал быстро ходить по комнате, приговаривая: «Негодяй, подлец, а дурак Бологовский еще поддался обману».

** Какое несчастье для нас, что мы не могли познакомиться с вами раньше.

продажу их вещей поручить кому-либо и вырученными деньгами заплатить Балашову. Наконец, утешались скорым свиданием.

Вот приехал и Балашов и привез с собою все обещанное. Магницкий вырвал у него шапку из рук, надел ее на голову, стал перед зеркалом, сказав жене:

— Voyez, ma chère amie, suis-je bien coiffé par la police?

— Eh! On ne peut plus admirablement, — отвечала жена, улыбаясь сквозь слезы*.

Балашов вручил ему деньги, сказав: «Вы мне и отдадите, когда можно будет».

Магницкий отвечал: «Жена прикажет продать наши вещи; что выручится, то вам доставлено будет; коли не вся сумма выйдет, отвечаю я».

Балашов, кажется, удивился сухости ответов; начал прощаться; потом, обратясь ко мне, сказал: «Отправьте Михаила Леонтьевича, я вам оставлю сани; а сам должен ехать к Сперанскому, чтобы там чего не было; после отправки Магницкого тотчас приезжайте к Сперанскому».

Я поклонился, но понял, что он спешил для того, чтобы отправить Сперанского без меня.

Кибитка и квартирный были готовы, начали укладывать; все это было медленно, и немудрено: жена старалась удержать мужа хотя несколько минут дольше; я не торопился.

— Vous verrez: ce coquin de Balachoff, — сказал мне Магницкий, — est allé encore tromper Speransky.**

Наконец настала минута прощания.

У меня слеза навернулась, я вышел в другую комнату.

Магницкий выбежал, бросился мне на шею, сказав: «Боже мой! Зачем я вас не прежде узнал? И в этом он, злодей, виноват». Прижал меня в последний раз к груди и поспешно побежал с лестницы. Ни жена, ни сын его не провожали; я один шел за ним. По просьбе его сказал я квартирному, чтобы он не забыл, кого везет; «и если получу от его превосходительства малейшую жалобу, то по ней строго взыскано будет».

Обнялись еще раз с Магницким.

* — Взгляните, мой друг, хорошо ли принарядила меня полиция?

— О, как нельзя лучше...

** — Вы увидите, что негодяй Балашов, — сказал мне Магницкий, — еще пошел обманывать Сперанского.

— Вы, в несчастье, уладили последние мои минуты в Петербурге, — сказал он мне, — прощайте, да вознаградит вас Бог!

Я скорее сел в сани и в 11 часов ночи подъехал к дому Сперанского. В передней увидел я двух лакеев, одетых по дорожному, в шубах, теплых сапогах и проч.

На вопрос мой: «Что вы за люди?» — они отвечали:

— Мы едем с барином в Нижний Новгород.

Я вошел в комнату — род залы, где на диване сидел Балашов; перед ним столик, на котором догорала сальная свеча. Я отрапортовал ему об отправлении Магницкого: «Жена, сын Магницкого приказали всем кланяться».

Балашов: Признаюсь, я оттого уехал, что не мог быть свидетелем такой трогательной сцены.

Я притворился, будто поверил. «Да! — сказал я, — быть свидетелем подобной сцены не очень приятно, но поучительно, если, как отцу семейства, применить видимое к самому себе. Впрочем, за исключением разлуки, какое спокойствие, хладнокровие, твердость духа! Неужели преступник может на себя надеть такую благородную маску?»

Балашов встал, начал ходить, вдруг остановился, сказав: «Странно, что Сперанский все еще не возвращается от государя».

Я: Мне приходит на ум смешная мысль, а с тем вместе — не очень утешительная. Ну! Если он оправдается и, вместо Сперанского, отправлены будут ваше превосходительство и я, ваш усердный слуга?

Балашов: Признаюсь: эта мысль, пока я один был, тревожила и меня. Чего доброго? Ни на что полагаться нельзя.

Я: Если это случится, ваше превосходительство, то вы будете во мне иметь верного и веселого спутника.

Балашов: Как так?

Я: Ничего не было бы забавнее подобной трагикомической развязки сей продолжительной драмы. Нам велят отправлять, вдруг отправят нас!

Балашов старался прикрыть смехом свое смущение. Но весьма заметно было, что ему не до смеха. В этом тоне продолжался разговор, как въехала на двор карета.

— Это он! — сказал Балашов; взял шляпу в руки и стал подле меня.

Сперанский вошел; на лице его ничего не было приметно; он держал в руках портфель и со спокойным духом сказал: «Извините, господа! Меня государь задержал». Потом, обратясь к Балашову, спросил: «C'est apparemment M-r de Sanglin?»*

На ответ Балашова, что это так, Сперанский подошел ко мне, взял меня за руку, сказав: «Je suis bien fâché, monsieur, de n'avoir pu faire votre connaissance plutôt»**.

Балашов на меня покосился; а я отвесил Сперанскому поклон.

Сперанский прибавил: «Au reste, j'emporterai avec moi un bon souvenir de vous»***.

Балашов смотрел на меня с удивлением.

Сперанский обратился к Балашову и, сказав: «Не угодно ли войти в мой кабинет?», пошел вперед. Балашов, крайне смущенный, сказал мне тихо: «Дайте мне с ним переговорить наедине, только на полчаса, потом вас призову».

Мне Балашов стал жалок и презрителен. «Как вам угодно», — отвечал я сухо. Балашов пошел за Сперанским, а я сел на канapé против дверей кабинета. Натурально, Балашов меня не призывал; двери кабинета часто растворялись людьми, которые выносили чемоданы и проч., а потом видно было, что жгли в камине бумаги.

Тогда, как и теперь, по прошествии нескольких лет, не могу понять, как Сперанский на это решился. Положим, что все сожженные и отложенные бумаги были невинны; но этим поступком они обращались, по крайней мере, в подозрительные. Если они были невинны, то Сперанскому должно было непременно меня пригласить; ибо уже, верно, Балашов ему сказал, что, по приказанию государя, я избран быть свидетелем всего. Как бы то ни было, Сперанскому собственно для себя должно было требовать, чтобы я был при том. Один раз лакеи слишком растворили дверь; я не удержался и сказал: «Попросите Михаила Михайловича, чтобы поменьше бумаг жгли. Здесь становится невыносимо жарко». Что скажет, думал я, коли не государь, так публика? И не должен ли самый приверженный Сперанскому человек, нехотя, получить подозрение, которое, по отъезде Сперанского, обратит-

* «По всей вероятности, это г. де Санглен?»

** «Весьма сожалею, милостивый государь, что мне не удалось познакомиться с вами раньше».

*** «Впрочем, я всегда сохраню о вас приятное воспоминание».

ся у всех в убеждение, что сожженные и увезенные бумаги содержали преступные замыслы? Поневоле скажешь: «Это как-то не так». Относительно меня, признаюсь, я рад, что Балашовым не был призван, ибо я не удержался бы, и была бы неприятная сцена.

Наконец, после продолжительного времени, Сперанский и Балашов вышли из кабинета. Первый взял свечку и пригласил Балашова и меня в домовую контору. Я поклонился и не трогался с места.

— Пойдемте, — сказал мне Сперанский ласково.

Я отвечал:

— Я, ваше превосходительство, от нечего делать обошел все комнаты и, кроме столов и запертых шкафов, ничего не видал.

— Нет, ничего, — сказал Сперанский, — пойдемте вместе.

Сперанский нам описывал, какие именно хранятся дела в каждом шкафу; и обойдя три или четыре комнаты, мы возвратились опять в прежнюю залу.

Сперанский и Балашов ходили взад и вперед по этой зале; первый с хладнокровием, спокойствием и твердостью духа, которые внушили мне к нему уважение. Балашов ходил подле него, как мальчик, который трусит: не знает ли учитель, сколько он напроказничал!

Первые слова Сперанского были: «Дай Бог, чтобы отъезд мой обратился государю и Отечеству в пользу! Прошу довести до сведения Его Величества, что уезжаю с пламенным желанием счастья ему и России.

Балашов: Кто будет у нас государственным секретарем?

Сперанский: Желаю, чтобы выбор пал на достойного и знающего человека.

Балашов: Кажется, Оленин назначен.

Сперанский (пожав плечами): Для меня интереснее бы знать: кто будет главнокомандующим в эту Отечественную войну?

Балашов: Доселе еще ничего неизвестно.

Сперанский: Надобно молить Бога, чтобы все кончилось ко благу России.

Разговор как-то не клеился; все было отрывисто. Балашову хотелось, кажется, что-то выведать, а Сперанский стоял как буд-то на страже.

Балашов: Не угодно ли вам проститься с дочерью вашею?

Сперанский: Нет! Это слишком меня растрогало бы. Я просил государя завтра их отправить ко мне.

Балашов: Не нужно ли вам еще чего-либо?

Сперанский: Благодарю вас, я все поручил Цеймерну, он управляет всеми моими делами. Однако не пора ли мне ехать и дать вам, господа, покой?

Балашов: Яков Иванович! Запечатайте кабинет; вот вам и печать.

Я подозвал частного пристава Шипулинского; он принес свечку и веревочку завязать замок, а я приложил печать.

Сперанский и Балашов молча ходили по комнате. Вдруг Сперанский остановился, сказав: «Мы забыли, Александр Дмитриевич, взять из кабинета другой портфель?»

Балашов: Распечатайте, Яков Иванович!

Я стоял неподвижно.

Балашов: Что же? Я вас просил распечатать.

Я: Два раза запечатать и распечатать я права не имею.

Балашов указал Шипулинскому жестом, и тот, посмотрев на меня, распечатал. Балашов и Сперанский вошли в кабинет и притворили дверь. Через некоторое время воротились оба, а Сперанский с еще больше и туже первого набитым портфелем. Балашов, обратясь ко мне с насмешливою улыбкою, сказал: «Извольте запечатать».

Во второй раз отвечал я, что не смею.

Балашов приказал опять Шипулинскому, а сам держал свечку, и кабинет вторично был запечатан.

Балашов (с сердцем): Вы забываетесь!

Я: Вы правы, ваше превосходительство, кто-то из нас забывается, не исполняя свято своих обязанностей; жалею, что Михаил Михайлович дал государю и России повод подозревать, что эти портфели содержат в себе такие предметы, которые скрывать нужно.

Сперанский, вероятно, не желая быть свидетелем распри, обратился к Балашову: «Прощайте, Александр Дмитриевич, благодарю вас»; и оба обнялись. «Прощайте, Яков Иванович», — сказал Сперанский.

Я поклонился.

Балашов пошел провожать Сперанского, а я остался в зале. Балашов возвратился назад и гневным тоном сказал мне: «На что это похоже? Что подумает о вас Сперанский?»

Я: Я этого не знаю, ибо никогда не забочусь о том, что скажут люди, а что скажет моя совесть.

Балашов: Это что значит?

Я: То, что, если бы Сперанский был отцом моим, я поцеловал бы у него руку, поплакал бы о разлуке с ним, о его несчастье, но тотчас бы запечатал его кабинет и не дал бы вынести ни одного листочка.

Балашов: Не понимаю, что вы хотите сказать? Но прошу не забываться.

Я: Между нами все кончено. Я с вами не служу; следовательно, вы мне более не начальник, а я не подчиненный.

Балашов: Хорошо! Но сперва пойдемте к Бологовскому.

Я: У Бологовского печатать нечего, его просто велено так отправить. Позвольте предоставить вам одному удовольствие отправить сына благотельницы вашей, Миронии Петровны Бологовской.

Балашов: Знайте, что вы имеете во мне, и навсегда, непримиримого врага!

Я: Очень знаю и очень благодарен.

Балашов: Увидим, когда ни один из моих товарищей не захочет иметь вас при себе, и, кроме гонения, вы ничего не увидите!

Я: Это-то мне и нужно; вы выкажете себя в настоящем виде, а, рано или поздно, правда восторжествует.

Балашов сел в карету, а я в сани.

Приехав домой, тотчас послал за Фоком, чтобы он немедленно принял все дела, согласно рапорту, заготовленному министру и им подписанному, о котором говорено прежде.

XVII

На другой день, в 12 часов утра, был я потребован к государю и принят был в большом кабинете.

— Балашов сказал мне, что он крайне вами недоволен и что даже ни он с вами, ни вы с ним служить не хотите. Я догадываюсь... — Государь засмеялся. — Донесение его как-то неясно, сбивчиво, а сваливает вину на вас, что вы не умели быть ему помощником.

— Я первый отказался с ним служить, Ваше Величество! Я горжусь тем, что не умел быть помощником ему. Он действовал один; а я был, и то иногда только, зрителем.

— Вы не можете себе представить, какой был вчера тяжкий день для меня! Я Сперанского приблизил к себе, возвел его, имел к нему полную доверенность и вынужден был его сослать. Я плакал.

И в сию минуту, действительно, слеза навернулась на глазах Его Величества.

Я молчал.

После нескольких минут государь сказал: «Расскажите мне подробно, что и как все было».

Я начал свое повествование, как уже подробно мною рассказано. Когда я дошел до того, что Балашов поехал за шапкою, теплыми сапогами и деньгами для Магницкого, государь подхватил:

«Этого мне Балашов не сказывал, верно, хочет с меня эти деньги воротить, ибо очень трогательно рассказывал мне положение Магницкого, но я будто ничего не понимаю».

Когда я дошел опять до Магницкого, который стал перед зеркалом и, надев на голову шапку, сказал жене своей: «Suis-je bien coiffé par la police? Eh?»*, государь громко засмеялся, прибавив: «Он остер, умен, но ужасно ветрен». Далее государь как будто удивился, что Балашов оставил меня одного у Магницкого, а сам поехал к Сперанскому, сказав: «И этого мне Балашов не говорил».

При рассказе о том, что на вопрос Магницкого, едет ли Воейков с нами, я отвечал: не Воейков, а Бологовский, и что Магницкий просил у меня позволения написать Сперанскому несколько слов, ...государь с гневом прервал речь мою:

— Если это сделано из сострадания, то оно в нынешнем случае неуместно, даже преступно! И привело меня в величайшее затруднение, ибо когда Сперанский вошел ко мне и начал раскрывать портфель, а я сказал ему: «Не нужно, Михаил Михайлович, у меня есть другое дело, о котором с вами переговорить хочу», и каково же было мое удивление, когда он мне хладнокровно отвечал: «Государь! Я все знаю; по выходе моем от вас я буду отправлен в Нижний Новгород. Но позвольте воспользоваться последнею минутою, в которую имею счастье быть перед вами, и тем

* «Хорошо ли принарядила меня полиция?»

изъявить верноподданническую мою преданность». Тут начал он мне описывать Балашова такими красками, которые меня ужаснули. — Это вы открыли ему глаза.

— Я не мог, государь, объявлять Магницкому, чтобы он поехал Балашову просить маршрут; не мог объявить и Сперанскому, что он поедет в Нижний Новгород, ибо я этого не знал и знать не мог; я даже и тогда не знал, когда мне Балашов вечером объявил с ним вместе ехать — отправлять приятелей. Надобно узнать: по чьему совету люди Сперанского были одеты по-дорожному и знали, что их господин едет в Нижний Новгород. Сверх того, Балашов, очернив меня Магницкому, выдумал сказку о Воейкове. Я, видя отчаяние Магницкого и его семейства, и что он окружен клеветой, я, растроганный слезами его семейства, высказал правду, чтобы стряхнуть с себя клевету Балашова.

— Как бы то ни было, я вам этого простить не могу. Что же было далее?

Теперь я рассказал мой разговор с Балашовым до приезда Сперанского.

Это крайне веселило императора.

Он сказал:

— Это едва ли не было бы лучше.

— Но не для меня, государь!

Император улыбнулся.

— А все-таки нужно было Сперанского выслать. Доказательством тому то, что весь Петербург обрадовался ссылке его. Меня уже поздравляли; люди — мерзавцы: те, которые вчера утром ловили улыбку Сперанского, ныне поздравляют меня с отправлением его. Скажите мне, в каком расположении духа он поехал?

— В чрезвычайно спокойном, государь! Я так удивился его хладнокровию, что полагал: не будет ли он прощен, или не получил ли в том уверение от Вашего Императорского Величества?»

Потом рассказал все до приглашения Сперанским в кабинет и до просьбы Балашова дать ему полчаса переговорить наедине со Сперанским.

— Вам не должно было на это соглашаться.

— Государь! Он был моим начальником, и Ваше Величество запретили мне вмешиваться в его дела; а приказали только довести до вашего сведения что увижу и услышу.

— Это так! Но мог ли я предполагать, чтобы Балашов решился на подобный поступок.

Видно было, по движениям и суровому выражению лица государя, что он был крайне недоволен, — мною ли, или Балашовым, или обоими? Бог весть!

Крайне меня удивило, что, во время моего донесения, государь начал меня опять расспрашивать; старался, по-видимому, сбить меня с толку; добивался, кажется, что-то узнать, мне неизвестное. Что бы это было? думал я. Натуральная и обыкновенная мнительность государя, или не пригнал ли чего-либо Балашов по злобе на меня и тем поколебал мнение государя обо мне? Не знаю, но что-то похожее на то и другое. Но когда я рассказал, что после запечатания дверей они были вновь распечатаны, чтобы вынести оттуда толсто набитый портфель, государь как будто вышел из себя:

— Какой бездельник! Петр I отрубил бы ему голову своеручно; а я попозже произведу его из попов в дьяконы! Мне Пален не нужен!!

Здесь я объявил Его Величеству последние слова Сперанского, т. е. желание его императору и отечеству благополучия и успехов, прибавя, что, судя по тону, слова эти проистекали от сердца, ибо сказаны были с чувством.

— Верю, — сказал государь, — в нем нет злобы, он способен к добру, религиозен; и я никогда не замечал в нем пристрастия, а еще менее вражды к кому-либо.

Государь любопытствовал знать: какова была минута прощания Сперанского с Балашовым. Я рассказал подробно то, что уже было объяснено мною выше. Наконец, рассказал и мое прощание с Балашовым.

— Это вспышка — благородная, но не умна и не осторожна; а что вы самовольно сдали дела Фоку, вы только себе причинили вред и этим возбудили непримиримого врага.

После нескольких минут молчания государь милостиво сказал мне: «Завтра вечером в 7 часов придите в секретарскую и ожидайте моего призыва».

Рассказав все это подробно, по долгу совести и чести, объяснив я, сверх сценического моего представления, заметить, что 1) Балашов, кажется, никак не решился бы, не имея от государя приказания, истребить собственноручные записки Его Величества к Сперанскому. Сим, вероятно, воспользовался

Балашов, чтобы выручить и свои записочки к Сперанскому, а чтобы это осталось скрытно, не нужно было призывать меня в кабинет. 2) Я не могу не упомянуть для исторической верности об одном слухе, за достоверность которого не отвечаю, но упомянуть должен потому, что это пересказывалось на ухо в больших кругах: будто Барклай де Толли отправил Воейкова к государю с маршрутом всей армии в Вильно и с означением порядка марша каждого корпуса. Сперанский знал, что император этого ожидал, и был с докладом у государя, когда объявили о Воейкове. Сперанский выходил из кабинета и, увидев Воейкова, отвечал: «Вот он!» «Пожалуйте!» — сказал Сперанский и пошел с этой бумагой обратно в кабинет. Воейков, возвратясь домой, нашел у себя замшевую кису, наполненную червонцами. Он представил оную Барклаю, который довел все до сведения императора. Если что-нибудь из этой истории справедливо, за исключением червонцев, то этим может изъясниться причина, за которую Воейков лишился места и за его связь с Николаем Захаровичем Хитрово.

Теперь, когда эта драма разыграна до конца, прояснилось, не знаю — всем ли, играющим тут роль, или только мне, — следующее: государь, вынужденный натиском политических обстоятельств вести войну с Наполеоном на отечественной земле, желал найти точку, которая, возбудив патриотизм, соединила бы все сословия вокруг него. Для достижения сего нельзя было ничего лучше придумать измены против государя и отечества. Публика — правильно или неправильно — все равно давно провозгласила по всей России изменником Сперанского. На кого мог выбор лучше пасть, как не на него. Нужно только было раздуть эту искру, чтобы произвести пожар. Государь доверил эту тайну графу Армфельту, величайшему интригану, который в разных дворах никогда сам лично себя не выставлял, а всегда действовал косвенно через других. Он, как мы видели, действовал через Вернега; оба имели в виду действовать за Бурбонов. Армфельт сперва отрекомендовал государю Балашова как министра полиции и честолобивого хитреца, которому польстит эта доверенность и которому настоящей цели высказывать не должно. Балашов ошибся, получив от государя повеление иметь за Сперанским строгий надзор; приняв за истину мнимую измену Сперанского и оберегая себя, счел нужным скрыть связь свою со Сперанским. Армфельт, ненавидевший Балашова, про которого говаривал: «*Ce petit lieutenant de police veut être un homme d'Etat; quel ridicule!*»²³,

хотел, при сей верной оказии, свергнуть и его, но ошибся; отрекомендовал государю меня, полагая, что я, из желания возвышения, готов буду обнаруживать все шашни Балашова и из личных выгод напасть на Сперанского. Балашов вторично ошибся, выбрав, для мнимого знакомства со Сперанским и Магницким, Бологовского. Бологовский, разъезжая по Петербургу от одного к другому и к Сперанскому, возбудил в государе недоверчивость, который натурально все проводовал через своих шпионов, в которых, увы, недостатка у него не было. Когда я выступил на сцену, Балашов уже так запутался, что государь ему более не доверял; и Армфельт заготовил уже для него *un exil temporaire*²⁴. Государь, найдя во мне откровенность, которую я почитал необходимою перед императором, кажется, обрадовался. Государь получил письма от графов Маркова и Ростопчина, в которых припутали Вейсгаупта, Розенкампа и других. Все это поколебало сильнее государя против Сперанского. Это путало и запутало все, и чем более нас было в движении, тем более в публике было толков, догадок и сказок насчет нас и Сперанского, которому уже другого имени не было, как изменник! Следовательно, цель достигнута.

Моя ошибка была в том, что, не вникая в характер государя, я не видел в нем человека, а одного императора, перед которым, как перед Богом, ничего скрывать не должно и которому никаких выгод нет обманывать своих подданных. Таким образом, все актеры, кроме царя, который был один деятелен и который один с Армфельтом направлял таинственно весь ход драмы, остались в дураках. Мы действовали как телеграфы, нити которых были в руках императора. Из чего хлопотали!? — О том, что давно решено было в уме государя и чего они не знали и не догадались.

Все наши ссоры, разъезды помогли только более раздуть ненависть публики к Сперанскому!

Сперанского, Магницкого и Бологовского сослали. Балашов лишился министерства²⁵, но остался генерал-адъютантом. Армфельт остался при Финляндии. Морально пострадали я и Воейков²⁶; ибо Армфельт и Балашов и, наконец, сам государь называли меня будто избличившим Сперанского в измене, которой поистине не было; но нас не сослали, не отставили, а, лишив мест, отправили в армию и тем набросили на нас пасмурную тень.

Государь приказал мне 26 марта 1812 г. ехать в Вильно к военному министру Барклаю де Толли. Все шло так поспешно, что

уже 27 марта я выехал из Санкт-Петербурга и приехал в Вильно 14 апреля 1812 г.

XVIII

14 апреля 1812 г. явился я к военному министру Барклаю де Толли, который принял меня ласково и приказал заняться устройством будущей моей должности директора военной полиции 1-й армии, при военном министре.

Пока я этим занимался, старался я оглядеться и ознакомиться как с начальством, так и с окружающими его, так называемыми деловыми. Барклай де Толли был, в совершенном смысле слова, старинного покроя честный немец, не возвышенного образования, но с чистым рассудком и не имеющий фундаментальной основы для поддержания своего звания; был в руках и хитрого, и дурака, которые, из выгод своих, не пренебрегали овладеть слабостью его. Во время служения моего при нем, и когда он узнал меня покороче, жаловался он мне на них, но не имел духу или не смел ни сменить их, ни дать им почувствовать силу начальника; даже подписывал часто то, чего бы не хотел и против чего внутренне сопротивлялся. Могучий слон боится мыши. Барклай боялся жены своей и всех немцев-адъютантов, а отчасти и русских, ею выведенных и под ее покровительством находящихся, помещал при себе. Из благодарности к покойному графу Каменскому вывел и возвысил Закревского, сделал его правителем своей канцелярии и, не умея сам писать по-русски и не знаяши порядочно языка, должен был (ему) ввериться и даже боялся его как человека, одаренного женскою хитростью, с которой Барклай де Толли, как честный и слабый человек, сладить не мог.

Начальником штаба был сперва отличный, умный человек, давнишний служака, но чересчур старый, Лавров, которого я давно знал; начальником артиллерии — граф Кутайсов, человек отличный во всех отношениях; дежурным генералом — Кикин; генерал-интендантом — Канкрин, человек умный, образованный, ученый; с последними ладить было немудрено. Но в канцелярии министра, кроме Чуйкевича, благородного, умнейшего человека, стесненного Закревским, все было ниже обыкновенного; следовательно, тут, кроме интриг, ничего ожидать было нельзя.

Вскоре догадались они, что я их понял, и за то смотрели на меня как на весьма неприятного пришлеца.

До приезда государя старался я учредить свою канцелярию, нахватать писарей; не зная никого, мог ли я делать выбор? Кое-как все это учредилось, и я занялся особенно городской полицией, которая поступала тоже под мое начальство. Сделан был список всем жителям; обозначены те, которым не слишком можно было доверяться. Наконец, приехал государь.

Хотя я призван был к Его Величеству, но не мог не заметить большую перемену как в приеме, так и в обращении со мною. От него самого догадался я, что, вероятно, причиною тому был Балашов, который, по словам Его Величества, поднял против меня всю бывшую мою при Министерстве полиции канцелярию и сам везде клеветал на меня, будто я всех очернил перед государем, и будто не он, а я был причиною ссылки Хитрово, Сперанского и др.

«Но ты видишь,— прибавил государь,— что я не изменен и, невзирая на все это, по-прежнему тебя призвал».

Я осмелился государю сказать, что всякое оправдание против клеветы ни к чему не послужит: это было бы только ее раздувать; но надеюсь моими поступками в будущем заставить ее умолкнуть, а сочинителей сплетен пристыдить.

Сим кончилась моя первая аудиенция, которая не слишком меня ободрила. Прав граф Армфельт, говоря: «...*(il) fait lui même tous les clabodages*»²⁷.

Прибыл и Балашов; остановился у гражданского губернатора Лавинского. Мы тут увиделись, и он обошелся со мною очень ласково. Чтобы тут не предполагать какой-либо хитрости, он приглашал меня к себе; и я притворился, будто ничего не подозреваю. Но как удивился я, когда вдруг призвал меня Барклай и объявил мне:

«Государь очень недоволен, что вы часто бываете у Балашова, и приказал вам сказать, чтобы вы никакого сношения с ним не имели, под опасением гнева его».

Я так и ахнул, ибо тут раскрылась вся картина.

Государь не хотел, чтобы мы с Балашовым объяснились относительно прошедшего; это бы нас примирило, и, желая скрыть, как и Балашов, был обманут, запретил мне свидание с ним. Делать было нечего; я повиновался и, следовательно, еще более обратил на себя вражду Балашова; но с тем вместе решился я

быть осторожнее, не доверяя ничему и никому, даже не хотел, по-прежнему, докладывать государю, а через военного министра, дабы как можно более себя отстранять от новых интриг и не заставить во мне сомневаться министра.

Через несколько дней государь, призвав меня, сказал:

«Я получил от берлинского обер-полицеймейстера Грунера уведомление, что здесь уже несколько месяцев скрываются французские офицеры, шпионы; их должно отыскать».

Я спросил государя, не известны ли имена их или не означены ли какие-либо их приметы.

«Нет,— отвечал государь,— но их отыскать должно; ты знаешь, я тебе одному верю; веди дело так, чтобы никто об нем не знал».

Я поручил трем моим чиновникам ходить каждый день по разным трактирам, там обедать, все рассматривать, выглядывать и мне о том докладывать; виленскому же полицеймейстеру Вейсу поручил строгое должное наблюдение за приезжими из Польши. Здесь узнали мои отряженные, что и у Балашова чиновник о том же хлопочет; следовательно, не одному мне доверено дело. Я рассердился и стал сам ходить в знаменитейший тогда трактир Кришкевича. Здесь я заметил одного крайне развязного поляка, со всею наружностью фронтовика, который не щадил шампанского и бранил Наполеона напропалую. Возвратясь домой, я приказал полицеймейстеру Вейсу попросить его ко мне. Я потчевал его чаем; узнал, что ему хотелось бы возвратиться с двумя товарищами в Варшаву, но что, вероятно, теперь никого не выпустят. Я воспользовался этим случаем, предложил ему мои услуги, призвал начальника моей канцелярии Протопопова, чтобы записать их имена и заготовить им паспорта. Между тем приказал полицеймейстеру Вейсу обыскать его квартиру, выломать полы; в случае нужды трубы и печи, а гостя своего задержал разными разговорами; он назвал себя шляхтичем Дранжевским, никогда не служившим в военной службе.

Является полицеймейстер, вызывает меня; я вышел, приказав караулу гостя не выпускать. Вейсом были привезены найденные в трубе печи и под полом следующие бумаги: 1) Инструкция генерала Рожнецкого, данная поручику Дранжевскому; 2) Патент на чин поручика, подписанный Наполеоном; 3) Замшевый пояс, со вложенными в нем червонцами 5 т. 4) Записки самого Дранжевского о нашей армии и наших генералах. Дело было

ясно; недолго продолжался его допрос; он вынужден был к сознанию. Пока я посылал за двумя его товарищами, потребовал меня к себе государь.

— Ты не отыскал, — сказал он мне, — а Балашов уже представил мне трех шпионов, французских офицеров, им открытых, которых я велел остановить.

— Документы о французских шпионах представлены ли Вашему Величеству?

— Нет! Вероятно, все сделано в порядке.

— Так позвольте мне, завтра утром, представить Вашему Величеству трех французских шпионов с документами: одного поручика и двух статских чиновников.

— Как же это? — сказал император.

— Государь! это обыкновенная полицейская штука: схватить первых бродяг, выдать их за шпионов и отправить подальше, чтобы молчали; так поступал и граф Пален при императоре Павле I.

— Быть не может! — отвечал государь.

— Мои шпионы с документами; ибо я без ясных доказательств никого, а еще менее невинных, представить не осмелюсь.

— Я велю к тебе прислать балашовских, допроси их и скажи мне: что это за люди?

Я до второго часу бился с моими двумя шпионами, за исключением уже признавшегося Дранжевского. Остальные эти два, статские чиновники, были отправлены в Вильно французским резидентом Бильоном²⁸ из Варшавы, тоже с инструкциями; все трое содержались у меня под караулом.

На другое утро представил я все эти документы Барклаю для представления Его Величеству, чтобы иметь посредника между императором и мною. Я (никому) более не доверял. Шпионов велено было отправить в Шлиссельбург, за исключением одного статского, раскаявшегося, которого оставил при себе.

По моему представлению полицеймейстеру дан был орден Св. Владимира 4-й степени, мой правитель канцелярии был произведен; я один остался ни с чем и довольствовался тем, что достались награды за мои труды и за исполнение моих приказаний.

«Вас обошли, — сказал Барклай де Толли, — чтобы Балашов не обиделся».

Между тем присланные ко мне его шпионы были бедные шляхтичи, не имевшие пропитания, ходящие по домам просить милостыню. Я отпустил их на свободу; государь приказал им вы-

дать по сту руб. асс. Можно себе представить злобу Балашова, когда он узнал все от Лавинского.

Я свел связи с кагалом виленских евреев, и за их ручательством отправил жида в Варшаву, который ехал с товаром; он первый известил меня о будущем приезде Нарбонна в Вильно и прислал прокламацию Наполеона к его солдатам, которую я представил Барклаю, не желая пользоваться позволением являться самому к государю, опасаясь новых (недоразумений).

Министр доложил императору, и я получил благодарность.

В сие же время удалось мне отыскать украденные у нашего комиссионера 27 тыс. руб. асс. казенных денег, которые найдены у шляхтичей в уездах зарытыми в землю.

В то же время открыта была связь герцогства Варшавского с виленским купцом Менцелем.

Нарбонн от императора Наполеона прислан был к императору российскому с поздравлением со счастливым его приездом в Вильно. От поставленного мною полицеймейстера в Ковно, майора Бистрома, получил я через эстафету уведомление о приезде Нарбонна проселками, дабы он не видел наших артиллерийских парков и проч., что и было исполнено.

По приезде Нарбонна в Вильно приказано мне было государем иметь за ним бдительный надзор.

Я поручил Вейсу дать ему кучеров и лакеев из служащих в полиции офицеров. Когда Нарбонн, по приглашению императора, был в театре в его ложе, перепоили приехавших с ним французов, увезли его шкатулку, открыли ее в присутствии императора, списали инструкцию, данную самим Наполеоном, и представили государю. Инструкция содержала вкратце следующее: узнать число войск, артиллерии и проч., кто командующие генералы? каковы они? каков дух в войске и каково расположение жителей? Кто при государе пользуется большою доверенностью? Нет ли кого-либо из женщин в особенном кредите у императора? В особенности узнать о расположении духа самого императора, и нельзя ли будет свести знакомство с окружающими его?

Государь так этим был доволен, что спросил меня: не имею ли я какого-либо желания?

Я отвечал: «Я так благодетельствован милостями Вашего Императорского Величества, что ничего просить не осмелюсь».

Государь не отставал, напомнил мне, что у меня жена и дети, и требовал, чтобы я чего-нибудь пожелал.

Вынужденный говорить, сказал я: «Прикажите, государь, вернуть мне двести руб. ассигн., издержанные мною на покупку книги: Походы принца Карла».

«Я было и забыл,— отвечал государь,— прикажу Толстому тебе их отдать»,— от которого я их и получил.

Вдруг позван я был к государю. Когда я вошел к нему, он ходил быстрыми шагами по комнате и, заметив меня, сказал:

«Мои генерал- и флигель-адъютанты просили у меня позволения дать мне бал на даче Беннигсена, и для того выстроили там большую залу со сводами, украшенными зеленью. С полчаса тому назад получил я от неизвестного записку, в которой меня предостерегают, что зала эта ненадежная и должна рушиться во время танцев. Поезжай, осмотри подробно».

Я немедленно приказал оседлать лошадь и тотчас поскакал на дачу.

У подъезда дома встретил я Беннигсена, который, вероятно, полагал, что я послан государем с каким-либо к нему приказанием, ибо спросил: «Что вы мне привезли?»

— Я приехал засвидетельствовать вашему высокопревосходительству мое почтение и посмотреть на строящуюся залу.

— Пойдемте ко мне; жена наливает чай; напьемся, а потом пойдем вместе.

Отказаться было неловко. Супруга его налила мне чаю; но едва я взял чашку в руки, как что-то рухнуло с ужасным треском.

Я поставил чашку на стол, и вместе с Беннигсеном побежали в сад.

Здесь увидели мы разрушившуюся до срока залу. Все арки, обвитые зеленью, лежали на полу. По рассмотрении причин сего разрушения увидели мы, что все арки между собою и к полу прикреплены были штукатурными гвоздями.

— Где архитектор? — спросил я.

— Он недавно здесь был,— отвечали мне.

— Отыскать его! — сказал я.

Через несколько времени посланные возвратились и принесли выловленный из воды фрак и шляпу архитектора.

— Видно, утопился,— сказали посланные.

Я сел на лошадь и во весь галоп поскакал к государю.

— Что? — спросил он.

— Здание рушилось,— отвечал я,— один пол остался.

Государь потребовал подробностей.

Я рассказал и что по осмотру оказалось.

«Так это правда! — сказал государь. — Поезжайте и прикажите пол немедленно очистить; мы будем танцевать под открытым небом».

Я зашел домой, приказал заложить коляску, а меня ожидала эстафета из Ковно, с извещением, что Наполеон в этом месте начал переправляться со своею армиею.

Я воротился с докладом к государю.

«Я этого ожидал, — отвечал государь, — но бал все-таки будет».

Я поскакал с этим известием к Беннигсену.

Действительно, когда все танцевали, Наполеон переправлялся и вступал в наши владения.

XIX

Описывать войну 1812 г. не мое дело; сверх того, она уже описана многими, и по императорскому повелению; это было бы только повторение.

Я ограничусь тем, что относится до моей части — военной полиции.

Здесь нахожу нужным рассказать разговор мой с Барклаем. Еще до бала он сказал мне:

— Государь предлагал Беннигсену командовать армией, но он отказался. Государь требует непременно, чтобы я командовал войском; как вы думаете?

— Мне кажется, — отвечал я, — Беннигсен поступил благо-разумно. Командовать русскими войсками на отечественном языке и с иностранным именем — невыгодно. Беннигсен это испытал; я думал бы, и вашему высокопревосходительству не худо последовать его примеру.

— Но государь того требует, как отказаться? — отвечал Барклай.

— Беннигсен-то сделал, следовательно, и вашему высокопревосходительству можно то же сделать; впрочем, это воля ваша.

Не знаю, угодил ли я этою откровенностью; хотя Барклай, по-видимому, колебался, но все окружающие его мудрецы, которые ожидали от него великих благ, поощряли его на этот подвиг.

С 14 июня 1812 г. окрестности Вильно принимали вид воинственный: со всех сторон стекались войска, и высочайшим манифестом объявлена война с Наполеоном. Манифест этот всем известен; он сделал глубокое впечатление на всех, и немудрено*. Он возвышенностью чувств нашего императора превозвышал надменный и нахальный манифест императора французов к своим солдатам.

16 июня, с рассветом, тронулись наши войска, оставя в Вильно несколько экземпляров российского манифеста на французском языке, и мы начали отступать, хотя в маленьком унынии, ибо все желали сразиться с неприятелем. Сим расположением духа объезды были все генералы и солдаты. Слово «ретирада», говаривал Суворов, не сродно русскому солдату.

Армия ретировалась по проселочной, неровной дороге, но в совершенном порядке. 20 июня пришли мы в Свенцяны, где была Главная квартира государя императора. Присутствие государя среди войска всех обрадовало. Сколько помнится, здесь маркиз Паулуччи сделан был начальником штаба 1-й армии²⁹. Я хотел воспользоваться хорошим расположением государя ко мне и, имея кучу неприятностей, осмелился просить его о позволении выехать из армии.

«Этого не будет,— сказал государь,— ты мне нужен здесь».

Я получил известие, что Итальянская армия, под командою вице-короля, на пути своем до Трок, потерпела большие недостатки в провианте и фураже: лошади падали, фуры оставались на дороге, и число больных чрезмерно умножилось. Король Вестфальский, после ссоры с братом своим Наполеоном, отправился в свое королевство; и прислана была мне прокламация Наполеона к полякам, в которой он поощрял их к восстанию против России. Государь был очень доволен этими известиями и оставил их у себя, сказав:

«Этого всем знать не нужно; а о недостатках французской армии объявить словесно. Началась их беда, увидим, чем это все кончится».

Здесь явился странный случай. Привели ко мне взятого в плен казаками французского штаб-офицера, к допросу, с планами, сня-

* Не манифест, а приказ 13 июня по армии и рескрипт Н. И. Салтыкову. Проект манифеста, приготовленный в рукописи, не был обнародован перед войной в 1812 г. и впервые явился в печати лишь в 1870 г., именно в «Русской старине». 1870. Изд. 1-е. Т. I. С. 49 и 405; Изд. 2-е. Т. I. С. 407; Изд. 3-е. Т. I. С. 454—462. *Ред.*

тыми им во время марша. Он отвечал на мои вопросы довольно откровенно и, наконец, спросил: «Долго ли вы будете играть эту комедию?»

— Какую комедию? — спросил я.

— Будто вы не знаете? Так я вам скажу по секрету: вся эта война с Россиею притворная, скрывается от англичан. Мы вместе с Россиею идем в Индию, выгнать оттуда англичан.

Я рассказал это Барклаю, который отвечал: «Еще новая выдумка Наполеона»³⁰.

Однако другие пленные тоже подтверждали это до самого Смоленска. Здесь мы остановились, выжидая соединения со 2-й армиею под командой князя Багратиона.

Барклай де Толли дал мне новую должность генерал-гевальдигера армии³¹, а начальником штаба сделан был еще прежде генерал-майор Ермолов. Барклай приказал мне расстрелять на Облонье двенадцать человек мародеров. Я осмелился представить ему, что их мародерами считать нельзя: это усталые, пришедшие позже к своим командам. Сверх того, в первый раз в российской армии расстреляны будут солдаты, по приказанию главнокомандующего с иностранным именем, а исполнено будет таковым же. Барклай не отставал; я рапортовался больным. Наряжен был генерал-майор Фок, и солдаты были расстреляны.

Ночью будят меня и объявляют, что генерал Фок умер апоплексическим ударом³². Я выздоровел, являюсь к Барклаю и доношу ему о том.

— Не думаете ли вы, что Бог его убил за то, что он расстрелял солдат?

— Не знаю, — отвечал я, — в дела Божии не мешаюсь; знаю только, что поутру Фок расстрелял солдат, а к вечеру умер.

После соединения двух армий генерал от кавалерии Раевский оставлен был в Смоленске, для защиты города от неприятелей; а 1-я армия перешла за Днепр и основала Главную свою квартиру в недалеком расстоянии от Смоленска, где Барклай остановился в доме священника. Генерал Раевский сражался целый день с французами, и когда он отступил, повелено было, на смену его, нарядить тоже корпусного генерала Коновницына³³, а мне с эскадроном Ингерманландского драгунского полка содержать полицию во время бомбардирования Смоленска французами, и когда отступит Коновницын, следовать за ним, вынести Смоленскую Божию Матерь, сжечь мост и явиться к главнокомандующему.

Коновницын дрался в Малаховских воротах целый день. Здесь я должен упомянуть о случившемся обстоятельстве, которое характеризует нашего солдата.

Коновницын сказал мне: «Задние ряды опустели; видно, солдаты в город пошли; прикажите их отыскать и привести ко мне».

Я поехал в город и узнал, что они слышали о заготовлении для армии сухарей, и пошли за ними. Я — в ратушу, и нашел их наполнявшими карманы свои сухарями.

— Не стыдно ли вам, ребята! идите к своим местам.

— Помилуйте,— отвечали они,— ведь это досталось бы все голодным французам.

Я собрал их на дворе ратуши и, под прикрытием эскадрона, представил к Коновницыну, это произошло во время самого сильного бомбардирования города. К вечеру французы прекратили огонь; Коновницын отретировался к армии; я за ним вынес Смоленскую Божию Матерь, зажег мост и явился в Главную квартиру.

В сенях лежали на соломе Ермолов и Закревский.

— Какой на завтрашний день приказ? — спросил я их.

— Поди к нему,— отвечал Ермолов,— он нам сказал по-русски: «Я спать хочу»; ты не счастливее ли будешь? Спроси его по-немецки.

Я взошел к Барклаю. Он был уже в шлафроке и колпак на голове. Он снял его; я отрапортовал ему, что все исполнено и что Смоленскую Божию Матерь не мог иначе вынести, как под предлогом отслужить молебен в Главной квартире, потому что отстояли Смоленск, и сжег мост.

Он очень благодарил меня. Я, видя его в хорошем расположении духа, спросил по-немецки о приказе на завтрашний день. Он отвечал мне: «Ach, mein lieber, guter Freund, ich will schlafen»*, — надел колпак, а я вышел.

— Ну что? — спросил Ермолов.

— Не велел вам говорить,— отвечал я.

— Ну, полно,— продолжал он,— ложись с нами и расскажи.

— Мне не до рассказов, пойдемте отслужить молебен; я не иначе вынес Смоленскую Божию Матерь, как под этим предлогом. Народу пропасть вышло из Смоленска, не хотели расстаться с образом.

* Пер.: Ах, дорогой друг мой, я хочу спать.

— А мы спать хотим, — отвечал Ермолов, и я один, с вышедшими из Смоленска жителями, отслужил молебен.

На другое утро, в сенях, где мы лежали на соломе, произошел шум; люди бегали; понесли Барклаю кофе. Наконец, вышел и сам Барклай, прошел, молча, мимо нас, стал на крыльце и закричал: «Лошадь!»

Когда сел на нее, тогда и мы сели на своих коней и поехали за ним к Смоленску, в который вступали с музыкой французы.

Доехав до возвышения на берегу Днепра, Барклай спросил: «А где граф Кутайсов?» Когда он прибыл, Барклай сказал ему: «Прикажите подвезти двадцать пять орудий, пошлите им несколько шутих, чтобы порасстроить их радость».

Начали стрелять по Смоленску. Для чего это было? — неизвестно. Барклай, обратясь ко мне, спросил: «Есть ли у вас телега?» Я велел подать ему оную, в которую положили соломы, и Барклай сел в нее, спросив, где Толь?

«Подайте мне карету», — сказал он ему. Назначил каждому корпусу маршрут и поехал; армия тронулась за ним и направилась к имению г-д Чашниковых, где и был отдых.

Интриги против Барклая доходили до высочайшей степени. Неизвестно, по каким фальшивым извещениям заставили Барклая отыскивать неприятеля на мызе Реада, где неприятеля и не бывало. Далее, внушили Барклаю, под предлогом ненадежности, отправить значительных поляков, флигель-адъютантов государя: графа Потоцкого, князя Любомирского и др., в Петербург, и снабдили их доносами на Барклая. Наконец, довели последнего до того, что он отправил туда же и самого Великого князя Константина Павловича. Вследствие всех этих интриг Барклай получил повеление, до приезда нового главнокомандующего, князя Кутузова, сражения, кроме авангардного, не давать. Я предупреждал Барклая, старался открыть ему глаза; но все было тщетно.

Под деревней Пневой, когда два французские корпуса напали на наш один, Барклай доказал, что на поле битвы он был у нас единственный генерал. Французы были отбиты, и во время их отступления Барклай сказал мне: «Was wolten die Narren haben?»³⁴

Мы форсированным маршем ретировались до Царева Займища, где к нам прибыл князь Кутузов. Для приема его был выстроен лейб-гренадерский батальон. Когда князь вышел из коляски и увидел этих щеголей, сказал: «И с этими солдатами ре-

тируются!» Слова эти произвели всеобщую радость; все думали: наконец-то мы пойдем вперед, а в полночь получили приказание идти 30 верст назад. Суматоха была страшная; войско шло уже не в старом порядке; так что Ермолов вынужден был сказать мне: «При Барклае порядка было больше». Интриган этот задумывал уже новые интриги. Про него государь говаривал:

«Noir comme le diable, mais tout autant de moyens»³⁵.

В этом беспорядке дошли до Колоцкого монастыря. Кутузов приказал здесь отыскать крепкую позицию, чтобы дать тут отпор неприятелю. Посланные нашли военную позицию под Бородиным. Барклай противился этому и находил Колоцкий монастырь для этого удобнее, потому что здесь французы были бы отрезаны от воды; но благой совет этот не был принят, потому что подан был Барклаем. По той же ненависти, поставлена была первая армия под Бородиным на правом крыле, где она защищена была рекою Колочей; а вторая, слабее первой, поставлена на левом крыле. Когда Барклай представил это Кутузову, утверждая, что Наполеон нападет на опасный пункт левого фланга, Кутузов и слышать не хотел; но когда генерал Раевский был сбит с батареи левого фланга, Барклай, без команды, повел корпус Остермана на левый фланг и взял батарею обратно. Еще до сражения сказал мне Барклай: «К чему дает он (Кутузов) это сражение? Оно Москвы не спасет, а мы лишимся значительного числа солдат, которых беречь должно».

Что бы ни говорили фальшивые реляции,— Россия обязана Барклаю: остальная армия спасена им; и если мы в пух не разбиты неприятелем, то обязаны этим единственно ему.

Здесь должно упомянуть об обстоятельстве, касающемся до меня.

25 августа 1812 г., накануне Бородинского сражения, призвал меня Кутузов и приказал сжечь все офицерские телеги. Я осмелился представить, что 7 и 8 офицеров сложились вместе и завели телегу и лошадку, чтобы везти провиант и амуницию свою; не позволит ли его сиятельство отправить эти телеги с вагенбургом в Можайск?

«Я вас призвал не для совета, а для исполнения моих приказаний; я возложу это на другого».

Я поклонился, в знак благодарности, и вышел. Назначен был на эту славную экспедицию уланский полковник Александр Шульгин, который это приказание и исполнил. Мы после

Бородинского сражения отправились в Можайск, где уже был наш вагенбург. Я, как причисленный к Военному министерству, просил Барклая сдать все армейские должности, которые, с соизволения его, немедленно и были сданы; ибо от интриг против Барклая и мне житья не было.

Это было сделано вовремя; ибо когда получен был указ о назначении князя Горчакова военным министром, я опоздал бы исполнить свое намерение.

В Можайске призвал меня Барклай и, со слезами на глазах, сказал мне: «Я просил Закревского, Каменского и других, благодетельствованных мною, ехать в Петербург, дабы отвезти от меня депеши государю; и все отказались, в незаслуженном несчастье все меня оставили».

Мне жаль стало старика, и я отвечал ему: «Я вашему высокопревосходительству, по службе, ничем не обязан; но, предполагая, сколь нужно вам, чтобы ваши депеши вручены были императору, готов исполнить ваше желание».

Барклай обнял меня, сказав: «Зачем я прежде вас не знал?..»

Скоро после этого призван я был к Кутузову.

— Я слышу, что вы хотите выехать из армии; именем императора приказываю вам оставаться, ибо приезд ваш будет Его Величеству весьма неприятен.

— Я не смею, ваше сиятельство, ослушаться начальника, к которому я причислен. Если вашему сиятельству угодно дать мне письменное приказание, то я останусь.

— Довольно того, что приказываю вам не выезжать из армии.

Я поклонился и вышел, рассказал все Барклаю.

— Боже мой! — сказал он, — что я сделал, что хотят лишить меня и последнего средства оправдаться перед государем? Итак, вы не едете?

— Я дал слово вашему высокопревосходительству и ему не изменю.

— Мы отложим это до Москвы, — сказал он.

Пришедши в Москву, получил я предписание содержать полицию в Москве, ибо московская полиция вся с пожарными инструментами отправлена была графом Ростопчиным.

Накануне выступления нашего собран был совет о выступлении нашем из Москвы, где Барклай сказал Кутузову:

«Вам угодно было поставить армию на Филях; здесь местоположение не позволяет давать сражения; следовательно, сдача Москвы необходима».

Мы с утра тянулись по московским улицам; я получил приказание проводить 1-ю и 2-ю армии и следовать за ними по Рязанской дороге. В полночь пришли мы в Люберцы и Панки, сделав 15 верст от Москвы, ибо беспрестанно задерживаемы были фурами, примыкающими к армии, и москвичами, оставляющими с нами древнюю столицу. В Панках дал мне Барклай лестный аттестат, и на первой стоянке, в деревне Кулакове, вручил мне депеши к государю, письма к князю Горчакову и жене своей, сказав: «Я вскоре за вами последую».

XX

Приехав в Петербург, я остановился в доме семейства моего и здесь узнал, что государь проживает на Каменном острове. Я переоделся с дороги и, в мундирном сюртуке, поехал на извозчике на Каменный остров. Войдя в дежурную залу г-д генерал-адъютантов, здесь стояли князь Зубов, граф Шувалов, Павел В. Кутузов и маркиз Паулуччи, которые с удивлением смотрели на меня, не показывая и виду прежнего знакомства.

Я спросил: «Кто дежурный генерал-адъютант?» Камер-лакей назвал маркиза Паулуччи. Подошедши к нему, я сказал:

— Прошу ваше превосходительство доложить государю, что я приехал из армии с депешами от Барклая.

— Pour rein au monde, mon cher ami. L' Empereur, d'après le rapport de maréchal, veut vous envoyer en Sibérie. Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'armée?

— Barclay m'a envoyé, M-r le Marquis! Quel que soit mon sort, jeésaurais me defendre. Daignez seulement m'annoncer à sa Majesté.

— Non! je dirai au valet de chambre de le faire, car je ne veux pas être l'instrument de votre malheur*.

* (Пер.): — Ни за что в мире, любезный друг. Император, по донесению фельдмаршала, хочет отправить вас в Сибирь. Почему вы не остались при армии? — Меня послал Барклай, г. маркиз. Какова бы ни была моя участь, я сумею защититься. Соболаговолите только доложить обо мне Его Величеству. — Нет, я

Неутешительно, подумал я.

Вскоре камердинер подошел ко мне. «Государь приказал вам сказать, что, по новому положению, никто из приезжающих из армии не является к государю, а должен явиться к графу Аракчееву».

— Доложите государю, что я этого приказа не знал.

Явился проводник фельдъегерь, и мы пошли к графу Аракчееву.

Первое его слово было:

— Зачем вас ко мне прислали? Вы сами доверенная особа у государя?

— Видно, это не так, ваше сиятельство! Меня послали к вам.

— Ну, так отдайте мне ваши депеши. Я представлю их государю.

— Если бы ваше сиятельство отправляли меня, как ныне Барклай, с тем, чтобы я депеши вручил единственно государю, то я бы никому, кроме него, не вручил. Сверх того, имею от Барклая словесное поручение к государю.

— А! Так пойдемте к нему.

Дорогой сказал мне граф:

— Государь очень огорчен сдачею Москвы; неужели нельзя было остановить неприятеля?

— Армия не менее огорчена, — отвечал я, — но когда Кутузов поставил нас на Филях, то делать было нечего, как сдать Москву.

Мы пришли опять в генерал-адъютантскую. — Аракчеев сказал мне: «Подождите здесь», но вскоре возвратился и, отворяя дверь, сказал мне: «Пожалуйте к государю».

Я вошел.

Государь стоял посреди комнаты, прислонясь к своему письменному столу; увидя меня, сказал:

— Вы полагаете, для вас Сибири нет?

— Для невинного Сибири нет, государь!

Император, наморщив брови, сказал:

— Хороши вы, господа!

— Виновато, быть может, начальство, а мы, государь! подставляли лоб, как последний солдат.

прикажу сделать это камер-лакею, так как я не хочу быть орудием вашего несчастья.

— Реляция Кутузова о Бородинском сражении мне не очень понятна; не можете ли вы мне кое-что объяснить?

Я начал рассказ и, по окончании одного, прибавил:

— Барклай поручил мне донести Вашему Величеству, что если он не убит, то он не виноват: он везде был впереди.

— Напишите мне, что рассказывали о Бородинском сражении, но черновой у себя не оставляйте... Зачем вы не остались в армии, когда Кутузов два раза увещевал вас остаться?

— Один раз, государь! — и пересказал ему мой ответ. — Мне жалок был Барклай в его несчастье и оставленный всеми, им облагодеждавшимися.

Государь потрепал меня по плечу, сказав: «Ты все старый». Позвонив, приказал позвать графа Шувалова и сказал ему: «Отвези его к князю Горчакову; скажи, что он останется при нем».

Мы поехали в придворной карете. Князь Горчаков рассказывал мне после, что он испугался, думая, что меня привезли к нему, дабы отправить в Сибирь.

XXI

При князе Горчакове — по 1816 год

В начале сего, т. е. 1816 г., пригласил меня, по высочайшему повелению, граф Аракчеев. Доложили графу. Он встретил меня в адъютантской и повел меня к себе в кабинет.

Граф: Я думаю, вы знаете, что, по высочайшему повелению, я вытребовал из Вологды Магницкого в Грузино?

Я: Слышал, ваше сиятельство; весь Петербург об этом знал.

Граф: Мне нужно некоторое объяснение по некоторым делам. Между разговорами пришлось мне спросить его: «Правда ли это, сам государь и все в Петербурге говорят, будто де Санглен был причиной вашей ссылки?» Он отвечал мне: «Нет, если бы мы не пренебрегли его знакомством, то, вероятно, ссылки бы не было». Я сказал: «Сам государь намекнул мне на de Sanglin». Магницкий отвечал мне: «Это у нас в обыкновении». Сколько я ни старался выведать причину их отправления и заставить сказать откровен-

но: «не де Санглен ли?», он подтвердил мне то же и прибавил: «Мы им одолжены». Я спросил его: «В чем же это одолжение состояло?», он отвечал: «Благодарность заставляет о том умолчать, чтобы де Санглена не подвергнуть еще большим неприятностям». Теперь спрашиваю я вас; государь желает знать, в чем это состояло?

Граф посадил меня подле себя на диван и с необыкновенною ласкою подтвердил свое требование.

Я: Полагаю, что Магницкий намекал на следующее обстоятельство. В начале января 1812 г. приехал ко мне Бологовский, знакомый мне по Москве, и, сказав мне, что Балашов просит его свести поближе со Сперанским и Магницким, просил у меня совета: «Приступить ли ему к этому делу?» «Охота тебе вязаться в такие темненькие дела», — сказал я ему. — Неужели ты думаешь, что министр полиции не знаком со Сперанским и Магницким; берегись, как бы вы все вместе куда-нибудь не прокатились; впрочем, ведь это тебе в привычку». «Ты меня пугаешь», — сказал он мне. «Отнюдь нет, неужели ты думаешь, что, если только нужно будет, не Балашов, а министр полиции выдаст тебя?» Бологовский уехал, но на другой день возвратился и сказал: «Магницкий и Сперанский объявляют тебе, что если ты будешь так дурно отзываться о Балашове и впредь, то они доведут это до его сведения и тебе будет нехорошо». «Спасибо», — отвечал я Бологовскому, — впредь наука. Теперь поезжайте хоть все к черту, заговоришь об них — я буду молчать.

Граф: Вы поступили против приятеля благородно; к несчастью, имели дело с подлецами, каковы Бологовский и Балашов. Да вы неужели не знали, что вы сами окружены были шпионами? На что же упрекнули вы Магницкого?

Я объяснил графу известное уже в сих записках.

Граф: И эта вспышка была благородна, но неосторожна; зачем пустили вы Магницкого в другую комнату?

Я: Мог ли я ему запретить это?

Граф: Он между тем отправил записку к Сперанскому и, вероятно, во зло употребил слова ваши.

Я: Не понимаю, как в такое время он мог писать, разве словесно велел пересказать?

Двор — это омут, в котором разве только один черт спастись может, и просил графа исходатайствовать мне отставку.

Граф уговаривал меня остаться на службе.

— Вы знаете его, нынче я, завтра вы, а после опять я.

— Это-то и заставляет меня просить ваше сиятельство об отставке.

Граф: А чем же вы жить будете? Я знаю, у вас, кроме жалованья, ничего нет.

Я: Лучше с голоду умереть, чем жить в подобной передрыге; брошу 12 т. жалованья и поеду в наследственную свою деревушку, состоящую из 84 душ, и буду покоен.

Граф: Вы давно служите; можете получить хорошее место.

Я: Благодарю ваше сиятельство, но осмеливаюсь вторично просить исходатайствовать мне отставку.

Граф: Я уважаю вас, Яков Иванович, и поддержку вас; и мне давно так поступить надо было, но... и он пожал плечами.

Мы расстались. Граф сдержал слово; государь на отставку не соглашался, но граф выхлопотал мне указ, от 23 марта 1816 г., причислить меня к герольдии, с производством по 4 тыс. руб. ежегодно.

Когда я откланивался государю, Его Величество сказал мне:

«Я тебя не отставил, ты на службе, и с жалованьем, отдохни; понадобится — опять призову». Государь милостиво отпустил меня, даже прибавил: «До свидания».

Я немедленно отправился в Москву, где жил спокойно в маленьком имении, бывшем матери моей. Здесь должен я отдать справедливость сестрам моим: при виде писем покойной матери ко мне они освободили меня от хлопот и отдали мне добровольно, что по закону мне следовало.

Примечания

¹ Воспоминания Т. П. Пассек // Рус. старина. 1877. № 7. С. 434.

² ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 2499. Л. 30—31.

³ ГАРФ. Ф. 109. 1830 г. 1-я экспедиция. Д. 363; Из царствования Николая I // Рус. старина. 1896. № 6.

⁴ Подр. см.: Безотосный В. М. Документы русской военной контрразведки в 1812 г. // Рос. арх. Т. II—III. М., 1992. С. 50—68.

⁵ Подр. см.: Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005.

⁶ Пер. с фр.: «Граф Армфельт меня просил объявить Вам, что этим вечером камердинер императора будет Вас искать. Будьте готовы. Сожгите эту бумагу. Вернег».

- ⁷ Пер. с фр.: «Войдите, я Вас прошу».
- ⁸ Пер. с фр.: «Я желаю с Вами познакомиться, чтобы Вы мне объяснили некоторые положения, которые мне непонятны, а Вы должны знать».
- ⁹ Контрасигнировать, т.е. скрепить своей подписью уже подписанные бумаги.
- ¹⁰ Черно книжество — использование колдовских («черных») методов, колдовство, знахарство.
- ¹¹ Комплот, т.е. заговор.
- ¹² Д. Н. Бологовский приходился племянником А. Д. Балашову.
- ¹³ Пер. с фр.: «Быть мне между двух огней».
- ¹⁴ Пер. с фр.: «Вот тиран...»
- ¹⁵ Пер. с фр.: «Что нет ни веры, ни права, только способность всех».
- ¹⁶ Пер. с фр.: «На французский, английский, швейцарский манер».
- ¹⁷ Пер. с фр.: «После дела».
- ¹⁸ Дело генерала Н. З. Хитрово (зятя М. И. Кутузова), темное пятно в историографии, и до сих пор остается неисследованным, но сам Хитрово был арестован и отправлен в ссылку в Тарусский уезд. Был прощен и взят на службу только в 1813 г. ввиду заслуг своего тестя.
- ¹⁹ Пер. с фр.: «Маленькие подарки скрепляют дружбу».
- ²⁰ Правильно — Морков Ираклий Иванович.
- ²¹ Имелся в виду генерал-адъютант П. В. Голенищев-Кутузов.
- ²² Т. е. имеющий высокий чин и награжденный орденами.
- ²³ Пер. с фр.: «Этот маленький лейтенант полиции хочет быть государственным деятелем, как смешно!»
- ²⁴ Пер. с фр.: «Временная ссылка».
- ²⁵ А. Д. Балашов официально оставался на министерской должности до 1819 г., но не исполнял свои обязанности, находясь в качестве генерал-адъютанта при императоре и выполняя его разовые поручения.
- ²⁶ Формально полковник А. В. Воейков не был понижен, а был назначен на генеральскую должность командиром бригады 27-й пехотной дивизии, но, учитывая его предшествующую службу в качестве руководителя военной разведки, это действительно было понижение.
- ²⁷ Пер. с фр.: «Ему нужен общий шум».
- ²⁸ Бильон — искаженное написание фамилии французского резидента в Варшаве Биньона.

- ²⁹ Паулуччи был назначен начальником штаба 1-й Западной армии 21 июня 1812 г. в местечке Давгелишки (см.: Приказы по 1-й Западной армии // Рос. арх. Т. VII. М., 1996. С. 96).
- ³⁰ Среди солдат Великой армии в начале военных действий в 1812 г. действительно были распространены слухи о том, что Наполеон вошел в Россию, чтобы затем совершить совместный поход в Индию и освободить ее от английского владычества.
- ³¹ Назначен генерал-гевальдигером 1-й Западной армии 22 июля 1812 г. (см.: Приказы по 1-й Западной армии // Рос. арх. Т. VII. С. 121).
- ³² Автор явно перепутал, потому что генерал Б. Б. Фок умер в начале 1813 г.
- ³³ Генерала Н. Н. Раевского сменил генерал Д. С. Дохтуров, а не П. П. Коновницын.
- ³⁴ Пер. с нем.: «Что за шутки?».
- ³⁵ Пер. с фр.: «Черен, как дьявол, но всеми возможными способами».

ИЗ ЗАПИСОК Д. П. РУНИЧА

Имя действительного статского советника Дмитрия Павловича Рунича (1779—1860) у современников получило широкую огласку в 1821 г. по печально известному делу разгона Петербургского университета и суда над рядом профессоров, поскольку именно он выступил главным их обвинителем в религиозном и политическом вольнодумстве. Нужно сказать, что взгляды Д.П.Рунича, одного из образованнейших людей своего времени, постепенно видоизменялись под влиянием господствующей конъюнктуры и политической ситуации, и поэтому его воспоминания, написанные к 1850 г., представляют бесспорный интерес, особенно оценки происходивших событий эпохи 1812 г.

Он родился в семье сенатора П.С.Рунича (1750—1825), владимирского, а затем вятского гражданского губернатора. Получил прекрасное домашнее образование. Правда, по дворянскому обычаю с юных лет его записали на службу в лейб-гвардии Семеновский полк, но когда пришло время служить, то он пробыл на военной службе недолго — в 1797 г. был определен в Коллегию иностранных дел переводчиком, затем получил должность секретаря-переводчика при посольстве в Вене, в 1798 г. переведен в Берлин. В 1800 г. Д.П.Рунич был произведен в надворные советники и причислен в штат канцелярии его отца, владимирского гражданского губернатора, в 1802 г. получил чин коллежского советника. 28 июля 1805 г. он был назначен помощником московского почт-директора, а 31 августа 1807 г. пожалован в статские советники. В 1812 г. в связи с арестом почт-директора Ф.П.Ключарева исполнял его обязанности, эвакуировал из Москвы во Владимир (затем в Н. Новгород) имущество, документы и денежные средства ведомства (5 млн руб.), где создал новую почтовую линию,

связывавшую Россию с Сибирью. После освобождения Москвы занимался восстановлением почтовой службы. Но 11 февраля 1816 г., получив чин действительного статского советника, был уволен от должности с причислением по почтовому департаменту. Лишь 8 марта 1819 г. получил назначение членом Главного правления училищ, а 7 мая 1821 г. — должность попечителя Петербургского университета и учебного округа, на которой печально прославился судом над рядом профессоров за «обдуманную систему неверия и правил зловредных и разрушительных в отношении нравственности». 25 июня 1826 г. его уволили от должности, и он был подвергнут следствию за нарушение отчетности. Затем занимался переводами и литературной деятельностью. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. В 1850 г. Д. П. Рунин закончил писать свои воспоминания на французском языке, они обнимали время Екатерины II, Павла I и Александра I. Их перевод появился в журнале «Русская старина» за 1901 г. в номерах 1—6. Здесь публикуется лишь VII глава его «Записок», которая была посвящена событиям 1812 г. и Священному союзу, взятая из журнала «Русская старина» за 1901 г. № 3 (С. 597—614).

VII

Вторжение Наполеона в пределы России. — Сперанский и граф Ростопчин. — Князь Н. И. Салтыков. — Г-жа Сталь. — Почт-директор Ключарев. — Москва перед вступлением неприятеля. — Казнь Вережагина. — Пожар Москвы. — Художник Тончи. — Сперанский в Нижнем Новгороде. — Москва после отступления неприятеля. — Священный союз трех императоров

Наполеон приближался к русской границе с несметной армией. В Польше и в Литве он был встречен с распростертыми объятиями, и вскоре обе эти страны были объята восстанием. Русская армия отступала. При переходе через Неман Наполеон издал прокламацию, в которой, обращаясь к солдатам, говорил со своей обычной самоуверенностью, что «Россия увлечена роком!»¹

В это время приезжал по семейным делам в Петербург. Все известия, доходившие из армии, сообщали об ее отступлении в

глубь страны. Обе армии, коими командовали Барклай де Толли и князь Багратион, были отрезаны и не имели возможности соединиться. Никто не мог объяснить себе подобного образа действий, и все споры на этот счет оканчивались припевом, что Сперанский продал свою родину Бонапарту.

Император Александр не выказывал опасения по поводу того, что его империей завладеет Наполеон, и ободрял народный дух, но он был весьма озабочен. Его мучили происходившие козни против Сперанского, который — он это знал — был невинен. Его заставили силою согласиться на эту жертву; он счел нужным уступить необходимости. Та же интрига, которая была пущена в ход, чтобы погубить Сперанского, выдвинула на сцену Ростопчина. Он был переименован из отставного действительного тайного советника в генерала от инфантерии, назначен московским генерал-губернатором и облечен такою же властью, какую имел главнокомандующий большой действующей армией.

Приблизительно около этого времени Тормасов, командовавший корпусом в Литве², одержал над французами победу близ г. Кобрин в Гродненской губернии, и спустя некоторое время император получил известие, что армии Барклая и Багратиона соединились близ Смоленска. В своем донесении императору Барклай говорил, что «армия занимает надежную позицию».

7 или 8 августа в Москве узнали о взятии Смоленска.

Я, как уже сказал, находился в это время в Петербурге. Состоя по жене в близком родстве с фельдмаршалом Салтыковым³, председателем Государственного совета, я узнал от него содержание донесения Барклая, которое государь привез ему лично, и заметил по этому поводу, что соединение двух армий не представляет еще ничего утешительного и что даже вступление неприятеля в Москву не есть еще признак окончательной гибели России, если только император не решится заключить мир для того, чтобы спасти древнюю столицу в ущерб национальной чести. Тогда старый фельдмаршал, которого мое замечание как будто наэлектризовало, уверил меня, что не только занятие Москвы, но даже вторжение неприятеля в Петербург никогда не заставит императора заключить мир с Наполеоном. Впоследствии Александр подтвердил это своим манифестом, в котором он объявил, что не положит оружия до тех пор, пока на Русской земле останется хотя один француз⁴.

До взятия Смоленска Александр ездил в Москву, где он был встречен восторженно. Дворянство и купечество предложили ему громадные средства, чтобы вести самую беспощадную войну с неприятелем, осквернившим Русскую землю своим святотатственным вторжением.

Окончив свои дела, я возвратился в Москву на свой пост помощника московского почт-директора. На полпути я встретил на одной станции г-жу де Сталь, которая возвращалась из Москвы в Петербург в сопровождении Шлегеля; особый курьер был назначен сопровождать ее. Она именовалась супругой французского посланника при шведском дворе. Любопытствуя видеть эту знаменитую женщину, я воспользовался званием помощника почт-директора и явился к ней под предлогом осведомления, не имеет ли она каких-либо жалоб на неприятности или задержки в пути. Она приняла меня с тою французскою любезностью, которая придавала еще более прелести ее выдающемуся уму и знанию света. После первых приветствий она обратилась ко мне с обычным в то время вопросом: что знают о Наполеоне и где он находится?, и когда я ответил, что трудно определить, где он, что он везде и нигде, г-жа Сталь сказала:

— Ах, милостивый государь, доныне он вполне доказал справедливость первого; императору Александру выпало на долю доказать второе.

Она сказала мне, как русскому, таким образом, приятный комплимент, и вместе с тем ее слова оказались пророческими.

Я приехал в Москву 5 августа 1812 г. Город был взволнован. Я вскоре узнал, что Ростопчин уже начал кровавую трагедию, что он задумал подкопаться под директора почты в Москве, Ключарева, которого он решил погубить. Живя со времени своей отставки в Москве, Ростопчин часто ездил в Тверь⁵ и не скрывал своего взгляда насчет настоящего положения дел. Злой и язвительный, он постоянно направлял свои насмешки на Наполеона, его маршалов и министров и на Сперанского. Узнав, что Ключарев позволял себе высказывать об нем нелестное мнение, он вспыхнул к нему непримиримо враждою вследствие уязвленного самолюбия и подозрения, что тайна его переписки была нарушена и что его частые поездки в Тверь были истолкованы Ключаревым в своих письмах к петербургским знакомым с очень подозрительной точки зрения. Зная немилость, постигшую Сперанского, и то обстоятельство, что он не мог более покровительствовать Ключареву,

с которым он был очень хорош, Ростопчин, сделавшись главнокомандующим Москвы, старался удалить почт-директора через посредство фельдмаршала Салтыкова, в надежде, что последний, желая посадить меня на место Ключарева, поддержит его просьбу перед государем. Фельдмаршал говорил со мною об этом, показав предварительно письмо Ростопчина императору, но Александр знал Ключарева со слишком хорошей стороны и отказался сменить его, говоря, что «теперь не время делать подобные перемещения». Стараясь навлечь подозрение на Ключарева, Ростопчин употребил для этого преданного ему человека и личного врага Ключарева — Брокера, служившего прежде в почтовом ведомстве и потом назначенного московским полицмейстером. В Москве был арестован молодой человек, купеческий сын, по фамилии Верещагин, обвиненный в распространении переведенных на русский язык прокламаций Наполеона, изданных им при переправе через Неман; Верещагину велено было говорить, что он получил их от одного из сыновей Ключарева в нумере газеты, запрещенной цензурой.

Началось следствие, клонившееся к тому, чтобы обвинить Ключарева-отца. Верещагин был осужден и посажен в тюрьму.

7 августа был схвачен один почтовый чиновник и препровожден в Петербург по подозрению, что он распространяет посредством писем страх и безнадежность внутри империи. Это великое открытие было сделано также патриотом Брокером. В действительности же он подкупил одного бедного служащего и убедил его украсть письмо вышеупомянутого чиновника. К несчастью, он был плохой диалектик и еще более плохой литератор; в его письме была следующая ничего не значащая фраза: «Наполеон может быть побит, но не может быть побежден».

После известия о взятии Смоленска Ростопчин не мог более сдерживать своей злобы; он отправился 10 августа около полуночи в почтамт, арестовал директора и отправил его в один из отдаленных городов внутри империи. Директор был тайный советник и имел Владимира и Анну 1-й ст. Не прошло и двух недель с тех пор, как император наотрез отказался уволить его и во время посещения Москвы оказывал ему особое благоволение. Такова бывает в смутное время судьба самого преданного слуги государя, когда клевета поклялась погубить его.

Московский главнокомандующий известил меня об отсутствии директора тотчас по его отъезде, поручив мне вместе с тем

исполнение его обязанностей и приказав написать о случившемся донесение министру. Верещагин, обвиненный в государственной измене, был заключен в острог, где содержатся важные преступники.

Поведение Ростопчина в тот короткий промежуток времени, который протек с его назначения главнокомандующим до сдачи Москвы, в полном смысле слова непонятно. Нельзя объяснить мотивы, побуждавшие его совершать те жестокости, которые, при всем их произволе, говорили бы в его пользу, если бы они могли отвратить по крайней мере хоть тень опасности, угрожавшей Москве, ибо Москва, хотя и не составляла всей империи, но, без сомнения, действовала своим примером на всю страну.

Тотчас после назначения и по приезде в Москву Ростопчин стал разыгрывать из себя «друга народа»; он высказывал уверенность, что Наполеон не осмелится двинуться на Москву, но эта уверенность успокаивала только простой народ. Полиция распространяла каждое утро по городу бюллетени, печатаемые по его приказанию и написанные площадным языком, в которых говорилось то о слабости французских солдат, которые так же легки, как снопы, которые русский свободно поднимает простой вилою, то писалось, что жители могут спокойно оставаться у своих очагов, что трусы хорошо сделают, если удалятся, то говорилось, что готовится громадный воздушный шар⁶, в лодку которого будут посажены вооруженные люди, чтобы бросать с высоты разрушительный огонь во французские легионы; что прежде Ростопчин смотрел одним глазом, а теперь он будет смотреть в оба. Занимая, с одной стороны, этими глупыми шутками празднующихся, он вселял, с другой стороны, ужас, проявляя свою власть такими жестокими мерами, которые заставляли всех трепетать. Например, по донесению одного мальчишки, он приказал, без дальнейших рассуждений, наказать кнутом своего повара-француза и сослать его в Сибирь, но повар умер под кнутом.

За несколько дней до Бородинского сражения Ростопчин приказал полиции собрать всех французов, живших в Москве, купцов, модисток и других, как мужчин, так женщин и детей, на пристани, от которой отправлялись большие баржи, ходившие по Оке и Волге, велел посадить их всех на одно большое судно и сам лично отправился на берег, откуда произнес на французском языке речь, сочиненную им в подражание наполеоновским

прокламациям к армии. Между прочими громкими фразами он сказал следующее:

— Французы! вас увлекает злой рок! ваша безопасность будет зависеть от вас самих, от вашего спокойствия и от того, как смиренно вы будете себя держать; но знайте, что малейшее упрямство превратит эту мирную ладью в барку Харона!

Все эти французы были отвезены в Казань; их имущество делалось добычею французских солдат и русских, после их возвращения в Москву, когда неприятель оставил город.

После кровопролитного сражения, происшедшего 26 августа в 30 верстах от Москвы, все это пространство было наполнено множеством телег, на коих перевозили в Москву раненых русских и иностранцев. Ростопчин приказал временно поместить пленных, до их отсылки во внутренние губернии, на Воробьевых горах, находившихся в четырех или пяти верстах от города. Вторая половина августа была холодная и дождливая; пленных кормили только черным хлебом и водою, вследствие чего между ними свирепствовал сильный кровавый понос, от которого весьма многие умерли. Жители Москвы толпами выходили навстречу раненым, приносили им белый хлеб и деньги, не делая различия между русскими и пленными.

Среди этого хаоса, среди этих различных сцен Ростопчин, преследуя с большим хладнокровием тот план, который был им составлен, или, быть может, указан ему, просил московского архиепископа служить молебны и совершать крестные ходы. Он поддерживал среди всех слоев общества убеждение, что Москва будет сдана неприятелю только после большой битвы под стенами города.

1 сентября все еще говорили о том, что на следующий день будет дано сражение. Но никто не подумал, что под Москвою не было такого поля, на котором могло бы произойти решительное сражение между двумя армиями численностью в 500 000 человек и более 2000 орудий, и что если битва при Бородино не могла решить участи войны, то столь несметному количеству войска и подавно нельзя было помериться силами под самыми стенами столицы.

Признаюсь, я сам, увлеченный мелочным страхом за свою личную безопасность, занятый разными распоряжениями для спасения касс почтовых контор, в которых хранились громадные суммы денег, принадлежавшие как частным лицам, так и каз-

не, и принятием различных мер на тот случай, если оккупация Москвы французскими войсками прервала бы сообщение прочих губерний с Петербургом, я сам, говорю, поверил одну минуту в возможность дать еще одну битву и остановить Наполеона. В два часа ночи, отдав все приказания, которые могли облегчить быстрый отъезд, я бросился одетый на диван, чтобы кратким сном поддержать мои ослабевшие силы. Не успел я сомкнуть глаз, как мой брат, бывший начальником канцелярии московского главнокомандующего, явился ко мне и предупредил меня, чтобы я не ожидал более официального уведомления о сдаче Москвы, что Ростопчин потерял голову, когда фельдмаршал князь Кутузов объявил ему, что Москву нельзя спасти, и что, заехав предупредить меня о том, он сам тотчас покидает город, увозя из канцелярии все то, чего нельзя оставить в руках неприятеля; брат сказал, что русская армия проходит через город вследствие того, что заключено перемирие, что полиция с пожарным обозом удаляется из столицы, а Ростопчин отправляется к фельдмаршалу.

Я тотчас приказал готовиться к отъезду. Кроме старых ненужных бумаг, все деньги и счетные книги были захвачены. К двенадцати часам дня я уже проехал Ярославскую заставу и был на большой дороге, но так как путь был прегражден армией после ее ухода из столицы, то я не мог, согласно распоряжению, данному мне генерал-губернатором еще в половине августа, направиться на Владимир, где находились архивы и бумаги разных присутственных мест, перевезенные из Москвы, и куда предполагали перевести и самые присутственные места. В то время как я был занят приготовлениями к отъезду, я узнал об убийстве несчастного молодого купца Верещагина.

Вот убийство, которое невозможно объяснить, не очерняя памяти Ростопчина. Он выслал всех арестантов из московского острога и поместил их в местах, недоступных неприятелю; почему же он оставил в Москве одного Верещагина? Он ведь хорошо знал, что эта несчастная жертва была ни в чем неповинна. Убивая Верещагина, он погружал во мрак неизвестности все это дело и клеймил навсегда отца и сына Ключаревых подозрением, которое оправдывало его поступок. Он хотел только повредить Ключареву и излить на него черную, несправедливую и бесчеловечную месть.

Невинность Ключарева была доказана впоследствии, и Ростопчин, как я скажу далее, прибег ко лжи, чтобы не подвергнуться

ответственности перед законом. К несчастью, когда не существует улик и нет апелляции, то всякое дело бывает правым.

Ростопчин приказал привести к себе Верещагина из острога накануне сдачи Москвы. В тот же день он издал бюллетень, в котором приглашал всех жителей Москвы, способных носить оружие, явиться к нему, чтобы отправиться под его начальством на неприятельское войско и рубить его. На рассвете решетка, отделявшая обширный двор его дома от улицы, ломилась под натиском огромной толпы, состоявшей из самых низменных, отчаянных подонков столицы. Ворота были заперты. Ростопчин вышел на двор с Верещагиным, которого вели два жандарма. Он обратился к толпе с речью и, указывая на Верещагина, сказал: что «изменник своей родины, приготовивший путь врагам, достоин смерти!», и тотчас приказал жандармам изрубить его саблями, сам нанес ему первый удар и велел бросить тело умирающего невинного страдальца через решетку на улицу. Разгоряченная чернь набросилась на него и волочила его по улицам.

Народ бросился в кабаки, в городе не было более ни стражи, ни полиции. Ростопчин сел в ожидавший его легкий экипаж и отправился к армии, только что выступившей из Москвы.

Вот истинный рассказ об этом чудовищном убийстве, совершенном за несколько часов до вступления Наполеона в древнюю столицу московских и всероссийских царей.

Несколько дней спустя служившие у меня чиновники почтового ведомства приехали ко мне во Владимир, куда я прибыл благополучно окольными путями. Она видели своими глазами, как волочили по улицам тело Верещагина, и передали мне все подробности, мною описанные.

Прежде нежели продолжать прерванную нить рассказа, я остановлюсь на пожаре, истребившем Москву.

В одном манифесте, обнародованном по окончании войны, внесенной Наполеоном в пределы России, император Александр сказал, что пожар Москвы осветил независимость или освобождение Европы! Не есть ли это ответ на вопрос, кто спалил Москву? — который предлагали и предлагают до сих пор. Зачем издал Ростопчин в Париже брошюру под заглавием: «Правда о пожаре Москвы». Не тщеславие ли вложило ему в руку перо?

Для всякого здравомыслящего человека есть только один исход, чтобы выйти из того лабиринта, в котором он очутится, прислушиваясь к разноречивым мнениям, которые были выска-

заны по поводу пожара Москвы. Несомненно, только император Александр мог остановиться на этой мере, вырабатывая общий план войны с Наполеоном; она могла быть задумана и предписана только самим императором; ее приказано было исполнить лишь в последней крайности, когда опасность угрожала бы всей империи, и выполнение этой меры могло быть поручено только Ростопчину и Кутузову, причем лишь первый из них мог привести ее в исполнение. Кутузов не мог приказать этого по своему собственному усмотрению, точно так же, как Ростопчин не мог привести эту меру в исполнение по своему собственному почину. Случается, что, проиграв сражение, сжигают город, если он находится на линии отступления, чтобы помешать неприятелю идти вперед; но никогда не бывает, чтобы сжигали город, покидаемый вследствие приостановки военных действий, когда неприятель вступает в него; точно так же, и неприятель, вступая в город, не может со стратегической точки зрения найти выгодным сжечь его. Это было бы величайшей нелепостью, если только не допустить, что люди захотели бы, из принципа, ввести в военное искусство всякие несообразности, что также было бы бессмыслицею. Неприятель может, конечно, сжечь, разрушить, разграбить и опустошить город или провинцию, которую он покидает, но он не делает этого, вступая в нее.

Французская армия заняла Москву шесть дней спустя после Бородинского сражения, окончившегося в пользу русской армии, которая не была прогнана с операционной линии и могла отступить к Москве, находящейся в 60—100 верстах от Можайска или Бородино, не быв преследуема французами. Приостановка военных действий, решенная между Милорадовичем и Мюратом, дала русской армии время пройти через Москву, а жителям столицы оставить город. Наполеон вступил в город 2 сентября в 4 часа пополудни; я покинул Москву в тот же день приблизительно в 11 часов утра; пожар начался на следующий день; следовательно, надобно допустить, что город был подожжен в нескольких местах еще накануне лицами, оставшимися в Москве и снабженными с этой целью горючими материалами до оккупации ее неприятелем, ибо глупо было бы допустить, что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования, и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны как из центра, находившегося в их руках. Но, повторяю, эта важная

мера могла быть задумана и приказана только самим императором. Собственность казны и частных лиц не должна была и не могла быть оберегаема в ту минуту, когда дело шло о спасении империи. Каким же образом говорили о пожаре Москвы как о деле, зависевшем от произвола главнокомандующего армией или московского генерал-губернатора? Как мог Ростопчин взять на себя смелость оправдывать или отрицать это великое событие? В своих бюллетенях он предупреждал жителей Москвы за месяц, чтобы они не подвергали опасности своих движимых имуществ; местные власти отправляли вовнутрь империи вверенные им кассы и архивы; к чему же принимались все эти меры, если не существовало заранее обдуманного плана сжечь Москву? Из города были вывезены сокровища Кремля, а также иконы Владимирской и Иверской Божьей Матери. Всего нельзя было спасти, но спасли все, что было необходимо; и если у частных лиц были разграблены библиотеки и другое имущество, то они должны винить только себя за смешную беспечность, жертвой которой они сделались, или должны пенять на недостаток перевозочных средств.

Когда Смоленск был взят, нечего было выжидать последствий Бородинской битвы. Со взятия Смоленска до оккупации Москвы прошло три недели; в течение этих трех недель, как я уже сказал, все движимое имущество могло быть спасено. Но что значат материальные убытки, когда дело идет о спасении страны и национальной чести. Как сказал Петр Великий на могиле кардинала Ришелье, что он бы пожертвовал половиною своих владений для того, чтобы иметь его своим министром, а другую половину отдал бы за то, чтобы научиться от него управлять, так и Александр и всякий другой монарх был бы обязан принести в жертву половину своих владений, чтобы спасти другую половину от захвата Наполеона, что было бы хуже всякого рабства. Россия осталась неприкосновенна только потому, что Наполеону не удалось лишить ее национального характера. Император Франц II, отдавши свою дочь замуж за корсиканца-победителя для того, чтобы он не взорвал его столицу, — ничего не сделал для своей страны; но Александр, сжегший свою древнюю столицу для того, чтобы изгнать французского ига, — сделал все! Он спас и страну, и свой престол, и народную честь. Повторяю, как мог Ростопчин взять на себя смелость отрицать или оправдывать это великое дело, которое его монарх признал за зарю независимости России и всей Европы?

Человеческий ум и политика всегда ищут вчерашнего дня.

Может быть, история взглянет на этот факт так же, как я; не пройдет и века, как тайна разъяснится, и на пожар Москвы, без сомнения, будут смотреть как на одну из лучших жемчужин, украшающих венец Александра. Ростопчину останется только слава, что он искусно обдумал и выполнил один из самых великих планов, возникавших в человеческом уме, с тех пор как люди живут на земле и воюют друг против друга.

Ростопчин захотел, как ворона, одеться в павлиньи перья, написав лично себе дело, за которое он подлежал бы ответственности перед судом разума и совести, если бы он сделал его без монаршего приказанья, по своему собственному усмотрению, ибо после государя только один главнокомандующий русской армией имел власть превратить в пепел столицу, отданную им неприятелю добровольно, коль скоро эта мера была необходима для спасения империи и армии и коль скоро стратегические соображения, входившие в его планы, требовали подобной жертвы. Следовательно, Ростопчин только исполнил высочайшую и беспеллационную волю своего монарха или же план Кутузова, в чьих руках было спасение страны и всего народа. Тот, кто знал Москву в эпоху нашествия французов и кто хорошо знает характер русского народа, поймет, что Москва не могла быть отдана такому завоевателю, как Наполеон, и такой армии, как французская, таким же точно путем, как сдавались города у других народов. Петр I хотел уничтожить национальный характер России для того, чтобы поставить ее на один уровень с прочими государствами Европы. Россия Иоанна III не могла приобщиться к цивилизации западных народов. Екатерина II завела план Петра I слишком далеко. В ее время образованная часть дворянства офранцузилась, к великому неудовольствию большинства нации. Наполеон, являясь в Москву победителем, обладая силой, легко мог привлечь на свою сторону московскую знать и сделать из нее своих агентов. Разве мы не видели примера, что Загряжский, оставшись в Москве, сделался пособником императора французов вместе с другими русскими. Если бы меры, принятые Ростопчиным, не удалили всю московскую знать, то Наполеон нашел бы, к несчастью, немало Загряжских среди русских, воспитанных французами и преклонявшихся перед всем французским. Очарование, пущенное в ход Наполеоном, погубило бы Россию скорее, нежели какие бы то ни было орудия. Москва, вечно недовольная

Петербургом, могла бы произвести самое пагубное впечатление на страну, а политика Наполеона достигла бы той цели, которая становилась недоступной его оружию. Вот почему надобно было заманить Наполеона в Москву, продержатъ его там до зимы, выгнать из нее всех поклонников Парижа и его мод, спалить город и предоставить остальное двадцатиградусному морозу и соображениям Александра и Кутузова.

Французские нравы и философия, процветающие на берегах Сены, могут быть подходящими для Франции; но они и в настоящее время были бы пагубны для блага и спокойствия страны, менее века вышедшей из варварства. Ребенок не может пользоваться правами разумного человека.

Война, голод и чума — ужасные бедствия. Высшая мудрость Божественного Провидения поражает ими людей. Всякая война есть бедствие. Самая справедливая война, даже если она ведется народом для защиты его домашнего очага от вражеского нашествия, влечет за собою многочисленные бедствия. Не политика поддерживает внешние и внутренние войны, не она порождает перевороты у соседей ввиду своих собственных интересов, не она возвышает незаконность над законным правом и признает верховную власть народа, которая может быть более пагубна для страны, нежели война, голод и чума. Эти бичи ниспосылаются Провидением в наказание народам. Во время этих бедствий политика только лавирует или колеблется, чтобы парализовать, по мере человеческих сил, противоестественный порядок вещей, который она не в силах прекратить. Великие перевороты, совершающиеся в государствах, намечены в общих планах Божественного Провидения, управляющего миром.

Успехи самых многочисленных войск не всегда зависят от их численности и от мудрых соображений какого-нибудь Наполеона. То, что должно быть унижено, — будет унижено, то, что должно восторжествовать, — восторжествует. Это не теория фатализма, это теория Божественного права, которую отвергают санкюлоты, передавая народу самодержавную власть. Скоро наступит время, когда дети станут смеяться над этой философией, подобно тому, как в Париже смеются над чудесами диакона Париса*, над исцелениями золотушных, а не далее как сто лет тому назад всему

* Paris, Франциск, диакон, известный своей твердой верой и строгой жизнью, прославился чудесами, совершавшимися над его могилою. Родился в Париже в 1690 г., умер в 1727 г.

этому чистосердечно верили во Франции и в Париже. Философы смеются над всеми, кто не хочет согласиться с ними, что люди существуют только для того, чтобы удобрять почву, подобно животным, которых они пожирают, и для того, чтобы рождать себе подобных для той же цели.

Приехав во Владимир, я не успел еще принять необходимых мер, чтобы выработать план сообщения между той частью империи, которая лежит за Москвою и Петербургом — местопребыванием правительства, когда я получил от московского губернатора уведомление, что главнокомандующий армией, князь Кутузов, прислал ему из Смоленска приказание отправить все московские присутственные места, сосредоточенные во Владимире, в Нижний Новгород.

В этих записках, долженствующих пролить свет на историю, которая должна, в свою очередь, через некоторое время дать подробную картину эпохи, я не могу умолчать об одном странном событии, случившемся во Владимире в течение тех четырех или пяти дней, которые я там провел.

В Москве проживал уже несколько лет художник исторической живописи и портретист Тончи, талант первого разряда. Гениальный артист, он был вместе с тем человек высокого ума, прекрасно образован и очень красноречив. С величественной наружностью, убеленный сединой, в нем соединялся весьма оригинальный склад мыслей, что придавало его беседе особую увлекательность. Сущностью его философии был нелепый пантеизм⁷, но он говорил так увлекательно, что прелесть его разговора заставляла забыть всю несообразность его мировоззрения. Одна безобразная старая дева предложила ему свою руку и сердце; желание быть в родстве с одной из самых знатных фамилий России заставило его принять это предложение, он сделался мужем княжны Гагариной⁸ и забросил свое искусство. Он был принят в самых известных московских кружках, был другом Ростопчина и всех князей и графов. Отправив, по примеру других, свою жену вовнутрь империи при первом известии о приближении французской армии, он поселился сам в доме Ростопчина, по приглашению этого последнего для большей безопасности, как ему было сказано, в случае волнения в городе и для того, чтобы, в случае крайности, он мог покинуть город под покровительством генерал-губернатора. 2 сентября, в день сдачи Москвы, Тончи имел не-

счастье увидеть во дворе генерал-губернаторского дома страшное убийство несчастного Верещагина и сошел с ума.

Ростопчин поручил моему брату, бывшему директором его канцелярии, отвезти Тончи во Владимир, куда брат и отправлялся. Тончи, пораженный кровавым зрелищем, коего он был свидетель, окончательно помешался; воспользовавшись минутой, когда его оставили одного, вышел из кареты и ушел в лес, находившийся близ села. Его тщетно искали весь день, и мой брат должен был продолжать свой путь, приказав на почтовой станции отправить Тончи во Владимир, как только его найдут. Лесные сторожа встретили Тончи в лесу, где он бродил без цели; не зная по-русски, он не мог ответить на их вопросы, и его, как иностранца, приняли за французского шпиона, скрутили веревками и отвели в полицейское управление, где его также никто не мог понять, а оттуда его отправили вместе с прочими арестантами во Владимир; только там дело разъяснилось. Мой брат поспешил, до получения дальнейших приказаний, поместить его у себя. Это новое приключение еще более помutilo рассудок Тончи. Он вообразил, что Ростопчин держит его под надзором, чтобы сделать его вторым Верещагиным. Однажды, притворившись больным, он не встал с постели и, достав бритву, хотел зарезаться. К счастью, он только перерезал себе кровеносные сосуды, и его нашли плавающего в крови. Ему была тотчас подана помощь, и через несколько дней он совершенно поправился. На вопрос, предложенный ему моим братом, почему он покушался на свою жизнь, Тончи отвечал, что он хотел покончить с собою, чтобы избежать более жестокой смерти. Этот ответ не оставляет никакого сомнения насчет убийства Верещагина.

Когда Тончи окончательно выздоровел и к нему вернулся рассудок и спокойствие, то он пожелал оставить городу что-либо на память о своем пребывании в нем и написал для владимирского собора великолепную картину, изображающую крещение св. Владимира; она считается одним из лучших произведений его кисти. По всей вероятности, картина эта находится в соборе и доныне.

Вынужденный удалиться из Владимира в Нижний Новгород, куда отправилось большинство московской знати, искавшей в первый момент приют в городе, ближайшем к древней русской метрополии, я должен был принять меры к тому, чтобы создать в этом пункте, отдаленном от центра сообщений с Петербургом,

новую почтовую линию для сношения столицы с Сибирью и с местностями, лежащими по ту сторону Урала.

В Нижнем Новгороде я нашел Сперанского, пользовавшегося всеми правами, принадлежавшими ему по чину, хотя он и находился под присмотром губернатора. Он жил весьма уединенно; недоброжелательство к нему народа проявлялось открыто. Вообще его считали изменником своей родины и неблагодарным по отношению к государю, его благодетелю. С ним избегали всякого сближения. В исходе сентября губернатор сообщил приказ, только что им полученный, отправить узника в Пермь. Сперанскому тотчас велено было отправиться туда в сопровождении полицейского чиновника и фельдъегеря. Все толки, вызванные присутствием Сперанского, тотчас смолкли. По этому поводу г. Румовский⁹ рассказал мне, что в августе, вскоре после приезда Сперанского в Нижний Новгород, Ростопчин присылал к нему курьера, прося удалить Сперанского, но он отвечал на эту просьбу отказом, основываясь на высочайшем повелении, в котором строго было предписано, что местопребыванием для тайного советника Сперанского впредь до нового высочайшего повеления на этот счет должен служить Нижний Новгород. Будь губернатор менее независим в своем образе действий, он не захотел бы или не пожелал бы противиться Ростопчину, которого считали всемогущим. Румовский наотрез отказался повиноваться и спас жизнь Сперанскому.

Рассказ о военных событиях не входит в программу моих мемуаров. Названия и подробности всех битв, происходивших до эвакуации Москвы, известны всем и каждому. Все уже обсуждено, все взвешено, поэтому я коснусь лишь того, что касается хода событий, вызванных вторжением французов. В начале октября я получил от министра внутренних дел приказ принять совместно с нижегородским губернатором все необходимые меры для открытия прямого почтового сообщения между Петербургом и Вяткой.

Вятская губерния примыкает к Пермской, составляющей границу Сибири. Города Вятка и Пермь находятся на одной черте с Петербургом. Вятка находится на расстоянии 1459 верст от столицы. Было ясно, что если бы Петербургу угрожала опасность от неприятеля, то этот отдаленный пункт должен был послужить для его жителей убежищем в критический момент. Пока принимались надлежащие меры для прикрытия этого пути, из Москвы

было получено известие, что 14 октября город неожиданно покинут Наполеоном и его армией. Но перед этим Наполеон приказал похитить крест с колокольни, известной под именем Ивана Великого (который считали сделанным из чистого золота), и велел взорвать в двух или трех пунктах стены Кремля со стороны реки и часть Оружейного двора. Два или три дня позднее я получил от чиновников почтового ведомства, оставшихся в Москве, самые подробные сведения о почтамте, который остался цел благодаря тому, что в нем помещалась французская почтовая контора и заведовавший ею генерал Бодин (Bodin)¹⁰. Несколько времени спустя министр внутренних дел сообщил мне высочайшее повеление вернуться в Москву и восстановить прерванные сообщения. Я возвратился в столицу 1 декабря, три месяца спустя после моего отъезда оттуда за несколько часов до занятия города неприятелем. Почта стала действовать с прежней правильностью; единственными следами пребывания Наполеона и его войск в древней столице России были обгорелые развалины домов, обугленные стены и заборы, трупы людей и лошадей, загромождавшие улицы, да Кремлевские соборы, превращенные в склады, мастерские и конюшни. Несколько церквей остались неприкосновенны, и во время пребывания Наполеона в них даже совершали богослужение ксендзы, не бежавшие из Москвы. Крестьяне ближайших к городу деревень, толпами устремившиеся в Москву, тотчас после ухода из нее французов, разграбили все то, что неприятель не умел унести. Жители толпами возвращались к своим разрушенным очагам.

В день нового, 1813 г., снова появилась «Московская газета», возвестившая об успехах русской армии и о бедствии, постигшем остатки французской армии. Все ожило! Город походил на муравейник, который разрушил ребенок, играя веткой, и который тысячи муравьев старались привести в прежний порядок. Вновь открылись лавки, торговля возобновилась, можно было достать все необходимое. Мастерские снова принялись за работу, жители ближайших к Москве окрестностей и более дальних местечек привозили в город все, что они могли продать с большою для себя выгодой. В город возвращались каждый день беглецы, покинувшие свои очаги в день вступления в столицу Наполеона. Генерал-губернатор Ростопчин вступил снова в исполнение своих обязанностей. Полиция увозила трупы и очищала улицы. Так окончились шесть недель ужаса и бедствий, вызванные успехами

неприятеля, и снова воротился порядок. Все было забыто; можно было подумать, что люди сговорились считать все происшедшее в течение этих шести недель тяжелым сном. Несмотря на следы опустошения, которые еще были у всех на глазах, никто не думал более о понесенных потерях. Можно ли представить большее доказательство того, что бессмертная душа не придает никакого значения времени и материи, лишь только она получает возможность предаться деятельности, чтобы жить сообразно своему внутреннему существу в будущем!

Ужасы, совершенные в продолжение шести недель, кои продолжалась оккупация Москвы и ее окрестностей французами, представляют картину весьма печальную для ума и сердца человеческого. Смешной покажется филантропия, столь восхваленная нашим веком и привлекающая взоры своими якобы человеколюбивыми делами, если сравнить ее неявные дела с действительностью, которая доказывает, что человеколюбие не есть свойство, врожденное человеку, а что эта мнимая человечность благородного сердца есть не что иное, как игра гордости, свойственной человеческому сердцу, подобно тому, как мысль о предстоящей пытке останавливает руку убийцы. Человек рождается злым; он это доказывает, когда страсть увлекает его. Любовь к человечеству не более, как великолепное платье, расшитое золотом и серебром, но прикрывающее скелет, изъеденный червями. Истинное человеколюбие не нуждается ни в золоте, ни в серебре для того, чтобы проявить себя. Оно не воздвигает дворцов, стоящих миллионы, для того, чтобы лечить в них двести или триста нищих или неизлечимых больных. Оно протягивает правую руку так, чтобы об этом не знала левая рука.

Низший класс в России всегда ненавидел иностранцев, вследствие различия в религии, нравах, языке и во взглядах.

Нападение французов на собственность жителей и эта исконная ненависть были единственными причинами всех зверских поступков, коих иностранцы были жертвою в течение войны, внесенной Наполеоном в пределы России. Патриотизм был тут ни при чем, и Ростопчин, которому это было отлично известно, сумел только воспользоваться этой ненавистью. Предав огню свой собственный дом в одном из своих поместий, которое могло достаться в руки неприятеля, он сделал в малом размере то, что

император Александр был вынужден сделать в больших размерах, чтобы спасти свою честь, свою корону и страну*.

Ненависть, которую русские проявили, совершая разные жестокости против иностранцев, пришедших опустошать их родную землю, доказывает, что русский человек защищал в 1812 г. не свои политические права. Он воевал для того, чтобы истребить хищных зверей, пришедших пожрать его овец и кур, опустошить его поля и житницы.

Когда русский крестьянин сыт и не страдает от холода и произвола властей, то он засыпает в своей курной избе так же сладко, как Ротшильд¹¹ среди нимф, оплаченных его деньгами. Он живет только для удовлетворения своих физических потребностей и для того, чтобы пользоваться свободой, которую он ищет в растительной жизни, оберегая себя от насилия. Он просыпается поутру для того, чтобы работать, и засыпает вечером с тем, чтобы начать на другой день то, что делал накануне. Как все народы более или менее цивилизованные, он может быть только орудием в руках благодетельного гения или смелого и отважного заговорщика.

Ростопчин, действуя страхом, выгнал из Москвы дворянство, купцов и разночинцев для того, чтобы они не поддались соблазнам и внушениям наполеоновой политики. Он разжег народную ненависть теми ужасами, которые он приписывал иностранцам, коих он в то же время осмеивал; поняв план Александра и характер русского народа, он спас Россию от ига Наполеона. История осудит его, как человека, за жестокости, какие он совершил, преступив свои права как главнокомандующий Москвою, но она отдает ему должное и признает его за глубокого политика и умного администратора, который расставил сети одному из величайших и могущественных гениев, когда-либо появлявшихся на земле, и запутал его в этих сетях, из коих он освободился только для того, чтобы окончить дни свои в заточении на дикой скале острова Св. Елены, под ферулой англичанина. Отнимите необузданность у Наполеона и Ростопчина, и человечество перестанет верить в существование Божественного Провидения. Наполеона оправдали бы, говоря, что роковая судьба увлекает все и всех. Фатализм сделался бы исключительной философией человечества. «*Rex hodie est et eras morietur*» (Екк. гл. X, ст. 12).

* Рунич везде приписывает распоряжению Александра сжечь Москву, но это подвержено сомнению.

Эта исконная ненависть русских ко всему иноземному, вторжение французов на Русскую землю и занятие Москвы, на которую русские смотрят как на священный город и который был осквернен присутствием людей, коих они считают нехристями, пробудили в сердцах московской черни и в окрестных крестьянах жажду мести. Как только им попадался в руки кто-либо, принадлежащий к французской армии, смерть его была неминуема; его убивали, и труп, иногда еще трепещущий, бросали в колодезь или в отхожее место. Даже женщины, копаясь в огороде, чтобы добыть несколько картофелин, единственную пищу, которую они могли достать, и встретив по дороге пьяного спящего солдата, тащили его до ближайшей помойной ямы и сбрасывали туда головою вниз. Множество колодцев, помойных ям и отхожих мест были наполнены неприятельскими трупами. В деревнях крестьяне уводили своих жен и детей в самую глубь леса, чтобы укрыть их от неприятеля; а сами, вооружившись дубинами, топорами или косами, подстерегали отсталых солдат или фуражиров, и если они были в малом количестве, то нападали на них и беспощадно умерщвляли. Крестьянин убивал солдата, который, сняв оружие, спал под его кровлею. Каждый крестьянин считал, что он исполняет этим свой долг. Нет возможности исчислить, сколько солдат всех наций, вступивших на Русскую землю, погибло таким образом. Действительно верно, что народ становится бешеным тигром, когда нападают на его домашний очаг.

Треть огромной наполеоновской армии погибла в России от рук крестьян, от холода и болезней. Никогда еще завоеватель не был в столь бедственном положении, как Наполеон, дошедший до Москвы, не встретив никакого сопротивления, которое могло бы ему напомнить об угрожавшей ему мышеловке.

Покорителю Европы суждено было убедиться, что он не Бог, — только в Москве.

После Березины успехи русских войск заставили замолкнуть Европу. Русские вступили в Париж, Наполеон умер на острове Св. Елены. Этим я оканчиваю мое полустратегическое повествование и возвращаюсь к рассказу о событиях, касающихся собственно России, до смерти императора Александра, но обращаю еще внимание на одно обстоятельство, которое заслуживает быть отмеченным, а именно, что три монарха, соединившиеся для того, чтобы сломить гордость Наполеона, подписавшие акт Священного союза, — были: Александр I, Франц II и Фридрих III.

Цифры, коими сопровождаются имена этих монархов, как будто указывают на толчок, данный первым из этих монархов, на дружественную помощь второго и на союз третьего; в то же время эти цифры как будто указывают на постепенное стремление союза упрочиться, чтобы достигнуть благого результата. Без первого двигателя ни вторая, ни третья держава не могли бы достигнуть цели умиротворения Европы. Это доказали с полной очевидностью предшествовавшие войны.

Примечания

- ¹ Почти дословно автор повторяет фразу Наполеона из обращения к войскам перед началом войны (См.: Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году. Ч.1. СПб., 1839. С.161).
- ² Ошибка, А.П.Тормасов не командовал корпусом в Литве, а был главнокомандующим 3-й Обсервационной армией, которая прикрывала южное направление.
- ³ Д. П. Рунич 28 сентября 1806 г. женился на Екатерине Ивановне Ефимович, родственнице графа Н. И. Салтыкова.
- ⁴ Бескомпромиссная и твердая позиция Александра I нашла отражение уже в официальных документах начала войны. В именном указе Александра I от 13 июня 1812 г., данном председателю Государственного совета и Комитета министров графу Н. И. Салтыкову, содержится следующая фраза : «Проведение благословит праведное Наше дело. Оборона отечества, сохранение независимости и чести народной принудило Нас препоясаться на брань. Я не положу оружия доколе ни единого неприятельского воина не останется в Царстве Моем» (Собрание Высочайших манифестов, грамот, указав, рескриптов, приказов войскам и разных извещений, следовавших в течение 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816. С. 9; ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. XXXII. № 25141.). По свидетельству А. С. Норова, последняя фраза из рескрипта стала «лозунгом России и армии от прапорщика до генерала» (Воспоминания Авраама Сергеевича Норова // Рус. арх. 1881. Кн.3. С. 179).
- ⁵ В Твери находился салон Великой княгини Екатерины Павловны, собиравший до 1812 г. всех недовольных профранцузским курсом правительства.
- ⁶ Шар Ф. Леппиха.
- ⁷ Пантеизм — религиозное и философское учение, отождествляющее понятие бога и природы, характерно для материалистических взглядов и натурфилософии эпохи Возрождения.

⁸ Женой Н. И. Тончи стала княжна Гагарина Наталья Ивановна, но она была моложе мужа на 22 года, и в 1812 г. ей было только 34 года.

⁹ Ошибка в написании фамилии — нижегородским гражданским губернатором с 1804 по 1813 гг. был Руновский Андрей Максимович.

¹⁰ В списках французских генералов на время Первой империи Бодин не значится.

¹¹ Имеются в виду пять братьев Ротшильдов, создавшие в это время банковский дом и имевшие филиалы во многих европейских столицах.

МОЙ ВЕК, ИЛИ ИСТОРИЯ ГЕНЕРАЛА МАЕВСКОГО

1779 — 1848

*Из всех воспоминаний эпохи 1812 г. мемуары генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Маевского (1779—1848) занимают особое место, во многом — благодаря его уникальной идентичности. И не только как человека, который в этот период находился близ первых лиц армии и был знаком с людьми, принимавшими важнейшие военные решения (собственно, на его глазах эти решения и принимались), но и благодаря тому, что он сам имел непосредственное отношение к свершившимся событиям. В данном случае очень важны и личные качества автора, проявившиеся при написании воспоминаний. Особо хотелось бы выделить восприятие мемуаристом своей деятельности и собственную самооценку. Здесь у С.И.Маевского нет равных в отечественной мемуаристике этого периода, хотя очень немногие при написании своих текстов старались не выпячивать свои заслуги. Написанное Маевским можно только сравнить с мемуарами, созданными с противной стороны — наполеоновским полковником бароном Теодором Жаном Жозефом Серюзье (См.: *Mémoires militaires du baron Sérurier colonel d'artillerie légère. Paris, 1894*). Если слепо верить мемуарам «старины» Серюзье (как, по его словам, называл сам Наполеон), то все значимые победы (Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау, Фридланд, Ваграм, Бородино) французы одерживали только благодаря ему, да и самые главные подвиги, конечно, достигались именно благодаря личной храбрости этого артиллерийского офицера, который лишь на несколько лет был старше французского императора. Нечто подобное мы встретим и в воспоминаниях Маевского: храбрость его была беспредельна, все об этом только и говори-*

ли, все значимые решения принимались с его подачи, а успехи достигались благодаря лично ему. Если же отбросить явный субъективизм и бьющее через край самовосхваление автора, то все же в его мемуарах можно найти массу интересных подробностей и фактов, которых невозможно отыскать в официальной делопроизводственной документации того времени, особенно что касается взаимоотношений между военачальниками и подоплеки многих событий. А он был очень информированным человеком, всегда находился в центре событий, его служба в 1812—1813 гг. протекала рядом с выдающимися генералами своего времени — П. И. Багратионом, М. А. Милорадовичем, М. И. Кутузовым, П. М. Волконским, А. А. Аракчеевым, М. Б. Барклаем де Толли, а также с императором Александром I. Да и сама личность автора по-своему очень самобытна и уникальна. Он с ранних лет находился в армии, но не являлся по сути военнослужащим, лишь в 1813 г. удостоился чести перейти с гражданской службы и получить сразу чин полковника, а затем и назначение командиром егерского полка. Прослужив в ранних летах с год подпрапорщиком (нижний чин), в 1796 г. он вышел в отставку с чином коллежского регистратора, затем был определен аудитором (военным юристом) в полевые полки. В этом качестве он принял участие с 1805 г. во всех кампаниях против французов, а затем с 1808 г. в войне против турок. В 1812 г. в чине надворного советника он уже занимал должность генерал-аудитора 2-й Западной армии. Эта должность и стала стартовой позицией в его последующей карьере. Имея бесспорные боевые заслуги в 1812—1814 гг., уже в послевоенное время он получил в 1819 г. чин генерал-майора, а в 1837 г. удостоился чина генерал-лейтенанта. Правда, многие историки, писавшие про события Отечественной войны, ошибочно относили его к генералам 1812 г.

В этой публикации помещены начальные главы воспоминаний С. И. Маевского (Рус. старина. 1873. № 8, 9), которые заканчиваются событиями 1815 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Из всех земнородных существ человек есть существо самое печальное. Природа недаром являет его на сцену света плачущим. Но не слезы ли и удел всей жизни его?.. В ребячестве поминутно видишь слезы его; в юношестве — он стесняется зависимостью, более или менее тягостною; в зрелых летах — борется с терниями жизни и редко, очень редко парит в мир мечтательного воображения; в старости обуревается печалью, горестями, болезнями или, ближе — живет, как живой между мертвыми. Его общество есть бремя для окружающих: всякий спешит скорей оставить его, чем беседовать с ним.

Если бы нам показали Александра Великого, Юлия Кесаря, Петра Великого, Александра Российского и Наполеона, когда им совершилось бы по 90 лет, — мы бы с меньшим участием смотрели на живые бюсты их, чем на мраморные, передающие нам священные черты этих полубогов шара нашего. Мраморные бюсты, сокрывая все человеческое, говорят только о божественном; но живые, потеряв эластик и прелести, часто заставляют нас говорить: «Неужели и сей дряхлый старичишка был некогда велик и покрывал себя (переданными нам историею) лаврами?.. Нет, это басня, выдуманная хвастливостью и невежеством века их».

Написав прежде более 10 томов собственной моей истории, я думал тогда совсем иначе. Но, к счастью, историю эту, по смешному случаю, бросил я в камин и жег 5—6 дней. Впоследствии мне стало жаль ее и смешное самолюбие шепнуло мне написать другую, более сокращенную.

С. Маевский

Часть первая

ВОЙНА И МИР

I

Начало службы

Мое происхождение. — Иезуитская школа. — Поступление в службу. — Восшествие на престол императора Павла. — Война 1799 г. — Беклешов. — Гудович. — Розенберг. — Эссен 1-й. — Шеф Пурпур

1779 — 1807 гг.

Рождение, жизнь, заслуги, известность в свете и все, человека сопровождающее, есть дело случая. Рождение может относиться только к случаю; случай есть симпатия сердец, которые, под названием симпатии Аристофановых человеческих половин на Платоновом пиру, в обожаемом предмете обожают самих себя или второго себя и невидимо сливаются с ним в одно целое. Часто век не дожدهшься этого случая и не почувствуешь симпатии.

Отец мой был ротмистр польской народной кавалерии, что равнялось чину российского генерал-майора. Страсть сердца, пылкость ума, лет, характера и века заставили его украсть из монастыря мать мою, — и брачный союз их был началом моего рождения (7 октября 1779 г.). Преследование родителей с матерней стороны и общая неприязненность к отцу заставили его перейти в российскую службу. И, мало уважаемый тогда, ротмистр народной кавалерии едва принят майором. Лета и рассудок, этот грозный враг человека в раскаянии, раны, увечье и недостатки после богатства, словом, — все безвременнo свело его во гроб.

Мать моя, а следственно и я, были брошены в урну чужеземного благотворения. Она переехала со мною из Риги в Полоцк и посвятила себя исключительно попечениям обо мне. Родители моей матери, лишив ее наследства, посвятили всю ее часть в монастырь. В 16 лет моей жизни я мало думал о наследстве и сжег права мои на него. Имение отца осеквестровано и вошло в общую сумму королевских маетностей. Употребив остатки своих денег,

она купила маленькое поместье в 30 душ и жила ни бедно, ни богато.

По малом требовании тогдашнего воспитания, я выучился дома грамоте и пробыл 2—3 года в иезуитском училище. Глупая метода моих наставников делать всех баснословными богословами отвратила меня от бредней сего учения, и, признаюсь, хотя к стыду, я в 10 лет был уже маленький философ. Но набожность матери, не пропускавшей по дороге ни кирки, ни церкви, ни костела, куда бы она ни зашла помолиться, утвердила меня еще более в понятиях человека-философа. Я чувствовал всю душевную потребность благоговеть пред именем Творца; но не мог быть ни фанатиком, ни изувером; одним словом, я стал выше всякого предрассудка в 10 лет. Нравственные мои силы развились слишком рано, но физические были еще слабы и малонадежны.

В 10 лет я был записан в конную гвардию и по гражданской службе. В последнюю я тотчас и вступил. Верх, который брал я в 10 лет над теми, коим было от 40 до 50 лет, утешал гордость и самолюбие мое. И смешно видеть ребенка в эти лета начальником отделения, за которым сидят 10—15 согбенных стариков, готовых творить все по его мановению. В 13 лет я уже занимал пост протоколиста губернского правления: принимал челобитные, докладывал членам и писал решения.

Когда была польская революция¹, я желал участвовать в войне против бунтовщиков. Мое поле было тесно для меня, и я искал обширнейшего; но желание матери удержать меня возле себя совершенно противоречило страсти моей к военному поприщу. Страсть моя к военной службе так была велика, что я на карманные мои деньги нанимал ребятишек, из тростника делал им каски, а вместо ружей давал палки и маневрировал. Не одних стоило мне слез, когда команда моя разбегалась прежде условленного времени. Я послал просьбу государыне и, по праву дворянина, определен в полки Украинского корпуса. Дядя мой, служивший в Виннице советником, устроил меня при губернаторе Берхмане, — и я в 15 лет был уже прапорщик и ординарец Берхмана².

Человек в 15 лет, и притом в офицерском мундире, мало думает о будущем и спешит только жить и жить. Если взять во внимание стихию прапорщика-ребенка и век, в котором я жил и в котором не имели претензии на высокое воспитание и ум, то всякий согласится, что этот прапорщик был невежда — по образованию,

и счастливцев — по случаю. Какое-то особое притяжение, свободный образ обращения и все то, чего я за собою не замечал, давало мне перевес в глазах старших. Я пользовался доверенностью, не употреблял ее во зло; итак, поручение за поручением приметно отделяло меня от толпы тунеядцев-прапорщиков и ставило меня выше всех моего круга. Я помню, как меня командировали учить старого прокурора, как посылали курьером и как часто давали писать такие дела, о которых я не имел никакого понятия. Но им удивлялись, хвалили; а отчего? — оттого, что и поручавшие, по видимому, не сильнее меня были в этом деле.

В конце 1796 г. умерла Екатерина II, на престол вззошел государь Павел. Всеобщая переборка лишила многих хлебного места, отняла способ обогащаться кровавыми трудами ближнего и поставила всех в границы страха и чести. Посреди всеобщей сумятицы никто не знал, кому куда приютиться. Многочисленные штабы простых губернаторов рушились, — и я, прежде нежели успел о себе подумать, был уже обращен в звание юнкера за то, что меня пожаловал Суворов, а не царица.

Горестные чувства, неразлучные с каждым переворотом царствования, усилили мои несчастья. Я нечаянно попал в историю с пьяным казаком Агаповым, которого побили за то, что вмешался не в свое дело; потом дядю моего отдали под суд, а меня, по молодости и беспечности, обокрали до рубахи. Я уже готов был возвратиться на прежнее грязное мое поприще; но особый случай доставил мне пост при военном губернаторе Беклешове. Грозный по виду, но благородный по сердцу, Беклешов был виною нового моего счастья. Я пользовался полным отеческим его вниманием и расстался с ним с сердечною горестью; место Беклешова заступил Гудович, а сего — Розенберг. С Гудовичем сделал я кампанию 1799 г. до Устилуга; а Розенберг, желая доставить мне случай быть его адъютантом, пригласил к себе в полк в аудиторы³, ибо это одно доставляло возможность ввести меня в службу армейским офицером.

Розенберг был старик 80 лет, глухой, слепой и по природе не бойкий; это была уже числительная машина, управляемая другими.

С прибытием генерала Эссена 1-го, я с первого дня вошел к нему в фавор. Несмотря на то, что я был штатский, он назначил меня бессменным ординарцем, — и я при приеме просьб и при разводах отправлял должность его адъютанта, становился на

поэндеву (point de vue)⁴, отдавал фронтовые приказания и, к счастью, те, кои принимали оные, еще меньше моего смыслили фронтовое дело*.

Через месяц, а много через два мне вышло разрешение быть аудитором⁵. Эссена это очень взбесило, а меня очень обрадовало. У нас разные были понятия: Эссена рассердило то, что я избрал грязный путь службы; а меня радовали шпоры, хотя, признаюсь, во все время крепко меня тяготила вывеска моего мундира! Эссен скоро успокоился, и я сделался с ним неразлучным. Но нас поссорили два случая; 1) суд над казачьим майором Сысоевым и 2) что я, из дружбы к товарищам, отказался быть у него на балу. В обоих случаях я был виноват и никогда не прошу ложному понятию о чести. Впрочем, по делу Сысоева я показал характер выше лет и удостоился за то лестного монаршего благоволения. К благороднейшей черте Эссена отнести должно, что он и сквозь призму гнева показывал ко мне отеческое свое расположение.

У нас был тогда шефом некто Пурпур⁶. Все видели в нем чудака, потерявшего рассудок. По тогдашней филантропии, никто не думал ни сменить его, ни даже сделать ему зло. Эпоха его командования — эпоха всех сумасбродств. Он был жесток с людьми, дерзок с офицерами и труслив до неимоверности! Не было недели, чтобы он кого не оскорбил и не просил у него публично прощения.

Кампания аустерлицкая и две прусские познакомили меня с огнем. В первой я сделал то же, что Фридрих Великий сделал в день первого своего боя, т. е. несколько струхнул. Но впоследствии я увидел, что и во мне есть сила души и мужество. Я прилепился к войне и тот день считал счастливейшим, когда мог к имени Маевского присоединить имя храброго. Обе кампании были для меня, как сон, по двум причинам: 1) потому, что я не беспокоил себя рассматриванием ни начал, ни цели, ни действия; 2) потому, что в том веке офицеры называли все то хорошим, что им приказывали. Ум наш не восходил тогда к началам, а действовал по привычкам и машинально.

* В один развод Эссен посылает меня сказать: «Батальону вперед!» Я объявляю; но батальонный командир спрашивает у меня: «Выходить ли знаю вперед?» Теперь этого не спросит и новобранец. Еще на ученье Эссен говорит: «Маевский, прикажи две очереди». Я поскакал, не зная и сам, в чем заключалось приказание. Но на запрос, как будто вдохновенно, отвечал: «Разумеется, стрелять вместо одного два раза». С. М.

II

На Дунае

Генерал Марков. — В Австрии. — Князь Прозоровский. — Князь П. И. Багратион. — «Дежурство армии». — Служба при князе Багратионе. — Флигель-адъютант Аракчеев

1808 — 1812

Я сказал, что я все подробности сжег в огне, и потому не повторяю уже глупостей ни своей, ни чужих, выключая двух, а именно:

Окончивши кампании в Пруссии, мы стали лагерем при Копысе, в ожидании высочайшего смотра. Генерал Марков, сделавшись дивизионным начальником, взял меня к себе. Я был и его обер-аудитор, и дежурный штаб-офицер. По системе того века, генерал не заботился о делах дивизии; он пресмыкался при больших и маленьких дворах, чтоб выиграть собственно к себе уважение. Я всегда оставался дома и именем его командовал дивизиею, а в войне водил войска не только походом, но и в бой. С Марковым отправился я в Италию, навстречу 15-й пехотной дивизии, следовавшей из Корфу. Здесь встретился я с А. И. Красовским, и дружество наше сохранилось по сей день. (1831 г.). Я все-таки повторяю, что Марков был здесь репрезентативное, а я — действующее лицо.

Италия и Венгрия доставили нам разнообразные приятности, а венгерское вино и гостеприимство их отзывалось в душе обычаем патриаршества. Войдя в Галицию, где принимают для тона, а не по душе, мы очень почувствовали разницу между прямотою и приличием. Меня занимала здесь Фанни, и я мысль об ней предпочитал всем праздникам и балам. Но без смеха не могу вспомнить несчастный корпус австрийских офицеров, которых в Галиции принимают презрительнее, чем у нас пьяных гарнизонных. Их точка — гауптвахта, а жизнь или дома, или на гауптвахте. Я был свидетель, как один раз в Лемберге⁷, в театре, вытолкали их десятка два за двери. Они привели гауптвахту, и той участь не лучше была офицерской. Главное их несчастье — недостаток образования и бедность до презрения.

Из Лемберга, через Буковину, пошли мы в Молдавию. Не найдя нигде заготовления, писали фельдмаршалу Прозоровскому. Ответ его скажет об нем. Вот что он писал: «Со всею моею памятью, которою Бог меня одарил, я забыл было указать вам точки продовольствия...»

Бросив писать относительные подробности, я не скажу ничего ни о земле, ни о нравах жителей. Они изложены в Турецкой моей кампании*. В Молдавии я получил два чина за отличие в войне и Базарджикский крест. В одном из жарких сражений под Шумлою я вводил войска в сражение, распоряжался как главный командир, потому что настоящий потерял голову; и, по общему ходатайству и рекомендации 7 генералов, получил чин. Но чин этот дорого мне стоил: во-первых, я от истощения сил получил жестокую горячку и во время отступления чуть-чуть было не попался в руки неприятеля; а, во-вторых, генерал мой, из зависти к моей репутации и как будто мстя мне за то, что я сделался им в минуту его оцепенения, сделался на всю жизнь врагом моим. Мы разошлись и около 8 месяцев не были вместе. Но генерал мой сделался новым героем, не по героизму и достоинствам, а просто по связи с главнокомандующим, по духу того времени, и если правду сказать, то больше по недостатку великих умов того века. Он перешел через Дунай, завладел неприятельскими батареями и отрезал турок, сидевших в укреплении на нашем берегу. Немного более ума и решительности — Рушук тогда же б еще был наш! Я застал генерала, потеющего над реляцією; его надо было вызволить — и это взяло у него верх над мщением. Генерал ввел и меня в реляцию; но, сделавши уже представление, тайно переменял его. Гармония наша как-то разлаживалась, мы играли на фальшивый лад, и это было причиною, что мы вновь разошлись. Он принял корпус в Малой Валахии, а я поступил к князю Багратиону, когда 2-я армия готовилась действовать против Наполеона⁸.

Вот здесь устроил я первое дежурство армии, которое в духе Желтой книги — так мы называли «Полевое уголовное уложение»⁹ — сделалось образцом дежурств всех армий и служило основанием Инспекторскому департаменту.

По странному противодействию счастья с несчастьем, к Багратиону прислали генерал-аудитора, чтоб сжить меня или, ближе, чтоб это место уступить присланному. Багратион, без

* Обширное, в нескольких томах, рукописное сочинение Маевского. Оно находится в распоряжении «Русской старины». Ред.

согласия моего, переуступил меня Тормасову. Но поступок сей славно был отомщен: дежурный генерал Марин явился первый к Багратиону, говоря ему: «Ежели вы до сих пор были довольны моим управлением, так этим я обязан Маевскому. Теперь, с отдалением его, я, по новости дела, не ручаюсь вам за полноту будущего порядка». — «Черт возьми этого Маевского! мне уже надоело все о нем да о нем слышать!» — вот какой был ответ Багратиона. И, не менее того, он поневоле оставил меня при себе. Князь счастливо наказан за поверхностное знание людей. Он был человек добрый, исполнен чести. При нем был оракул, который крепко поперечил моему плану: я у него был, как бельмо на глазах!

После кабинетных занятий наступили бурные. Гром пушек разогнал оракулов, которые живут для поживы, а не для службы, и поубавил свиту Багратиона. Я заступил место и начальника штаба, и дежурного генерала, и ординарца, и вестового. И князь, не прежде Дорогобужа, увидел, что Маевского не должно уже посылать к черту. Князь прилепился ко мне всею душевною признательностью, а я прилепился к нему самую истинною преданностью, походившею на род сильной страсти и привязанности. Но в Дорогобуже князь назначил, вместо дежурного генерала, флигель-адъютанта Аракчеева. Меня это оскорбило, — тем более что князь вверил ему только звание, а на меня возлагал ответственность. Сколько ни умолял меня действовать под маскою суфлёра дежурный генерал, но я решительно от того отказался. Г. Аракчеев был человек вечно пьяный и страдал сильною падучею болезнью*. Не быв ни героем, ни Платоном, ни Геркулесом, он, от первого сражения, потерял охоту быть близ князя, тогда как я считал это время самым приятным для имени и дела славы. Здесь-то Багратион приметил, что Маевский, которого прежде отсылал он к черту, есть существо, сопричисленное к существу Багратиона. Трудясь по сердцу, делая по привязанности и любя его как лучшего родственника, я не знал границ ни трудам, ни опасностям. Идет ли часть войск, тащится ли повозка, остались ли казачьи копты, — все это издали должен знать Маевский и наизусть сказать князю. Образ моей службы был таков: весь день ехать с князем верхом, на привале писать, вечером начинать работать с Сен-При, продолжая это до 12 часов ночи. В это время

* Брат временщика. *Ред.*

встает князь и работает со мной до свету. Не забудьте, что мне должно соснуть самому, а и того нужнее знать: где кто стоит и в каком направлении и когда выйдет на сборный пункт!

III

Бородино

Канун Бородинского боя. — Князь Багратион ранен. — Раевский. — Васильчиков. — Коновницын. — Тучков. — Армия Багратиона после Бородинского боя. 24, 25 и 26 августа 1812 г.

До Бородина я и князь Багратион еще не знали себя взаимно. Князь требовал всего с солдатскою холодностью; я исполнял все с сыновнею подчиненностью. В Бородине князь послал меня к гусарам с приказанием, чтобы они переслали это приказание вперед к войскам, бывшим уже в сильной перепалке: я, вместо первых, пустился к последним. Пробыв в огне, пока мне было нужно, я встретил Багратиона с лицом друга и полубога. Храбрый любит храброго: он меня обнял и обворожил новым своим обращением. Зато в дни 24 и 26 августа не было смерти, куда бы ни посылали Маевского: чем жарчее дело, чем больше опасность — туда летит Маевский. Бервиц, князь Гагарин и Маевский — вот три человека, которые несли всю тяжесть посыльных. Но первые двое не имели бремени — писанья, а потому не всегда посылались в такие места, где приказание соглашалось с диспозициею, случаем или общим распоряжением.

24 августа 1812 г. князь посылал меня в самый жаркий огонь, а ночью велел сыскать князя Голицына, Васильчикова, кирасир и генерала Воронцова и поставить их на позицию. Подъехав к огням (это было ночью в 12 часов), вижу, что огни делятся; влево кричат: «слушай!» вправо — «виват!» Подъехав к солдату в полной русской одежде, который стоит над раненым и держит ружье от дождя, я принял его за русского аванпостного часового. Но едва я сказал слова два по-русски, как он схватил ружье и дал по мне выстрел. Я взял в сторону, а выстрел попал в свиту генерала Левенштерна, силившегося завладеть своею батареею, когда на ней и подле нее стоял целый французский корпус!

Этот день я очень помню. Из Семеновки, где было до 100 дворов, остались только два дома, т. е. князя и мой: ибо имя «дежурство» есть имя магия в войне и мире. У меня собралось все, что было лучшего после первоклассных генералов; и остаток моего чая был небесным для них нектаром.

Кончив дела и отдав приказания, я на другой день, 25 августа, спал уже на дворе, как мертвый. Князь, проходя мимо меня со свитою, прошел так тихо, как мы входим в кабинет любезной, во время сладкого и тихого сна ее. Такое внимание, перед лицом армии и под открытым небом, не может не поселить возвышенной преданности к начальнику; а особенно, когда он, проходя мимо, сказал всем: «Гг., не будите его, он вчера очень устал; ему надобно отдохнуть и укрепиться».

26 августа развернулся весь ад! Бедный наш угол, или левый фланг, составивши треугольник позиции, более смешной, нежели ошибочной, сосредоточил на себя все выстрелы французской армии. Багратион правду сказал, что «здесь и трусу места бы не было».

Посреди этого ужаса и смертей Багратион послал меня к Раевскому посмотреть, что у него делается. Раевский взвел меня на высоту батареи, которая в отношении к полю была то же, что бельведер в отношении к городу. Сто орудий засыпали ее. Раевский с торжествующею миною сказал мне: «Скажи князю — вот что у нас делается!» Пролетая пространство более 2 верст, я оглушен был на лету бомбою до того, что более двух часов не мог просверлить ушей и сомкнуть мой рот: так удар был силен! Не прошло получаса, князь посылает адъютанта Брежинского вести Малороссийский гренадерский полк в штыки. Тяжесть корпуса помешала ему броситься туда стрелой, и Маевский получил самое лестное это поручение. Ударив, словив, опрокинув и сделав все в глазах того, кого любишь, живешь, кажется, не своею, но новою и лучшею жизнью.

Две посылки к Тучкову за секурсом остались без исполнения, по личностям Тучкова к Багратиону, и наоборот¹⁰. Третья возложена была на меня. Я ехал и плыл до Тучкова, объявил решительно волю князя, — и 3-я пехотная дивизия с Коновницыным отправилась со мной. Не говорю о смешном педантизме времени и понятий, — они были странны; и то, что хорошо за 100 верст, смешно требовать под носом у армии. Но Коновницын, по Желтой книге, допросил меня и с трофеем вел при дивизии, боясь обмана

или измены. Я поставил дивизию эту во рву треугольника, который составлял готовый бруствер позиции; но здесь, несмотря на защиту и выгоду, пала почти вся 3-я дивизия.

Едва я исполнял одно, как возлагалось на меня другое: князь послал меня за новым секурсом к Тучкову; но Тучков сам был слаб и сильно атакован Понятовским на старой Московской дороге, которая шла в тылу всей нашей армии. Возвратясь ни с чем, я князя уже не застал: его ранили, и место его, по постепенности, переходило от одного к другому.

Коновницын, в колпаке, мчался то взад, то вперед; Дохтуров сидел у барабана, а демоны истребления как будто руками поражали жертвы свои. Наш угол показал твердость, мужество и благородное самоотвержение. Все устремлено было против него, и все опрокинул и выдержал один он!

В 3—4 часа так все изменилось, что я почти не нашел уже на месте ни одного знакомого лица. Князя отвезли назад; свита его отправилась вслед за ним. А в бою все так было перепутано, что я не знал, к кому и как приютиться.

Около 5 часов заметил я большое расстройство левого фланга. Имея еще влияние, как хозяин и дежурный генерал, я начал собирать свои войска и вводить их в огонь. Комендант Главной квартиры, Оржанский, первый принял над ними команду, а за ним последовали и другие. Генерал Васильчиков был нашим предводителем и по чувствам сердца, а не по расчетам посвящал последние усилия отечеству.

Собрав еще до 300 гренадер, я сам стал с ними на левом фланге линии и подкрепил ими два гвардейских полка, Егерский и Финляндский, с которыми и простоял в адском огне до 11 часов ночи.

Не имея ни связей с армиею, ни свидетелей чистоты моего усердия, я мало занимался быть замеченным и считал жертвою мою — жертвою простого приношения.

Но у меня убили лошадь, а заводные примкнули к свите князя, — и смерть моя казалась для всех верною. Благородный князь, стоя у порога к гробу, заботился только обо мне, и заботы его исчезли только тогда, как я, в виде тени, явился к нему на третий день.

Не скрою ни радостей моих, ни восторгов, ни внутреннего самодовольствия, когда я остался один на поприще осиротевшего. Ко мне примкнули камергер Давыдов, некто Безобразов, бывший после в Москве губернатором¹¹, и некоторые другие, — и с гордо-

стью говорили, что «они 26-го августа были в огне с Маевским». А чтоб быть в огне с Маевским, это было свидетельство — более всех свидетельств о храбрости.

Посреди бездействия мы объехали всю линию нашей позиции; нашли везде много пушек и солдат, но ни одного начальника. Заметив, по большой свите, что там должно быть главному начальнику, я, с моею свитою, взлетел к ним на гору. И в самое то время, как я хотел предложить услуги наши Барклаю и принять на себя команду над оставленными, неприятельское ядро оторвало ногу Орлову и группа людей рассеялась из виду моего. Тогда я обратился к роли невидимки и стал собирать рассеянных.

Смешны бывают случаи на сцене света; но всего смешнее они в войне, и особенно в минуту боя.

24 августа Беннигсен управлял линиею боя и обеспечивал левый наш фланг, выдавшийся вперед отдельным углом и батареею. Неприятель с самого начала начал напирать на него. Это и естественно, ибо пункт сей для нас был гибелен, а для неприятеля авантажен и беспспорен. Я, проезжая через лес, заметил движение и сообщил князю. Но тогда, кажется, не был еще в моде Жомини; а понятия об отдельных и облических действиях не составляли науки истинных полководцев того времени. Князь обратил внимание на отдельную батарею. Но, увидя, что неприятель врывается в центр линии, снял с нее войска и послал в подкрепление дерущихся. Беннигсен спорил, но князь настоял. Военное искусство решит, кто из них прав и кто виноват; но я скажу: командир дивизии, Неверовский, следуя по новому назначению, спрашивает меня: «брать ли ему с собою пушки?»

— Брать и не брать есть непосредственный ваш расчет. Но с тех пор, как я знаю войну, я не слыхал и не видал, чтобы, идя для стрелкового дела, везти с собою и батареи.

Этим отвечал я Неверовскому на двусмысленный вопрос его, и это развязало ему истинное его назначение.

Другой, не меньше смешной, запрос имел я от г. Дука, которому приказывалось повести атаку против неприятеля 26 августа.

— А как же мне идти — всею ли линиею или оставлять резервы позади?

— Расположить атаку зависит от вас; князь мне ничего более не приказывал. Но если вам угодно знать собственное мое мнение, то войско без резерва — есть жертва, обреченная на пагубу.

Дука из сего ответа заключил, что герой и в мундире не солдат знает свое ремесло и не даст приза над собою.

Неверовский и Дука, ознакомившись после со мной, были мои друзья; и Дука я особенно полюбил за пламенную его привязанность к покойному Багратиону, которого можно было назвать душою его подчиненных.

После раны князя Багратиона 2-я его армия переходила из-под команды в команду. Наконец, поручена была генерал-лейтенанту Бороздину 1-му. Я остался при нем в звании дежурного генерала.

IV

Москва

Положение русской армии. — Решимость уступить столицу. — Фигнер. — Военное искусство в эпоху Отечественной войны. — Мнение Наполеона о русских военачальниках. — Милорадович. — Дело при Воронове. — Граббе. — На реке Пахре. — Назначение мое в Главную квартиру М. И. Голенищева-Кутузова

1812 г.

Для удержания неприятеля сделана была последняя попытка перед Москвою; но позиция избрана была в такой трущобе, где армия была вся в яме, где она не имела ни простора, ни сообщений для взаимных подкреплений и где на флангах ее мог утвердиться неприятель, завладеть ее выходами и располагать Москвой по собственному произволу. Кутузову оставалось, как многие хотели: или из ложного патриотического упрямства оставаться в этой яме и дать неприятелю владеть всем плацдармом действий и Москвою; или, подобно Меласу, отдать без боя Москву, чтобы только купить свободу и выйти из этой ямы. Может быть, последнее и исполнилось бы, ежели бы известный Фигнер не открыл направления неприятеля, угрожавшего уже стеснить нас и решить всю судьбу всей кампании.

После известных споров решились, наконец, пожертвовать Москвою, чтобы оккупить Россию. Итак, тот самый полководец, который накануне сдачи Москвы клялся Ростопчину, что он скорее погребет себя под развалинами Москвы, чем сдаст ее, был побежден обстоятельствами — и спас Россию.

Оставим на минуту Москву и последние действия и скажем только о людях тогдашнего времени.

Багратион был не без ошибок; но он ошибки свои выкупил множеством успехов и покорением в три месяца того, над чем предместники его трудились целыми веками¹².

Мне странно, что до несчастного 1812 г. умы наши, в отношении к военному искусству, находились в той же прогрессии, в какой находится ум бакалавра в приложении к уму Архимеда, Эйлера и других великих людей, раскрывших нам вполне тайны и законы натуры. Великий Александр с начала своего царствования не был счастлив гениальными умами полководцев и, не имея образцового, увлекался к обыкновенным. Достоинство их равно было монете, на которой главное качество составляла прошедшая ценность, потерявшая от времени и свой вес, и свой штемпель. К удивлению света, он получил сильную доверенность к Прозоровскому; и сей избирал ему полководцев, а сам, в одном из своих донесений, писал: «Я не перехожу за Дунай оттого, что я не встретил бы там теперь ни одного неприятеля, и, следственно, мне некого бы еще было поразить. Но пусть соберется вся их армия — я перейду, и одним ударом разобью ее». По этому образчику мнений и действий заключит всякий, в каком диком состоянии была у нас тогда наука; а эти образчики мнений и действий были у нас тогда общею аксиомою войны.

Кордонная война и кара без различия довершали несовершенство и были причиною наших поражений до 1812 г.

Но обратимся к Москве.

Открытие Фигнера, как я уже сказал, спасло Россию от гибели. Ложные понятия о чести спасти Москву — исчезли; упрямство уступило место рассудку, и из брожения его родилась мысль новая и высокая — стать на операционной линии неприятеля. Фланговый марш был следствием нашего пробуждения или, лучше, воскресением всей России.

Но то, что вводило нас в ошибки, вошло в правило Наполеона. Привыкши побеждать нас и играть нами, как детьми природы, он никак не хотел еще верить, чтобы эти дети вдруг, или почти волшебю, перенеслись от невежества к совершенству. Не то ли бывает с отцами и учителями, когда они видят, что дети и ученики умнее их самих? Они это почти чувствуют, но никак не соглашались на очевидные истины.

То же, что устрашало нас (оставить Москву), испугало и самого Наполеона. Ложные расчеты, ложное честолюбие и непрони-

цательная самонадеянность были следствием гибели полумиллиона людей и совершили собственное его несчастье.

Я помню, когда адъютант мой Линдель привез приказ о сдаче Москвы, все умы пришли в волнение: большая часть плакала, многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после полного отступления или, лучше, уступления Москвы. Мой генерал Бороздин решительно почел приказ сей изменническим и не трогался с места до тех пор, пока не приехал на смену его генерал Дохтуров.

С рассветом мы были уже в Москве. Жители ее, не зная еще вполне своего бедствия, встречали нас, как избавителей; но, узнавши, хлынули за нами целою Москвою! Это уже был не ход армии, а перемещение целых народов с одного конца света на другой. Через Москву шли мы под конвоем кавалерии, которая, сгустивши цепь свою, сторожила целостность наших рядов, и первого, вышедшего из них, должна была изрубить в куски, несмотря на чин и лицо, — так боялись слить родных с родными!

Кутузов, заметивши сей хаос и желая поправить сколько можно ошибку, уступил Милорадовичу ветвь вымысла спасти армию и жителей. Милорадович был в арьергарде и, видя, что неприятель с противной стороны, но в одно с ним время входит в Москву, решился сказать Наполеону: если он не даст ему и жителям свободного выхода, то Милорадович погребет себя под пеплом Москвы. Богатая мысль, твердая решительность и высокая душевная сила Милорадовича взвешена была с благами Москвы, которые ожидал найти Наполеон, и все это вместе спасло нас и восстановило равновесие.

Но войска Наполеона вошли в Москву прежде, чем мы прошли. Польские уланы, наскочив на наших, рубили на валтрапах их вензеля А, говоря: «ту нима Александра, ту Наполеон». Едва узнал о сем Милорадович, он без конвоя и без свиты едет к цепи неприятельской, которая устроилась против него и сквозь которые тащились огромные кортежи войск и жителей. На запрос его, где неприятельский авангардный командир, явился к нему Себастиани. После многих изъявлений дружбы, желаний и сожаления Себастиани решительно приказал исполнить в точности условия капитуляции. Но когда он сказал Милорадовичу: «Ежели завтра генерал ваш не прекратит напрасного кровопролития и не будет просить мира, тогда мы с вами сделаемся опять неприятелями, и вы будьте готовы встретить меня».

— Генерал! — отвечал Милорадович, — мы можем начать дело хоть сейчас: вы прикажите вашим атаковать моих, а мы оба посмотрим отсюда, как они будут драться.

После столь примерного или полубратского поступка, где с обеих сторон господствовали как будто род некоторых великодушных уступок и самоотвержения, чему до Москвы не было еще примера, армия наша на другой день исчезла из общего вида, и мы увидели ее не прежде 4—5 дней. Это маскированное движение, конечно, принадлежало к числу мастерских военных действий.

В Подоле¹³, что подле Москвы, разбитая армия Багратиона поступила к Милорадовичу. Милорадович встретил штаб его длинною и несвязною речью, делал колкости памяти покойного Багратиона и настоятельно требовал указать ему того, к кому князь всего более имел любви и доверенности, дабы именно в лице сего последнего мог он доказать князю истинное свое великодушие и любовь к тому, кого любил и уважал, — враг его. Генерал Марин¹⁴ отвечал на сие с достоинством человека, умеющего ценить себя, князя и представляемых им чиновников. И Милорадович заключил речь тем: «Я люблю беспорядок, ибо один только беспорядок ведет к истинному порядку».

В Подоле мы устроили «дежурство». Милорадович давал мне знать под рукою, что он хочет ближе всех со мною сблизиться. Не желая оскорбить Марина, как друга и благороднейшего начальника, я долго отклонял сие сближение. Но в один день, когда я встретился с Милорадовичем, он меня остановил и начал говорить:

— Господин Маевский! я знаю, что князь обязан вам совершенным устройством и порядком его дежурства. Вы много трудились для него. Я уверен, что вы труды ваши разделите теперь со мною!

Я благодарил его за лестное мнение и остался при нем в звании авангардного дежурного штаб-офицера.

Под Вороновым авангард наш стоял в боевой осторожности. Но к нам всякий день приводили пленных, которые шли к нам в сети, не ожидая встречи с нами на коммуникационной своей линии. Милорадович принимал их милостиво и щедро дарил на словах деньгами и всеми потребностями. В один день он приказал мне напоить и накормить приведенную партию пленных и дать им по червонцу на брата. Не зная еще манеры Милорадовича, я говорю его дворецкому: «Отпустите им все назначенное». Но дворецкий, улыбаясь, сказал мне:

— Вы всякий день будете иметь подобные приказания, и если по неосторожности употребите свое, то ввек не получите назад. Наш генерал (Милорадович) не имеет сам ни гроша, и часто бывает, что он, после сильных трудов, спрашивает поесть. Но как чаще всего у нас нет ничего, то он ложится и засыпает голодный без упрека и без ропота.

Я не раз испытал это и сам и, из жалости к его беспечности, заботился о бедном его столе.

Мюрат командовал противоположною нам линиею и мертвое наблюдал во всем молчание. В один раз вздумалось ему осматривать инкогнито нашу позицию. Но известный Сысоев, заметя его, выстрелил по нему и дал промах. Мюрата оскорбило такое поведение среди перемирия, и на другой день он желал лично переговорить с Милорадовичем. Они съехались; и Милорадович, между прочим, заключил, что он за счастье почитает иметь такого соперника, который сошел с трона единственно для того, чтобы сделать честь Милорадовичу, сопричислдя его к числу своих сопротивников. Но чтобы показать и со своей стороны полное уважение, он запретил стрелять по ставке короля.

Не прошло трех дней, как вежливый Мюрат атаковал нас всюю своею массою. Положение наших позиций было самое неудобное. Это была просто демаркационная линия, обведенная глубокою и отлогою долиною. Мы стояли на оконечности высокого возвышения, к которому с правой стороны примыкал лес на необозримое пространство и густо тянулся через всю нашу позицию до Главной нашей квартиры, имея в середине глубокие овраги, скрывавшие движение неприятеля. Неприятель стоял на отлогом месте. Но движение его и положение прикрывалось лесами и деревнею. В долине стояли наши драгуны и казаки. Генерал Панчулидзе, которому следовало занять противоположную сторону и открыть неприятеля, несмотря на множество приказаний, не трогался с места и не внимал никаким повелениям. Генерал Уваров, посланный разбудить Панчулидзева, прилетев назад, с азартом жаловался, что его казаки не слушают; что он раскрывал шинель, показывал ордена и уверял всех, что он генерал-адъютант; но что все сие нимало не помогло и что линия казаков осталась там же, где она и была. Панчулидзе имел дар не уйти со сражения; но сделать что-либо от себя — это было свыше его дарования. Милорадович, видя, что Панчулидзе ни с приказами, ни без приказов ничего не делает и не трогается, послал меня с тем, что (бы) Панчулидзе в присутствии моем совершил это

движение. Я объявил ему приказание; но оно на него не подействовало. Он, указывая на оконечность линии, говорит мне: «Там в лесу пехота; она возьмет меня во фланг и все движения мои сделает тщетными». Понимая хорошо, что это простой звук слов, я полетел к опасному месту и нашел, что на всем пространстве неприятельской линии оставлен был, между двух смежных пролесков, один или еще и менее батальона, который на площадке просто караулил неподвижные наши движения. Я сообщил это замечание Панчулидзеву; но на него и сие нимало не подействовало. Он требовал пушек, тогда как они висели над его головой, и пехоты.

Я донес Милорадовичу, и он сделал мне честь, приказав выбить из лесу неприятеля. Я взял конвойный батальон и готов был со словом «ура!» броситься в лес, как в ту же минуту прискакал от Милорадовича известный Потемкин и приказал, для острастки неприятеля, открыть по нему огонь. Батальон этот тотчас расстроился и не достиг своей цели; а Панчулидзе и французский батальон остались неподвижно на своих местах. Видя, что дело испорчено, я бросился на гору искать пособия в Милорадовиче; но вижу издали, что прямо к позиции мчится стремглав артиллерийское вещество. Я принял его за пушку и полетел навстречу прямо к нему. В жару усердия и энтузиазма я не разобрал формы этого вещества. Но, видя, что лошади мчат с ужасной горы, что готлангер¹⁵ не в состоянии их удержать и что пушка и человек, без особой помощи, разобьются вдребезги, я бросился поперек лошадей. Лошадей я удержал, но дышло расшибло мне ногу — и я упал замертво! Очувствовавшись, я увидел, что это была не пушка, но ящик, и лошади, от взрыва в нем, испугались и понесли готлангера с дымящимися еще остатками.

Не могши ни сидеть верхом, ни идти пешком, я, с помощью моего казака, взобрался на вершину горы. Там меня оттерли, перевязали, и я с больною ногою пустился опять на поле чести. Милорадович благодарил меня за спасение человека; но сам как будто не принимал ни в чем участия. Для него все было хорошо, когда двигались и дрались. Он с фанфаронскою миною рисовался на своем коне и с такою же миною отдавал приказания. Это был Ричард Львиное Сердце. Граббе управлял в сей день позицією боя, но поставил орудия так, что они стреляли вертикально, а в 10 шагах от них был густой лес, никем незанятый и неприкрытый. Неприятеля на его линии не было, а наши не трогались с места. Я заметил это Граббе; но это было уже поздно. Неприятель, до-

вольствуясь нашею оплошностью, потянулся весь на правый наш фланг, войдя в угол самой Главной квартиры. Она встревожилась и выслала под ружье всю свою армию. Следующая фигура изобразит тогдашнее положение:



aaa означает нашу позицию, *d* лес. — Неприятель, бросив *aaa*, потянулся чрез *d* до *z*; положение места способствовало ему столько же удобно уйти, как и прийти, что и случилось в этот день.

Странно было видеть несметливость Милорадовича и посреди важного решительного и опасного самые мелкие распоряжения, выпадающие в игру детей! Не подозревая, что неприятель огибает весь правый наш фланг, он приказывает:

— Господин Маевский! поезжайте вон — к той кавалерии; скажите, чтобы она пошла в атаку: сначала рысью, потом в галоп и потом во весь карьер.

С сим словом, дав шпоры своей лошади, как вихрь, умчался в другую сторону. Авангард наш, по мере выстрелов неприятеля, постепенно переменял дирекцию под прямым углом и из *aaa* перешел в *b* до *c*. Слабый кавалерийский отряд, став на оконечности нашей линии, опрокинул бы его до *c* и завладел бы остатком земли, разделявшей нас от армии.

В этот день пуля сшибла эполет Милорадовичу. Он, не переменяя ни вида, ни тона, провозгласил только: «Итак, наконец, первый раз в моей жизни, осмелилась пуля прикоснуться ко мне», — указывая на свой эполет.

Милорадович, по возвышенности духа, был истинный Баярд; по недостатку приготовления, беспечности и избалованному счастью не дорожил наукою. Он совершенно ее не знал; и у него всегда должно быть другому, который бы управлял целою пьесою. Его можно сравнить с хозяином, который дает волю приказчику — всем располагать, но который берет на себя только трудное и опасное. Первые мысли Милорадовича — мысли возвышенные, счастливые и были бы даже и удачные; но тут же из-

меняются они, по мере мыслей других, так что едва успеет родиться хорошее, как оно заменяется дурным.

Неудачное или, больше, беспокойное сражение наше под Вороновым несколько огорчило Кутузова. И нетрудно было Милорадовичу дать правильный вид сражению, которое, впрочем, было против всякого вычисления. Однако же сражение сие так обеспокоило фельдмаршала, что он ежедневно требовал к себе Милорадовича для совещания. И вскоре после того решили притянуть авангард к армии. Я получил, в звании генерал-аудитора, самое лестное для меня поручение: командовать заднею цепью арьергарда, защищать мост и, быв последним, сжечь его в самой уже крайности.

Кстати положить и тень, и цвет на картину Милорадовича. Его сердце равно было прочим благородным его качествам; но беспечность прикрывалась всегда любезностью его характера. До меня не было в авангарде ни устройства, ни продовольствия: это не дело Милорадовича. С моим прибытием все получило новый вид. Генерал Корф, командовавший передовою цепью, обрадовавшись изобильному корму людей и лошадей, скачет к Милорадовичу с полною благодарностью. Но едва он высказал содержание речи своей или, ближе, излияние чувств его, как Милорадович, с обыкновенным и торжествующим своим тоном, сказал ему: «Благодарите не меня, но Маевского: (указывая на меня) он кормит и вас, и меня». Одной этой черты достаточно уже для похвалы Милорадовича; он свое брал себе, а целое уступал подчиненному.

В другой раз мы шли походом. Милорадович ехал с Остерманом, окруженный свитою. Я вижу брошенного раненого, останавливаю повозку и кладу его на нее в глазах Милорадовича. Милорадович, увидя заботу о спасении раненого, обращается к Остерману и говорит: «То, что сделал теперь Маевский, можете сделать только вы и я». В переносном смысле, сочли бы это за мою дерзость; но в душе Милорадовича выражалась этим сильнейшая похвала.

На Красной Пахре мы остановились после сильного преследования. Всем нам казалось, что глубокая река, разделяя нас от неприятеля, делает нас безопасными; но вышло напротив. Милорадович, после неутомимых трудов и плохих обедов, покойно расположился в господском доме и оживлял свой аппетит испарявшимся от кухни запахом. Я остался под открытым небом отдавать приказания и подкрепить силы спартанскою похлебкою.

Но едва я занес ложку в суп, как дали мне знать, что французы, подобно индийским белым муравьям, оставили позади себя все препятствия и убирали уже все блюда на кухне Милорадовича. Я бросился на готового коня, повел с собой конвой и опрокинул неожиданных гостей. Но они усилились. Я ввел в дело Васильчикова и Пассека, а Милорадовича спас адъютант его Деюнкер, ударивши на невежд-гостей, имевших одно только торжество в истреблении обеда Милорадовича.

Вот хактеристические черты Милорадовича, которые, впрочем, имели всегда приятность и посреди крайностей, и посреди опасностей. Но главный за ним порок был тот, что он, в минуту дела, восторжен бывал услугою сотоварищей; но прошло дело — прошла и мысль о нем! Однако, по чувству души и цены подчиненного, он, при всякой встрече, спрашивал каждого, служившего с ним: «Все ли вы получили по моим представлениям?» Ответ, натурально, никогда не был отрицательный, хотя никто ничего не получал. Это просто размен вежливостей. Но Милорадовичу и в голову не приходило вспоминать, кого и как он представлял.

Теперь обращаюсь к моему поручению. Будучи упоен восторгом столь лестного поручения, я наперед рисовал в воображении моем или героическую защиту, или героическую смерть. Я именно положил этот выкуп за предпочтение меня перед достойнейшими авангардными генералами и штаб-офицерами, — а особливо в мундире, который противоречил моему назначению и возвышал славу мою в глазах армии. Но, назло мне, неприятель не трогался и не хотел украсить чела моего лавровою веткою. Я горел нетерпением: подставил смоляные бочки, засыпал их соломой, и фитиль мой ожидал только времени. Честь — зажечь мост на половине французского движения я предоставил лично себе, не вверяя этого ни казаку, ни товарищу. Тут было не дело зависти, но дело чести штатского — по мундиру и военного — по чувству.

В один день, когда я всего ближе был к исполнению моего желания, летит ко мне верхом Милорадович. Обратясь ко мне, говорит:

— Господин Маевский, светлейшему давно угодно, чтоб вы были при нем. Я приказания его оставлял без исполнения, боясь за вас, чтоб вы не попали в простую толпу пресмыкающихся. Теперь я объяснился со светлейшим и, следуя неременной его

воле, скажу вам, что вы будете при нем на другой ноге и сохраните уважение, которое вы у меня и у всех заслуживаете.

Я не успел растворить рта, как Милорадович, по привычке своей, дал шпоры и понесся, как вихрь.

Весть сия, признаюсь, крайне огорчила меня: во-первых, она лишала меня блистательного поприща, во-вторых, я знал нетерпение фельдмаршала. Я уже полагал, что на меня наброшена тригометрическая сеть и что я никогда не свяжу узлов в мою пользу.

Делать было нечего. Я повиновался силе и ту же минуту отправился к фельдмаршалу. Но по дороге заехал я к другу моему Марину, жившему вместе с Кикиным и Ермоловым. Они увеличили мои ужасы, и Ермолову крайне хотелось оставить меня при себе. Но хаос его «дежурства» еще более испугал меня. Однако ж Ермолов нашел предлог оставить меня при себе под видом сдачи дежурства Багратиона¹⁶.

V

М. И. Голенищев-Кутузов

Первый прием. — Коновницын. — Доклад «бумажек». — Достоинства и недостатки Кутузова

1812 г.

Я явился к Коновницыну; он представил меня фельдмаршалу. Прием был обыкновенный и самый сухой. Я решился отделаться и показывал вид, что я привожу в порядок бывшие на руках моих дела. Меня отпустили; но не прошло недели, как опять потребовали к фельдмаршалу. Я явился к Коновницыну; он встретил меня с новою, но лучшею уже миною. Вот наш разговор:

Коновницын: «Батюшка, батюшка! Я утопаю в делах. У меня нет ни одного помощника (хотя при нем было свиты до 100 офицеров). Я и фельдмаршал надеемся, что вы облегчите нас и разделите с нами труды».

Я: «Я за особую почел бы честь оправдать ваши ожидания; но малая опытность, а еще меньшая способность останавливают меня приняться за поручение, хотя и лестное, но свыше сил и ума моего».

Коновницын: «Батюшка, батюшка! Так вы не хотите?»

Я: «Я хочу, но не могу; и вот, признание мое — самое лучшее оправдание».

Коновницын (смягчая тон): «Батюшка! Мы лучше знаем вас, чем вы себя; мы оценили уже ваши способности и знаем, что вы все можете, ежели только захотите».

Я: «Ежели я за способности мои имею уже такую поруку, как ваша, то я с охотою принимаю ваше приказание».

Это было в 10 часов утра; а в 7 вечера представили меня фельд-маршалу. Фельдмаршал, после отвлеченных вопросов, когда мы были наедине, сказал мне:

— Любезный Маевский! в таких обстоятельствах, в каких мы теперь находимся, ни один истинный сын отечества не должен отказаться от самого трудного и опасного поручения. Мой дежурный генерал всякий час беспокоит меня о тебе, говоря, что он утонул в делах и что, к стыду его, отказывается без помощника от своей должности. Я предоставил ему избрать достойного из всей моей армии. Его выбор пал на тебя; но ты, по словам его, отказываешься от предложения. Мы призвали тебя с тою же самою целью, и я надеюсь, что ты разделишь с нами труды (и тут же, воздев руки к небу, продолжал): за то Бог, всемогущий Бог тебе заплатит.

Быв увлечен почтенным видом маститого старца, чистотою его души и отеческим языком, я принял должность,— и с той минуты приятно служил при нем до конца его дней.

Чтоб знать все и почему и мелкие умы, как и мой, пускаются на большое поприще, я начну с штата светлейшего.

Он привез с собою Кайсарова и Фукса. Первый занял должность дежурного генерала; второй — директора канцелярии. Неспособность их обнажилась в первые три месяца, а интрига довершила разрушение славы их.

Кутузов, уступая необходимости и голосу армии, избрал дежурным генералом Коновницына, прославившегося сею должностью в Финляндии. При нем был некто Ахшарумов, владевший пером Коновницына. С минуты вступления в сию должность оба они увидели, что дела 1812 г. совсем не похожи на дела 1808 г., — и новый труд, объявший обоих их, заставил искать третьего.

В дежурстве светлейшего, которое называлось дежурством всех действующих армий, не застал я ни лоскутка бумаги! Все это делалось на полевую руку, а главные распоряжения шли через Ермолова, который, не имея главнокомандующего (Барклай

тогда уехал, а Тормасов еще не приехал)¹⁷, — действовал именем начальника штаба, как главнокомандующий. Этим средством дежурство Кутузова не знало письменного труда, и фельдмаршал был только мыслящее лицо.

Мне должно было все сотворить, все устроить; но у меня было всего-навсего два безграмотных помощника в офицерских чинах. Коновницын, заложив гать неистощимой письменной реке, наводнил меня запущенными бумагами, и я вдруг получил их до 10 тыс.! Не видя, что кому прежде приказывалось, и не имея ни в ком компаса, который бы руководил мною в направлении, я дал свободу смелому моему характеру и в неделю восстановил полный и должный ход. Но, на беду мою, меня поместили в курной избе, не имевшей и трех аршин квадрата. В ней была больше съезжая, чем дежурство! Некто Скобелев, занимавший прежде мое место, по тесноте избы, поместил себя на печи и с помощью приятелей делал мне все неприятности и затруднения. Я его выжил, и с большим простором избы получил больший простор и в действиях.

Я помню, что первые мои бумаги, сотворенные небогатым умом моим, весьма понравились фельдмаршалу: это была похвала оружию и оборот набору с Московской губернии. Он слушал их с приметным удовольствием; но когда дошло дело подписывать, он утомился на 10 подписях, возвысил голос и хотел было сделать мне обыкновенное приветствие, т. е. разбранить; но, очувствовавшись, переменял тон и с большим усилием и кряхтением подписал остальные 10 бумаг. Для Кутузова написать вместе 10 слов труднее, чем для другого описать кругом 100 листов; сильная хирагра, старость и непривычка — вот враги пера его. Но зато природа и навык одарили его прекрасным языком, который восходил до высокого красноречия. В нем были счастливые обороты в мыслях и словах; и притом он умел сохранять всегда чудную прелесть лаконизма и игривость от шуточного до величественного. Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвороживавший слух разговорным своим смычком. Но, при всем творческом его даре, он уподоблялся импровизатору; и тогда только был как будто вдохновен, когда попадал на мысль, или когда потрясаясь был страстью, нуждою, или дипломатическою уверткою. Никто него не умел одного заставить говорить, а другого — чувствовать, и никто тоньше него не был в ласкательстве и в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он намерение; вы

увидите в минуту: благоговейный восторг его и слезы умиления или жалости; но прошел час — и он все позабыл. Это был и тончайший политик по уму, и самый добродетельный по сердцу. Ко вреду подвинуть его было трудно. У слабости бывал он иногда в руках; но тех, которых он подозревал в разделении славы его, невидимо подъедал так, как подъедает червь любимое или ненавистное деревцо. В общем очерке он был больше великодушный отец, исправлявший кротко, тихо, поучительно и сильно своих детей, нежели начальник, гордящийся своими жертвами. Его нетерпение выводило его к грубостям. Но, увидав того, кого сию еще минуту заочно и жестоко бранил, он бросается к нему на шею и осыпает его величайшею ласкою и вежливостью. С таким даром сердца Кутузов много походил на азиатца, который, углубясь в журчание фонтана, забывает целый свет. Его сфера — нежить тело, чувство и воображение. Для него, по большей части, надобно было все придумывать и обработать; но и тут надобно было еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать себя и кое-что подписать. Так он был тяжел для слушания дел и подписи своего имени в обыкновенных случаях.

С другой стороны, Коновницын был суетлив, заботлив и вместе не деятелен и беспечен. Целый день курит он трубку и говорит с сотнями людей, которыми попеременно наполняется его комната. А в ночи он не спит и записывает, что исполнено и не исполнено. Но принеси к нему бумаги — он ничего не подписывает, всего боится и все отсылает к фельдмаршалу; а фельдмаршал тяготится и при виде 10 бумаг. Как же ему подписывать от 300 до 500 вдруг?! Коновницын, дорожа своею репутациею, хотел, кажется, выказывать себя вседействующим; но, не имея силы в объеме целого, он верно рассчитал, что все хорошее отнесется к нему, а все дурное припишется фельдмаршалу. Но Кутузов держался, кажется, и сам этой же системы, в обратном только смысле. В критическом положении каждый особенно дорожит самим собою.

В постепенном ходе событий раскрываются их характеры; они послужат эмблемою тогдашнего размышления и скажут свету: возможно ли, чтобы, при двух противодействующих силах, слабая третья машинка могла дать им полное движение?

На другой день службы моей при Кутузове я принес к нему в 7 часов вечера (это было обыкновенное его время — после обеда и сна заниматься бумагами) нужнейшие бумаги; их было не более 10, и коротких, по 20—30 слов. Он все выслушал, одобрил и стал уже подписывать. Но от утомления или от каприза велел в

одной добавить два слова «заковать в кандалы». Я счел неприличным помещать сверху эти слова от фельдмаршала и хотел бумагу переписать. Но он, вырвав ее у меня из рук, сказал: «Ты не хочешь — я сам напишу». Трепет пробежал по всем моим костям, и я не смел перевести дыхания, хотя, по воле его, и сидел прямо против него. Кутузов, нанеся на 10 бумагах 10 «Кутузовых», отряхнулся, отдохнул, пришел в себя и отпустил меня с такою отеческою попечительностью, что я не знал цены его милостям. С сей минуты я не знал при нем огорчения и не слышал ни одного слова, которое бы оскорбило слух или чувство мое. С этого дня я всякий день подносил Кутузову важнейшие бумаги, а остальные подносил Коновницину. Ни тот, ни другой не трудились давать мне мысли своей. Но светлейший смотрел на число бумаг, а Коновницын увертывался значением слов, — и я с сим последним имел большие хлопоты: то ему некогда, то пусть подписывает фельдмаршал, то вместо «прошу», напиши «благоволите». И так 500 бумаг идут к завтраму, а завтра делаются 1000. Я вышел из терпения, сказав наотрез, что я, не умея угодить, не могу и служить. И Коновницын должен был подписывать все, что я ему ни подносил. Один только Ермолов озадачивал его выисканными возражениями, которые до меня принимались, как заповеди; но я принудил Коновницина положить конец этим дурачествам. И он, несмотря на то, что проскакал: «Бог с ним, Бог с ним: он обижает старика», подписал наконец ответ, стоивший Александрова меча. И Ермолов, как грозный Нил, вошел в свои берега.

VI

Тарутино

Бой с Мюратом. — Черты доблести. — «Рыжий трус». — Поцелуй фельдмаршала. — Размолвка с Беннигсеном. — Барклай и Кутузов. — Достопамятная присяга. — Бой при Малом Ярославце. — Доблесть Коновницына. — Доклады у главнокомандующего. — Черты характера Кутузова. 1812 г.

Мюрат, поместившись на речке Черной¹⁸, что у Тарутина, имел неосторожность отделиться от своей армии на 60 верст. После долгого совещания положено было его атаковать. Мы выехали для действия; но 1-я армия, которою управлял Ермолов, по ошиб-

ке, была вовсе не приготовлена. Светлейший, вместо Ермолова, жестоко разругал генерал-квартирмейстера и, переночевав в крайней от позиции деревне, возвратился на другой день назад.

День еще прошел в приготовлении, — и все, по ошибочному предрассудку, думали, что не только люди, но и кусты изменяют тайнам нашим. Но вышло совсем напротив: Мюрат, не зная ничего о происходившем у нас, застигнут был в беспечном состоянии. Мы разбили его. И если бы в общем было больше связи и действия, тогда бы из всего корпуса не ушло ни души. В этом деле я отличался, сколько мог. И Коновницын, представляя меня фельдмаршалу на поле сражения, сказал:

— Ваша светлость! господин Маевский отличился сегодня во всех действиях. Он был вместе со мною во всех казачьих атаках.

Светлейший, обращаясь ко мне, сказал: «Любезный Маевский, подъезжай ко мне, обними меня и поцелуй». И, с этим вместе, обнял меня и поцеловал в глазах всей армии.

В этом деле я видел смесь странностей и чудес. Кутузов, желая усилить преследование неприятеля нашею кавалериею, кричит: «Где этот дурак! рыжий! трус!» и т. д. После многих приисканных, или приблизительных имен, Кутузов с сердцем повторял: «Нет, нет» и усиливался напасть на имя этого труса рыжего... Но когда сказали ему: «Не Беннигсена ли?», тогда он повторил: «Да, да!» А когда ему сказали: «Да вот он здесь», тогда Кутузов с ласкою и отеческою миною обнял его и, вслед за тем, отдал приказание.

Я видел тут же героизм и слабодушие. Французский эскадрон, опоздав примкнуть к своим, атакован был всеми нашими казаками. Едва мы бросимся на него, как храбрый француз повернет эскадрон лицом к нам и, не стреляя, отражает нас одною своею неустрашимостью, строгим порядком и присутствием духа. Он спасся, и мы утешились только предприятием.

Другое: посреди сотни наших солдат идет гренадер-француз: едва налетит на него казак с пикою, француз приложится ружьем — и казак летит от него прочь. Это правда, что единицы не занимали тогда нас; но смелость и решительность в солдате, даже и в неприятеле, есть благороднейшая черта, достойная подражания.

Тарутинское дело поссорило и разлучило Беннигсена с Кутузовым. Беннигсен играл важное лицо во всех военных операциях. Кутузов не совсем еще не верил звезде своей и отделялся старинною метою — отражением, предоставляя остальное

в волю Божию. Но гибкий ум его, где надобно, находил всегда пособие*.

В деле тарутинском Кутузов главную часть армии собрал вокруг себя, и вместо того, чтобы в назначенный час идти вразрез Мюратова корпуса, утвердившегося между полянами в лесах, кои более походили на рощи, чем на леса, он опоздал и остался простым зрителем происшествия.

Беннигсен, в жару негодования, а может и хвастовства, хотел уколоть Кутузова, написав следующее: «Войска Его Императорского Величества совершили сию победу с такою правильностью и порядком, какую можно видеть на одних только маневрах. Жаль, очень жаль, что ваша светлость слишком были далеко от места действия и не могли видеть вполне прелестной картины поражения!»

Этого довольно было для Кутузова, чтобы постигнуть истинный смысл иронизма и сбыть Беннигсена.

Я не могу умолчать некоторых происшествий, тесно связанных с кампаниею и Кутузовым.

Несчастная ретирада наша до Смоленска делает честь твердости и уму бессмертного Барклая. Собственное его оправдание есть лучшая улика жестоко действовавшим против его особы. Остальные дела его и смерть (после которой хвалят даже и врагов своих) есть лучшая поручительница его талантов; но в современном понятии смотрят на настоящее, не относясь в будущее, и каждый указывает на Суворова, забывая, что Наполеон не Сераскир¹⁹ и не Костюшко.

С приездом Кутузова в Царево Займище все умы воспрянули и полагали видеть на другой день Наполеона совершенно разбитым, опрокинутым, уничтоженным. В опасной болезни надежда на лекаря весьма спасительна. Кутузов имел всегда у себя верное оружие — ласкать общим надеждам. Между тем, посреди ожиданий к упорной защите, мы слышим, что армия трогается назад. Никто не ропщет, никто не упрекает Кутузова, и пламенный Багратион принимает это как необходимость, как благоразумие, за которое Барклая назвал бы он изменником. (В этом может уверить переписка его с Ермоловым). Успев в умах армии, ему нужно было успеть в уме публики и царя, ибо казалось неесте-

* Далее четыре строки тщательно вымараны Маевским: подобные пометки довольно часты в его «Записках», именно в характеристиках деятелей его времени. *Ред.*

ственно — Кутузов ретируется без боя назад... Вот его оборот: «Когда Смоленск, ключ Москвы, в руках неприятеля, то у нас для отпора нет другого места, кроме Москвы». Так он писал в своем донесении царю, прибавляя еще другое и более сильное, что армия Барклая превратилась в мародеров и что он половину ее употребляет на то, чтобы караулить другую. В столь горестном положении и половины этой картины достаточно бы было поразить царя. Но беспорядок, неподчиненность и ненадежность армии довершили его страдания. В несчастье мы более нежели подозрительны. Тогда казалось, что Россия до половины составлялась из наполеонистов; но эта ошибка в мнении открылась не раньше, как после перехода через Неман.

В один день, уже в Тарутине, фельдъегерь привез нам около 6 больших тюков. Их приняли и просто положили на лавку. Смелый Скобелев берет нож, разрывает пак и к ужасу — читает вновь присланную для армии присягу. Слова, в ней помещенные, столь были сильны и поразительны, какие можно читать в одних только клятвах народа еврейского. Скобелев успел сделать ее гласною, и когда она до половины была известна армии, тогда только догадались прибрать ее, сохранить в тайне и с тем же фельдъегерем обратить назад. Эта присяга — была улика клеветы и на армию, и на Барклая.

После оставления Наполеоном Москвы мы славно расположились на Полотняных Заводах. Не беру на себя труда разбирать правильности ни своих, ни неприятельских движений. Но скажу, что Кутузов слал золотой мост ретирующимся. Вот как сильно еще было в нас предубеждение о великости Наполеонова гения!

К Малоярославцу пришли мы почти сутками прежде Наполеона и всей его армии. Ермолов уступил место Дохтурову, а я с Коновницким, по обыкновению, испытывали силу нашего мужества. Из нашей свиты ранили почтмейстера Добровольского. Огонь постепенно усиливался; город переходил из рук в руки и, наконец, к ночи уже достался в обладание неприятелю. Тут я видел доверенность и любовь подчиненных к начальнику. Коновницкий вводил войска в огонь с речью, их воспламенявшею. Они хватали фалды его, целовали их и не отставали ни на шаг от рысистой его лошади; перепрыгивали через рвы, через заборы и ничто их не удерживало! Ежели бы к Коновницкой охоте, храбрости и доброй воле жертвовать всегда и везде собою прибавить бы Суворовского гения, тогда бы он много оказал пользы

на своем месте. Но он думал только рисоваться и удивлять своею храбростью, не помышляя нимало, как выгоднее начать и кончить предпринятое дело. Любимая его была привычка — стремиться в опасность со своею свитою, погонять плетью лошадь и поминутно оглядываться назад к окружающим, чтоб читать на их физиономиях чувства удивления и признательности к чудесной его смелости.

Прежде, нежели я возвратился к Кутузову, собиравшемуся на другой день отступить в Калугу, он спрашивал меня несколько раз, и когда Коновницын выхвалял опять храбрость мою, он сердито ему сказал:

— Я прошу вас не брать с собою Маевского; я отдам это и в приказе по армии. Вы и так лишили меня достойных людей; а если я потеряю еще и Маевского, так я останусь, как без рук. (Это часто повторял он и при мне, при каждой перемене моего лица, говоря: «Любезный Маевский, не болен ли ты? Сохрани Бог! Тогда я останусь, как без рук».)

Это легко могло и быть: я весь день просиживал у фельдмаршала: поутру он откладывал до вечера, а вечером — до утра; от него уходил ночью в 12 часов, а к свету заготавливал 500—600 №№.

Я должен правду сказать, что обворожительный тон, дар и обращение Кутузова составили ему друзей в армии и даже во всей России. Его слова и ласки происходили от души, и не было человека, даже и огорченного им, который бы при новой ласке не забыл старой обиды или грубости, ему сделанной. Его прием всегда был отеческий; а в беседе с ним забываешь всегда, что ему 70 лет. Он сохранил для нас древний характер и российской грубости, и русской доброты. Манера его приемов в отношении ко мне на походе и на месте, в чертогах или курной избе: я чуть свет прихожу к Коновницину, а сей, после долгих споров, отсылает к фельдмаршалу. В 7 часов иду к сему последнему. Когда растворяются двери прямо к нему, я, как свеча, стою у этого отверстия. Фельдмаршал подзовет меня и всегда одно и то же скажет мне: «Любезный Маевский, подожди, я сейчас подпишу бумажки твои». Но вдруг — поход, вдруг некогда, вдруг развлечения, — и бумажки* остаются на завтра, завтра и завтра! Когда пройдет много таких дней, тогда фельдмаршал говорит: «Не сердись, лю-

* Кутузов имел привычку все выговаривать смягчительно, или в уменьшенном виде: «бумажки» и т. д. С. М.

безный Маевский, я, право, завтра подпишу бумажки твои», и редко когда не сдержит слова.

Когда бывает день доклада, докладчик всегда садится против него. Фельдмаршал всегда говорит: «Любезный N. N., садись; я не могу смотреть, когда кто стоит; у меня рябит в глазах», которые тут же он протирает и разглаживает свою руку, в коей был 40-летний фонтанель.

В игре слов он часто шутил: «Охти! как я не люблю этих бумаж. Мне счастливится отделаться от всех, кроме Маевского; но этот человек всегда возьмет такую позицию, что я вижу его, как свечу. Мне жаль его: я не могу отказать ему и должен иногда по воле работать с ним».

Отдавая приказания, он всегда говаривал: «Напиши то, или то; я знаю, любезный Маевский, что ты хорошо это обнимешь и хорошо, очень хорошо напишешь»^{*}.

По тем же расчетам, по коим пал Беннигсен, начал упадать и Коновницын; ибо слишком прославляемая в Петербурге слава его начала рябить в глазах Кутузова. Он вручил мне все дела, все доклады и велел распечатывать и исполнять именные повеления, прибавя: «Ты один только будешь мне за это ответствен». С этого времени Коновницын был как чужой и почти не имел ни на что влияния, тем больше что Кутузов принудил себя — занимался лично: со мною, с Безродным^{**} и Толем, который, после отступления неприятеля из Москвы, начал играть большое лицо, независимо от Коновницына.

^{*} Поздно, в один вечер, призывает он меня, говоря: «Теперь возвращаются прощенные поляки; им положен срок возвращения. Но пока таможи получают разрешение, срок этот пройдет и они лишатся дарованной милости. Как ты думаешь поправить это неудобство, которое, впрочем, зависит не от нас?» — «Считать срок с возвращения их в таможду», ответил я. — «Да, да! точно так думал и я: твоя мысль встретила с моею». С. М.

^{**} Это тот самый Безродный, который играет роль в записках Д. Н. Бантыша-Каменского: «Шемакин суд в XIX веке». См.: Рус. старина. 1873. Т. VII. С. 735—785. Ред.

VII

Бегство неприятеля

Гвардия при Красном. — Князь Кудашев. — Генерал Марков. — В Вильно. — Назначение Ермолова начальником артиллерии. — Оперман. — «Инструкция генерал-полицеймейстера». — Первый доклад императору Александру

1812 г.

К Красному мы пришли днем раньше французов и остановились было на большой дороге. Но Кутузов расчел, что эта ширма может служить и западнею для Наполеона, и бесславием для Кутузова, ежели первый успеет прорвать ширму и уйти в глазах «спасителя отечества», ибо нельзя остановить целую армию. Он выбрал среднее: отошел в сторону версты три и, оставляя дорогу в виду у себя, чертил в уме, как нанести ему удар сильнее обыкновенного... Но пламенный князь Кудашев, зять его и советник, горя желанием — одним ударом решить судьбу Наполеона и России, установился на самой дороге или, как говорится, лоб в лоб Наполеону! Я, по привычке, обскакал эту линию, и Кудашев поручил мне просить светлейшего придать ему войска, но что он ручается честью разбить все наголову и не выпустить ни души. Едва я сказал фельдмаршалу, как он закричал на меня:

— Скажи ты к этому ... скажи ему, чтобы он сию же минуту оставил свое предприятие и очистил дорогу. Он ребенок и думает, что это идет дело с обыкновенным человеком; а не знает того, что его ожидает. Мы имеем дело с Наполеоном! А таких воинов, как он, нельзя остановить без ужасной потери. Для нас довольно и очень довольно выгнать его из России и уничтожить посреди бегства.

На ночь подоспела к нам гвардия. Она, кроме избы фельдмаршала, уничтожила и сожгла все другие. Фельдмаршал, выходя к ним, одобрял их попечение о себе, и просил побережь только его избу, чтобы было где самому ему согреться. Это воспламенило воинов. И надо было видеть, что в эту ночь происходило!.. К этому своевольству, сумятице и шуму присоединился ужасный холод. И посреди жалостной картины бивака к фельдмаршалу врывается в полночь офицер французского войска и просит по-

милования и спасения. Это встревожило его и нас, а кончилось смешным, но жестоким. К Ермолову привели в полночь пленных, а он был утомлен и сердит. В таком худом расположении он говорит приведшему их казацкому офицеру: «Охота тебе возиться с ними: ты бы их там же...» Для казака этого было довольно. Он вышел и тут же принял их всех в дротики. Один из них сорвался с копья и полетел прямо к фельдмаршалу, где он был принят и успокоен по-отечески.

Кутузов, не зная зла, сотворен был для добра. Но добро сие так умно и значительно было соразмеряемо, что оно не расстраивало целого. Некто генерал Марков, 30-летний товарищ и фаворит Кутузова, в надежде на его милости, погубил себя языком своим, — рассорился с Чичаговым и, будучи отрешен от команды, явился к Кутузову. Кутузов принял его, как старого знакомого, и как будто он ничего не знает прошедшего. Марков вообразил, что тут-то наступает время его, и тут-то отличится он преимуществами. Ничего не бывало. Кутузов видел его у себя всякий день, говорил с ним ласково, но более ничего. В день Красненского сражения Марков подъезжает к Кутузову, говоря: «Позвольте, ваша светлость, поехать туда (т. е. в сражение)», полагая, что Кутузов даст ему команду. «Поезжай, мой милый, посмотри, что там делается, и скажи нам». Вот чем ответил Кутузов! Другой попытки Марков уже не делал. Не прежде 3—4 месяцев, и тогда уже, когда Чичагова не было, Марков получил корпус; но и сим недолго командовал. Кутузов, говоря о вакантных генералах, насчет Маркова говорил:

— Я бы дал корпус Е. И. (так звали Маркова); но П. В. (так звали Чичагова) подумает, что я потворю тем, которых он прогнал из своей армии.

В том веке можно было найти возможность примириться со сделанною глупостью и исправить ошибку по службе, не расстраивая себя на всю жизнь, не теряя даже лавра, прежнюю службу приобретенного. Это много помогало усердию и средству сберечь достойных. Кто же из людей век проводил без ошибки?

Сравнивая характеры одного, надобно коснуться и других. Марков известен был в армии остротой и интригами. Долго удавалось все его проискам и ласкательству. После долгой моей разлуки с ним я первую встречу имел с ним в Луцке, где он, во вред себе, вредил мне. Во второй раз застал я его в Красном, в кабинете фельдмаршала, где он играл роль домашнего человека.

Я, по обыкновению, уселся и начал работать с фельдмаршалом. Кутузов все одобрял и подписывал. Но является полицеймейстер высшей полиции: я собираю бумаги и хочу дать им простор, зная, что тайна их есть тайна лично двоих. Кутузов, останавливая меня, говорит:

— Не уходи, любезный Маевский, ты у меня не лишний человек, — ты можешь побыть здесь и погреться у камина, пока мы поговорим.

Марков догадался, что присутствие его не у места, вышел вон, а за ним вышел и я. Там Марков встретил меня с язвительною насмешкою, говоря:

— Ты, Маевский, нынче очень спесив.

— Столько, сколько мне надобно, — отвечал я.

— Ты что-то много навесил крестов.

— Столько, сколько я заслужил.

До Вильно мы с ним не видались. Там заметил он, что ему многое не благоприятствует, а мне — напротив. Итак, он начал ласкаться ко мне и предлагать свои услуги до низости, разглашая между тем, что он развил мои способности и что я до него не умел связать десять слов.

Из Красного быстро дошли мы до Копыся; там остановились заготовить продовольствие. Но, по мнению многих, здесь Березина играла ту же роль, что и армия Наполеона под Красным.

Из Копыся на почтовых прискакали мы в Вильно. Это место было как родное Кутузову: там любили его все, и он любил без разбора всех. Тут было уже не до дела. Целая неделя прошла в свиданиях, в разговорах, ласках и нежностях. Я и дела мои были позабыты. Но после трудности эти еще более увеличились: собрались 3—4 армии, прибыл двор, и я ежедневно слышал, в 12 часов утра: «Приди вечером», а в 12 часов ночи: «Завтра, завтра подпишу бумажки твои». Наконец, все установилось, и дела пошли своим порядком.

В один день я докладываю фельдмаршалу, что, по случаю соединения всех армий, нужно назначить одного начальника артиллерии.

— Кого же лучше, как не Д. П. Резвого? — отвечал князь, — он человек умный и знает это дело лучше всех.

Вдруг докладывают, что граф Аракчеев приехал к светлейшему. И представьте наше удивление: граф говорит о том же, о чем говорили и мы за минуту до него; но разговор был в другом уже тоне и духе.

Граф Аракчеев: «Государю императору угодно соединить командование всею артиллериею в лице одного артиллерийского генерала; а выбор последнего представляет вашей светлости. Его Величество думает, что всего ближе дать этот пост А. П. Ермолову».

Кутузов: «Вот спросите у него (указывая на меня): мы сию минуту об этом только говорили. И я сам хотел просить государя императора, чтобы назначен был А. П. Ермолов. Да и можно ли назначить лучше кого другого?»

Надобно приметить, что Кутузов ненавидел с некоторого времени Ермолова, а Аракчеев — Резвого.

Когда я сказал Ермолову, бывшему в зале, о его назначении, он отвечал:

— Слава Богу! хоть раз не помешали мне.

В Вильно все начало переменяться: Коновницын стал упадать, Толь — возвышаться; но роль моя нимало от того не переменилась. Скажу мимоходом о себе. Кутузов, получив антипатию к Коновницыну, который стал уже проситься в Петербург, чтобы опочить на лаврах побед, готовил в уме на его место Опермана, известного умом и тонкостью. Толью крайне не хотелось этого со-
вместничества, которое бы лишило его ежели не всех, то, конечно, наполовину лавровых цветов, которые начали уже тут слишком сильно для него прозябать; меры были напрасны, а Оперман начал получать силу.

В один день призывает меня Кутузов, говоря:

— Любезный Маевский, я просил Опермана, Коновницына, Бороздина и Толя, чтобы они вместе с тобою потолковали и решились запрос Бороздина. Желания его, как мне кажется, прихотливы и довольно неудобно исполнителины.

А Толь мимоходом заметил мне:

— Отбить умствования у Опермана, чтобы он вперед не вмешивался в наши дела и чтобы сделать его ненужным Кутузову.

Бороздину дано было поручение собирать в тылу армии пленных, неприятельские ящики, орудия и проч., и проч. Он требовал полновластия и денег. Оперман делал двусмысленные решения; Коновницын твердил: «нельзя, нельзя; он хочет королевской власти». Итак, все это родило одни толки и ничем не решалось. Но дело шло о том, чтобы в тот же вечер сказать Кутузову наше решение. Я заметил больше неопытность, чем затруднение, и решил Бороздину дать открытый лист, с предъявлением которого

все власти исполняли бы его требования в одной силе с повелениями фельдмаршала. Бороздин был обрадован, а прочие согласились без прекословия. Но Оперман, увеличивший сие дело в глазах Кутузова, упал в его мнению. И точно, не мешался уже больше в наши дела.

Коновницину хотелось пристроить при армии Эртеля, который также лишился команды в армии Чичагова. Сделать его простым полицеймейстером было мало; увеличить власть — было ново. Уравновесить это Коновницын возложил на меня. Я представил Эртелю изложить его мысль на бумаге; но, увидевши, что он желает карать и вещать, отказался от повторения уродливого этого желания. Коновницын, потеряв терпение, спрашивает меня: «Почему нет до сих пор инструкции военного генерал-полицеймейстера?» Меня это взбесило, и я сказал наотрез, что без собственной идеи Коновницына я не знаю, что писать. «Это пустяки, — подхватил Коновницын. — Ежели бы я имел время, я бы сам написал. Принесите мне Желтую книгу, я вам покажу, что там все написано». Книгу принесли; но там ничего не нашли. Тогда Коновницын, смягчив тон, сказал: «Пожалуйста, напишите как знаете; я уверен, что вы хорошо напишите».

Инструкция родилась на другой день, и я имел два торжества: сотворить генерал-полицеймейстера и военные дороги, коих до меня не знали в армиях.

В Вильно приметно обтирались лавры Коновницына до того, что он, кроме общих представлений, не бывал сам по себе у фельдмаршала. В один день дает он мне запечатанный рапорт Кутузову о награждении Безродного орденом Св. Анны 1-й степени. Этот способ списываться удивил столько же фельдмаршала, сколько и меня. Но значение Коновницына явно переходило на мою сторону и поминутно в одном усиливало доверенность, а в другом — уважение; так всегда было и будет в свете.

В это же время Милорадович присылает за мною. Я застаю у него всю грамотную орду авангарда, составляющую реляции. Милорадович был недоволен ни одною из них и продержал меня до вечера. Между тем цесаревич (Константин Павлович) хотел объясниться со мной и сделать какое-то положение насчет кавалерии; но, не найдя меня нигде, сердился и в нетерпении беспрестанно твердил: «Где он таскается?»

Я помню, как в одно утро принесли готово написанный приказ к фельдмаршалу, где от имени его напоминалось о Суворове.

Фельдмаршалу прочитали его*, и все, кроме имени, ему понравилось. Но чтобы скрыть ревность свою, он раскрыл ее следующим разговором:

— Конечно, Александр Васильевич был великий полководец. Но ему не представилось еще тогда спасти отечество. Я, вставая и ложась, молю Бога, что я русский и что судьбы Его дали мне случай спасти отечество.

Этот девиз был всегдашним и любимым его разговором.

В Вильно начал докладывать дела Коновницын лично государю; но он скоро честь сию под рукою уступил Толю — в виде чтеца.

В новый год, 1813 г., я ездил с Кутузовым во дворец, и в первый раз в жизни докладывал дела и был так близко обожаемого Александра**.

Сообщ. Н. С. Маевский

VIII

За границей

Князь П. М. Волконской. — При Люцене. — «Повозки для раненых и цепь для трусов». — Тень Кутузова. — Отступление к Бауцену. — Ермолов. — Производство меня в полковники. — Моро, Жomini и Мишо в сражении при Теплице. — Кульмский бой. — Толь. — Барклай де Толли. — Назначение меня шефом 13-го егерского полка

1813 г.

В Вильно я получил чин военного советника и орден Св. Анны. Место Коновницына скоро заступил князь Волконский, а я, по его приглашению, остался при нем и сохранил вполне всю его доверенность. Как мне казалось, фельдмаршал этим выбором крайне был недоволен, потому что живой свидетель царя мог ему переда-

* Теперь и к простому полковнику не поднесут бумаги, которая родилась бы вне его головы. 1831 г. С. М.

** Из помет автора на полях Записок видно, что приведенные выше семь глав были написаны: 17—19 и 23 февраля, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 19 и 28 марта 1831 г. Ред.

вать живую картину фельдмаршала; притом, с нами он работал, когда хотел, а с Волконским работал хотя и поневоле, но без отказа. К тому, Волконский необыкновенно деятелен и утомлял старика многочисленным выслушиванием дел. Это правда, что дела наши летели на парусах. Да и немудрено: Волконский в один день решал то, что до него накапливалось месяцами. Все, что касается до начальника штаба, подписывал без коновницынских предисловий; что нужно, подносил фельдмаршалу, а чего сей не решал, в тот же день докладывал государю. Фельдмаршалу неприятно показалось быть в зависимости от князя Волконского. Он иногда отдельно призывал меня и делал поручения; но это были метеоры в сравнении с молниями в бурную погоду. Бурною погодою называю я фабрику, на которой решали мы в день по 1000 бумаг. Я не понимаю, как на это доставало одного Волконского, который в сутки мог объездить: фельдмаршала, царя, всех королей, прочитать и подписать 1000 бумаг*. Но Кутузову все хотелось заменить его Оперманом. А я думаю, что, кроме Волконского, который, по привычке к царю, шутя почти работал с ним, никому другому не удалось бы двинуть столь быстро застой армейских наших дел.

До Дрездена дела наши шли в обыкновенном быстром разливе. Но там роскошь, нега и земные удовольствия овладели нами. Я здесь заболел; но то же, что лишило, возвратило и опять силы мои. Пока я был болен, дела мои подносил князю некто Старынкевич. Но доверенность первого так была ко мне велика, что он не подписывал ни одного (дела), пока я не напишу карандашом, что я читал и видел.

От Люцена начинаю я новый период жизни и службы моей. Накануне сего дня я, по обыкновению, ехал к месту сражения в свите царя. Мы проехали верхами целую ночь. От слабости здоровья и сырости ночи у меня разболелись зубы и сильно опухла щека. Волконский, увидевши меня, ужаснулся. Но я просил позволения быть при нем в деле. Волконский долго не верил возможности, но уступил усиленной моей просьбе.

* Мне много способствовало то, что я мог вдруг диктовать троим набело и без поправок. Это впоследствии дало мне возможность писать все по моей диктовке. В поселении жена моя исписала таким образом целые тома и написала всю Турецкую кампанию. С. М.

Рукописный труд С. И. Маевского: «История турецкой войны» (1808—1812 гг.) занимает семь частей, в лист убористого письма, всего до 1000 страниц, с приложениями разных документов, снимков, ведомостей и проч. *Ред.*

Надобно заметить, что это было первое сражение, где по плану моему приготовлены были повозки для раненых и цепь — для удержания трупов. Это сделалось впоследствии законом и оставило лишние тысячи в рядах храбрых. Объезжая поле сражения, я заметил новость в войне, вызвался сам осмотреть все и устроить все. Князь дал мне сотню лейб-казаков, и я, осматривая все закоулки, писал донесения князю, а он докладывал государю. С сей минуты я пользовался у него военною доверенностью и во всех сражениях был собственным его глазом.

Сражение сие сопровождалось большими погрешностями. Но армия действовала тенью еще Кутузова, ибо, накануне сражения, адъютант Дишканец привез известие о смерти светлейшего, и она сокрыта была с величайшею тайною. Такова сила очарования и общей любви и доверенности!

Дав себе слово не входить в отвлеченные обстоятельства, скажу только то, что видел собственными глазами и делал по собственному побуждению. По случаю смерти Кутузова, государь, кажется, принял на себя управление театром войны. Сильная доверенность к гению Толя ручалась за успех. Но вышло противное: Толь в тот день сильно заболел и пролежал на кургане, где была Главная квартира. Князь Волконский действовал, сколько мог; но дело, ему незнакомое, не шло на лад.

Мы приехали к Люцену тогда, как неприятеля вовсе почти не было. Храбрые пруссаки летели на бой с необыкновенным энтузиазмом и очистили всю равнину. Но не было души, управляющей движениями. Волонтеры бросались на батареи; но, не имея штыков, отбрасываемы были назад. Какой-то пруссак с конным полком стоял на 100 шагов против 4 неприятельских орудий, — и обе стороны нимало не беспокоили себя. Волконский беспрестанно посылал меня вводить войска в бой. Я исполнял это с честью и с помощью егерей очистил одну из 3 укрепленных деревень, которая пламенела от ружейных и картечных выстрелов. Здесь ранили подо мной лошадь. Я возвращаюсь назад и вижу государя за загрудным ретраншементом и на пистолетный выстрел отсражающихся. Государь, увидя меня, спросил:

— Маевский, что там делается?

— Хорошо, государь, наши егеря дерутся и уже пронеслись на штыках за самую деревню.

Государь послал меня к Волконскому сказать о сем успехе и велел вводить в дело прибывающие корпуса. Волконский возложил

это на меня, и я до самой ночи вводил корпуса: Сен-Приеста²⁰, Коновницына и др.

Из-под Люцена отступили мы к Бауцену. Здесь я был уже в лице государя. Государь накануне генерального сражения, почти уже к вечеру, приказывает Волконскому:

— Волконский, пошли надежного офицера найти передовые войска и остановить их там, где он их застанет.

Волконский, обращаясь ко мне, сказал:

— Маевский, поезжайте: исполните волю государя.

В день генерального сражения под Бауценом государь заметил впереди одну высоту незанятую, хотя подле нее видны были войска. Государь, обращаясь к Волконскому, сказал:

— Волконский, пошли отличного офицера и прикажи начальнику войска занять эту высоту.

Волконский повторил мне при царе вчерашний приказ, и я вихрем полетел к высоте, сам занял ее и устроил батарею против неприятеля, который, минуто спустя, упредил бы наше намерение. С утра еще, когда я ехал в сражение, встретил я графа Аракчеева. Он подозвал меня к себе, говоря:

— Маевский, скажите князю Волконскому, что наш правый фланг в огне и что там, кажется, не очень-то хорошо.

Я сказал это замечание Волконскому; но он принял его с ироническою улыбкою. Правый фланг наш к вечеру, точно, был обойден, и мы должны были отступить. Я видел здесь весь испуг пруссаков и австрийцев, которые с потерей Бауцена считали уже потерю Берлина и Вены²¹. Один только Александр не потерял присутствия духа. У ног его, на ужасной высоте, лежали ядра необыкновенной величины. Все окружающие его пришли в движение; но он один как будто был вне всякой опасности. С 11 часов утра до 6 вечера беспрестанно скакали к нему и повторяли одно и то же, что правый наш фланг отброшен и что мы обойдены; но Александр всем отвечал одно:

— Упрямый в войне всегда победит.

Когда, наконец, приехал Пален²², а очевидность говорила нам, что французы далеко у нас в тылу, тогда государь приказал армии отступить, а Ермолову прикрыть отступление ее.

Ермолов сим делом загладил ошибки Люцена и вообще управления по артиллерии.

Скажу об Ермолове. Когда его назначили начальником артиллерии, он беспрестанно затруднял Волконского; а под Люценом

не знал, где его ящики и артиллерия. Это лишило его команды и милостей царя. Хотя я лично уважал Ермолова, но не мешает мне сказать мимоходом о поступке его, имеющем связь с моею историею.

Перед началом войны 1812 г. военный министр Барклай прожектировал устроить 4 осадные роты. Война до половины кончилась без них. На другой (год), или когда мы были уже за Вислою, спрашивал военного министра князь Горчаков: приводится ли план Барклая к исполнению? Как общее движение дел, так и масштаб рассуждения об них предоставлены были непосредственно мне, — кому ж, думал я, решить сей запрос, как не Оперману и не Ермолову? Бумага послана, ответ получен и представлен от нас государю. Доверенность к талантам трактующих, а ближе — мое незнание не подозревало в них грубой ошибки в деле государственном. Но что же вышло? Оперман и Ермолов составили смету огнестрельным запасам в такой пропорции, каковой бы и нельзя было найти тогда в России. Граф Аракчеев ужаснулся этой выкладке. Государь прогневался на Волконского, а сей, как говорится, опрокинулся на меня. Я иду к Ермолову, говорю ему и он, отыгрываясь, говорит:

— Я не был введен в тайну войны. Смета наша сделана по правилам лучших инженеров нашего времени. Но что много, этому я уже не виноват.

Я передал смету Резвому, и он сделал другую. Ермолов взял в расчет крепости всех рангов, начиная с Вислы, которую мы уже миновали, до Рейна, во всем их протяжении. Но это послужило уроком мне, и я наизусть вытвердил Вобана и всех авторов с комплектными вычислениями осад, — и глупость одного раза не повторилась уже в другой; а надежда на чужой ум исчезла с первым этим опытом.

Из-под Бауцена мы пришли в Штетин. Там, между прочими, представлен был и я к золотой шпаге. Государь, рассматривая списки и остановившись на мне, сказал:

— С какой стати ему золотая шпага (не забудьте, что я был тогда военным советником)? Ему дать чин: он будет славный офицер!

Князь Волконский, придя ко мне в дежурство, говорит:

— Я представлял вас к золотой шпаге; но государю угодно дать вам военный чин. Согласны ли вы принять его?

Не зная происходившего, я отвечал:

— Позвольте, ваше сиятельство, узнать мне, какой чин государь изволит мне жаловать (полагая, по тогдашнему, чин капитана, а много майора)?

Волконский отвечал:

— Натурально, полковничий.

— О, когда так, то я милость сию считаю величайшею наградой и счастьем (и, в самом деле, она была образцовая в России).

На другой день (16 мая 1813 г.) был я полковник и в эполетах сего достоинства. Признаюсь в моей слабости, этот чин и эти эполеты свели меня совсем с ума. Не готовя себя никогда выше вице-губернатора, я тотчас обрисовал себе успех корпусного... И всякий день объезжал поля, рекогносцировал, разбирал все ручьи, горы и даже кусты. В жару этого сумасбродства двигал по полям мысленные армии. Разумеется, что тут везде я был Наполеон, везде победитель!

Среди такого военного бреда я оставался старшим адъютантом Главного штаба Его Императорского Величества и управлял общею военно-походною канцеляриею. Но когда князь Барклай, после Бауцена, заступил место Кутузова, то и штаб наш, кроме меня, перешел к Барклаю.

Перемирие продолжалось недолго. Пражский конгресс разразил военные бури, и мы пошли к Дрездену через Богемию. Неудачное дело привело нас к Теплицу. В этом походе я видел, как два великие военные гения, Моро и Жомини, сблизившись с собою в первый раз, раскрыли и дар свой, и ошибки. Я видел, как Моро потерял ноги, как несли его гренадеры, как Жомини струсил и как Мишо занял высокое их место.

В Теплице я почти всякий день бывал в делах против неприятеля. Самый поход наш туда и день боя можно отнести только к глупости Наполеона* и к нашему счастью. Представьте высоты гор, усеянные экипажами, войско, идущее под облаками в кучках по сто, по полтораста человек вместе, а в тылу у них, у ворот почти Теплица, обширный корпус Вандама,— и тогда вы можете заключить, что могло тогда быть с нами!.. Но велик, велик Бог русский! Велика глупость (!) Наполеона! Прусский король и цесаревич схватили первопопавшиеся им горсти солдат, сами вводили их в дело, и едва-едва набрали 2—3 тыс. человек: такова была наша опасность! Но когда гвардия пробилась сквозь французов

* Разъяснение глупости Наполеона, вследствие которой уничтожен был Вандам, см. в сочинении Жомини. Т. II. С. 413. *Ред.*

и ущелья, тогда мы имели твердую передовую ширму. Однако ж только что ширму. Государь отдал уже приказ ретироваться дальше; но Барклай устоял дать сражение, — и мы приобрели большие лавры в Вандаме*. В этом деле я с самого утра был в огне; лично сам взял пушки и послан был от Милорадовича поздравить Барклая с победою. Подо мной убили лошадь, и я довершил сражение на простой казачьей. На этом полубуцефале подъехал я к Барклаю, стоявшему подле государя. Барклай, приняв от меня поздравление, обратился к государю, говоря:

— Ваше Величество! имею счастье поздравить вас с совершенною победою, — указывая на меня и показывая тем весь разговор, который слышал государь. Волконский спросил у меня:

— Маевский, у тебя, верно, убита лошадь?

— Да, убита, — отвечал я.

Волконский меня обласкал, а государь удостоил самую очаровательную свою улыбкою!

После быстрых или взаимно промелькнувших поздравлений, которые мгновенно воскресили общую радость, государь говорит Барклаю:

— Ваше сиятельство, изволите распорядить и преследовать неприятеля.

Но Толь, нимало не обдумавши вес слов, почти прокричал:

— Государь, нам не должно повторять той глупости, которую сделал Вандам, и преследовать его и т. д...

Государь, окруженный свидетелями, составлявшими лицо Европы, поражен был неуместным выражением Толя. Но, ценя пользу выше честолюбия, согласился с Толем и тут же отдал другое приказание.

Барклай до сей минуты совсем почти не знал меня, и я мало почти и видел его вблизи. Но здесь ему угодно было, чтобы я вел его на место боя. Деревня, которую я оставил в огне, пылала уже со всех сторон самым ярким пламенем; пороховые ящики взрывались на воздух и не давали подступить к деревне. Не зная другой дороги, я бросился влево, нашел тропинку и повел Барклая по незнакомому пути, прямо на пирамидальную высоту, где была обсерватория и где Вандам находился во все время сражения. Радуюсь хладнокровию и благородству Барклая, — ибо всякий другой принял бы кривизну путей за вероломство и дур-

* О пленении Вандама см. интересный рассказ очевидца, П. А. Колзакова, записанный К. П. Колзаковым и помещенный в «Русской старине». 1870. Т. II. Ред.

ное намерение, — я, чтоб выказать чистое усердие и оградить его от несчастья быть извне застрелену, взлетел один на обсерваторию. И представьте себе ужас мой! Тут застаю я до 100 вооруженных французов, которые, устранившись, конечно, не менее меня ехавших за мной, к счастью моему, начали бросать ружья и кричать: «Пардон!» Барклай все это видел; но не показал и знака неудовольствия. Великая душа его истинно умела различать зло от добра. Со всяким другим я мог дорого заплатить за излишнюю смелость — навести фельдмаршала²³ на опасное место.

Это было последнее торжество мое в лице государя; ибо вскоре после того я получил полк и фантазировал уже не один, но с помощью 2000 славнейших егерей.

IX

Шефство

Граф Воронцов предлагает полк. — Соперничество Аракчеева с Волконским. — Отъезд в полк. — Товарищи. — Опасная шутка. — Возрождение 13-го егерского полка. — Гамбург. — В Нидерландах. — Битва при Краоне. — Торжество моих егерей. — Ряд битв. — Поход на Париж

1813 — 1814 гг.

Дело при Кульме возвысило славу мою, и я заслужил всеобщее одобрение и поздравления. Генерал Раевский, поздравляя меня со своей стороны, прибавил самую лестную похвалу, говоря:

— Когда мне сказали, что адъютант Главного штаба отбил пушки, я ту же минуту сказал: это, верно, Маевский.

За сие дело я был представлен к Георгию²⁴ и иностранному знаку; но то, что возвышает, часто и уничтожает нас. Еще в Рейхенбахе, т. е. во время перемирия, неожиданно получил я письмо графа Воронцова следующего содержания: «Ежели вам угодно исполнить общую нашу просьбу и принять в свою команду 13-й егерский полк, то стоит только вам подать фельдмаршалу прилагаемый при сем рапорт». Кто не забыл еще мечты мои в первые дни полковничьих эполетов, тот весьма скоро догадается, до какого восхищения могло меня привести такое предложение —

предложение, которому не было еще примера, которого я никак не ожидал и которое, по тогдашнему понятию вещей, ставило меня наверх совершеннейшего счастья. Однако ж борьба страсти с благодарностью уступила все права последней. Я, полунемой, бегу к Волконскому, объявляю ему желание графа Воронцова, и когда Волконский сказал:

— Это пустяки; это от тебя не уйдет.

Я спросил у него:

— Что же я буду отвечать графу Воронцову, на столь лестное для меня предложение?

— Напиши ему, — подхватил князь Волконский, — что я прошу его оставить тебя у меня, для меня.

Уже 13-й полк получил другого шефа, уже я отчаялся когда-либо двигать мою армию и греметь победами, как вдруг в Теплице некто Омеляненко показывает мне новое обо мне представление и собственноручную отметку государя императора (20 сентября 1813 г.) следующего содержания: «Маевского, как отличного и известного мне штаб-офицера, назначить шефом 13-го егерского полка». Вот что поставило против меня князя Волконского и лишило всех трофеев за Кульм! Надо заметить ход странного моего назначения. Графу Воронцову непременно хотелось иметь меня у себя в корпусе и из личностей к князю, с которым он был не в ладах, и, чтоб более его огорчить, он дал ход представлению мимо князя к Барклаю. Посредством Сабанеева доклад сей сделан не через князя, а через Аракчеева. Аракчеев, обрадовавшись, что может оторвать меня от князя, который сделался ему соперником и более имел весу в делах*, беспрекословно взял сей труд на себя, тогда как все дела шли через князя, а не через него. Я в это время был очень болен от ушиба в бок в Кульмском сражении и ничего не знал о происходившем между сиятельными. Но это-то и ввело меня в подозрение у князя, и он долго был непримирим. Уже во Франкфурте-на-Майне явился я к князю Волконскому. Он сначала не принял меня; а потом, выйдя ко мне, сказал:

— Бог тебе судья, ты бросил меня.

Сколько я ни уверял его в невинности моей, он остался неумолим. Наконец, говорю:

* От того, что князь был всегда налицо, а граф в беспрестанных отлучках. С. М.

— Ваше сиятельство, я не имею ни гроша,— и каково будет вам, когда полковник, имевший счастье служить под вашей командой, отправится почти пешком к новому назначению.

— Вы к шефству проложили себе путь без меня, следственно, и к деньгам можете проложить путь без меня.

— Ваше сиятельство,— отвечал я,— к шефству проложил я путь заслугами и честью, к деньгам же не знаю другого пути, кроме вашего сиятельства.

Однако же все это не помогло, и я с 100 руб. должен был отправиться из Франкфурта в Гамбург, ехав — то на форшпане²⁵, то на почтовых, то кое-как. В Ганновере-то добрая ганноврянка дала мне в долг 100 руб., которые я и отослал ей тогда же с нарочным. Надобно приметить, что я в звании военного советника получал жалованья 400 руб. серебром и 15 руб. в сутки столовых денег. В звании же полковника получал жалованья по чину и те же столовые. Но военный образ жизни имеет много дыр, в которые деньги сыплются. Взятки и барышей я во всю жизнь мою не терпел, да и дети мои не позволяют себе подарков даже и от родных.— Глагол брать так соблазнителен, что он с первым шагом обращается в болезненную натуру.

На дороге пристал ко мне какой-то венгерский дезертир. Он был у меня и фактором, и переводчиком. Не понимая себя, мы выразительно изъяснялись пантомимами. Он знал несколько славянски,— а я по-немецки, и он удивлялся совершенству моему в этом языке, которого, однако же, совсем он не понимал. По проворству этого человека, я избавлен был от многих хлопот в такой земле, языка которой я вовсе не знал. Он всегда приготовит слух к важности моего чина, приищет мне славную квартиру, услугу и форшпан. В одно время усадил он меня в коляску какой-то немецкой трактирщицы, делавшей вояж за 3 или 4 мили от места своего пребывания, и она везла меня с собою все это расстояние, а в доме приняла как старинного друга ее дома.

Приехав к полку, я обрадован был встречей с двумя моими друзьями, Красовским и Дунаевым. Граф Воронцов принял меня отлично, и мы четверо составили как будто род особого товарищества. Граф в обращении с военными-подчиненными имел весь дар очарования. Он был обожаем от офицера до солдата. В минуту боя он требовал самоотвержения; вне боя — любил свободу и простоту; за его столом обедывало нас по 100, по 200 человек; его дом был нашею гостиницею, где мы жили безвыходно. Частые

концерты, праздники и угощения подслащивали жизнь бивуачную и единообразную. Посреди такого образа жизни, который сроден натуре военного, мы забывали опасности и приятно наслаждались жизнью.

Во все это время тишина сражала меня; я рвался в поле посмотреть на самого себя и увериться в существовании моих мечтаний. Но, назло мое, дела нигде не было, а заводить свое стоило бы мне слишком дорого.

Под Глюштатом²⁶ датчане напали врасплох на изюмских гусар и довольно их помяли. По просьбе Палена²⁷ граф отрядил меня с полком, и я в воображении моем начертал уже план сражения. Но и тут как будто сам дьявол вмешался в дело мое, и я, кроме бутылочных пробок, не слышал другого выстрела. Признаюсь, пьянство гусар так опротивело мне, что я готов был отказаться от всякого их товарищества.

Без смеха не могу вспомнить одного случая, который должен быть большим уроком для всякого военного, ежели только он опрометчивостью своею не захочет сделать себе пятна и несчастья. Многие из молодых офицеров имеют гибельную привычку делать неуместные выходки насчет невежества поселянина. Одна из них чуть-чуть не стоила реки крови. Графу Воронцову дали знать, что в одну из близлежащих к нам деревень ожидаются на ночь французы. Чтоб упредить опасное это соседство и нанести им неожиданный удар, граф отрядил туда целую роту с крестьянином, принесшим это известие; а чтоб сохранить здесь всю военную осторожность и не дать в возможный обман, граф послал эту роту с надежным капитаном, придав ему в руководители своего адъютанта Ягницкого. Рота расположилась, выставила ведеты²⁸, и капитан спокойно занял свою квартиру. По обыкновению, солдаты поставили чайник и пир начался своим порядком. Хозяин, сперва боязливый, потом приветливый, а потом и услужливый, не выдавши никогда ни русских, ни французов, осмелился сделать запрос капитану. Этот из шалости и любопытства, чтоб лучше узнать прямое расположение жителей, назвал себя французом. Натурально, что они все вместе побрали русских и в веселом расположении духа составили для себя комическую забаву. Хозяин, однако, скрылся, и никому не пришло в голову подзревать его образа мыслей. Но что же вышло? Хозяин полетел к графу Воронцову, увеличил число постоя и ввел его в ошибку. Граф, полагая, что рота его ошиблась и взяла другое направле-

ние, посылает туда батальон, приказав ему обойти деревню с неприятельской стороны, ударить и разбить мнимых французов. Как приказано, так и сделано. Но в сие время является к графу адъютант Ягницкий. Граф, после немногих объяснений, узнает ошибку, посылает Ягницкого, возлагает на него упредить последствие. Это было далеко уже за полночь. Ягницкий летит стрелою к атакующему батальону, застает его на позиции и готовым вступить в дело. С другой стороны видит капитана, приготовившегося к отпору. Быстрый ум его решил тотчас развязку: он едет к стороне деревни и затягивает русскую песню: «Растоскуйся, разгорюйся»... Это удивило обе боевые линии и спасло от пролития собственной крови. Час спустя песня эта обратилась бы в погребальную!

Я застал в моем полку двух полковников: одного, который старше меня, — был трус и другого, который был моложе, — храбр, как шпага, и прост, как индеец. Надобно было с обоими уладить. Первый ничего более не знал, как играть в карты; второй — любил войну и гневался на меня за то, что я, по мнению его, лишил его полка и славы. Застав полк ограбленным до гроша, я начал тем, что подарил солдатам из собственных моих денег, которые сберегались у Красовского, 1000 руб. и приступил к преобразованию их — из нищих в солдаты. На музыку дал другие 2000 руб. Через месяц полк мой не узнавали: из замарашек, как их все и всегда называли, солдаты сделались парадною гвардиею графа Воронцова; это возвысило дух моих товарищей и наделало мне пропасть врагов по зависти. До того времени храбрый полк как будто бы гордился именем черненького; парадными назывались только полухрабрые, а сочетанием того и другого вместе никто еще не дорожил. Внутренний огонь моих полковников раздувал еще больше пламя зависти. Но мой тон и прямота умели подставить всем большую пожарную трубу и погасить огонь в самом его воспламенении. Не было парада, которого бы не украшал мой полк, — без моего полка не было и парада. Граф Воронцов прилепился к нему всею душою — по храбрости его в войне и по щегольству, которого он до меня не мог ввести в своем корпусе. Зависть на крыльях молвы обвиняла меня в излишестве, а старая солдатчина удивлялась и не верила, чтобы тот, кто взлетел на

главу седых полковников и не был сам ни солдатом, ни ефрейтором, мог быть хорошим полковником*.

— Это правда, — говорили они, — что Маевский в войне, может быть, будет и храбр. Но этого ли одного требуется от полковника? Ему надо знать круглое солдатское дело; а можно ли это знать статскому?

Другие же повторяли: «Говорят все, что граф умный человек. А можно ли теперь назвать его таким, когда он избрал штатского и посадил на голову двум полковникам, которые родились и поселились между солдатами?»

Это мнение смешило графа и утешало меня. Я искал случая разубить эту молву и одним ударом истребить сомнение; но случая не было, а где и были, там другого сажали мне в виде политического учителя. Я терпел такое унижение и не смел до времени жаловаться.

Два раза под Гамбургом удалось мне быть в деле; но сжатая моя воля не умела еще возвыситься до своего достоинства. Мне было, однако же, приятно, когда корпус офицеров 3-го батальона пришел ко мне весь, жалуясь, что я, вступая в дело, беру только 1-й батальон, а их лишая чести драться в моем присутствии.

— Г-да, — отвечал я, — наши дела слишком незначительны. Настанет время, когда я буду иметь счастье видеть оба батальона под моими приказаниями. Теперь я обидел бы храброго г. полковника Изб...²⁹, став при нем командовать в деле его батальоном.

А г. полковник Изб.... на подобную претензию отвечал:

— Г-н полковник, я слишком уважаю ваши достоинства и за оскорбление почел бы себе и вам отнимать лавры ваши. Но как вы совершили уже круг ваших побед и вас никто не укорит ни в трусости, ни в нехотении, то позвольте мне сделать и мою репутацию.

Это всех успокоило, но у завистливых не истребило жало зависти. Я исподволь знакомился с солдатскими обязанностями и, благодаря моему глазу, успел развязать их ловкость, живость и быстроту. Тяжелый строй уничтожился сам собою, и каждый из моих солдат был вольтижер³⁰ и стрелок. Ни ров, ни плетень, ни скала не останавливали их. И я могу похвастать, что солдата мое-

* В Лубнах, когда Дибич смотрел дивизию и нашел мой полк отличным, один из полковников упрекал меня: «Мы все дослужились от унтер-офицерского звания; а вы, как принц, вдруг сделали полковником». С. М.

го всегда можно было отличить от солдата всей армии. Я не знал батальонного учения, да его тогда и никто не знал. Но я прогностически постиг науку боя и маневрировал не шереножным учением, как все другие делали, а линиею против линии, развивая этим понятия и честолюбие солдата и офицера; а о желудке их я все заботы принял на себя.

Из-под Гамбурга пошли мы во Францию, взяв направление на Дюссельдорф, стоящий на Эльбе³¹ в прелестнейших рамах природы. Переправа здесь была трудная: лед провалился, и не одна пушка окунулась в реке. В Кёльне простояли мы несколько дней. В число редкостей можно поставить тамошнюю кафедральную церковь, где Гроб Господень украшен крупными драгоценными рубинами и другими богатыми камнями.

Я не брался описывать виденных мною мест ни в историческом, ни в топографическом положении; это не вошло теперь в план моего рассказа, ибо записки мои сожжены, а память уступила времени; но я расскажу картину похода и некоторые смешные и серьезные случаи.

В Кёльне хозяин мой приглашает меня на обед с офицерами. Я дал им знать, и их собралось до 20 человек. Между тем и хозяин пригласил своих гостей обоего пола до 20 особ. Хозяину показалось, что офицеров очень много и что их можно убавить на $\frac{1}{3}$, предложив мне обедать с его гостями наверху (в бельэтаже), а офицеров оставить внизу. Не относя этого к оскорблению, а к глупости и скупости хозяина, я отклонил это разделение; и чтоб вывести его из затруднения, я повез всех своих офицеров в трактир, где готовый хозяин не сердился за излишество гостей. К вечеру мы были дома: и жадная толпа, видя русских с огромною их музыкою, постепенно перешла вниз, так что, наконец, хозяином сделался я, и угощение с изобилием, вместе с танцами, довершило пир сей и помирило нас с хозяином и его гостями.

К солдатам я успел присоединить и славных офицеров. Между ними были геркулесы, адонисы и купидоны. Это много дает весу в приватном обществе, а в деле сливает в одно и геркулеса, и купидона. Любовь к славе — был общий их девиз. До меня 13-й полк состоял не более как из 300 всех чинов. Беспечность командовавших избегала излишества людей, под предлогом неимения чем одеть и вооружить. Я думал инаково, и у меня вдруг родились 1000 и одетые, и вооруженные. Граф обрадовался моему усердию и ничего не щадил для его усиления и улучшения. Впоследствии

граф помирился с собой, назначая прежде этот полк, как слабый в людях, к обращению в кадры, или резерв.

Перейдя в Нидерланды, поход наш походил больше на карнавалы, чем на поход. В Бремене, остальном ганзейском городе, публика давала нам обед, а за ним подавали столетний рейнвейн из бочек, которые, в виде нектара, хранятся в погребах ратуши на цепях. Рейнвейн этот в обыкновенном ходе вещей начинает расходоваться не раньше 100 лет, и то по рецептам докторов и для поддержания только сил. Но мы в полной силе пили, как гости, и совсем уже не по рецептам: их не успели бы написать вместе и сто лекарей. Англичане, бывшие с нами, увеличивали расход этот и скорость его отпуска.

До самого почти Намюра мы форсированно шли и ехали; переходы были от 12 до 15 часов. На каждом привале готовы были завтрак и вино для солдат от жителей, а для офицеров — взаимное угощение, т. е. сегодня офицеры 13-го егерского полка угощали 14-й, а завтра 14-й — тринадцатых. Подходя к Намюру, где были французы, мы взяли оборонительное положение и становились бивуаками. Перед Краоном один католический священник спас меня и полк. Придя в селение за полночь, я от усталости бросился в постель. Но вдруг входит священник и говорит, что через полчаса войдут сюда же французы и что мне оставаться тут небезопасно. Отнеся это к фарсам — политически выжить меня, я взял, однако же, мои меры, и они-то помогли мне счастливо отделаться от сильнейшего неприятеля.

Наконец наступил день и моего торжества. У Краона стали мы в позицию (22 и 23 февраля 1814 г.). — Наполеон, переправившись с целою армиею, гнал в виду нашем казаков. Графу хотелось блеснуть отдельною атакою. Но как граф Воронцов принимал армию Наполеона за отдельный корпус, то ему хотелось завязать дело и спасти Карбонье, где неприятель мог отрезать нас от соединения с армией. Генералу Красовскому поручено было осмотреть место на Натлен и средства отражения. Он взял меня с собою. Но едва мы доехали до передовых постов, как гусары стали садиться уже на коней и готовились в бой. Некто Лашкарев, командовавший гусарами, указывая на сильные массы неприятеля, строившиеся на обширнейшей равнине, решительно говорил, что он при первой атаке неприятеля должен будет отступить. Красовский передал все это Воронцову, а сей, держась своего мнения и плана, принял сие известие за увеличенное, — и жар-

кий спор с обеих сторон показывал явное неудовольствие графа. Несмотря на то, пехоте велено было отступить.

Едва мы отошли с версту, как нас воротили назад, и мы встретили наших гусар, несущихся по тропинке у подошвы горы, как говорится, во всю прыть! Мы остановились на горе, командовавшей всем плацдармом происшествия. Граф недоумевал, а Красовский усиливался в доказательствах первого своего донесения. Граф, теряя терпение, сказал ему несколько колкостей, и дело было все еще не решено. Но графу хотелось пробиться в Карбонье и связать свою линию с линией своей армии. Красовский спорил, доказывал невозможность; но перевес остался на стороне графа.

Уже ночью граф призывает меня и, как будто в упрек Красовскому, тут же бывшему, говорит:

— Любезный Маевский, я надеюсь, что вы, несмотря на увеличенные затруднения, пройдете с вашим полком до Карбонье. Вот вам и проводник.

Я обрадовался случаю. Но Красовский сказал:

— Ежели ваше сиятельство не верите словам моим и считаете, что я говорю от трусости, то позвольте мне идти с полком.

Граф смягчился. Но между мною и Красовским родился спор: я ему доказывал, что он сделал уже здесь свою репутацию, а я новый еще человек: отнимать у меня случай идти в опасность — значит обижать меня. Граф и Красовский уступили мне эту честь, и я ту же минуту полетел к полку; но вместо Карбонье занял Краон, который лежит у подошвы горы, на коей стоял весь корпус Воронцова. Надобно приметить, что, за несколько пред сим дней, в полк мой и Красовского дали по 5 гренадерских рот других полков, и комплект солдат составлял до 1200 человек и 20 офицеров. Я вошел ночью уже в селение, сбил неприятельские посты и, установив на их местах свои, спокойно засыпал до 11 часов другого дня, жалуясь на судьбу, что она и здесь играет счастьем моим. Офицеры разделяли печаль мою, и все приходили в отчаяние, что нам не достанется подраться без опекуна.

Посреди того, как мы предавались детской горести и беспечно угощали себя славным вином, не забывая и аванпостных своих товарищей, — граф Воронцов, по важности занимаемого нами положения и по обширности соображения, предугадывал роковой для нас день и повсечасно присылал адъютантов узнавать о том, что у нас делается, чего, если правду сказать, не знали и сами мы.

Так-то новость, самонадеянность или, ближе, неопытность губит многих людей.

До 11 часов утра французская армия в больших массах устраивалась в виду у нас, на той же самой равнине, на которой расположилась она и накануне. Мы равнодушно смотрели на нее, и, признаюсь, к стыду моему, я не принудил себя прежде осмотреть вокруг местность моего положения; самый уже бой познакомил меня с ним. Высоту, на которой стоял корпус Воронцова, можно скорее принять за сухопутный мыс на протяжении в ширину $1/4$ версты, а в длину около трех; с фронта, или где был я с полком, шла более вертикальная, чем покатая отлогость, на коей засажены были виноградные лозы. У подошвы покатости ров и довольно густой лес, разделенный небольшою сельскою дорогою на две ровные половины. За лесом, на $1/4$ версты, площадь и неприятельские пикеты. С правой стороны дорожка у самой подошвы высоты, а правее ее — другая, пересекаемая виноградником. С левой стороны лощина, ведущая через лес и упирающаяся в высоту.

С приближением неприятеля я схватил казаков и драгун и пошел прямо по дороге через лес. Во 100, а много в 200 шагах встретил я французского генерала, конечно, рекогносцировавшего. Любимое наше «ура!» сплотило нас: мы опрокинули неприятеля, и я, рассыпав по лесу стрелков, открыл огонь. Половина моих взводов стояла в цепи; другая была в резерве*, так что одна линия подкреплялась другою. Сражение сделалось жаркое и упорное. Подо мною убили трех лошадей, убили 2 штаб- и 14 обер-офицеров; но мы дрались, как львы. Огонь был столь жарок, а солдаты и офицеры столь мужественны и храбры, что мы, дравшись пять часов, один против 20, не уступили им даром и пяти шагов. Граф приказывал мне несколько раз отступить; но посланные не могли доезжать до меня, а я не мог отойти, или не потеряв полка и имени, или не удержав неприятельского стремления. Первая опрометчивость или, что все равно, поспешное отступление по трудным местам лишило бы меня и славы, и полка. К чести гг. офицеров, я

* Это было следствие не шереножных, но домашних моих маневров. У меня дралась уже не толпа, а устроенная масса хорошо образованного полка, и тем приятнее, что маневристом был я, а не опекун. Отсюда начинается первая доверенность к мыслящему и истребляется предрассудок. Разбей неприятель сто раз ефрейтора-полковника, это было бы все то же, что ничего; разбей меня, гражданского полковника, от этого взбеленилась бы вся армия и покраснел бы царь и Воронцов. Эти чувства и расчеты одушевляли меня, и я, конечно, не перенес бы поражения. С. М.

упомяну о храбрейших: поручик Товбич до десяти раз бросался в штыки и удержал дорогу, составлявшую главный наш пункт. Он тут тяжело был ранен. Поручик Литвинов защищал левый фланг, и когда ему приказано было ретироваться отдельно от полка, он с благородным самоотвержением объявил: «Доколе мой полк в опасности, я умру или обеспечу его фланг», — и вслед за тем был убит. Адъютант мой Авилов, 16-летний юноша, когда подо мною убиты были вслед одна за другою две лошади и когда я потребовал третью, т. е. из-под него, равнодушно, т. е. под градом пуль, спросил:

— А я как же буду?

— Кому ближе быть пешком — тебе или мне? — подхватил я.

— О, конечно, мне, — отвечал Авилов и с тем вместе пошел в стрелковую цепь.

Потеря 14 офицеров, между которыми многих я любил, как братьев, так меня поразила, что я плакал о них, как ребенок.

Оставив позицию по необходимости, я еще два раза был атакован фланговым движением неприятеля в двух дефилях³²; но штыки и дружное «ура!» спасли меня вновь.

Граф сердился сперва за медленное мое отступление; но, быв убежден в невозможности, отдал полную справедливость храбрости и неустрашимости полка, а особенно г-д офицеров, которые в сей день кровью и жизнью утвердили славу свою и, если смею так выразиться, то и любовь, и усердие к начальнику, одушевлявшему их среди величайших опасностей. Они, посреди разговоров, часто повторяли мне:

— Как же нам не драться хорошо, когда вы видели каждый шаг наш и заставляли нас позабыть и опасность, и смерть.

Из солдат выбыла $\frac{1}{3}$; но я похвалиться могу тем, чем, конечно, редкие похвалятся: у меня выбыли только те, коих похитила только смерть или тяжелые раны; с легкими ни один не оставил ни места боя, ни полка. Так общий дух его облагородил действия каждого и возвысил душу до степени героев и победителей! В веке без храбрых я, может быть, удостоился бы чести слыть вторым Багратионом; но в последнем и самом блистательном веке обожаемого Александра I едва ли не всякий офицер был уже Багратион. Сказать ли вам правду, чего жаждала душа моя?.. Редкой опасности, отчаянного дела! А для чего? Чтобы обожаемый мною царь удостоил меня при случае ангельской улыбки своей, которую украшала душа его, и чтобы сказал сам себе:

«Маевский оправдал выбор мой». Я дожил до этого счастья и наслаждался им до конца дней сего бога-царя!

День Краонского сражения отрубил все ветви у предрассудка, но не искоренил зависти. С этой минуты я положил твердое основание для военной моей репутации. Но седые полковники исподтишка говорили между собою:

— Хорошо ему здесь отличаться; но каково-то будет в мире, для которого кто не взрос между солдат, тот никогда не будет солдат.

Другие же говорили:

— Слышанная ли вещь — навязываться самому в дело и лишать родителей толикого числа детей!

На другой день я отдыхал после трудов и, признаюсь, оплакивал добрых товарищей. Друзья мои и их, т. е. однокорытники 13-го пехотного полка — Красовский и Канивальский — утешали меня; а этой чести удостоил меня и граф, получивший в тот же день сильный ушиб. Но горе мое еще более увеличивалось потерей друга ранних дней моих — Дунаева, который, охраняя дефиле, остававшееся для моего отступления, получил смертельную почти рану и без надежды к жизни отвезен в госпиталь. Вот в другой раз оплакивал я его и в другой раз нахожу утешение в выздоровлении его.

За полдень уже было, как нам велено отступить. Обширная равнина, пересекавшаяся у нас в тылу оврагами и пропастями, начала застилаться неприятельскими линиями. К несчастью, у нас вовсе не было кавалерии. Граф устроил пехоту каре (эталонами), — и где больше опасность, где больше огонь, там, конечно, был уже и граф Воронцов. Подъехав ко мне при самом приближении неприятельской кавалерии, с удивительным хладнокровием отдал приказания и выждал, пока мы славно приняли неприятеля и опрокинули его назад. После этого сделалось общее отступление эталонами. По особой доверенности и надежде бригада наша, под командою Красовского, прикрывала ретираду корпуса до самого вечера, пока не подоспела к нам армия Блюхера. Но дело это после вчерашнего было для меня точно так, как бывает борей после ураганов. Конечно, надобно отдать здесь всю справедливость графу Воронцову, который из всей своей свиты остался цел только один. Судьба сохранила его для великого. К довершению моего счастья или, лучше, к удивлению, судьба явно стала покровительствовать мне. Когда мы с трудом перебрались

через пропасти и оставили за собой графа с частью кавалерии и батареей, бомба падает между 13-м и 14-м полками. Общий голос закричал: «Рассыпся!» 14-й — это сделал, а я пошел массою. У меня не убило ни одного, и полк был в порядке, а у 14-го перебило до 20 человек. Я строго держался правила: прогонять страх устройством, ибо привычка рассыпаться от каждого выстрела расстраивает невозвратно дух и поселяет невольный страх. Я это испытал и над собою, и над другими.

Вот два дня сплошь как кровавый бой не оставлял нас ни шаг. Ночью уже пришли мы к Этуведелю и полагали, что нас заменит армия Блюхера. Но в полночь приезжает генерал Красовский и с ужасом говорит нам о положении наших армий. Представьте вы себе картину, когда в одну точку сосредоточатся сотни тысяч войск, шедших по разноцентренным направлениям и спешащих к свету занять свои места, — тогда пересекаемые пути делаются уже непроходимыми. А добавьте к этому глубокую ночь, мрачное небо и неприятеля, как говорится, на плечах, — тогда вы дорисуете остальную картину. Красовский объявил мне, что мы остаемся в арьергарде и что именно нам приказано: «или умереть на месте с честью, или, во что бы то ни стало, удержать неприятеля!» Красовский, я и Апушкин сокрыли положение наше в большой тайне; но дали себе взаимную клятву — оправдать доверенность, хотя бы это стоило величайших жертв. Мы все трое жили как братья, и никогда никто еще не видел, чтобы в мире и в бою был кто-либо нас дружнее. Наши офицеры и солдаты были как будто одного семейства и разделяли с нами самые высокие и решительные чувства. Мы знали, что пока один из нас троих останется действующим, до тех пор дело будет упорное и кровавое. Когда нас не станет, тогда мы смело скажем: «Мы, трое вместе и каждый поодиночке, исполнили долг чести».

Я, более других утомленный, бросился на свою бурку, и благодетельный морфей скоро принял меня в свои объятия. Но голод, несносно сырая и холодная ночь и близость неприятеля не дали долго наслаждаться мне моим покоем. Тоскуя о том, что нечего съесть и выпить — ибо запасы с вьюками отбились, а для чайника огня разводить невозможно, — мы, признательно сказать, провели эту ночь точно в посте и большом бдении, ожидая, что с рассветом Наполеон непременно нас атакует.

Чтобы дать понятие о критическом положении армии, а тем более нам, надобно пробежать вместе со мною по местному очерку обеих позиций.

У Этуведеля сгибаются высоты на 50—60 и 70 саж. возвышенности и опоясывают селение амфиатрально или, ближе сказать, подковою. С этой высоты как будто ниспадает дорога в селение: ибо она усеченно идет с гор, а по сторонам у нее лежат пересекаемые места, т. е. низменные или луговые, изрытые правильными каналами и утвержденные шлюзами. Красовский стал со своим полком в селении на самой дороге, обеспечив выход к ней рвами, окопами и славною батареею Апушкина. Я с моим полком расположился вправо, по протяжению рва, служившего мне вроде крепостного вала до оконечности каналов. К счастью нашему, французы вовремя дали нам проснуться, осмотреть позицию, утвердиться и познакомиться и с местоположением, и с важными пунктами. Сделай они с нами с вечера то, что сделали ввечеру другого дня со сменившими нас войсками, тогда участь наша, а может, и всей армии равна бы была последним. Но французы или сами опасались этого места, или не знали драгоценных выгод времени, — они атаковали нас почти в 10 часов утра. Попытка на дорогу была неудачна: два героя — Красовский и Апушкин, одушевляя друг друга, носились везде, как перуны. Апушкин, несмотря на холодное время, на слабость здоровья — от чего он и летом не выходил из шубы, — здесь сбросил с себя все до рубахи, и сам заряжал, наводил и стрелял. Прочие все последовали его примеру. Огнедышащая эта батарея всего страшнее была тем, что заряды ее были — клятва, а фитилем служили ей — честь и слава. Красовский почти вначале получил сильную контузию и прислал мне сказать, что когда его убьют, чтоб я принял команду: так мало надеялся он на средства спасти свою жизнь!

Французы, видя твердость упора, начали ощупывать правый мой фланг и заняли рошу, имевшую сообщение с промежуточной полосой нашей позиции. Я схватил роту егерей с храбрым Товбичем и повел их к роще. Недолго держались французы: они уступили место боя. Но огонь усилился, и сражение завязывалось сильнее и сильнее. Посреди того, как я под градом пуль и картечи занимал рошу, принял команду над нами генерал-адъютант Чернышев. Первая обо мне рекомендация была роша; второй он уже не требовал. Я обратился к резервам, потребовал охотников: солдат и офицеров было много. Но, к стыду, три бата-

льонных командира отказались от команды. Двоих, как трусов, я оставил угрызению собственного стыда их, а третьего, более смелейшего, заставил идти с собою. Он, от страха, слез с лошади и при каждом ядре падал на землю, а сему последовал и один из офицеров... Виноват! Я приказал: первого, кто струсит, отвести к Красовскому, и это помогло мне довести батальон до места боя.

Надобно заметить, что это не те уже были офицеры, которые дрались под Краоном; их осталось только б, и это был единственный оплот храбрых. Прочие прикомандированы из других полков, а кто же пошлет лучшего? К тому же, после моего дела при Краоне, в армии получили мудреное какое-то понятие, что идти со мной — значит идти прямо на пир смерти. Так всегда трусы боятся храбрых. И это бывает только в часы боя; а после боя говорят: «Я был с Маевским в деле». Это на нашем языке есть то же, что торжествовать совершенную победу над собою и преимуществовать перед другими. Многие говорили: «Я сегодня был в деле с Маевским, и если бы каждая пролетевшая мимо нас пуля попадала прямо в нас, тогда б из нас сделалось бы решето!».

В войне иногда и излишняя строгость необходима. Трусость хуже всякой заразы. Зараза пожирает свои жертвы исподволь, а трус в минуту уничтожает тысячи: закричи только извне: «спасайся!» и, конечно, на месте не останется ни одного. Это доказала нам славнейшая французская армия при Ватерлоо,— отчего, главное, она и погибла.

Едва я подкрепил мой фланг, как новые массы вновь начали дебушировать³³ слабые мои укрепления. Мне подослали батальон егерей и два мушкетерских полка. Я был все это время в огне и ничего не знал о происходившем у меня в тылу: ибо власть моя ограничена до того была одним только моим полком, бывшим с утра в самом жарком огне, а начальники резервных моих войск, не явившись ко мне, ожидали появления моего у себя уже в линиях. Но каково было мое удивление, когда я издали вижу сзади за собой бугры необычайной величины! Не ожидая, чтоб неприятель взял меня в тыл, я тем не менее поражен был странностью вида и неизвестностью. Прискакав на место, вижу скачущего ко мне подполковника Букойского³⁴. Он прибыл с егерями и ожидал моего приказанья; а с ним же прибыли два полка мушкетер — Пензенский и Саратовский. При мушкетерских полках почти никого из начальников не было, а люди их лежали на льду под ружейными выстрелами в виде накладных кочек. Я приказал

Букойскому вывести их из-под выстрелов, сомкнуть в колонну и составить твердый резерв под его команду, пока явятся настоящие мушкетерские начальники, из коих оба были старше меня в чинах.

Ровно три дни, как люди мои, вместо хлеба, разжевывали одни только патроны и с помощью отделяемой ими влаги сохранили еще остаток некоторой питательной силы. Ночь застала нас опять в новом и весьма сомнительном положении. Но к 11 часам ночи сменили нас мушкетеры Пензенского и Саратовского полков.

По условию с Красовским, мы должны были пройти в ту же ночь к Лаону, верст 20, и примкнуть к тамошнему войску, где Блюхер торжествовал уже победу. Я расчел, что мой полк, уставший и не евший от 3-дневного беспрестанного боя, должен будет в новом лагере искать еще позиции, готовить место, дрова и воду; а у Этуведеля все это уже было готово. Итак, я решился отдохнуть здесь и остатками крох хлеба и воды подкрепить угасавшие силы людей. Яркое пламя огней действовало на нас, подобно летнему лучезарному солнцу после холодных и влажных ночей. Мы забыли о себе и о пище и искали наслаждения в одной благотворной теплоте и покое.

Но тут выстрел, там другой,— там «ура!»,— а там батальный огонь, потом тихо,— потом огонь, потом опять тихо и опять огонь... Относя это к недостатку опыта стоять умно в цепи, мы занимались только собой. Но вдруг слышу голос, зовущий меня: лечу и вижу генерал-адъютанта Чернышева, которого сквозь цепь обошли французы и стали в тылу занимать его квартиру! На бивуаках подъем,— минута — я стал в ружье, ударил и отрезал. Но в это время в тылу цепи открылся адский огонь и два полка мушкетер сделались жертвою своего невежества. Вот главная причина: мушкетеры, как я уже сказал, пришли и заняли места в большом беспорядке; никто из их начальников не обеспокоил себя осмотреть места, связать цепь, пикеты, разъезды и патрули. Притом, по обыкновению, они стали ночью и заняли посты так, как занимают в лагерях, т. е. офицер сменил офицера, унтер — унтера, а часовой — часового: «честь и место!» Вот и вся сдача.

Но французы днем еще высмотрели места, узнали от жителей и, наверное, имели проводников. Они стали делать фос-атаки³⁵ и, пользуясь бесконечным огнем, разрезали цепь и посты и очути-

лись главными массами в тылу нашего арьергарда. Мушкетеры, не имевшие тогда привычки к раздельному бою, побросали оружие и более 800 попало в плен, а прочие все, без команды и строя, спасались как кто мог! На целом плацдарме этого боя остался один я со своим и двумя казачьими полками, и всю ночь и до 10 часов утра, если можно так выразиться, нес на плечах у себя до 10 тыс. неприятеля до самого Лаона. У меня было убито и ранено не более 100 человек. Ночь и местное положение всего более благоприятствовали моему отступлению. Итак, я, за два часа обманчивого покоя, заплатил трудами 12 часов и 100 человек людьми. Красовский был прозорливее меня.

У Лаона я застал торжество победы. Здесь Мармонт потерял все, кроме чести. С этой стороны ни одного француза укорить невозможно, тогда как я видел тут же своих двух-трех шефов, которые, распустив полки в цепь, оставались караулить денежные казенные ящики. По крайней мере, так они виды свои прикрывали, считая несовместным — генералу быть с полком в цепи.

Я не знаю торжества выше героизма; чем сильнее опасность, тем сильнее действует на тебя сила воображения, — оно расширяет свои крылья и в полете своем чертит самые яркие картины, унося нас в мир волшебный и очаровательный. В это время герой чувствует себя выше простого смертного и в душе покоряет все своей воле и силе. Нельзя отвергать, чтобы чувство это не вознаграждало гордости и славолубия; но если эти два чувства творят героев, так пусть же они существуют во все времена и века.

У Лаона опять поставили меня в цепь. Ночной выстрел произвел тревогу; но скоро все успокоилось. На другой день мы простились с славным некогда Сен-При, который заплатил жизнью дань Реймсу.

В войне, как и в министерстве, на кого более надеются, того более и употребляют. Я счастлив был только одним, что война и труды меня не утомляли; а гг. офицеры и солдаты искали опасностей, как клада: так сила одного и преимущество общее очаровывают иногда чувства и сливают желания в одну урну.

От этого времени начинается эпоха новых наших военных действий. Союзные полководцы, по ошибочному расчету разделивши между собою поле войны, спешили, каждый по себе и без связи с целым, занять Париж или просто заслужить венец славы. Они пошли туда в разных направлениях. Блюхер обошел Суасон и пошел далее; Сен-Приест занял Реймс, а Лаон был в на-

ших руках. Наполеон врезался в середину, выгнал из Реймса Сен-Приеста³⁶, отрезал Блюхера и пошел к Лаону. Удайся ему здесь одна победа — и он прогнал бы нас за Рейн. Но судьбы человека сильнее ума человеческого.

От Лаона мы пошли к Ретелю, заняли его и простояли там два дня. Там нашли мы большой оружейный арсенал и фабрику. Граф позволил офицерам взять себе часть оружия, а я мое раздал офицерам. К Суасону подошли мы еще вовремя, т. е. когда Блюхер был впереди его на $1/2$ дни ходу³⁷. Наполеон гнал его и в хвост, и в голову. Мы все эти полтора дни дрались и нам капитулировали: комендант дал себя обмануть, и мы, почти из-под картечных выстрелов Наполеона, взяли важнейшую эту крепость на капитуляцию. Отворив ворота Блюхеру и затворив их для Наполеона, остановили мы бурный поток неприятеля и все ожидавшие нас бедствия.

В Суасоне я имел два торжества: 1) то, что я уже независимо от опекуна командовал сам по себе 12-ю батальонами, а 2) то, что победа наша над сею крепостью короновалась церемониальным вшествием 13-го егерского полка, как храбрейшего и щеголеватейшего из всего корпуса.

Из-под Суасона пошли мы к Реймсу, который до нас взят был легкой партией Чернышева, но который того же дня уступил его опять превосходной силе неприятеля. Полк мой, по частой кровавой битве, вошел в корд-дарме³⁸ не для того, чтоб отдохнуть, а для того, чтоб заглушить ропот других, завидовавших мне и Красовскому, что наши полки всегда идут в голове корпуса. А кто из военных не знал того, что головной полк против хвостового имеет всегда 7 и 8 часов в сутки лишнего отдыха? К полудню кричат: «13-й и 14-й егерские полки вперед!» Мы обогнали всех и очутились опять в голове. Я по привычке ехал всегда при полку, а Красовский ристал при Главной квартире, но в деле был всегда со мной.

К семи часам вечера Красовскому и мне велено штурмовать Реймс. Красовский повел атаку от юго-западных, а я от юго-восточных ворот. Мне дали пушку и колонновожатого. Ночь упредила наше приближение. Колонновожатый исчез, а пушка, по ошибке 16-летнего артиллерийского прапорщика, засорила затравку и не могла стрелять. Мы вошли в дефиле, или через большую парижскую дорогу, которая суживалась слева каменной крепостною стеною 8 и 9 саж. высоты, а справа — озером.

Прямо против меня стояли такой же высоты железные решетчатые ворота, а по бокам их были две караульни, целою стеною к наружной стороне.

Не видя ни зги, мы видели воду и прямо перед собою чернеющий путь. Закричали «ура!» и ударились, как говорится, лбом об ворота, которые были забиты и обвиты цепями. Общий голос закричал: «Пушку! пушку!» Она подъехала, но стрелять никак не могла. Устроив линии, я от нетерпения бросился к воротам, которые были в 10 шагах от нас, стал на плечи моего адъютанта Лисецкого, который был ростом чуть-чуть не до трех аршин, и начал сам разламывать цепи и ворота. Но сотня выстрелов пролетела через промежутки ворот прямо в нас. Стоявшие за мною линии отвечали огнем за огонь, и обе стороны как будто взяли нас за свою мету. Мы пали на землю, утушили свой огонь и восстановили порядок; но ворот взять не могли. Храбрый Товбич (готовый резаться, ежели бы пустили его вперед) вломился в окно одной из караулен, пробился в другое вовнутрь крепости и открыл нам путь, хотя трудный и опасный, но, по крайней мере, единственный. Красовский был с Воронцовым и не имел таких затруднений. Мы с ним соединились у моих ворот и заняли Реймс. Приди я раньше, я прошел бы вброд и не имел бы таких затруднений*.

*Вот что писал двадцать один год спустя, после описанных здесь событий, историк войны 1812—1814 гг. А. И. Михайловский-Данилевский к С. И. Маевскому:

«Милостивый государь, Сергей Иванович! Двадцатилетнее дружеское ваше ко мне расположение подает мне повод обратиться к вам с покорнейшею просьбою. Я занимаюсь описанием похода 1814 года во Францию. Все то, что происходило в главной армии или богемской, мне известно, потому что я сам при ней находился; но действия прочих армий я знаю только по описаниям, из коих одни другим противоречат. Вот причина, побудившая меня беспокоить вас и просить вас покорнейше сообщить мне некоторые подробности о ваших действиях во Франции с незабвенным и для меня 13-м егерским полком. Блистательное участие, которое вы принимали во многих сражениях, а особенно под Краоном, если будет описано красноречивым пером вашим, составит прелестное украшение моей истории. Не откажите в моей усердной просьбе, я прошу вас именем славы России, именем собственной вашей славы. Если недосуги и служебные занятия не позволят вам составить подробного описания Краона, Лаона и других бессмертных дел, к сожалению, еще мало известных России, а особенно юному поколению, то уделите мне хотя отрывки, отдельные, разбросанные черты. Вы сим наичувствительнейше меня обязать изволите ... С искренним уважением и совершенною преданностью имею честь быть и проч. А. Михайловский-Данилевский». С.-Петербург, 26 марта 1835 г.

У Реймса я стал на аванпосте от стороны Эперне, знаменитого своим вином. Вино, пища, роскошь и излишество в удовлетворении всех наших желаний вознаградили нас за двухнедельный кровавый бой и лишение потребностей. Мы походили тогда на мореходцев, которые, после грозившей им бури и смерти, нашли тихую и приятную пристань со всеми житейскими радостями и наслаждениями. Полк мой со стороны желудка не терпел ничего; но со стороны одежды и обуви был совершенно гол. В десяти шагах от меня стоял большой госпиталь; больных в нем не было, но вещи оставались налицо. Я, по праву победителя и хозяина, взял белье, одеяла и проч., и тут же, на бивуаках, одел полк. Граф погневался на меня за своеволие мое, но в душе был рад, что я, сокрыв нищенский, дал полку вид щеголеватых солдат. Они имели рубахи, панталоны и из 2 сделали один мундир, окунув его в краску нашего цвета. Я два года донашивал французские мундиры и дрался с ними их же ружьями, подбираемыми на полях сражения. Человек, одушевляемый пользою, ищет только полезного. Офицер в войне похож на дилижанс: он знает только одно, когда его запрягут и повезут. Но куда, зачем и с кем? Это не входит в его разборчивость.

Я здесь описал большую часть моей нравственной и политической жизни. Но жизнь эта была больше машинальная, физическая, чем мыслящая. Отсюда только начинается свет моей философии, объявшей меня впоследствии. Звание, чин, вес и известность в свете родили во мне честолюбие; честолюбие потребовало ума, учения и познаний. Я стал входить в самого себя и увидел, что природа, одарив меня своим, ничего еще не заимствовала у искусства. Ровно в 33 года я узнал потребность узнавать и образовывать самого себя. Одни великие нужды или одни великие примеры пробуждают наше усыпление, развивают наши способности и дают нам возможность отделить невежество от просвещения.

Но пойдем далее за нитью военных наших происшествий...

Х

Париж

Бой под Парижем. — Рекогносцировка. — В Париже. — Пале-Рояль. — Сирены. — Забавы и удовольствия. — Достопримечательности

1814 г.

Нам сказали поход, и мы просто и без размышления пошли к Парижу. Не думая ни о затруднениях, ни об опасностях, мы уже наперед рисовали себе эту столицу моды и вкуса. Какое-то особенное предубеждение, всасываемое с млеком матери, говорило мне, что в Париже — все сверхъестественно и что, стыжусь сказать, что там люди ходят и живут не так, как мы; словом, они существа выше обыкновенного.

Перед тем как подступать к Парижу, сказано было нам, что мы поступаем в состав армии Блюхера и что Блюхер на марше будет нас смотреть. Мы оделись как на смотр или, ближе, как на бал. Но вдруг, вместо Блюхера, пошли в пыл сражения. Красовский командовал всею пехотою, а я — авангардом, т. е. его и своим полком. Опрокинув везде неприятеля, я занял форштадт, и здесь, под стеною Парижа, выдержал жесточайший огонь! У меня много перебито и переранено.

Когда сражение кончилось — это было 5 часов пополудни, тогда Красовский приказал занять вправо новую позицию. Государь был сам с гренадерами в огне на высоте, которая командовала всею окрестностью, — и, заметив необыкновенно щеголеватое войско, дерущееся с отважностью и блестящее одеждою, любопытствовал узнать, какого рода были войска сии? Красовский согрешил, указав на один свой полк, оставшийся на сцене сражения, и умолчав о других. Конечно, и Красовский не гордился бы одною одеждою, ежели бы войска к блистающей одежде не присовокупляли блистательной храбрости. А храбрость эта оказана была под личною моею командою. Это было дело авангарда, или двух полков моей бригады. В глазах божественного Александра храбрость почиталась первейшею добродетелью воина. Если же сказать правду, то добродетель эта не есть и принадлежность всякого — это особый дар неба, потому-то и надоб-

но отделять всегда храбрых от так известных под именем: «он не трус». Впоследствии стали думать, что всякий солдат есть уже герой и что простая храбрость не есть уже особая добродетель. Эта мысль похожа на ту, когда бы всякого стихомарателя стали считать писателем-гением, ибо и тот, и другой пишут стихи.

Вечеру, или после прелиминарных³⁹ условий, мы расположились на форштадте⁴⁰ Парижа. Как только мрак ночи спустил свою завесу, я с Красовским поехал любоваться и посмотреть на стены Парижа. Главный план — любопытство, а второй и рекогносцировка, ибо мы были головные бойцы и должны были знать, где лучше проломить лбом стену. Нам предшествовали казаки, кочевавшие по улицам форштадта. В одном месте видим мы сотни французов, рассматривающих мертвую женщину, которая за отвратительное поведение заплатила жизнью, и верный признак поругания был один из многих казаков. Мы бросились оттуда прочь и подъехали к воротам, откуда выходили и выезжали смотреть русских. Там подошел к нам один из польских офицеров и, после отвлеченных вопросов и ответов, сказал:

«Господа, мы сегодня братья по оружию; завтра враги по тому же праву».

Но он ошибся, — этот самый офицер первый встретил меня в Варшаве и был хорошим моим приятелем. Пруссаки, в грабеже верные последователи учителям своим — французам, успели уже ограбить форштадт, ворваться в погреб, отбить бочки и уже не пить, но по колено ходить в вине. Мы долго держались человеческого правила Александра; но искушение сильнее страха: наши люди пошли за дровами, а притащили бочки. Мне достался в удел короб, конечно, в 1000 бутылок шампанского. Я раздал их в полку и, не без греха, повеселился и сам на канве жизни, считая, что этот узор завтра или послезавтра завянет. Поутру объявлено нам шествие в Париж. Мы были готовы; но солдаты наши были больше нежели полупьяны. Долго хлопотали мы прогнать их чад и устроить.

Пройдя заставу, меня поставили на бивуаках. Около 11 часов утра летит офицер и говорит: «Наших режут». Он поспешил один забраться в центр столицы и, конечно, худо был принят. Целые сутки простоял я у рогатки; к вечеру взял я противоположный домик и расположился по-хозяйски, сохраняя и безопасность, и целостность имущества хозяина. Долго, очень долго его не было; на-

конец, является хозяйка с двумя прекрасными дочерьми. Она боязливо рассматривала нас и долго не верила, что мы русские. Так-то везде обманывают чернь и представляют неприятеля в виде циклопов и людоедов. Я вспоминал, как мы первый раз пришли в Венгрию, где хозяин дома попрятал своих детей, полагая, что мы их съедем живьем!

На другой уже день мы были в Париже, как дома. Меня все занимало и все выводило из предубеждения. Я и Красовский представляли собой двух сросшихся сиамцев, т. е. мы вечно были вместе, одного желали и одно чувствовали; наша казна была общая, а нужды одного составляли нужды другого. Мы были везде, осмотрели все. Но описывать Париж — это было бы то же, что приняться строить новые египетские пирамиды. К чести народа, я видел в нем всеобщую вежливость; а что всего святее, он не знает зверства или вероломного мщения. Француз, запятнавший себя убийством обезоруженного, почелся бы извергом и перестал бы носить имя честного. Их стихия — новость, легкость и рассеяние; их улицы и площади похожи на волну людей, сменяющую одна другую. Но чернь — везде чернь. Она следует по движению первого впечатления и готова столько же на глупое, сколько и на великое. В первый день входа русских они хотели сорвать бронзовый обелиск Наполеона, но вскоре после того раскаялись и готовы были опять купить его потоком крови своей.

Пале-Рояль представляет биржу Англии. В 7 часов вечера спешит туда маркиз с семейством и замаранный его истопник с замаранною своею супругою (и в деревянных башмаках); мужчины ходят под ручку каждый со своею дамою. Как ни тесно в Пале-Рояле, но я только в два раза бытности моей в Париже видел маленький шум, и то на секунду. Маркиз истопнику, а сей наоборот дают друг другу столько места, чтобы только не зацепиться плечами. (Мы, напротив, как турки, любим толкать слабейших, за что в Корфу были ежедневные драки. Известный математик наш Рахманов не мог сносить равнодушно, что германцы не уступают ему дороги и не снимают пред ним шляпы.) К чести нации, каждый занимается собою и не знает той презрительной улыбки, которая так разительно разделяет состояние и наружность вида. А это-то делает всеобщую гармонию и не дает повода к ссорам. О характере французов всего ближе судить по следующему. Около 11 часов ночи парижские сирены вырываются из погребов сво-

их и манят охотников до наслаждений. Зная, что русские очень падки и щедры, они почти насильно тащат в свои норы молодых наших офицеров. Я заметил это одному пожилому французу. Но вот его ответ: «Природа или искусство дали каждому род своей мануфактуры. Тут нечего удивляться, ежели они промышленяют тем, что составляет всю их торговлю». Но и тут виден характер: женщина, заманившая вас в нору, в дом, на чердак 3—4-го этажа, никогда не решится ни обобрать вас, ни обворовать, ни ограбить; напротив, она дорожит репутациею дома и дает вам билет, где отыскать ее на предбудущее время. Хозяйка дома и лекарь отвечают за ее здоровье, но с этой стороны не всегда и не на всех можно полагаться.

В Париже на каждом шагу 5—6 новых видов: здесь фокусник показывает, как птички штурмуют крепость; там — как блохи везут пушку, заряжают и стреляют. Но всего смешнее, как среди двух является 3-й, крича во все горло: «Пожалуйте сюда, я покажу вам то, чего вы и в век свой не видали!» Толпа бросится к нему волною, и он, обобрав наперед с них деньги, отыграется острою шуткой. Народ захохочет и бросится к новому чуду, которое всегда уже готово. Так Париж проводит дни, а едва ли и не ночи.

Когда одна часть города утешает себя видами фокусника, другая отправляется в подземелье, где открываются для них театры в лубочном вкусе. Но некоторые из них так хороши, что их можно предпочесть многим нашим ярмарочным. В составе с ними дают концерты глухонемые. Но вы не отличите их от зрячих: музыка хороша, приятна, но сбивается на унылые тона, как будто чувство платит дань природе и говорит, что они несчастны. За вход ничего не платят; весь доход содержателя в доходе за напитки. Я бы счел общею государственною аксиомою сделать это правило: за публичные увеселения (театры и проч.) класть цену меньше, чтоб получить больше. А эта дешевизна распространила бы вообще вкус, смягчила бы общие характеры и образовала бы целую нацию.

Все эти забавы и удовольствия составляют приятность для одной черни и среднего класса; люди, более возвышенные вкусом, имеют множество отличных театров и гран-оперу, которой равной, конечно, нет уж в Европе.

В Париже дух веселости и рассеяния столь общий, что, начиная от вельможи до поденщика, каждый имеет часы своих прогу-

лок, отдохновения и веселья в одном из многих публичных мест. Пойдете ли вы в Тюильрийский сад, там найдете всякий день и всякий час множество гуляющих; подалее оттуда — увидите танцующие группы, которые, увеличиваясь приходящими, составляют иногда сотни кругом. Во все 24 часа Поле-Рояль наполнен народом; в садах, в трактирах, лавках и кофейных домиках, везде-везде множество публики. Елисейские Поля наполняются по одним только праздникам. Но это гульбище не имеет ничего, кроме одного метафизического названия. Маленькие рощицы, простой домик и пески — вот все, что называют Елисейским Полем. Не на зло ли Магомету и мечтательности поле сие названо елисейским, дабы показать, что настоящее миллионы раз приятнее будущего? Но не надо забывать, что в Париже каждое публичное место имеет своих партизан-приверженцев. Они верны слову и долгу. Изменить последнему поставилось бы таким же преступлением, как ставится в Италии кавалер-сервенту, когда он оставляет одну даму для другой. Здесь-то партии столь же себе верные, сколько и привычные, читают газеты, ораторствуют, декламируют, устанавливают новый порядок вещей, спорят, соглашаются и творят новый мир по своему понятию. В Париже публичные дома заменяют универсалы и изощряют умы, понятия и язык. Сильнейший грудью и красноречием делается диктатором общества и, по мере завоеванной доверенности, завоевывает общее мнение. У него всегда знамя распушено и влечет за собою толпы целого его общества. (Под этим разумею я столь известные партии республиканцев, бурбонистов, бонапартистов и т. д.)

В Пале-Рояле есть трактир под колоннами, который содержит увядшая красавица, фаворитка Людовика XVI. Туда собирается вся молодежь лучшего тона. Надобно представить себе обширную зеркальную комнату, где за длинною перегородкою сидит при двух восковых свечах полуцарица, полубогиня Парижа. При ней два служителя, передающие письменные ее приказания: официант объявляет ей требование гостя; она берет перо, пишет требуемое, служитель передает официанту, а сей несет в буфет и получает ассигнованное. Надобно видеть прекрасное это существо и белую прекрасную ручку, которая нанизывает строки. Она с каждым 20 годами как будто перерождается, т. е. делается лучше и моложе; но вы никогда ее не увидите прежде 8 часов вечера. Это — то время, когда фокус огня, означая одни только прелест-

ные формы, скрывает лета, морщины и отвратительность. И, добавляя ее безмолвие, тон и важность в ее роли, вы издали невольно подарите сердце воображению. Это новый Тальма, очаровывающий вас не красотой, а игрой.

В Париже страсть к новостям так велика, что нет гульбища, нет даже кабака, где бы не было своих афиш, своих проблем и своих газет. Везде углубление в чтение и везде измеряют мир!

У входа в Пале-Рояль найдете вы особую услужливость: один бросается чистить ваше платье, другой — сапоги и т. д. Там не нужно запастись своим камердинером; но, войдя туда, найдете вы весь известный мир. Всего смешнее видеть подле солдата Национальной гвардии, которого скорее можно принять за Адониса, солдата другой армии. Я взял их в урок и размахал, так сказать, руки моих солдат. Когда после, в Кременчуге, введены они были на театр, то публика удивлялась совершенству их игры.

В Лувре я видел чудесную картинную галерею; но не без прискорбного чувства смотрел и на угасшее величие: занавешанные места, где были прежде редкие сокровища света, доказывали отсутствие завоевателя и непрочность земного счастья. Галерея скульптурная далеко уступает дрезденской, но Лаокоон, но Венера и Аполлон берут верх над всеми. Дворец Тюильрийский, в сравнении с нашим Зимним, есть простая хижина. Но гордость Наполеона украсила каждый шале его вензелем. Впрочем, там ничего нет редкого, кроме древности, «Аустерлицкой ночи», «Плафона» и «Наполеона» в разных видах. Версаль — более величественный и занимательный; фонтаны чрезвычайные. Но Малый и Большой Трианон менее чем обыкновенные. Все тут, что есть любопытного — воспоминания о Людовике XVI и несчастной Марии-Антуанетте, которая платила дань страсти; и каждый закоулок, каждая ниша, каждая беседка передают памяти историю ее жизни. Историю эту рассказывают уветшалые придворные служители ее века, и с таким простодушием, как бы рассказывали дела величайшей добродетели. Вот что значит привычка к своему. В ее век они были важные лица в роли интриг, и им кажется, — чем сильнее тайна, тем важнее прошедшее или давно уже улетевшее их значение.

ХІ

Во Франции и в Варшаве

Стоянка в Реймсе. — Обучение капральской службе. — Возвращение в Россию. — Тамбурмажор. — Варшава. — Щегольство 13-го егерского полка. — Цесаревич Константин Павлович. — Разводы и парады

С 14 августа 1814 по 1 января 1815 г.

Из Парижа вошел я с полком в Реймс. Мы тогда носили лавровую ветвь в кивере и белую перевязь на руке — в знак соединения с Франциею. Чтобы иметь идею о разврате столицы, надобно заглянуть в другие города: это будут копии с оригинальной картины. В Реймсе точно то же, что и в Париже. Мы стояли в казармах. Днем женский пол занят работами по домам. В 8 часов они отпускаются, и главный их приют у стены казармы. В 9 часов парятся солдаты, в 10 — офицеры, а в 11 — уже штаб-офицеры. Эти полуночные птички скрывают еще разврат свой и поведение; но когда увидите вы тех и других в саду танцующих, не дадите вы им никакого различия. Это маркизши, со всеми их грассами⁴¹, только в деревянных башмаках.

Во Франции нет обычая целовать женщину в руку, да это и хорошо; а близко знакомые и родные целуются в губы. Люди же возвышенного тона трясут друг друга за руку. Поцеловать в руку — значит оскорбить женщину.

Во Франции нам положен был стол, вино и прихоти от хозяина. Это были дни истинной роскоши.

В Реймсе я занялся капральскою службою, учением шагу, ружью, маршировке и выправке. Я сам ничего не знал: а, к стыду, из 25 офицеров все они в этом роде были бессмысленнее еще меня. Наконец, по общем совещании, начал нас учить капральской службе поручик Коломитинов. Вся служебная его репутация состояла в том, что он два раза был в карауле у графа С. Каменского и ни разу не был арестован. Вот этот-то Коломитинов был первым моим учителем и экзерсисмейстером⁴². Судя по сему, можно заключить, в каком совершенстве было домашнее образование нашего солдата и офицера! Но мы, не забудьте, были победители непобедимого.

Из Реймса сказан нам поход в Россию. Сколько вдруг роскошей и радостей представилось нашему взору. Каждый давал свободу своему воображению; каждый ожидал или суворовских почестей, или обворожительной дульцинеи, которая бы наградила его поцелуем за верх трудов его — храбрости и победу. Везде встречали и провожали нас с почестью, а это еще больше усилило в нас гордость и славолубие. Пруссаки в первый наш поход были друзья наши, во второй — принимали нас как неприятелей...

Надобно признаться, что я во весь этот поход был просто солдат. Не обращая ни на что внимания, я из Парижа и из всей Германии вышел с тем же, с чем и вошел, не обогативши особо себя ни сведениями, ни наблюдениями, ни памятниками. В Мангейме я должен был расстаться с другом и товарищем моего детства и славы — Красовским. Он вошел в гренадерский корпус⁴³, а я остался в армейском, ибо из корпуса взято только по одному полку за храбрость. Тут обуяли меня страхи капральской службы, и я чуть-чуть не оставил фронта, так сильно действовало на меня предубеждение седых ефрейторов-полковников!

Перед входом в Варшаву какой-то трепет пробежал в мою душу. Быв всегда и всем сам для себя или, другими словами, приобрев все сам собою без дядек, без друзей, без покровителей, я входил в команду незнакомых мне людей — Барклая и Сакена. Не зная их и фронтовых отношений, я полагал, что каждый видит одни только мои недостатки. Но надежда на усердие (тогда мое еще ценилось) и на милость монарха успокаивала меня так, как большого успокаивают за час до его смерти. В Брацлаве еще принял я несколько русских мундиров. Но они так были дурны, что я не решился их и брать из комиссариата. К счастью, комиссионер меня струсил и дал сукно; но шить походом было невозможно. На последней дневке я осмотрел полк и с ужасом увидел, что каждый мундир моего солдата был сшит из 5—6 французских. Это было разноцветное маскарадное платье. Я, как говорят, ухитрился: купил красок, набрал котлов, и окунули их в черную краску. К свету мы были уже во всем новом, принимая тут буквально одну только краску; музыкантам сшил я басыны из моих наволоков и простынь. Офицеры много мне помогали, а солдаты оказали пламенную готовность. Но вот наступает новая беда. В Реймсе я первый из русских завел у себя в полку тамбурмажора⁴⁴. Дивизионный командир Корнилов, следуя слепо привычкам, не хотел, чтобы

он, как существо новое, шел перед главою полка. Я спорил и победил*.

Вход в Варшаву или, лучше, черная краска, наволоки, простыни и самый тамбурмажор мой составили мою славу. Надобно признаться, что маскированный вид полка, в противоположности с другими, мало думавшими о наружности и много мыслившими о достоинствах, столь был разителен, что фельдмаршал, увидя моих егерей, не мог быть равнодушен к прочим. Правду говорят, что красавица поражает нас с первого взгляда, а умная женщина — со второго. Мой полк дал мне авантаж первый. Я, как говорится, с оника попал в фавор и к Сакену, и к Барклаю. Прелестный и непринужденный вид моего солдата, ловкость комнатной его походки и свобода чувств, не стесняемая ни жестокостью, ни наказаниями, так пленила фельдмаршала, что он не знал, чему более удивляться — солдатам ли ученикам или их учителям?

Разводы мои довершили его очарование, и он жил чувством полной душевной к нам привязанности. В один вечер, когда у него стоял мой караул и играла славная моя музыка, которую оживлял капельмейстер-итальянец, фельдмаршал был в совершенном восторге. Рассматривая кругловид фронта и слыша совершеннейшую музыку, он не мог скрыть своего восхищения, что, по холодному его характеру, не всегда можно было видеть. Когда вырвалась у него первая еще сердечная похвала Маевскому, то зависть уже ее сторожила. Начальник штаба Сабанеев, бывши другом моего предместника и желая оживить его память, заметил фельдмаршалу:

— Ваше сиятельство, эту честь надобно отнести к К. В.⁴⁵ Вы изволите знать, что штатский не мог бы дать полку такого совершенства.

— Напрасно, генерал, вы так думаете, — отвечал Барклай, — ежели бы Маевский только бы и удержал полк в прежнем виде, то уже и за сие заслуживает благодарность. Но здесь я вижу все его и не могу не отнести к непосредственному его достоинству: это первый полк в моей армии.

Зависть на время замолкла; я блистал полком, и злоба зародилась в сотне сокамратов. Меня обвиняли то за излишние издержки, то за излишнее щегольство, то за тамбурмажора; но все при-

* После меня тамбурмажоры приняты во всей армии. Я могу похвалиться и тут — родоначальник русских тамбурмажоров. С. М.

няли мой вид и мои затеи. Опять напасть: что они и разорились, и не достигли равной со мной славы. Я могу похвастать, что я первый родил в армии щегольство и доказал, что, не кладя в карман излишнего, достаточно полковнику и для себя, и для полка.

С этой минуты я у Сакена и Барклая был уже домашним человеком. Всякий раз, когда я давал развод, Барклай сам выезжал к моему фронту и всегда говорил:

— Когда я вижу полк ваш, этот день я считаю моим праздником.

В один день Безродный докладывает важные бумаги Барклаю. Он слушает и вдруг встает со стула и идет к окну смотреть, как проходит мой полк. Безродного это удивило. Фельдмаршал догадался.

— Вы, конечно, удивляетесь, — сказал фельдмаршал, — что я оставил вас посреди рассуждений. Но это одно выше меня: я не могу пропустить равнодушно, когда идет 13-й полк.

— Не пристрастие ли это, ваше сиятельство, — подхватил Безродный, — к егерям?

— Это правда, что я люблю егерей⁴⁶, — отвечал фельдмаршал, — но полк 13-й превосходит все, что я видел до него.

В таком расположении я был около месяца. Но вдруг говорят: «Едет государь, едет великий князь!» Неуверенность в себе произвела во мне опять трепетную лихорадку. Я принялся за учение, постиг несколько построения и отдался на волю Бога. Но великий князь проезжал только мимо. Барклай его встретил, и при похвале князя войскам, Барклай сказал:

«Ежели Вашему Высочеству угодно знать совершенство полков, то я вам ручаюсь в этом случае за 13-й егерский полк; он у меня первый в армии».

Великий князь, не терпя имени штатского, сказал на мой счет несколько экивоков и отнес это к пристрастию, полагая невозможным, чтоб штатский мог когда-либо быть военным, т. е. фронтовым.

Зная, что фельдмаршал будет у моего развода, я сделал репетицию, и проклятые контрмарши⁴⁷, которых я не понимал, задержали меня несколько больше обыкновенного. На другой день я уже готов был вести развод на парадное место, но Сакен велел ожидать приказания. Я повиновался, и развод, по расчету фельдмаршала, опоздал. Фельдмаршал прогневался, а Сабанеев воспользовался случаем, сказав, что я учу мой полк день и ночь.

Фельдмаршал оскорбился этим поступком и велел отдать приказ по армии с выговором мне. Я был всеми любим, и слух об этом в тот же час дошел до меня. Я лечу к Сакену, а он хладнокровно отвечает мне:

«Скажите фельдмаршалу, что я так приказал».

Я увидел безнадежность оправдания и уже готовился выслушать роковой приговор; но фельдмаршал, щадя чувство мое, оставил приказ без действия. Вскоре после того приезжает великий князь. Ему развод мой не понравился. Это и немудрено: Его Высочество не имеет привычки хвалить на первый раз.

По взаимному нерасположению великого князя к Барклаю и наоборот, мы не смешивались с гвардиею, которою особо занимался великий князь и нас гнал от себя прочь, называя армейщиною и не показывая своих учений. Но вдруг генералы Главной квартиры дают фельдмаршалу бал. Накануне этого дня сказано нам парад и велено было явиться к Его Высочеству для получения приказаний. Мы явились; от нас потребовали рапортов о состоянии полков, но у нас их не было. Дунаев и я содержали гарнизон Варшавы. Великий князь, не терпя беспорядка и не зная еще, что мы не знаем порядка, потребовал, чтоб мы имели в строю по три батальона в 30 рядов. Дело было невозможное: у нас считалось налицо много калек. Но великий князь в резон этого не принимал, говоря мне:

— Я буду просить фельдмаршала, чтобы он позволил мне сделать вам инспекторский смотр. Я знаю, что у вас люди не выучены и что один и тот же стоит всякий день на часах.

Я: Я за счастье почел бы, ежели бы Ваше Императорское Высочество удостоили осмотреть мой полк по внутреннему его состоянию; тогда бы вы изволили сами оправдать нас и заключить о наших трудах и попечении. Я всем отвечаю вам, ежели вы найдете хотя одного годного невыученным.

Великий князь: Ну, хорошо, поставьте всех калек ко мне в караул, а прочих выведите во фронт.

Это было исполнено. Витебский полк прошел в голове и очень дурно. Сакен подъезжает ко мне, говоря:

«Пожалуйста, пройдите лучше,— витебцы так ходят, что стыдно смотреть».

Мне как-то это удалось, и я вышел с торжеством. На балу великий князь взял меня под руку и, ходя со мною, хвалил мой полк.

— Ваше Высочество,— сказал я,— я этим счастьем обязан моим товарищам: вы изволите знать, что я совсем еще не военный.

— Врешь, врешь,— подхватил великий князь,— собаку съел!

Это любимая его была поговорка. С этой минуты я у князя вошел в большую милость. Он не гонял уже меня от своих учений; но, напротив, учил меня всему сам и дал мне из гвардии унтер-офицеров и мастеровых. Ежели я получил впоследствии навык и вкус, то этим обязан Его Высочеству. Он взял у меня в гвардию 8 офицеров, а взамен дал 12 из кадетского корпуса.

Зависть еще больше зашипела, и если бы это было в отдаленном веке, то меня сочли бы колдуном и сожгли бы публично. Но и тут калеки не прошли даром: фельдмаршал, относя это к выходке, велел Сабанееву меня поверить. Сабанеев удивился, открыв своими глазами ошибку исчисления. По этому случаю из армии исключено до 40 тыс., почитавшихся в госпиталях, которые считались в полках, но которые, по милости врачей, давно уже не существовали! Сабанеев начал и сам ко мне переменяться и при всяком новом случае брал меня в советники преобразования.

С умножением в полках людей, от 165 до 250 в роте, представлялась невозможность помещать в фурах на новый комплект полный 10-душный провиант. Я доказал противное. Приказ отдан, армия меня проклинала; но вот 18 лет как фуры возят сухари и не видят затруднения.

Еще в армию отпускались все вещи на комплект, которого не было, а считался мысленно. Я представил эту ошибку Сабанееву, и армия опять прогневалась на меня за излишнее усердие. Ибо все госпитальные не делали уже дохода своим обмундированием и жалованьем. (Эта ошибка теперь, в 1831 г., опять приняла свое существование.) Тут и Сабанеев помирился со мной и взял верх над своим своеобразием. Я был короток с ним и пользовался его расположением.

Входя всякий день в общую моду, я сделался принадлежностью всех верховных лиц. Сакен часто поручал мне узнавать о том или другом при варшавских дворах, а великий князь, не имея в гвардии ни одного тамбурмажора, дал в мой полк вольного. Я платил ему по 15 червонцев в месяц, а он парадировал в моем мундире с гвардией. Мундир и содержание стоили мне 500 руб., ибо гвардейские полковники никаких побочных расходов не хотели принять на себя, зная, что великий князь заменит их или своим

карманом, или способом власти. Великий князь, находя полк мой одетым единообразнее и щеголеватее гвардейских, называл его, вместе с публикою «гвардейским, только без петлиц». Он приказал мне привести к себе, для образца, унтер-офицеров, рядовых и барабанщиков и, по манеру их, уравнивать одежду в гвардии. Вот новые враги Маевского. На меня опрокинулись гвардейцы и крайне досадовали, что армейский делается их законодателем, а особенно виновником незнакомых до того им расходов. В один день великий князь призывает меня в свой кабинет и, показывая новые кивера, от постройки которых отказались гвардейские полковники, говорит:

— Маевский, ты сделаешь мне такие кивера?

— С большим удовольствием, — отвечал я.

И великий князь, обращаясь к гвардейским полковникам, сказал:

«Вот, господа, вам все надо положить в рот. Он армейский, но на все готов».

Довольно было этого, чтоб зацепить к армейской и гвардейскую зависть.

У меня были люди, каких не было и в гвардии. Я подкупил датчиков и выбирал из 10 тыс. рекрутов. Гвардейцы пристали к великому князю, чтобы он позволил взять у меня людей для украшения фланга.

«Нет, нет, господа, — отвечал великий князь. — Я знаю, вы хотите ограбить Маевского. Нет, этого не будет, он сам славный офицер!»

И это, точно, спасло меня от грабежа. Главное мое торжество было — видеть, что, в дни парадов и балов, брали моих людей для украшения комнат, убранных арматурами и проч. Я для этого давал моим солдатам особые уроки: какое положение брать им, стоя на часах, в глазах публики, собравшейся на бал. Они, точно, имитировали тут не солдат, но милиционеров национальной французской гвардии. Вид их, одежда, свобода и переход из одного положения в другое впадали в подозрение, не нанял ли я, на место солдат, актеров варшавской труппы?

При столь разнообразных доказательствах совершенства моего полка господа седые полковники решительно заключили, что один только черт помогает моему счастью. Но каждый из начальников их требовал и от них того же совершенства. Это еще более бесило их, и они не знали, как потемнить врага общего их

невежества и скупости. Утвердив базу моего совершенства извне, я далек был от совершенства внутреннего, т. е. капрального: я не умел постичь глазом всех деплаад⁴⁸ и движений гвардии; но сильнее других армейских был и в этом. Я не пропускал ни одного учения и 18 часов в сутки посвящал службе, беготне и учению самого себя. Вот и все мое волшебство.

Одежде полка много способствовал кригс-комиссар Татищев, которого я, в свою очередь, спас от больших убытков. По его внимание и благодарности, я получал лучшую одежду и имел способ каждые три месяца надевать на полк новые мундиры.

Но вот уже пять месяцев, как я в Варшаве, т. е. с 14 августа 1814 г. по 1 января 1815 г. Я и мои офицеры в доме Барклая точно так же приняты, как офицеры 3-го егерского полка, когда он был их шефом. Одним словом, все благоприятствует мне до невероятной степени. В это время нашлись тайные пиявицы, окружавшие Сакена и представившие ему, что мой полк терпит много от парадов и долговременного караула в Варшаве; но что я стараюсь удерживать там полк дольше для собственных моих видов.

Весьма натурально, что последние выражения потрясли честолюбие Сакена, и он отдал приказ: с 1 января выйти на смену нас новым войскам.

Не подозревая ни одной стороны, я спокойно готовлюсь к походу. Но вдруг вижу адъютанта Барклая:

«Пожалуйте к фельдмаршалу».

Я еду, и вот интересный разговор:

Барклай: Вы идете в поход?

Я: Я получил о сем повеление от корпусного командира.

Барклай: Знаю,— этого вам хотелось. Хорошо, довольно (показывая знак, чтоб я его оставил. Я иду, но Барклай меня останавливает). Скажите Сакену, что в моем присутствии никто, кроме меня, войсками не располагает. Скажите, что я хочу и приказываю полк ваш оставить в Варшаве.

Я еду к Сакену, объявляю приказание. Но Сакен, воображая, что я иду против воли его, говорит:

— Я знаю, что вам этого хочется; но каково бедному полку?

Я: Ваше высокопревосходительство! Польза полка — есть моя польза. Но скажите мне, что мне делать в моем положении? Фельдмаршал подозревает меня, что я искал этого у вас, а вы подозреваете, что я ищу этого у фельдмаршала. По мере моего по-

ведения я прошу ваше высокопревосходительство вывести себя и фельдмаршала из обидного для меня мнения.

Сакен: Хорошо, я об этом поговорю сам с фельдмаршалом.

Я: Фельдмаршал, напротив, приказал мне сейчас привезти ответ ваш и остановить передвижение.

Сакен: Ну, так поговорю об этом сам с Сабанеевым.

Я бросился к Сабанееву, который был одного мнения с фельдмаршалом; я просил его об одном — оправдать только меня в глазах Сакена и фельдмаршала.

XII

*Женитьба. — Новый поход во Францию. — Трусые и храбрецы. —
Опять в Париже. — Стоянка в Нанси. — Смотри близ Вертю. —
Скобелев. — Успехи по службе*

1815 год

3 января 1815 г. полк мой вышел в Гумбин, а 6-го я женился на дочери сенатора и воеводы Возницкого, Марье Алексеевне, с которою я счастливо жил до 20 марта 1828 г.

В Гумбине я еще более посвятил себя службе, и если знал не больше, то, по крайней мере, и не меньше седовласых соперников, которые постоянно занимались не службою, а карманом. Я успел здесь познакомиться с высшею тактикою и делал часто маневры по всем правилам атаки и обороны. Чтобы ввести в офицерах честолюбие к познанию своего дела, они обязывались присылать ко мне диспозиции местных ротных и батальонных маневров, с изложением местности и правил нападения и отпора. Общие умы напряжены были к полезной точке. И смею похвалиться, что полк мой был точно полк славнейших вольтижеров. Учение их не утомляло, но составляло просто игру, развивающую способности; а воображение, доведенное до энтузиазма, так удерживало сторону чести, что одни брали, а другие прикрывали свои пункты с тем же искусством и даже ожесточением, какое можно было только видеть в бою, но без пуль и без крови. Пальба в цель была другою охотою. Я покупал на свой счет порох и свинец. Приходящая в штаб для караула рота не иначе приходила, как в виде неприятеля; стоявшая до нее ее встречала, отражала,

маневрировала по всем правилам военного искусства и, отступая шаг за шагом, уступала, наконец, и город. Потом они соединялись и стреляли в цель вместе. С одной стороны, стояло ведро водки, с другой — ведро воды: попавший в цель пил первую, давший промах пил поневоле последнюю. Смех и стыд: вот какое неумеющему было наказание. Мастерам стрелять — платил я по рублю и по два. Воспламененные честью, офицеры повторяли точно то же у себя в ротах.

Я испытал совершенно, что палка есть орудие нетерпения и зверства. У меня ее не было, а полк гремел совершенством. Жители Гумбина отдавали справедливость поведению солдат и офицеров и напечатали изъявление их чувства в варшавских газетах. Это был пример нового и первого, можно сказать, расположения к русским.

Я сблизился с помещиками, бывал на всех их праздниках, приглашая их к себе. Но мне никогда не нравился тон их молодежи. Она нагла, насмешлива, неблагопристойна. Того, чего француз не хочет заметить, поляк старается выискать, выдумать. Антипатия их к русским обнаруживается часто до излишества и не покрывается вовсе мантией приличия. Этот характер в Варшаве отражается с дерзостью и притязаниями, в провинции — с наглостью и невежеством. Я боялся входить в дом, где меня искали, ибо мне должно было вытерпеть более по себе выстрелов, чем под Красным. Милая и прелестная жена моя, которая слыла красавицею Варшавы, сблизила меня с поляками; но сердце мое никогда не лежало к этому попугайчистому народу.

В апреле месяце 1815 г. сказан нам новый поход во Францию. Я служил в дивизии Маркова, который хотел, но не мог вредить моей репутации. Он везде слабее меня был принимаем. К счастью, меня с батальоном назначили в конвой Главной квартиры, чему противились Сакен и Марков, боясь потерять у себя мой полк.

В Пенткове уже я соединился с Главною квартирою. Фельдмаршал и супруга его обрадованы были свиданием со мной. Фельдмаршал повторил мне обычный свой комплимент и велел оба мои батальона соединить в конвое Главной квартиры.

В Брацлау я получил ордена: Св. Георгия, Анны 2-й ст. с алмазами, Пур-ле-мерит и Шведского Меча. И это все в один день и час!

В Главной квартире шел я до Майна. Там велено было сменить меня Колыванским полком. Но неряшество последнего остановило смену. Сакен и Марков отнесли это к моему искательству и помогались перемены.

Барклай, приказав, наконец, спустить меня к дивизии, добавил:

«Вы не опасайтесь никого: я ваш покровитель».

В Кейсельстраутерне я назначен в авангард к г. Делаंबरту. Вот переданный мне разговор:

Дибич: Нам теперь надо дать графу один из храбрейших егерских полков, и я полагаю дать 13-й.

Барклай: 13-й слишком хорош для авангарда. Без него у нас не будет парадного войска.

Дибич: Тем лучше. Парадный полк должен быть везде отличный. Впрочем, и вся цель — иметь отличное для войны. Да где же и употреблять отличных, как не в войне?

Барклай: Согласен, но желал бы поберечь этот полк для переды: ему еще много будет дела.

Дибич: Да Маевский и офицеры сами о том просят, чтоб им дали случай отличиться.

Барклай: Когда так, то с Богом! Мне очень приятно слышать их усердие и доставить им случай к отличию.

Это Дибич пересказал мне, выйдя из кабинета фельдмаршала, — и я благодарил его за упреждение наших чувств и желаний. Когда я объявил о сем в полку, все краонские мои товарищи были в восторге, а прочие повесили голову, пускаясь уже наперед в условия со смертью; но, на зло первым и к радости последних, кампания наша обошлась без боя.

В двух моих кампаниях я видел в полку у себя 5 невероятных трусов, которых одно слово «сражение» приводило уже в трепет. Некто Думбровский перед сражением всегда жаловался, почему я не беру его в дело, и с невероятною хвастливостью рассказывал о чудесах своей храбрости. Но когда дошла до него очередь, он так струсил, что признался мне без обиняков в недостатке своего духа. Другой был у меня капельмейстер, итальянец Анжело. Ему очень захотелось иметь офицерский чин. Перед тем как нам штурмовать Париж, мы шли в самое дело с музыкою, играя, что только пришло в голову. Когда за ядрами полетели пули, он бежит ко мне, говоря:

«Г. полковник, весь мой хлеб в пальцах, а когда их отобьют, что я буду тогда делать?»

Третьего нельзя было никуда послать: он вечно спрячется. Во вторую кампанию обнаружили свою трусость М. и П. ... Если из 30 — 6 естественно всегда трусы, другие 6 не уходят от видов образованной стыдливости, третьи 6 — только что нетрусы, то в 300-х едва ли найдется 50 истинно храбрых и на все готовых. Те ошибаются, которые думают, что мундир составляет храбрость: нет, она родится с человеком и никогда ничем приобрести не может. А если и храбрость не есть общий удел человека, то ее и надо считать: тому, кто имеет, — даром неба, а тому, кому она полезна, — счастьем государства. Простая даже храбрость, в объеме общей и благоразумной, столько же необходима, как необходимы лафет и колеса для пушки; а лафет ведь не стреляет, так же, как и простая храбрость не распоряжает. Но одно без другого мертво и неподвижно. Велик тот, кому природа подарила оба эти таланта вместе. Но в моих глазах герой, в полном смысле этого слова, выше сотни стратегиков-трусов.

В Париж вошел я теперь совсем с другими понятиями, нежели прежде. Более солидности, более благоразумия доставило мне не простую рассеянность, но истинное удовольствие. Не рассчитывая уже жизнь на одни сутки, я рассчитывал ее вперед и далеко вперед! Детские игры меня уже не занимали; я смотрел на высокое и двигался только к высокому. В это время был энтузиастический хаос всех партий. Но приметнее других была королевская. Эти живые мертвецы, восставши из гроба Бурбонов, хотели всех сделать бурбонами, — и, забывая век, разделявший их прошедшее от настоящего, они высказывали всю глупость, всю нескромность своего столетия. Францию можно было тогда уподобить картине, на которой одна половина погребает своего гения, а другая — видит воскресение своего. На 30 тыс. можно было положить одного, который бы в тогдашних обстоятельствах брал участие в радости. Даже и те, кои отторгнуты от Франции и получили собственное политическое существование, из сильных врагов сделались друзьями Наполеона. Потерю Наполеона не одна Франция, но целые народы чувствовали почти в той же степени, в какой чувствовала Россия, потеряв обожаемого Александра.

Быв всегда беспечен на собственный свой счет, я решил за пасти себя в Париже тем, что составляет и память, и потреб-

ность. Но посланный от меня за покупками истратил мои деньги и скрылся. Это лишило меня возможности иметь классические редкости Парижа.

Из Парижа я выступил в Нанси, 4 часа от Парижа. Тут простоял я около 3 месяцев. Следуя духу тогдашнего времени, я воззвал к жителям, чтобы они были покойны и в нуждах обращались ко мне. Во все это время взаимная гармония ничем нарушаема не была. Нанси небольшой, но густонаселенный городок. Им управляла жена мэра, женщина строптивая и беспокойная. Образ жизни жителей столь единообразный, что вы не заметите в характере народа ни прилива, ни отлива. Всякий день, посредством городского барабанщика, объявляется то или другое приказание мэра, и жители свято его исполняют. В три месяца я видел только раз пьяного, а разврата вовсе не заметил. Доброе поведение обоего пола есть общее достоинство малых городов и деревень Франции.

Французские сельские женщины, так как и сельские дома их, очень дурны. Жители праздны и вечно ротозеют на улицах, как наши ямщики у почтовых станций; но в образе жизни имеют все удовольствие. Француз без говядины не сядет за стол; а денег в обороте я более Франции нигде не видал. Одна только у них странная привычка, что они завтракают, обедают и ужинают на походе, т. е. переходя с чашкою или кушаньем из комнаты в сени, а оттуда на двор и т. д. Это означает излишнюю живость характера.

В Нанси я совершенно преобразовал весь свой полк. Люди были одеты единообразно до задивления; офицеры оделись снова с ног до головы, а музыканты перещеголяли и английских. Один тамбурмажор стоил мне 800 франков. Он только что имел свой остов, в прочем: бакенбарды, усы и проч., и проч. было прибавочное. Из Парижа ко мне и от меня в Париж ежедневно летали транспорты, посылки и мастера. Один раз мастеров так было много, что двое, за неимением места, сидели на империаде дилижанса.

В таком блеске явился я с полком под Вертю. Вся армия бросилась смотреть меня и поверять, точно ли я тот, каким описывают. Записной мой соперник Скобелев, командуя также полком и гремя на другом конце России славой своего полка⁴⁹, должен был уступить мне лавровую свою ветвь. Он приехал ко мне с торжеством, а возвратился с завистью.

Под Вертью армия стояла большим каре. Войска проходили мимо государя разомкнутыми и сомкнутыми колоннами. Нашу вел генерал-адъютант граф Потоцкий. После парада является в мою ставку Потоцкий, говоря:

— Государь желает знать, чем он может вас наградить?

— Произвести в подполковники помощника моего, М. Ходаковского: вот в чем полагал бы я особую милость государя императора.

И к вечеру Ходаковский был уже подполковником.

Государю, как сказывал мне Потоцкий, понравилось бескорыстие мое и послужило к совершению счастья Ходаковского. Он лично удостоил его командиром 5-го егерского полка.

30 августа 1815 г. был парад. Войска после обедни и молебна шли домой вообще все в беспорядке. Некоторые были рассеяны и сами по себе кричали «ура!». Это произошло от ошибки первых и сообщилось последним. Я, напротив, почти один из всей армии шел в сомкнутом фронте, с музыкою и в величайшем порядке. Государь, не ожидая первого и восхищаясь последним, т. е. хотя одним стройно идущим полком, остановился перед нами, бил рукою каданс, подозвал меня к себе и благодарил в самых лестных выражениях. Я сам согласен с прочими, что этим, как и всем, обязан не фарсам, как говорят, а истинно моему счастью. За то этот день чту я во всю мою жизнь.

Через несколько дней государь выбирает сам людей в гренадеры. Подъехав к 1-му полку в дивизии, начинает хвалить полк Витебский. Марков говорит:

— Ваше Величество, это еще не первый полк в моей дивизии; у меня лучший Куринский.

— Если вы хотите сказать истину,— подхватил Барклай,— так у вас первый полк в дивизии 13-й егерский.

Едва только государь подъехал к 13-му полку, какому бросился в глаза мой тамбурмажор: это был стройный и гибкий Геркулес. Посмотрев с минуту на него, поехал к флангу полка. Окинув ярко фронт, государь начал говорить окружающим его:

— Этот полк лучше гвардии, лучше Лейб-егерского, лучше Финляндского и т. д.

Наконец, подозревая к себе австрийского генерала, сказал ему:

— Я уверен, что у вас ни одного такого полка нет в гвардии.

При такой всеобщей похвале родились отголоски в следующей постепенности:

Граф Ожаровский: Государь! как же этому полку не быть и хорошим: ведь им командует наш Маевский.

Граф Воронцов: Государь! этот полк столько же отличается и храбростью, сколько и наружностью. (Он был рад похвалить свой выбор.)

Барклай: Государь! полк этот был у меня в конвое, и к чести его, я не имею ничего более сказать, как то, что он отличный во всех отношениях.

Прочие мелкие голоса вторили большим и старались аккордировать мыслям и словам государя. Государь, будучи в восторге от полка и людей, выбрал у меня, вместо 20, 40 человек, но, не желая обижать противу других, стал опять перевыбирать. Высылая одного за другим, беспрестанно повторял:

«Они все прекрасные; теряюсь, не знаю, которого выслать и которого оставить».

Наконец, сочли 19. Государь, обращаясь ко мне, сказал:

«Маевский, дай одного, но не выбирай: они у тебя все прекрасны».

Однако ж я дал из лучших лучшего.

Вслед за тем государь давал обед всем генералам и командам полков и артиллерийских рот. После обеда государь шутил и говорил со многими. Наконец, обращаясь к Ермолову, говорит:

— Ну, я, кажется, дал тебе славных людей.

— Государь,— отвечал Ермолов,— я особенно вас благодарю за людей 13-го егерского полка.

Государь: О, это отличные люди в полку Маевского. Но знаете ли, ведь он не был военным. Я его сделал. (Кажется, что государь и сам торжествовал безошибочность выбора.)

Ермолов: Маевский, бывши еще и не военным, показывал уже все военные наклонности.

На походе уже к Рейну я получил орден Маврикия⁵⁰ за Вертю. Награда эта была вовсе неожиданная и тем приятнейшая, что она составляла трофей непосредственного ко мне внимания государя, столь много обожаемого и подданными, и всей Европою. Сих орденов прислано только 5 во всю армию. И из сих-то 5 один удостоился получить и я.

От редакции. Здесь мы прерываем рассказ Маевского (приведенные VIII — XII гл. написаны им в течение времени с 30 марта по 22 апреля 1831 г.). Делаем большой пропуск, так как в последующем повествовании о «его веке» не встречается подробностей, имеющих общий интерес или почему-либо характеристичных. Автор рассказывает о возврате из Франции в Россию; рождение у Маевского сына Александра; государь предлагает Маевскому полк короля Прусского, но он предпочитает остаться во главе 13-го егерского полка. — Стоянки с полком в Малороссии. — Быт малороссийского дворянства: грубость, разврат и невежество. — Царские смотры войск; — автору «Записок» пожаловано три тысячи десятин земли в Саратовской губ. Полковая жизнь, стрельба, «солдатские пунктики»; изучение Маевским тактики и стратегии и проч. Далее следует изложение возникших между Маевским и генералом Ротом, начальником дивизии, столкновений; неприятности и придирки происходили оттого, что Рот завидовал подчиненному ему — командиру 13-го егерского полка. Неприятности с генералом Ротом вынудили Маевского, по производстве в генерал-майоры, оставить командование 13-м егерским полком (12 декабря 1819 г.). Офицеры, прощаясь с ним, поднесли ему золотую шпагу. Государь повелел дать Маевскому, по его просьбе, 10 тыс. руб. в долг, так как от командования полком Маевский ничего не нажил, между тем как другие командиры наживались. — Маевского сделали бригадным (3-й бриг. 3-й гренадир. див.) командиром; — рождение сына Сергея. — Маевский трудится над составлением истории турецкой войны 1808—1812 гг. В 1823 г. государь смотрел корпус, в котором состояла бригада Маевского, под Орлом. Смотр кончился удачно, генералу пожалована аренда. — 24 февраля 1824 г. Маевский назначен, на правах дивизионного командира, отрядным командиром поселенных батальонов 2-й и 3-й гренадерских дивизий (Старорусским военным поселением), куда и отправился, до воследования еще приказа, 11 января 1824 г.

С этого времени начинается подробный и весьма интересный рассказ, который справедливо назвать: «аракчеевщина». Он составляет следующую за сим вторую часть «Моего века, или истории генерала Маевского».

Примечания

- ¹ Польское восстание 1794 г. под руководством Т. Костюшко.
- ² Юридически он не являлся офицером, так как вступил на службу в Курский пехотный полк подпрапорщиком и считался нижним чином.
- ³ Во Владимирский мушкетерский полк, шефом которого был генерал А. Г. Розенберг.
- ⁴ Пер. с фр.: воображаемая точка, задающая направление движению.
- ⁵ 9 марта 1804 г. был определен аудитором во Владимирский мушкетерский полк.
- ⁶ С 1803 по 1805 гг. шефом Владимирского мушкетерского полка был генерал-майор Пурпур Карл Андреевич.
- ⁷ Немецкое название нынешнего Львова.
- ⁸ 18 мая 1812 г. Маевский был назначен генерал-аудитором 2-й Западной армии.
- ⁹ Желтой книгой офицеры квартирмейстерской части обычно именовали «Учреждение для управления Большой действующей армии», законодательный документ (выпущен книгой в желтой обложке), определявший состав и функции управления армией, составной частью его являлось и Полевое уголовное уложение.
- ¹⁰ Отношения между П. И. Багратионом и Н. А. Тучковым были неприязненными, кроме того, 3-й пехотный корпус Тучкова не подчинялся Багратиону.
- ¹¹ Речь шла о Безобразове Александре Михайловиче, правда, он, впоследствии, был не московским, а с.-петербургским гражданским губернатором в 1826—1829 гг.
- ¹² Намек на деятельность генерала П. И. Багратиона в 1809 г. на посту главнокомандующего Молдавской армией, сражавшейся против турок на Балканском театре военных действий.
- ¹³ В г. Подольске.
- ¹⁴ С. Н. Марин занимал должность дежурного генерала, но генеральский чин так и не получил.
- ¹⁵ Правильно — гандлангер, рядовой артиллерист 3-го класса из состава артиллерийской прислуги, в обязанность которого, помимо прочего, входило править лошадьми у орудий и зарядных ящиков.
- ¹⁶ 16 сентября 1812 г. 1-я и 2-я Западные армии были объединены в одну под командованием генерала М. Б. Барклая де Толли, а начальником шта-

ба стал генерал А. П. Ермолов, ему и должны были поступить все дела, оставшиеся в штабе 2-й Западной армии.

¹⁷ М. Б. Барклай де Толли покинул армию 21 сентября 1812 г., генерал А. П. Тормасов, которому первоначально предполагалось дать в командование 2-ю Западную армию, прибыл к войскам только 8 октября в Главную квартиру М. И. Кутузова.

¹⁸ На р. Чернишне, левый приток р. Нары, близ д. Виньково.

¹⁹ Сераскир (сераскер) — военачальник в турецких войсках.

²⁰ Так иногда писали в русских документах (транскрибируя французское написание) фамилию генерала французского происхождения Э. Ф. Сен-При.

²¹ Австрия еще не вступила в войну на стороне союзников, поэтому австрийцы не могли испугаться (хотя сражение при Баутцене происходило близ ее территории).

²² Один из братьев генералов Петра или Павла Петровичей Паленов.

²³ М. Б. Барклай де Толли тогда еще не был генерал-фельдмаршалом.

²⁴ Т. е. к ордену Св. Георгия 4-го класса.

²⁵ Форшпан — подвода.

²⁶ Крепость Глюккшадт, которую занимали датские войска.

²⁷ Пален Матвей Иванович, генерал-майор.

²⁸ Ведеты — передовые парные посты.

²⁹ Избаш (Избаша) Никита Нестерович (?—1822), полковник 13-го егерского полка.

³⁰ Вольтижеры — солдаты во французских войсках, выполнявшие роль застрельщиков.

³¹ Дюссельдорф расположен на правом берегу р. Рейн, где в него впадала маленькая речка Дюссель, которая и дала название городу.

³² Дефиле — теснина, узкий проход.

³³ Дебушировать — выводить войска на открытую позицию, разворачиваться из походной колонны в боевые порядки.

³⁴ Вероятно, Букинский Павел Степанович, полковник, командир 40-го егерского полка.

³⁵ Фосс-атаки, т. е. ложные атаки.

³⁶ Оборона г. Реймса происходила 1 (13) марта 1814 г. уже после сражения при Лаоне, которое состоялось 25—26 февраля (9—10 марта) 1814 г.

³⁷ Капитуляция Суасона произошла 18 февраля (2 марта) 1814 г.

- ³⁸ Корд-дарме — армейский корпус.
- ³⁹ Т. е. предварительных условий.
- ⁴⁰ В пригороде.
- ⁴¹ С грассами, здесь имеются в виду — с грацией.
- ⁴² Экзерсисмейстер, т. е. специалист по обучению войск строевой службе, различным построениям, действиям с оружием и эволюциям.
- ⁴³ Был назначен командиром 3-й бригады 3-й гренадерской дивизии.
- ⁴⁴ Тамбурмажор — дословный перевод с фр.: старший барабанщик, унтер-офицер в команде военных музыкантов, имел мундир, украшенный галунами, и специальный жезл для подачи сигналов музыкантам.
- ⁴⁵ В 1812 г. шефом 13-го егерского полка был генерал-майор князь В. В. Вяземский, смертельно раненный при взятии Борисова.
- ⁴⁶ М. Б. Барклай де Толли сам являлся шефом 3-го егерского полка.
- ⁴⁷ Контрмарш — перестроение подразделения, связанное с переменной положения фронта на противоположное.
- ⁴⁸ ДеPLOYада — перестроение войск из колонны в линию (во фронт).
- ⁴⁹ В 1813—1815 гг. являлся шефом Рязанского пехотного полка, до него в 1797—1799 гг. шефом был М. И. Кутузов.
- ⁵⁰ Орден Маврикия — сардинский орден Св. Лазаря и Маврикия.

ИЗ ЖУРНАЛА УЧАСТНИКА ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Биографические сведения об авторе этих воспоминаний, кроме фамилии и тех данных, о которых он написал сам на страницах своего сочинения, до сего времени оставались неизвестны. Но и они были фрагментарны, поскольку автор даже не упомянул своего имени, а только сообщил, что по окончании 2-го кадетского корпуса служил в 1812 г. в 1-й артиллерийской бригаде вместе со своим младшим братом Василием. Публикаторы также не сочли возможным поместить какие-либо дополнительные сведения ни об авторе, ни о истории попадания рукописи в редакцию. Исследователи не могли узнать впоследствии даже его имени и отчества. К примеру, в фундаментальном исследовании А. Г. Тартаковского о корпусе мемуарных источников 1812 г. упоминается лишь его фамилия и первый инициал¹. В печатных расписаниях войск, публиковавшихся после 1812 г., удалось найти в списках Гренадерской артиллерийской бригады на 1818 г. двух офицеров Суханиных — подпоручика Петра Максимовича Суханина 1-го и прапорщика Василия Михайловича (на самом деле — Максимовича) Суханина 2-го². Дальнейший результат мог дать только поиск в архивах. В Российском Военно-историческом архиве в делах 1-й артиллерийской бригады, к счастью, действительно сохранились формулярные списки двух братьев офицеров, которые дают дополнительную информацию и подтверждают авторство мемуаров Петра Максимовича Суханина.

Сухие сведения формулярного списка сообщают, что автор был «из дворян», сын чиновника 8-го класса (запись у Василия — уже «чиновника 7-го класса»). Предположительно родился в 1783 г. (в графе о возрасте не указано цифрой количество полных лет). Вместе с братом 19 июля 1801 г. посту-

пил во 2-й кадетский корпус, 7 декабря 1808 г. Петр был произведен в унтер-офицеры, а 19 декабря 1809 г. его выпустили из корпуса в чине подпоручика с определением во 2-ю легкую роту 6-й артиллерийской бригады (переименована в 1811 г. в 1-ю артиллерийскую бригаду). 23 февраля 1811 г. в эту же бригаду попал и его брат Василий, выпущенный из корпуса с чином прапорщика. Формулярный список П.М. Суханина полностью подтверждает участие его в боевых действиях при с. Бородино, под Малоярославцем, Красным — он был командирован с 2 орудиями и сражался в рядах 1-го батальона Екатеринославского гренадерского полка³.

О том, что автор был, по меркам того времени, достаточно хорошо образованным молодым человеком, говорит запись в его кондуитном списке. В частности, там подробно перечисляются науки, которым его обучали в бытность пребывания в стенах кадетского корпуса: «артиллерию, фортификацию, полевой временной и долговременной атаке и обороне крепостей, геометрию и тригонометрию, плоской тригонометрии практику, алгебру, архитектуру, физику, химию, ситуации военных планов, российской истории и географии с хорошим успехом знает»⁴. О достаточно большом кругозоре Суханина-офицера свидетельствуют и сами его воспоминания. Но вряд ли их правомерно отнести к дневниковым записям, хотя бы потому, что сами записи не разбиты по дням, а текст идет целиком, да и нет фиксации впечатлений от прожитого дня. Возможно, автор действительно вел дневник во время войны, но сами воспоминания, вероятно, были написаны лишь с учетом дневника уже после окончания военных действий, поскольку события даны не в хронологической последовательности, а иногда забегают вперед или изложены достаточно сумбурно. Кроме того, Суханин часто давал политические оценки или пересказывал сведения, которые он мог почерпнуть только из более поздних работ об эпохе 1812 г.

Интересна и история публикации этого материала. Некоторые сведения на этот счет любезно предоставил мне петербургский исследователь Б.П. Миловидов. В архиве издателя «Исторического вестника» С.Н. Шубинского он нашел письмо, датированное 31 декабря 1910 г.: «Милостивый государь, г-н редактор! Ввиду приближения столетней го-

довищины славной Отечественной войны имею честь предложить при сем прилагаемую статью для отпечатания в редактируемом Вами журнале. При этом присовокупляю, что подлинная рукопись деда моего полковника артиллерии Петра Максимовича Суханина, участника упомянутой войны, находится у меня и не может быть представлена в редакцию как по причине древности ея, так и потому, что она заключает в себе время записей, далеко выходящее за период Отечественной войны. Мною может быть представлено на время для отпечатания три собственноручных акварельных рисунка моего деда, относящихся к сражениям: 1) под Смоленском; 2) под Бородиным; 3) под Красным. В случае желательности поместить в журнале упомянутый мною материал покорнейше прошу сообщить мне условия редакции. Внук упомянутого участника войны полковник Владимир Владимирович Суханин. Адрес. СПб., Васильевский остров, Университетская набережная, дом № 13, кв. 1»⁵.

По-видимому, редакция «Исторического вестника» не сочла возможным опубликовать этот материал, поскольку в 1912 г. он появился на страницах журнала «Русская старина» во 2-м и 3-м номерах.

В 1809 г., 19 декабря, я произведен был из 2-го кадетского корпуса подпоручиком в 6-ю артиллерийскую бригаду⁶ и назначен затем в роту капитана Берга, квартировавшую тогда на Охтенском пороховом заводе.

Полный комплект офицеров в роте послужил капитану поводом предложить мне оставаться в доме моей матери, впредь до какой-либо служебной надобности; в числе последних были караулы при Выборгской заставе.

Пользуясь свободным временем, я стал вести журнал, который и начинаю с воспоминаний о только что покинутом кадетском корпусе.

В 1790 г. я с младшим своим братом⁷ были приняты графом Валерианом Зубовым в инженерный артиллерийский корпус, что ныне 2-й кадетский, на собственное графа содержание.

Поступили мы в роту генерала Клейнмихеля, который нас любил, и я часто бывал у него на ординарцах; впоследствии он назначал меня на ординарцы к графу, а в 1807 г. и к цесаревичу Константину Павловичу.

В практическом походе в Петергоф я был особенно замечен Его Высочеством, а именно накануне тезоименитства императрицы Марии Федоровны, когда был в карауле у театра. Это случилось следующим образом: когда царская фамилия и иностранные сановники шли в театр, цесаревич, подойдя к фронту, скомандовал: «Ефрейтор, вперед!» Я подумал, что при 10 рядовых разводить на посты должен унтер-офицер, спокойно стоял в замке. Его Высочество вытащил меня вперед, причем кивер с большим султаном и алебарда свалились; подобрав их, я оправился, а затем по уставу скомандовал первой смене. Цесаревич сам повел нас на посты через черный двор, где по случаю ремонта было набросано много кирпичу, глины и других материалов. При виде этого я доложил Его Высочеству, что здесь трудный проход, и просил позволить отыскать лучшую дорогу; убедившись, что я прав, цесаревич засмеялся, не пошел дальше, а велел мне поставить двух часовых у входа в театр и двух у кулис. По прошествии часа мне приказано было произвести смену; сменив часовых у входа, я был в большом затруднении, как пройти по узкому проходу за декорацией, чтобы сменить часовых у кулис; алебарда не позволяла пройти, и я попросил капельдинера, обойдя тот узкий проход, передать кадету, стоящему по ту сторону кулис, чтобы он тихо отодвинулся и дал место новому часовому. Но на часах был француз Лебрюн, не хотевший оставить своего места, так как игралась трагедия «Semiramis».

Видя его упрямство и боясь, что цесаревич в другой раз примет мое упущение, я поставил возле правой кулисы новую смену и скомандовал: «Смена, марш!» Мадам Жорж, игравшая тогда роль Семирамиды, была изумлена такою неожиданностью, остановилась, сложила руки и отошла в сторону. Все, что было в театре, рассмеялось, а я, исправно исполнив свою обязанность, пошел к выходу. Едва составили мы ружья в сошки, как явился цесаревич, вместе со своим адъютантом Олсуфьевым; Его Высочество весьма меня благодарил и сказал: «Хоть тебе в этой трагедии не было роли, но ты кстати и прекрасно поддержал царицу Семирамиду!» А затем, обратясь к Олсуфьеву и глядя на меня, произнес: «Он наверное будет исправный офицер!»

Выходя из Петергофа, мы всем корпусом проходили повзводно мимо царской фамилии, смотревшей на нас сидя в линейках. Цесаревич стоял возле первой из них, в которой была императрица Мария Федоровна. Едва поравнялся с нею второй взвод грена-

дерской роты, где я находился на фланге, как цесаревич подбежал ко мне, схватил за щеку и, потрепав, толкнул в лужу, искренно смеясь на то, как я упал и проворно встал на свое место.

В 1810 г., при прохождении 6-й артиллерийской бригады из Кронштадта в Стрельну, я был послан к Его Высочеству от бригады с рапортом; великий князь тотчас меня узнал и, приняв рапорт, ласково сказал: «Хорошо, Суханин, рад тебя видеть!»

Между тем на политическом горизонте становилось неспокойно. Французский император Наполеон стремился владычествовать над всем миром и для ослабления Англии, наибольшего своего соперника, думал предпринять поход в Индию. Для этого ему надо было сначала подчинить Россию своему влиянию. В Тильзите потому заключен был союз, хотя император Александр Павлович и тяготился им. Одной из причин к разрыву союза послужил отказ на сватовство Наполеона к сестре русского императора, Великой княжне Анне Павловне; затем, Наполеон самовольно присоединил к Польше часть Галиции и этим задумывал восстановить ее, наконец, присоединяя к Франции земли, он отнял владение у родственника Александра Павловича, герцога Ольденбургского. Наполеон не получил за это согласия на закрытие гаваней для судов с английскими товарами. России приходилось поневоле увеличить свои военные силы и подвинуть их к западной границе.

Носились между тем слухи, что Наполеон собирает большую армию, почему императору Александру Павловичу необходимо было поспешить соединить свои силы. Наша бригада и вся гвардия выступили в город Порхов.

Прощальный день был для меня очень тяжел, но война, как определенное с детства поприще дворянину, манила меня, и вот, к 6 часам утра 20 октября 1811 г., рота собралась во всей походной амуниции к молебну.

Как трепетало сердце, когда перед образом Св. Чудотворца Николая седые усахи преклоняли колени: у многих искусившихся на поле славы я видел катившиеся слезы...

Угодник Святой! Внемли их молитвам...

Сердце полно было дум, но вместе с тем было так хорошо от какого-то неизъяснимо высокого чувства... Любезное отечество, я для тебя рожден! Иду против врагов твоих и нарушителей спокойствия царского дома! Иду под твоим знаменем, с сознанием

священного долга и помня, что оставляю старушку мать, сестер... все мне дорогое.

Офицеры наши, все больше молодые люди, также оставившие все близкое себе в Петербурге, шли не весело, к разговору не было охоты. Наш подполковник⁸, человек пожилой, храбрый и суровый с подчиненными, ехал перед ротой верхом, погруженный в какое-то горестное раздумье. У него осталась жена и трое детей...

— Вот Средняя Рогатка, — сказал подпоручик Кл.⁹, — не сделаем ли привал?..

— Хорошо, — ответил подполковник. — Велите бросить лошадей сена. Господа, за мной!

Мы вошли в ближайший дом, куда в большую залу принесли за нами пирог и водку. Никто не хотел ни до чего дотронуться. «Эх, господа, — сказал я, наливая серебряную чарку, — что вы задумались... выпьем да закусим, так веселее пойдем... а воротимся в Петербург, может быть, сами командирами!»

Офицеры последовали мне, закусили и выпили, и после часового отдыха все пошли веселей.

Старые солдаты рассказывали разные случаи из боевой жизни, стоянки в Пруссии и в Италии, вспоминали бессмертного Суворова.

Я невольно увлекся их простыми, но красноречивыми рассказами. Какая должна быть радость, перенеся всевозможные трудности и опасности, с честью возвратиться в свое отечество!

Из Порхова мы перешли в местечко Староселье Могилевской губ., где в течение 3-месячной стоянки пользовались гостеприимством местных помещиков.

В это время наш бригадный командир, полковник Глухов, получил другую часть, а вместо него к нам назначили барона Таубе¹⁰. Вскоре и наш командир ушел, роту же принял поручик Кл.¹¹, шурина ушедшего.

В июне 1812 г. прочли нам высочайший манифест, а через короткое время, совершенно неожиданно, мы увидели и столкнулись с неприятелем.

Случилось это во время гуляния в публичном саду, где все беззаботно веселились: иной куртизанил в густой аллее с паненкой, другой курил сигару, запивая пуншем. Я слушал наших музыкантов, бывших тогда лучшими в армии.

Вдруг им приказано было как можно скорее идти в парк; ничего не подозревая, я вошел в шатер генерала Костенецкого, сидевшего с несколькими артиллерийскими офицерами. Мимо спешили кучками гуляющие, и я, выйдя из шатра, заметил почти одних только поляков, шептавших на ухо что-то один другому. В десять минут сад опустел; какое-то странное безмолвие заступило место веселья. Возвратясь в шатер, я рассказывал о том, что видел и слышал. В это же время вошел человек лет 50-ти, в синем сюртуке, с двумя Екатерининскими медалями на груди. «Господа, вы ничего не знаете?! — сказал он громко. — Французы близ Вильно, я ушел из Ковно, бросив жену польку и детей»...

Взглянув на всех нас и приметя генерала, он обратился к нему: «Ваше превосходительство, возьмите меня с собою в армию!.. Посмотрите, что все это значит, видите ли, как презрительно поглядывают на нас поляки?.. О, они давно ждали этих гостей!

Разве вам неизвестны слухи, что Наполеон намеревается восстановить Польшу и освободить наших крестьян? О, он ошибется, рассчитывая найти русского мужика готовым изменить своему государю, а бывшие кой-где толки о воле не пойдут на пользу врагов»...

В середине дня войска неприятеля перешли нашу границу, не объявив даже войны. Оттеснив нас назад, 16 июня они заняли Вильно.

«Идем, — сказал Костенецкий, — посмотрим, что все это значит... неужели...»

Едва я вышел из сада, как увидел ужасную суматоху.

Русские чиновники и купцы бежали по улицам, иные искали лошадей, экипажи, отправляли жен, детей, собирали свой скраб. Полковые тяжести и лазаретные фургоны тянулись в беспорядке за город. Евреи запирали лавки, жители — свои дома.

Тут скакали гусары, там казаки неслись с длинными своими пиками...

Я поспешил в свою квартиру. Денщик мой, Андреяшка, живо надел на меня ранец, дал кивер, знак и, схватя чемодан, пустился бежать на Погулянку, где рота наша была уже вся собрана. Ожидали приказанья, куда идти. Пехота скорым шагом шла соединиться со своими корпусами, конница вытягивалась длинными линиями.

Вот подъезжает ко мне бригадный командир и приказывает: «Суханин, наденьте на передки! Идите с 4 орудиями за мною!»

Он провел меня в линию Павловского и Екатеринославского полков¹², где приказал явиться графу П. А. Строганову. Все это было делом одной минуты.

Смеркалось, все стихло, казалось, на войска сошел какой-то страшный и величавый дух...

— Заряжены ли у вас, молодой офицер, орудия? — спросил меня генерал Цвилленев, подойдя ко мне со спокойным видом.

— Одно гранатой, одно картечью, а остальные два ядрами, ваше превосходительство, — отвечал я.

— Здравствуй, брат Суханин, — сказал вдруг, ударив меня по плечу, екатеринославский офицер, — вот где мы увиделись после корпуса!

Как радостно в такие минуты, когда все ожидают чего-то чрезвычайного, встретиться со своим однокашником.

— Слава богу, Белафин, что я хоть тебя увидел здесь! — отвечал я, пожимая ему руку.

Дождь полился на нас, как из ушата; я велел снять с лафетов мешки с овсом, и, поставя их пирамидально, мы с Белафинным залегли под ними, а затем пустились в рассуждения о славе и величии России; вспомнив же, как жестоко страдало население в местностях, опустошенных неприятельскими войсками, как жители в ужасе бежали из горевших своих жилищ, подпаленных врагом, как просили пощады хотя бы для женщин и детей, а вместо сострадания находившие лишь грубое насилие, мы вперед были уверены, что французы дальше ничего не найдут, кроме покинутых и обгорелых развалин.

В рядах гренадеров носились слухи, что один только неприятельский авангард состоял из 80 тыс. человек, что подтверждали также тептярские казаки.

Численность же всей неприятельской армии определялась значительно больше четырехсот тысяч человек и 1200 орудий.

Наполеон заявил, что «рок увлекает Россию к гибели» и русские будут прогнаны в Азию.

Казаки дрались отчаянно, несмотря на превосходство сил противника, и этим несколько удержали напор авангарда, дав время приготовиться нашим войскам. Гвардия, первая гренадерская дивизия, 1, 3 и 4 наши корпуса уже соединились.

Часу в пятом утра велено было нам идти на Видзы, где расположиться биваком.

К вечеру слышны были выстрелы, к ночи же казаки привели пять человек раненых неприятельских офицеров и 15 рядовых. Все они были старые служивые, украшенные знаками отличия. Несмотря на наше хлебосольство и все заботы, они уверенно предсказывали неминуемую и совершенную гибель России. Между тем дождь лил третьи сутки, и напрасно в войсках старались развести огонь; не было возможности обсушиться, и мы, промокшие до нитки, трясаясь от холода, благодарили Бога, что неприятель нас не тревожит.

Первая неприятельская армия направлена была на центр русских сил, вторая должна была разбить вторую нашу армию, третья — идти вразрез между двумя первыми русскими армиями; особые силы должны были угрожать из Курляндии Петербургу. Наполеон был в Вильно на другой день после оставления его императором Александром.

Утром, под ясным и чистым небом, выступили мы к назначенной позиции; мне предстояло быть с 4 орудиями в редуте № 9¹³.

Французы обошли эти укрепления, и мы принуждены были отступить к г. Витебску, где разыгралось авангардное дело, кончившееся тем, что у подполковника К. отбили 6 орудий, разбили Нежинский драгунский полк¹⁴, и мы снова ретировались дальше, пока не подошли к городу Смоленску.

Под Витебском французы готовились нанести нам жестокий удар, но ночью мы отошли, и при восходе солнца они нашли удобную для них равнину пустою...

Хотя Мюрат нагнал дивизию Неверовского и французы потеснили нас, но дальше прорваться им не удалось.

Мне очень хотелось взглянуть на Смоленск, этот старинный город, и вот случилось, что мы с прапорщиком Еф.¹⁵ от нашей бригады посланы были с хлебопеками. Под этим городом соединились наши 1-я и 2-я армии, подошла дивизия Неверовского, силы эти преградили путь к Москве. Французская же армия остановилась под Витебском. Барклай атаковал неприятеля, но решительного дела не произошло. Силы Наполеона сосредоточились против нашего левого фланга. Барклай поспешил тогда к Смоленску. Отступивший Неверовский был подкреплен корпусом Раевского, и тогда они снова заняли Смоленск. В Смоленске мы пробыли до тех пор, пока корпус не двинулся для поиска неприятеля.

Дошедши до города Поречья и никого не встретя, возвратились мы обратно к Смоленску. Но в каком виде представился он нам...

Под Смоленском для русских позиция была неудобная, и мы стали отступать; город же, временно, удерживался Дохтуровым. После 6 августа наши войска очистили пылающий город. Пламя пробивалось во многих местах и своим заревом освещало ужасную картину.

Форштадт и сады заняты были нашими егерями, три роты 3-й артиллерийской бригады по всем направлениям били неприятеля, ворвавшегося в город. Местные жители снимали с убитых оружие и становились в ряды воинов; священники с Распятием в руках предшествовали ратникам и умирали среди них.

Население бежало в ужасе, таща на себе свой скерб; тут я видел доброго сына, несущего на себе своего дряхлого отца, там мать пробиралась к нашей позиции безопасною тропкою, укрывая в охалке своих малюток, очевидно, бросив все прочее в жертву огня и неприятеля.

Гул орудий, звук труб и барабанов, стон раненых и умирающих, вопли несчастных обывателей и командные слова на разных языках...

А сумрак уже спускался, вызывая во мне страшные и жуткие картины, настойчиво рисовавшиеся в моем воображении под впечатлением пережитого. Одно чувство сменялось другим, и я не знал, что со мною делается... В таком настроении я подошел к иконе Смоленской Божией Матери, взятой нами из собора и поставленной на отдельный зарядный ящик 3-й артиллерийской бригады. Усердно молился я перед ней за несчастных жителей...

Едва стал я между двумя своими орудиями, как увидел перед собою чиновника, в статском мундире, с ружьем за плечами, сидящего на добром сером коне, со сворою собак.

«Г-да артиллеристы, вы, вы одни оспаривали победу, — закричал он, — пехота не устояла; смотрите на наше пепелище»... Тут он залился слезами, взглянув на пылающий город и, всхлипывая, сказал: «Г-да офицеры, Смоленск отворил Наполеону ворота в сердце России, и Москва не удержится»... И при этих словах скрылся.

Какой-то трепет прошел по мне... К чему все эти предсказания, думалось мне; неужели слава, покровительствовавшая нашему оружию в прежнее время, теперь лишь мечта...

Когда французы заняли Смоленск, тогда русские были уже далеко, и неприятелю не удалось разбить нас, а пришлось идти дальше.

В десять часов вечера мы отошли от города и к 12-ти пополудни пришли на новую позицию. Здесь участвовали в деле только батарейные роты, и тут пал мой добрый товарищ Ол.¹⁶, пораженный ядром в ту минуту, когда он нес заряд. Его положили на носилки, сделанные из ивовых ветвей, и перенесли к иконе.

В то же время шедшая за нами толпа жителей остановилась, пала ниц и умоляла о помощи; женщины, дети, старцы — все рыдали.

Громко провозглашал священник вечную память убитым; горько плакали несчастные перед иконой; молодая женщина с грудным младенцем своим отчаянно бросилась перед образом и кричала: «Матушка, Царица Небесная, за что ты нас покинула»... Немало лет прошло с тех пор, но вся картина и слова те свежи у меня в памяти до сих пор, и когда я воспоминаю 12-й год, то ясно вижу и чувствую весь ужас пережитого*...

Бригада наша была уже впереди, почему, встав с прапорщиком Дуб.¹⁷ на стремяна моего рысака, упершись колунами в седло и обхватя друг друга, пустились догонять свою роту.

Вечером, сидя у бивачного огня, мы рассуждали о ничтожестве человека и всего происходящего кругом, и вспомнилось мне, как за два дня до смерти Ол. я, шутя, предсказал ему смерть. Когда мы стояли по сю сторону Днепра, против Смоленска, он был послан как бригадный адъютант от графа Кутайсова, бывшего там на батареях, узнать, велика ли потеря в роте полковника Дитрихса¹⁸, державшегося около 5 часов, с 12 орудиями, против сильной неприятельской артиллерии. Исполнив поручение, Ол. возвращался левым флангом позиций, где я сидел с трубкою

*Чудотворная икона Божией Матери Смоленской, известная также под наименованием Одигитрии (т. е. путеводительницы), является священным памятником 1812 г.

С августа до ноября упомянутого года она возилась на передке 1-го орудия батареей № 3 роты артиллерийской бригады, и перед нею войсковые части совершали молебны, бывали ею же благословляемы, отправляясь в бой. Войсковая часть эта теперь называется 1-й батареей 13-й артиллерийской бригады. Первоначально икона Одигитрии находилась над воротами крепостной стены г. Смоленска, в Днепровской башне, а в 1728 г. поставлена была в устроенную над этими воротами церковь. Икона эта списана в 1603 г. с чудотворной иконы, находящейся в Успенском Смоленском соборе и написанной Св. Евангелистом Лукою с лика Богоматери.

около своих орудий. По ошибке, я счел его за нашего поручика Греча, а у нас велась примета, что если кто не узнает товарища, тогда тому быть убитому; я это высказал Гречу, он посмеялся, сказав, что по примете я должен быть убитым в первом же деле; я, конечно, опровергал его.

После последнего сражения армия наша делала быстрые и трудные переходы, но всегда в порядке; всякого продовольствия было в изобилии, однако войско начинало тужить, что главнокомандующий — немец, не служит молебна, не дает сражений, и были такие, которые называли осмотнительного и храброго Баркляя букою, требовали наступления.

Придя к г. Гжатску, мы услышали, что приехал командовать армией Михаил Илларионович Кутузов.

Едва новый главнокомандующий показался перед армией, как все побежали ему навстречу и от радости кричали «ура!» Кутузов поставлен был во главе армии благодаря народному голосу, но он, как говорили, не столько надеялся побить столь сильного врага, как перехитрить его.

24 августа мы пришли на позицию к селу Бородину. Пехота, конница и артиллерия заняли свои места, а некоторые батарейные роты поставлены в редуты.

Кутузов с корпусными командирами и своим штабом осмотрел позиции, как нашу, так и неприятельскую. Ни с одной стороны не было слышно выстрелов, было все тихо, но тишина эта напоминала ту, какая бывает перед бурей.

25-го числа было небольшое авангардное дело, скоро прекратившееся.

Мы сели вокруг нашего прежнего командира — полковника Глухова, чтобы послушать о многочисленных приключениях, случавшихся во многих его походах; три штурмовые креста и Георгий украшали грудь героя и показывали, что он участвовал в турецкой и польской кампаниях, а также в последней войне с французами, под Прейсиш-Эйлау.

Так время подошло к ужину, и котелки со щами очищены были мигом за нашею товарищескою беседой. Один молодой офицер Зеленин сидел, задумавшись, и ничего не ел; заметив это, полковник пытался его развлечь, но все оказалось тщетным.

— Бедняжка, — сказал он вполголоса сидевшему возле капитану Шишкину, — он будет завтра убит. Была ли то вера в фанатизм, но опытный глаз приучался видеть ту печать неизбежной

смерти на лице человека, улавливаемую особенно старыми боевыми товарищами, которая являлась предвестницей незадолго до последних минут жизни.

Зеленин не слышал тех слов, но точно почувствовал, что его жалеют, и, стараясь ободриться, вышел из нашей компании. Мы также встали и едва начали расходиться, как он подошел к моему брату, с которым был очень дружен, и стал просить его принять в знак памяти новую ситцевую рубашку. Брат надел ее и, взяв огромную трубку, начал комически представлять попа, желая развеселить и успокоить товарища; однако попытка эта оказалась напрасной.

С наступлением темноты я лег спать под зарядным ящиком, а рано утром нас разбудили выстрелы батарейных орудий, гремевших со всех сторон.

Кутузов приказал отслужить молебен в виду всего войска и, увидев вьющуюся над иконой птицу, — предсказал победу. Хорошо быть ученым, еще лучше быть опытным; он возбудил бодрость духа в душе русского человека.

Приложась к иконе, я глядел на солдат, благоговейно подходивших после меня. О, вера! Как животворна и чудесна твоя сила! Я видел, как солдаты, подходя к образу Пресвятой Девы, расстегивали мундиры и, снимая с креста или образка последнюю монету свою, отдавали на свечи. Я чувствовал, глядя на них, что мы не уступим неприятелю поля брани; казалось, помолясь, каждый из нас получал новые силы; живой огонь в глазах всех изображал уверенность с Божьей помощью преодолеть врага; каждый отходил как бы вдохновленным и готовым к бою, готовым умереть за свою родину. Москва только в 110 верстах, как не заслонить ее грудью своею! В рядах наших много было еще старослуживых, помнивших Италийский поход, слава победы свежа была в их сердцах!

Укрепление местности при Бородине сделано было спешно. Более сильной позицией являлся наш левый фланг, куда неприятель и повел атаку.

26 августа он наступал здесь всюю массою.

Гром орудий усиливался, кавалерия кинулась в атаку.

В два часа пополудни полковой квартирмейстер¹⁹ Толь приказал своему адъютанту вести нашу роту на линии.

На половине пути адъютант был убит; мы примкнули к корпусу Дохтурова, стоявшему в самом центре армии.

Не было возможности выстроить батарею в прямую линию, так как убитые и раненые люди и лошади лежали горами.

Едва мы успели сняться с передков, как у моего единорога был убит канонир и ранило штабс-капитана Таландера, с несколькими рядовыми; сорванною головою своего фейерверкера поручик Клибер был сбит с ног (в другой раз пуля сплющила у него часы).

Я навел два свои орудия в строившуюся против нас колонну и стал у правого колеса, чтобы видеть действие выстрела, но в эту минуту был опрокинут... Что это? Не ранен ли я? Фейерверкер Есафов, улыбаясь, глядел на меня: «Не удивляйтесь, ваше благородие, на Вострилова, он вас оттолкнул от гранаты!..»

Я взглянул возле себя и увидел двух солдат, убитых осколками гранаты...

Кутузов перевел с правого фланга корпус Багговута в помощь 2-й армии и выслал казаков и кавалерию Уварова в обход левого фланга французов. Семеновские высоты были главным пунктом позиции, но под вечер мы принуждены были оставить их.

От шума, крика, грома орудий и дыма я не заметил, как рота надела на передки и пошла в резерв; я продолжал еще пальбу, когда ефрейтор Петров доложил, что мы остались одни с двумя орудиями.

В это время конная гвардия и кавалергарды пошли в атаку, под командой самого Барклая. Между моими орудиями бежали егеря с ружьями наперевес и кричали «Ура! вперед! молодцы!»

Не успел я сняться и присоединиться к своим, как наша кавалерия и егеря прогнали французских кирасир, и мы подвинулись вперед, почти на их позицию.

Некоторые французские кирасиры прорвались кучками через интервалы и заскакали в наш резерв: здесь они взяты были в плен.

Расстройство нашей роты было чрезвычайное; мы потеряли свыше 50 человек и 20 лошадей; многие зарядные ящики оказались пробитыми, передки и лафеты переломаны...

Потери наши под Бородином насчитывали до 40 или 50 тыс. человек, но не меньше убыло и у французов.

Жажда мучила меня нестерпимо, и, несмотря на свое изнеможение, я бросился к колодцам, где шла перевязка раненых, но подойти к ним было нельзя из-за массы лежавших людей.

Воротившись к товарищам, я обрадовался несказанно манерочной крышке чаю, который приготовил нам всегда заботливый поручик Кл.

Напившись чаю и подкрепившись вином, начали мы между нами рассказы о пережитом в последнем сражении; сражение не было решительным, и мы предполагали возобновить его на другой день; большие потери, однако, принудили отступить. Пересмотрев раненых и братски простившись с отправляемыми в Москву, мы разошлись по полкам, чтобы узнать, что происходило в них. Потом я пошел в роту Глухова, где увидел только шесть орудий и двух офицеров. «Греч пропал без вести, а Зеленин убит», — сказал штабс-капитан Богданович... И вспомнилось мне предсказание старого боевого служаки-полковника Глухова.

Вскоре остальные орудия начали подходить к роте, и подпоручик Сегунов 2-й, со слезами на глазах, показал нам на запасной лафет, на котором лежало тело Зеленина. Сердце — верный вещун, подумал я, и подошел к покойному, отдать свой последний поцелуй.

Наполеон потерял в этом сражении более 50 тыс. человек, а с нашей стороны потери были немногим меньше. Но что было всего важнее — это то, что после Бородинской битвы неприятельская армия окончательно пала духом, хотя победа на поле брани осталась за нею и к Москве путь был свободен.

Едва я отошел от Зеленина, как меня зовут в роту, где получаю приказание отправиться в Москву отыскать генерал-провиантмейстера Ховена и на третий день к утру доставить роте сухарей и фураж на Воробьевы горы, где предполагали дать сражение.

Тотчас сев на раненого своего коня, я поскакал в Москву. К четырем часам подъехав к городу, я увидел, что через заставу проходит множество подвод с ранеными и тяжестями; решив проехать окольной тропинкой, пролежавшей через вал, я находился уже у его подошвы, как вдруг наскочили на меня ратники, сдернули с коня, и, несмотря на мои объяснения и сопротивление, они повели меня под конвоем к генералу Койленскому; просмотрев мои бумаги, этот последний приказал меня пропустить.

28-го и 29-го я был в Москве. Отыскать генерала Ховена в большом городе никак не удалось. Люди, с которыми я встречался, с любопытством старались узнать — чем окончилось Бородинское сражение и каково намерение Кутузова насчет Москвы. Они при-

глашали меня к себе, расспрашивая обо всех подробностях битвы, а купцы снабжали всем нужным и радушно угощали.

Слышно было, что 31 августа наши войска были лишь в одном переходе от Москвы, а 1 сентября на совете в деревне Филых решили, за неимением хорошей позиции, покинуть Москву и отступить по Рязанской дороге.

Я остановился в доме дьячка, недалеко от заставы, где квартировал и надзиратель, человек семейный и большой хлебосол.

На случай опасности я обещал дать ему своего коня, для перевозки семейства и пожитков в более безопасную часть города. Тогда же встретил меня одной со мною бригады подпоручик Пастухов, возвращавшийся после выздоровления из г. Острова к своей части.

Полужинав, мы легли спать. В полночь дьячок будит нас, говоря, что наша армия проходит через заставу в Москву. Когда утром я проснулся, то Пастухова уже не было. Выбежав к заставе, я увидел, что в город вступает бывшая в арьергарде рота полковника Гулевица, а с ними движутся тяжести и вьюки.

«Посмотрите,— сказал он,— вон пыль. Это спешит французский авангард». К Москве подходили: принц Евгений, Понятовский, впереди приближался Мюрат.

Бросившись в свою квартиру, я схватил седло, чтобы оседлать лошадь и скорее покинуть город, но лошади своей я не нашел.

Послышался трубный звук... вижу въезжающих в город французов.

Оставив все подаренное мне москвичами, я выбежал на улицу и наткнулся на своего солдата, Вострилова, ехавшего верхом, притом с большими тючками. Сев на его место, мы поспешили к дому графа Разумовского, откуда Вострилов отдан был в рекруты. Он уговорил меня дать лошади отдохнуть и самим закусить. Тут я снова встретил подпоручика Пастухова, и мы втроем зашли в дом графа; здесь, казалось, и не думали о вступлении в Москву неприятеля. Это сделали реляции главнокомандующего городом, графа Ростопчина, которыми он уверил население в полной безопасности.

Повар графа приготовил нам завтрак, принесли вина, музыканты разложили ноты и начали играть. Люди графа Разумовского очень удивились, услышав от нас, что французы скоро уже будут здесь и что я только что проскользнул мимо них. Вся прислуга

начала умолять, чтобы я взял их с собою. Но как можно было исполнить просьбу этих людей, в количестве более 60 человек, разного возраста и пола? Казалось, Москву бросили, успев лишь открыть народу арсенал с оружием и выпустить бочки с вином; вместо обычных «афиш» увидели, как комендант города, граф Ростопчин, поспешил спастись из Первопрестольной, приказав перед тем зарубить на глазах волновавшейся толпы Верещагина, как изменника, от которого гибла Москва.

К пяти часам мы были в своей роте. Офицеры и солдаты очень удивились, увидев меня, они полагали, что я Наверное уже в плену.

Но я не менее удивлялся при виде такого множества отягощенных винными парами... Войска, будучи расстроены и проходя через богатый город, не избежали искушения и тем более, что виноторговцы отдавали целые ящики с винами, наваливали их на обозы; то же делали и прочие купцы, лишь бы добро не досталось неприятелю.

Опытный Кутузов мог это предвидеть.

Он сдал Москву на капитуляцию с условием, чтобы в течение 24 часов вывезти раненых, присутственные места и чтобы ни с одной стороны не было выстрела. Командовавший арьегардом Милорадович условился с Мюратом, чтобы тот не преследовал нас по пятам, угрожая иначе поджечь Москву (но Москва все-таки скоро загорелась)... Французы охотно на это согласились, и тем более, что сами имели громадную потерю и нуждались в отдыхе и времени. Мы же избежали таким образом совершенной гибели.

Догадайся Наполеон в это время послать свою кавалерию, то наш арьегард был бы весь уничтожен. Император французов тогда напрасно ожидал за Дорогомиловской заставой депутации от города.

Кутузов же, пройдя Москву, повернул на Калужскую дорогу, оставив в стороне Рязанскую, и защитил таким образом наши хлебоборodные губернии, не пострадавшие от неприятеля.

К утру мы были у деревни Тарутино, где расположились лагерь; заняв здесь хорошую позицию и укрепив ее, стали поджидать к себе неприятеля.

После битвы под этой деревней стало ясно, что план Наполеона не удался и следовало спешить восвояси, пока еще оставались жалкие остатки его непобедимой армии.

Здесь французы потеряли до 4 тыс. убитыми и ранеными, до 40 орудий и весь обоз²⁰.

Армия наша между тем стала усиливаться; наши партизаны, казаки, даже крестьяне всюду били и ловили неприятельских фуражиров. Французская армия терпела во всем недостаток, и Наполеон должен был посылать на фуражировку не иначе как большие отряды, с орудиями. Число мародеров от этого не уменьшилось у неприятеля; их брали в плен, убивали, крестьяне далее зарывали пойманных в землю, иногда жгли и душили. Таково было ожесточение, особенно черного народа. Население равнодушно смотрело на страдания себе подобных, ибо видело в неприятеле врага отечества и врага веры. Оно слыхало, что французы не щадили в Москве храмов Божиих, неистовствовали в них, почему мстило им как открыто, так и хитростью, заманивая к себе в околицу и лишая жизни. Война сделалась народной. Вряд ли кто из оставшихся в живых французов не содрогнется при своих воспоминаниях и не перескажет соотечественникам всех пережитых ужасов.

Между тем морозы увеличивались, почему жители южных стран страшно терпели от холода.

Кроме гвардии, занявшей Кремль, французы расположились в окрестностях Москвы; в городе же были еще и союзные войска.

Удачное для нас дело под деревней Тарутино побудило Наполеона к отступлению из Москвы, и неприятельские войска начали выходить по направлению к Смоленску, но не по старой опустошенной дороге, а в обход Кутузова.

Французские войска, бывшие в Москве, предусмотрительно набрали себе шуб, салопов, теплых шапок. Армия эта очевидно разлагалась и представляла странный вид: иные сидели на крестьянских лошадях в латах и бобровых шапках, с обернутыми овчиною ногами; иные шли в нагольных тулупах и в лаптях, иной шествовал в священнической ризе и гренадерской шапке, там какой-либо француз ехал на испанской лошади, едва передвигая ноги, и в гарнитуровой шубе или епанечке.

Покинувшие Москву французские войска и их обозы преследовались нашими казаками неотступно; их назойливость была страшно тяжела и наносила большие потери как в людях, так и в материальной части. На Можайской дороге ими уничтожен был обоз в 350 фур, а после Вяземского сражения маршал Ней имел

столкновения только с казаками. Они приводили в панический страх французов и забирали лишь то, что казалось лучше. Много освобождено было ими своих соотечественников. Партизан Платов уничтожил целый отряд принца Евгения, забрав больше 60 орудий.

Удалившись однажды на фуражировку за 40 верст от лагеря, я едва не попался в руки французских бродяг. Собрав несколько возов сена и овса, я проходил шагом через большую деревню, направляясь к своей роте. Было уже часов одиннадцать вечера, когда я слез со своей лошади и перешел отдохнуть на возу с сеном; проезжая мимо одной избы, увидел в ней огонек, чему очень обрадовался, т. к. мог закурить там свою трубку.

Подъехав туда, я заметил в избе старуху, которая сначала страшно перепугалась, но затем, отворив окно, стала говорить, что в деревню недавно приехало много французов и чтобы я был осторожнее; получив огня для трубки и поблагодарив за все старуху, я приказал своему унтер-фурменстру как можно скорей гнать лошадей.

Но это было напрасно, так как шагов через пятьдесят нас остановили поселяне, вооруженные чем попало; с ними было несколько казаков. Люди эти приняли нас за неприятельских фуражиров и готовились встретить по-своему. Вскоре, однако, дело выяснилось, и я благополучно направился дальше. Подъехав к нашей цепи, был я остановлен караульным офицером, т. к. не знал ни пароля, ни лозунга; хотя я и объяснил ему, что был в отлучке почти двое суток и узнать пропуска мне негде было. Видя необходимость пропустить меня, он дал для предосторожности в провожатые унтер-офицера и двух рядовых.

Ночь была темная, мы только ощупью нашли свою дивизию, т. к. огни везде были потушены и, как оказалось, по случаю приезда к главнокомандующему для переговоров о мире французского генерала Лористона, посланного Наполеоном. Вместо мира, как оказалось потом, французам пришлось познакомиться с нашими партизанами.

В течение трехнедельной нашей стоянки было лишь одно авангардное дело, в котором Милорадович особенно показал свое военное искусство.

Старик Кутузов поджидал благоприятного времени и приказал Беннигсену в одну темную и холодную ночь нечаянно напасть на корпус вице-короля Итальянского. О таком намерении, мы ниче-

го не зная, весело разговаривали за чаем, как вдруг получаем приказание возможно скорее, без малейшего шума, идти на соединение с корпусом Багговута. Тишина была беспримерная, изредка только побрякивали оковки на орудиях или зарядных ящиках; не слышно было даже шепота. Когда мы были в половине пути, получили распоряжение остановиться и разложить на обоих флангах возможно больше огней; когда это было исполнено, ударили зорю, чем окончательно убедили французов, что предстоящую ночь мы намерены провести спокойно. Граф Орлов-Денисов с несколькими полками обскакал неприятельский лагерь и вдруг ударил, вместе с Багговутом, на спящих французов; артиллерия открыла сильный огонь.

Полусонные, полуодетые, бросились французы к оружию, но было уже поздно.

Беспорядок и замешательство были так велики, что едва не был захвачен в плен сам король, который спасся, бросив все, свою палатку, со всем, что в ней было.

Нашему бригадному командиру досталась его соболья шуба; все бумаги, деньги и гардероб попали в руки наших гренадеров. Военная добыча состояла из 21 орудия, множества ружей, багажа и до 2 тыс. пленных.

К сожалению, в сем деле мы потеряли мужественного генерала Багговута.

Так как русские не заключали мира, то французы выступили из Москвы, направившись по старой Калужской дороге. Они потащили с собою награбленную добычу и не могли скоро двигаться. По переходе их на новую Калужскую дорогу наш партизан Фигнер открывает это и сообщает Кутузову, который поэтому двинулся также к Калуге. Французский авангард занял Малоярославец.

11 октября мы оставили Тарутино, 12-го числа, после трудно-го и скорого перехода, пришли к Малоярославцу.

Наша 1-я гренадерская дивизия поставлена была за стрелками 6-го корпуса, который весь участвовал в делах.

Недостаток места не позволял развернуть колонны, и пришлось довольствоваться тем, что мы непрерывно подкрепляли свой корпус свежими силами.

Восемь раз город переходил из рук в руки, но в 11-м часу вечера, усилив артиллерийский огонь,— его зажгли, после чего дали пехоте свободный проход, которая и выгнала наконец неприятеля.

ля, забрав затем много пленных. Нам досталось также много съестных и военных запасов. Город оказался страшно разрушенным; на улицах лежало множество убитых и раненых.

Кавалерия преследовала неприятеля и отбила несколько знамен и пушек.

Главкомандующий сидел возле моих орудий, отдавая приказания. Беннигсен, подойдя к князю Кутузову, предложил послать в погоню еще два полка конницы. Главкомандующий, заметя Елизаветградский гусарский полк, велел ему немедленно преследовать неприятеля, но Беннигсен доложил, что полк этот почти всю кампанию находился в арьергарде и потому имеет большие потери; посланы были другие полки.

14 октября французы начали отступление на Можайск, откуда шли уже старым своим опустошенным путем; положение неприятельской армии стало очень трудным, а все награбленное в Москве страшно затрудняло движение и усиливало беспорядок. Наши войска преследовали французов неотступно. Милорадович шел сбоку, Платов с тыла, партизанские отряды насакивали всюду. В конце октября начались морозы, причинявшие противнику потери, как в людях, так и в лошадях.

После этого сражения армия наша форсированным маршем пошла к Красному, а дивизия, где я находился, стала в авангард.

Французы не ожидали нас, они начали уже устраиваться на зимние квартиры.

5 ноября, в 7 часов утра, наш авангард, состоявший из 1-й гренадерской дивизии и имевший между батальонами по два орудия, встретил французов недалеко от моста, ведущего к Красному; нашей бригаде приказано было стать против моста и все выстрелы сосредоточить по неприятелю.

Трудно представить себе, какое смятение и расстройство причинили наши 86 орудий...

Император французов принял тогда на себя личное командование; под ним убита была лошадь, переранило большинство его адъютантов... в таком положении он должен был искать спасения.

Казаки и уланы так приветливо встретили французов, что нашим орудиям едва возможно было пробраться через мост. Ужас царил кругом: тут трупы убитых и раненые, там подбитые орудия, взорванные ящики — все лежало кучами, и надо было посылать вперед ратников, чтобы очистить дорогу.

В городе гренадеры наши находили неприятельские шалаши, прикрытые церковными иконами; они бросались из рядов и уносили их обратно по церквам, набожно крестясь и негодуя.

Из этого неприятельского отряда взято около 6 тыс. в плен; масса убитых мешала орудиям войти в город, и мы принуждены были долго ожидать, пока очищались улицы.

В восемь часов вечера мы расположились перед Смоленском, ожидая колонну маршала Нея. Около 6 часов утра 6-го числа войска его показались на Смоленской дороге.

Гренадеры всех 6 полков высланы были в стрелки и заняли крутой длинный овраг, идущий вдоль дороги; по сю сторону оврага, на возвышениях, расположилась наша артиллерия. Батальоны укрылись перед самым оврагом, за отлогостью высоты.

Едва неприятельская колонна приблизилась, как батарейная рота открыла огонь из всех орудий, пехотные стрелки били с боков, а казаки и гусары, заехав в тыл, произвели страшное опустошение. Французы видели неизбежную свою гибель, но бросились отчаянно.

Лейб-гренадерского полка поручик Поричков, сняв с себя шинель и сюртук, оставшись только в шерстяной жилетке, взял от уральского унтер-офицера ружье и сумку, бросился с охотниками гренадерских полков в овраг; он подкрепил таким образом ранее высланных и дрался врукопашную; мы с братом Василием надели на передки и подъехали к окраине оврага; прапорщик Ильяшенко, роты подполковника Семенова, заметив наше положение, отделился от своей части и присоединился к нам.

Мы били по орудиям неприятеля, старавшегося хоть сколько-нибудь ослабить губительное действие нашей артиллерии; мы удачно подбили три орудия и взорвали неприятельский ящик, в то же время стреляя по колонне, старавшейся прорваться к Красному. Неприятель массами устремился в овраг. Милорадович, заметив это, поставил конной роты два орудия на высоте, которые картечью анфилировали вдоль оврага, нанося ужас и опустошение. Неприателем непрерывно высылались свежие подкрепления, но они лишь трупами своими наполняли овраг; по ним переходили подошедшие новые части и напрасно бросались на наши орудия.

Не видя прикрытия, французы решили взять нашу батарею, состоявшую тогда из девяти орудий; попытка оказалась неудачной. Был момент, когда неприятельский штаб-офицер, перейдя

овраг, уже бросился на прапорщика Ефремова, стоявшего возле орудий, но в ту же минуту подошел Павловский полк и штыками отразил врага.

Не видя успеха, противник стал пробиваться всею своею массою на дорогу.

Под командою своего полковника²¹ Павловские гренaдеры обессмертили себя многими подвигами; без страха бросались они на неприятеля в штыки, залпами встречавшего их; у оврага пало от залпа около 95 рядовых, с храбрым своим капитаном Барыбиным; это еще более ожесточило павловцев, и они шли в рукопашный бой, били прикладами, эфесами и кулаками...

В таком положении мы не могли действовать орудиями и оставались свидетелями ужасных сцен на самом близком расстоянии.

Екатеринославский, потом Таврический и С-Петербургский полки штыками опрокидывали неприятеля, который пришел в такое замешательство, что побросал свои ружья и ранцы.

Генералы их напрасно подавали разительные примеры храбрости.

Один из них изрубил около себя трех наших гренaдер, хотевших взять его в плен живым; только раненного штыками взяли его и привели к графу Строганову; он был уже сед и имел, по видимому, более 60 лет; с него сняли нагольный полшубок и, разостлав, посадили на нем; предчувствуя свою последнюю минуту, он вынул часы и отдал Павловского полка солдату Домбровскому, который снимал его с лошади, потом взглянул вверх, сложил руки и умер... Почтенный старец! Кто видел прекрасную твою кончину? Враги твои. Соотечественники твои не донесут вести домой, как ты умер с оружием в руках. Напрасно, думалось мне, будут ожидать твоего возвращения дети и внуки... будут ли они знать геройский конец твоей жизни?!

В начале ноября стало сильно морозить, люди и лошади падали массаами, видны были целые вереницы отсталых, кучки замерзавших. Казаки Орлова, Давыдова и Сеславина взяли в плен бригаду Ожеро. У принца Евгения была отбита вся артиллерия. Весь путь неприятеля устлан был брошенным награбленным добром. Только в бегстве оставалось спасение... исчезло различие в чинах и не было повиновения; войско обратилось в голодную толпу оборванцев. Но вот остатки грозной армии вошли вторично в

Смоленск и вместо ожидаемых жизненных припасов там нашли запустение и тот же голод.

Под конец ноября Мюрат стал во главе французской армии, так как Наполеон уехал в Париж; без него войска бежали в полном расстройстве и гибли тысячами.

Два последние сражения решили участь России и, как можно видеть из последствий военных действий 1812, 1813 и 1814 гг., участь всей Европы. Россия! Слава сынам твоим: они своею грудью уничтожили неприятельскую полумиллионную армию. Нашими верными союзниками была Вера и преданность Царю и Отечеству!

В 1813 г., пройдя Вильно, мы неожиданно получили приказание воротиться в этот город.

После того как прошли отступавшие французские войска, Вильно был страшно грязен, по улицам валялись тысячи трупов и больных.

За городом, от гололедицы, погибла французская артиллерия, ящики с деньгами и обоз императора. Их солдаты грабили, что только могли. Наши войска преследовали врага за границу, в Вильно остались лишь наиболее пострадавшие части.

Мне пришлось стать в окрестностях города, в пустынном месте, на меня легла обязанность еще и фуражировать. Удалось отыскать богатый приход и при нем ксендза. На основании приказа по армии мы брали в приходе, что нам нужно было для продовольствия, и я даже помогал другим частям роты. Офицеры наши, вследствие жестокой зимы, трудов и нужды, почти все за-немогли. Из шестерых осталось нас двое. Скоро нам приказали привести роту в Вильно, где сдать всех наличных людей и лошадей, для формирования другой роты. Сначала я призадумался, как быть без денег, без платья, в большом городе. Чем мы себя будем содержать? Как покажемся в люди без сапог, без платья?.. Солдатский плащ согревал и украшал наши закоптелые от бивуачного огня лица. Но оказалось, что мы с товарищем были сыты и веселы, перед нами были везде открыты двери. Чего же больше для нас! Наконец надо было проститься со стариками, отслужившими со мною кампанию; досадно и обидно было сдавать их в 18-ю бригаду... Я не мог с сухими глазами расставаться с теми, которые были со мною у орудий и делили равную участь. Все они были растроганы и обнимали меня на прощанье; солдат, стоявший у моего орудия целый год, по имени Гаврилов, совер-

шивший еще Итальянский поход, взял меня за руку и, обнимая, заплакал... Боже! Внуши каждому молодому офицеру то, чем приобретается любовь этих истинно усердных, честных и добрых людей, проживших почти всю жизнь свою в делах против врагов отечества...

16 мая 1813 г. стали формировать новую роту, и я имел беспрерывные поручения по обучению рекрутов, приемке лошадей и амуниции.

Неожиданно получаю я предписание явиться к полковнику Васильеву, который приказывает мне отправиться в г. Вологду, для принятия 160 лошадей.

Через два часа, вместе с подпоручиком Лазаревым, пустился я в путь; до Москвы нам была одна дорога.

Суханин

Примечания

¹ См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика: опыт источниковедческого анализа. М., 1980. С. 277, 310.

² Расписание Гвардейского отдельного корпуса на 1818 год. СПб., 1818. С. 505, 506.

³ РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3797. Л. 8 об.—10.

⁴ Там же. Д. 3793. Л. 19—20.

⁵ ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 123. Л. 49—49 об.

⁶ 6-я артиллерийская бригада в 1811 г. была переименована в 1-ю артиллерийскую бригаду, но автор мемуаров об этом не упоминает.

⁷ В формулярных списках братьев написано, что были приняты кадетами во 2-й кадетский корпус 19 июня 1801 г. (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3797. Л. 8 об., 9 об.). Да и В. А. Зубов шефом этого учебного заведения стал только в 1800 г.

⁸ Имеется в виду подполковник Петр Андреевич Копьев, имевший трех дочерей (убит в Бородинском сражении).

⁹ Сокращение — подпоручик Клибер Егор Андреевич.

¹⁰ В приказе по 1-й Западной армии от 26 апреля 1812 г. командиру 1-й артиллерийской бригады полковнику В. А. Глухову император Александр I сделал выговор «за беспорядки, найденные в его бригаде при вступлении в город Вильну, за что и переписывается он в 3-ю артиллерийскую бри-

гаду с батарейною ротою № 1 под начальство подполковника Торнова, а вместо его прикомандировывается лейб-гвардии артиллерийской бригады подполковник Таубе и вместе с ним батарейная рота № 3» (Приказы по 1-й Западной армии // Рос. арх. Вып. VII. М., 1996. С. 78).

- ¹¹ Имеется в виду поручик Егор Андреевич Клибер, его сестра — Наталья Андреевна, урожденная Клибер, была женой подполковника П. А. Коптева.
- ¹² В формулярном списке П. М. Суханина в графе об участии в боевых действиях написано: «812 года в российских пределах против французских войск с 1-м батальоном Екатеринославского гренадерского полка....» (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3797. Л. 9).
- ¹³ Автор имеет в виду Дрисский укрепленный лагерь.
- ¹⁴ Речь идет об арьергардном бое при Островно 13 июля 1812 г.
- ¹⁵ Имеется в виду прапорщик Осип Демидович Ефремов (1-й).
- ¹⁶ Ольхин, офицер 1-й артиллерийской бригады.
- ¹⁷ Дубовский Иван Григорьевич, прапорщик 1-й артиллерийской бригады.
- ¹⁸ Имеется в виду полковник Иван Иванович Дитерикс (2-й), командир 17-й артиллерийской бригады.
- ¹⁹ К. Ф. Толь исполнял обязанности генерал-квартирмейстера Соединенных армий, но имел тогда всего лишь чин полковника, вероятно, отсюда такое наименование.
- ²⁰ Видимо, имеется в виду сражение при Тарутино.
- ²¹ Павловским гренадерским полком командовал полковник Егор Христианович Рихтер.

ВОСПОМИНАНИЯ Ф. Ф. БЕРГА

Имя генерал-фельдмаршала графа Федора Федоровича Берга было хорошо известно в дореволюционной России. Он происходил из прибалтийского дворянского рода Бергов фон Бергсгоф. При рождении (17/28.5.1794 г. на мызе Шлосс-Загниц Валкского уезда Лифляндской губернии) его первоначально нарекли Фридрихом Вильгельмом Рембертом, лишь позже, на русской службе он получил имя Федора Федоровича. Примечательно, что начало его карьеры было связано с Отечественной войной 1812 г. Учась уже на старшем курсе в Дерптском университете, в 1812 г. он добровольно вступил юнкером в армию и принял участие в боях против французской армии сначала в Прибалтике, а затем участвовал в заграничных походах. Берг был грамотным и толковым офицером, поэтому его дальнейшая карьера оказалась очень удачной, он сумел добиться и получения графского титула, и чина генерал-фельдмаршала, а также занятия значительных государственных постов: финляндского генерал-губернатора, наместника и главнокомандующего в царстве Польском, члена Государственного совета.

Воспоминания, относящиеся к периоду 1812 г., впервые увидели свет во втором номере журнала «Русская старина» за 1883 г. уже после его смерти (в 1874 г.), а записаны они были известным тогда военным писателем генерал-лейтенантом Павлом Петровичем Карцовым.

I

У человека, много испытавшего и видевшего, но по той или иной другой причине оставившего официальную деятельность, невольно рождается мысль, что, поделившись своими воспоминаниями, он, быть может, принесет пользу. Одним они послужат предостережением, другим дадут материал для разработки той или другой эпохи, для более верной оценки той или другой личности. Подобные воспоминания очевидцев могут быть полезны и для исторического труда, если он касается таких деятелей, общественное и служебное положение которых возбуждало в свое время общее внимание. К числу подобных деятелей принадлежит покойный наместник царства Польского, генерал-фельдмаршал, граф Федор Федорович Берг.

Едва ли кому известно начало служебной его карьеры, с теми подробностями, какие нам удалось слышать от него, тогда же дословно нами записанные.

Вот что рассказал о себе граф Ф. Ф. Берг:

«Перед Отечественной войной 1812 г. я был на старшем курсе в Дерптском университете. Заслышав о намерении Наполеона поработить Россию, всеми нами овладел воинственный дух, а потому большая часть старших студентов оставила университет, с целью поступить в военную службу. Помню, что с этим намерением, вместе со мной, отправились в Ковно человек десять. Там мы узнали, что армия стягивается к Вильно, куда ожидали прибытия Барклая де Толли, а затем и государя. Те, которые были побогаче, отправились в Петербург, для поступления в гвардию, я же стремился в авангард, и на последние гроши, кое-как, в жидовском фургоне, дотащился до Вильно. Там, расспрашивая офицеров, которых бесцеремонно останавливал на улице, я узнавал, что начальником авангарда назначен Эссен, старинный и близкий знакомый моих родителей, и что Главная квартира находится в Слониме. Нанять подводку было не на что; и вот я, с котомкой за плечами, а местами и с сапогами на палке, босой, пробрался пешком до Слонима. Подходя к нему, меня тревожила мысль, где приклонить голову и как добиться поступления на службу. На счастье, встречаю знакомого уланского офицера, из курляндцев. Узнав меня, он был поражен видом обтрепанного в дороге студента, ищущего приюта. По его указанию, на другой день, я

отправился к Эссену. Старик принял меня, сидя в белом халате перед зеркалом; камердинер завивал ему парик. Таков был 70-летний¹ начальник авангарда! Спросив мою фамилию и откуда я, он сказал:

— Хотя я мог бы теперь отмстить твоей матери, за то, что она отказала мне, когда я сватал ее, но принимаю тебя. Приходи сегодня обедать.

В поношенном сюртучишке явился я в назначенный час и, войдя в столовую, очутился в большом обществе. К обеду были приглашены все командиры полков, входивших в состав авангарда. Между ними особенно выдавался князь Васильчиков, впоследствии председатель Государственного совета, в 1840-х годах. Поместившись на дальнем конце стола, возле адъютанта из остзейцев, я сидел как на иголках, поел преисправно, потому что от самого Ковно питался булкой и двумя кружками пива в день. В середине обеда Эссен обратился к присутствовавшим со словами:

— Не хочет ли кто из вас, господа, взять с собой вот этого рекрута? — и указал на меня.

— Дайте его мне, — отвечал Васильчиков.

— Нет; ваши гусары споят его, да ему и не по карману, — а затем, обратясь к адъютанту, спросил:

— Кто у вас в передовом отряде?

— Калужский полк, — было ответом.

— Ну так туда и зачислить его, — решил старик.

Покуда меня обмундировывали, не помню при какой пехотной части, я был приглашен земляком-уланом жить у него и от нечего делать, всякий день, ходил в штаб отряда помогать писарям переписывать бумаги. Вскоре штабные заметили, что я недурно черчу, доложили Эссену, что было бы полезно удержать меня при штабе; он согласился и таким образом, хотя первый надетый мною мундир был калужский, но долго потом мне не довелось видеть моего полка.

Вскоре убедились, что екатерининский генерал с завитым париком, едва имевший силу сидеть на коне, не может быть начальником авангарда. Эссена сменили; но чтобы не обижать старика, его назначили генерал-губернатором Риги. Представьте себе мое огорчение, когда я узнал, что он берет меня с собой. Это было в начале 1812 г., и никому тогда не приходило в голову, чтобы военные действия коснулись Риги. Между тем, не знаю за какие

отличия, а может быть, и просто по недостатку офицеров, в начале июня я был произведен в прапорщики Калужского полка. Не прошло двух месяцев, как неприятельский отряд, под начальством прусского генерала (кажется, Граверта) подошел к Двине и расположился лагерем верстах в 12 выше города. Не знаю, по чьим соображениям, но, конечно, не по инициативе генерал-губернатора, составилось предположение атаковать Граверта одновременно с фронта и с фланга, со стороны реки. Для этого нужно было отыскать брод, существовавший, по словам местных жителей, у неприятельского лагеря. Поручение это возложили на меня, как знающего латышский язык. Переодетый чухонцем, три ночи бродил я с проводником вдоль правого берега Двины, пока удалось перейти реку у самого лагеря и убедиться в полной беспечности неприятеля. В ночь, назначенную для похода к его позиции, мне было приказано, по отысканному мной броду, провести два батальона и на рассвете, как только услышу выстрелы с фронта, броситься на лагерь. С замиранием сердца спустился я в голове колонны в воду. Страх, что я могу завести отряд в глубину и погубить его, вместе с опасением, что нас могут заметить, овладел мной. Больше всего злила меня лошадь ехавшего за мной майора, пробовавшая ржать; я велел затянуть ей морду поводьями. К счастью, время движения было рассчитано чрезвычайно удачно. Первый пушечный выстрел наступавших с фронта раздался в то время, когда мы поднимались к лагерю. Беспечность в нем простиралась до того, что ближайшие часовые были заколоты прежде, чем успели выстрелить. С криком «ура!» бросились два батальона на палатки².

В Риге все знали о предпринятом нападении и считали, что от его исхода зависела участь города. С раннего утра народ толпами валил за заставу, чтобы узнать о результате. Все колокольни, все крыши были покрыты зрителями, следующими за направлением пушечного дыма. Как только я убедился в победе, то понесся к Риге доложить Эссену об успехе атаки. Я встретил его в трех верстах от заставы, в великолепной коляске, запряженной шестериком.

Расспросив меня о происшедшем, он велел подать дорожный портфель и, не выходя из экипажа, принялся писать. Отдавая мне запечатанный конверт, генерал-губернатор сказал:

— Поезжай в Петербург и лично вручи это письмо государю.

Чтобы городская публика не задержала меня расспросами, мне было приказано ехать на почту. Несмотря на то, что фельдъегерская тройка в карьер несла меня по улицам, я не избежал оваций: крики «ура! победа!», маханье платками провожали меня по всему городу.

День и ночь летел я в Петербург. У Нарвской заставы ко мне приставили двух казаков для конвоирования до дома генерал-губернатора, которым был тогда почтенный старик Венявитинов³. Дежурный адъютант хотел взять от меня плакат, но я не отдал, говоря, что мне приказано лично вручить его государю. То же самое пришлось повторить и Венявитинову.

— Ну, мой любезнейший, — сказал он, — в таком случае тебе придется подождать государя; он теперь в Финляндии и возвратится дня через два. А так как в городе распускают разные нелепые слухи об армии, то мне приказано всех присылаемых из нее не выпускать никуда, до обратного отправления. Поэтому и тебе нужно оставаться в этом доме до возвращения императора. Адъютант укажет тебе особую комнату.

Сильно не понравилось мне это любезное арестование.

— Помилуйте, — отвечал я, — за что же мне быть взаперти, когда я привез известие о победе и мне приказано доставить донесение немедленно.

— Как о победе! — вскрикнул удивленный Венявитинов. — Это первая радостная весть. Я даже боялся спросить о Риге, думая, не взята ли она. В таком случае не удерживаю. Поезжай скорей в Финляндию. Ты, вероятно, застанешь еще государя в Гельсингфорсе.

Вышло иначе. Государь возвращался сутками раньше. На второй станции от Выборга я встретил передового фельдъегеря. Он объявил, что Его Величество в нескольких верстах за ним, и советовал мне лучше дожидать на станции. Через несколько минут коляска императора остановилась у крыльца. Он вышел из нее вместе с князем П. М. Волконским. Последний, проходя мимо меня, спросил: вы откуда? И как только услышал, что из Риги, от Эссена, то вырвал у меня пакет, пошел за государем, в комнату налево. Между тем подлетели другие экипажи, и я моментально был затерт лицами свиты, с которой, сам не знаю как, очутился в комнате, из сеней направо, где и прижался у окна. Никто не обращал на меня внимания. Через отворенные из сеней двери обеих комнат было видно, как государь, сидя у стола, внимательно чи-

тал письмо Эссена, причем два раза перекрестился. Затем князь Волконский, войдя в комнату, где была свита, громко сказал: «Прапорщик Берг, к государю!» Я пошел за ним; Его Величество, увидя мою совершенно статскую фигуру, улыбнулся и говорит:

— Эссен пишет, что вы вели обходную колонну и можете передать подробности дела.

— Могу, Ваше Величество, — отвечал я.

По моему выговору, вероятно, было заметно, что я плохо говорю по-русски, так как государь спросил:

— Как вам легче объясняться, по-французски или по-немецки?

Смекнув, что толковое объяснение на немецком языке не будет вменено немцу в достоинство, я ответил, что мне удобнее говорить по-французски.

— Вот как! — заметил государь, — ну так рассказывайте.

— Дайте мне карандаш и бумагу, — обратился я к Волконскому.

Его передернуло, но все-таки он подал мне и то, и другое.

Набрасывая кроки местности, я в то же время объяснял ход боя и когда кончил, то государь сказал:

— Хорошо, ступайте!

Уходя на прежнее место, к окну правой комнаты, я ясно слышал обращение к Волконскому Его Величества:

— Бойкий юноша, из него будет толк. Перевести его за отличие в Литовский полк.

Кто-то из стоявших возле меня лиц свиты, полагая, что я понимаю, что такое Литовский полк и где он, обратился ко мне со словами:

— Поздравляю вас, прапорщик, гвардейским офицером.

— Как гвардейским! — почти закричал я. — Я не хочу в гвардию, она всегда в резерве, а я желаю быть в делах. Для того я и бросил университет, чтобы служить в авангардах.

Все засмеялись, и было слышно, как государь, улыбаясь, говорил Волконскому:

— Слышишь, отказывается! Спроси его, чего он желает?

Волконский, с досадой на лице, подошел ко мне со словами:

— Как вы смеете отказываться от гвардейского мундира! Это дерзость! Извольте же говорить, чего вы хотите?

— Хочу в колонновожатые, — было моим ответом.

Если бы в эту минуту я понимал, что колонновожатые, как офицеры Генерального штаба, состоят в ведении Волконского, то, конечно, не посмел бы высказать так просто и откровенно моего желания.

Вновь возвратясь из комнаты, где был государь, князь продолжал:

— Извольте, вы будете зачислены в колонновожатые. Через три дня явитесь ко мне для отправления в Петрозаводск, где вы будете состоять при генерале, формирующем резервы.

Как ни был я неопытен, все-таки понял, что Петрозаводск не Вильно и что меня наказывают за мою смелость. Но объясняться было некогда, так как государь выходил уже, чтобы сесть в коляску. Все кинулись за ним, и я остался на крыльце один, ошеломленный, не зная, что делать.

Возвратясь в Петербург, являюсь прямо к генерал-губернатору и, со слезами на глазах, умоляю его помочь моему горю. Старик с участием отнесся к моему положению.

— Скверно, молодой человек, — сказал он, — очень плохо! Волконский не простит вам, что помимо его желания попали в Генеральный штаб; не нюхать вам пороха во всю войну!

Я заплакал.

— Вот как я могу помочь вам, — продолжал Венявитинов. — Так как я не получал еще от Волконского уведомления об отправлении вас в Петрозаводск, то вы мне ничего об этом не говорили. Понимаете? Но я имею повеление не задерживать курьеров из армии и немедленно возвращать их, как только будут экстренные депеши. Приготовьтесь; через час вы отправитесь к Барклаю де Толли.

Я едва не бросился к Венявитинову на шею как к моему спасителю. Через час я уже летел по Смоленскому тракту, а Волконский, при суете того времени, вероятно, и забыл обо мне.

Спустя три года я возвратился из Парижа, в чине капитана⁴ Генерального штаба, но затем долго не имел повышений. До генеральского чина Волконский не только никогда не говорил со мной, но даже не замечал меня. Только после Аральской экспедиции⁵, когда я являлся к нему, он принял меня довольно ласково, и с тех пор, не могу жаловаться, князь сделался внимателен к моей службе.

Вот вам рассказ о том, почему я несколько минут мог считаться офицером Литовского полка и почему теперь (в 1865 г.) государю угодно было пожаловать мне мундир этого полка».

Примечания

¹ В 1812 г. И. Н. Эссену было 54 года, вряд ли он был похож на 70-летнего старца.

² Речь идет о бое при Даленкирхене 10(22) августа 1812 г., где русские одержали победу над пруссаками.

³ Ошибка в написании фамилии — эту должность занимал С. К. Вязми-тинов.

⁴ Уже в августе 1812 г. получил чин подпоручика, а затем был переведен в свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.

⁵ В 1822, 1823 и 1825 гг., числясь на дипломатической службе, он возглавлял экспедиции по Средней Азии (с целью обеспечения безопасности торговых караванов), собрал ценный материал для военно-топографического описания и составления карт района между Каспийским и Аральским морями.

РАССКАЗЫ АДМИРАЛА ПАВЛА АНДРЕЕВИЧА КОЛЗАКОВА

(1779 – 1864)

ВЗЯТИЕ В ПЛЕН МАРШАЛА ВАНДАММА

18 августа 1813 г.

Под приведенным общим названием «Рассказов» редакция «Русской старины» надеется поместить целый ряд интересных эпизодов из боевой жизни столь еще недавно скончавшегося (1864 г.) адмирала Павла Андреевича Колзакова. Павел Андреевич любил вспоминать и рассказывать о событиях из его многолетней жизни, причем передавал их в кругу друзей весьма весело, увлекательно, и во всех передаваемых им подробностях являл светлую, отчетливую память. Сын покойного, генерал Константин Павлович Колзаков, тщательно записал наиболее любопытные беседы своего родителя и с помощью дневников, веденных Павлом Андреевичем с самых молодых лет, и массы оставшихся после него документов привел все, записанное им, в порядок. Весь этот материал, во всех отношениях интересный для истории минувших четырех царствований, Константин Павлович Колзаков весьма обязательно предложил в распоряжение редакции «Русской старины», которая, с глубочайшею к нему признательностью, будет помещать их, время от времени, на страницах своего издания.

В настоящей книге мы помещаем один из эпизодов в жизни П. А. Колзакова: взятие им в плен маршала Вандамма в столь славном для русского воинства бою под Кульмом. Но прежде,

нежели привести этот рассказ, изложим, в нескольких строках, главнейшие факты служебной карьеры покойного адмирала.

Павел Андреевич Колзаков родился в Туле в 1779 г.; воспитывался он в Морском кадетском корпусе. Службу начал в 1794 г. гардемаринном, а в 1795 г. произведен в мичманы. В 1797 г. командирован в Архангельск на строящийся корабль «Азия», на котором и был при блокаде Текселя и потом при блокаде Мальты, взятии Неаполя и занятии Ионических островов. В 1809 г. Колзаков отличился в Финляндской кампании в сражении при Куопио против вдвое сильнейшего неприятеля, будучи командиром отдельного отряда канонирских лодок. В 1810 г. Павел Андреевич был назначен во вновь сформированный гвардейский экипаж ротным командиром и вскоре взят на императорскую яхту. В 1811 г. Колзаков назначен командиром яхты Его Императорского Высочества цесаревича Константина Павловича, в чине капитан-лейтенанта. В начале 1812 г. он назначен адъютантом к цесаревичу и при нем делал все походы и участвовал в разных сражениях 1812, 1813, 1814 гг., после чего оставался при Константине Павловиче до самой его кончины. В 1831 г. назначен генерал-адъютантом к государю, а вскоре затем и дежурным генералом Главного морского штаба, в чине вице-адмирала. В 1843 г. Колзаков произведен в адмиралы и скончался в Петербурге в 1864 г. восьмидесяти пяти лет от роду. Еще раз приносим искреннюю благодарность К. П. Колзакову за сообщение рассказов его почтенного родителя¹.

Дрезденское сражение доказало союзникам ту неоспоримую истину, что когда нет единства в начальстве, то успеха ожидать нельзя. Князь Шварценберг, начальствовавший соединенными армиями союзников, находился в самых стеснительных обстоятельствах. Три союзных монарха были при армии, и каждый из них имел своих доверенных лиц, искавших случая выказаться в глазах своих венценосных покровителей — и, таким образом, парализовали действия главнокомандующего. Соперничество национальностей, — различие идей и личное самолюбие порождали интриги и непрерывные столкновения между ними. Упускалось много времени в напрасных спорах, и когда подходила наконец решительная минута действия, оказывалось, что прежде задумано

манный план уже не годился никуда вследствие новых возникших случайностей.

То же самое случилось и перед Дрезденским сражением. Союзники могли бы занять этот город почти без выстрела, имея сосредоточенную 200 000-ю армию в окрестностях Дрездена, тогда как в самом городе стоял только один немногочисленный корпус Сен-Сира едва в 14 000 человек; но пока у союзников велись переговоры, Наполеон уже успел вступить в столицу со 100 000-ю армией на подкрепление осажденного гарнизона, и сражение не могло уже иметь того успеха. Хотя дрезденское дело и нельзя считать поражением, как о том гласили тогда все французские бюллетени, оно было только неудачною атакою, но со всем тем оно имело совершенно вид поражения потому, что войска союзников должны были отступить, и отступление это в бурную осеннюю ночь, со множеством раненых, по размокшим от дождя дорогам и в ужасном беспорядке производило весьма печальное действие. Уныние распространилось в войске, утрачено было доверие к начальствующим лицам, все чувствовали какое-то ожесточение, соперничество национальностей заговорило громче, русские бранили немцев, взваливали на них всю вину, одним словом, упадок духа и беспорядок дошли донельзя. Положение было весьма критическое. Император Александр понял, что надо было решиться на что-нибудь отважное, смелое, дабы поднять дух войска, одним словом, расплатиться долгом с неприятелем, взять реванш, как говорят французы (*une éclatante revanche*)², и с этою целью принял он на себя звание главнокомандующего всеми союзными армиями и стал действовать самостоятельно³.

Войскам приказано было отступить на юг, дабы преградить французам путь в Богемию, куда стремился Наполеон.

Тремя колоннами шла наша армия на юг, перешла горы, и после славного дела при Цегиста 15 и 16 августа, в котором удалось графу Остерману пробиться сквозь корпус генерала Вандамма и стать на Теплицкую дорогу, армия наша была в свою очередь атакована французами в превосходном числе, 17 августа, близ местечка Кульм⁴, где и произошло столь славное в наших летописях Кульмское сражение, продолжавшееся полтора дня и увенчавшее вполне славу нашего оружия, — говорю нашего, потому что русское войско более всех других приняло в нем участие.

Не стану рассказывать весь ход сражения, изложенного в подробности в нескольких сочинениях, но припомню только один

эпизод, которому был я очевидцем и в котором на мою долю выпало принять непосредственное участие.

Ночь с 17 на 18 августа прекратила упорное, но еще не решенное сражение, в котором приобрел себе вечную славу граф Остерман, запечатлев ее потерей руки* — войска наши стали готовиться к новому бою, и ранняя заря 18 августа застала их в боевом порядке по обеим сторонам большой дороги; левый фланг упирался в горы и состоял вместе с центром из русских войск, а австрийцы стояли на правом крыле близ деревни Карвиц. В резерве стоял отряд под командою Великого князя Константина Павловича, при котором и я находился в качестве адъютанта.

Император Александр, выехав рано поутру вместе с королем прусским, в сопровождении многочисленного и блестящего штаба, отправился на высокую гору Шлосберг, с вершины которой открылась вся панорама Кульмской долины и окрестностей. Живописные развалины древнего замка рисовались на вершине горы. Утро было прекрасное, и поднявшийся туман, как занавес в театре, раскрыл величественную панораму окрестностей с их лесистыми холмами, оврагами, ручьями, разбросанными деревнями — и цепью высоких гор, терявшихся в дальней синеве. Посреди этой прекрасной декорации светлою ленточкой извивалась дорога, ведущая из Кульма к Теплицу, и по обеим сторонам ее рисовались темными пятнами на бледно-зеленеющем фоне две армии, стоявшие друг против друга в недалеком расстоянии, ожидающие одного мановения руки, одного знака, чтобы ринуться в бой, ожесточенный и кровавый. Зрелище было истинно величественное, и минута торжественная. Последовав вместе с великим князем за свитою государя, я был свидетелем этой минуты, и никогда не изгладится она из памяти моей. Глядя на эту очаровательную природу, облитую золотистыми лучами восходящего солнца, — сколько различных мыслей приходило мне в голову. Казалось, здесь-то рай должен быть земной. Красиво разбросанные в долине домики в садах так уютно выглядели из-за зелени. На некоторых полях еще жатва не была убрана — все дышало свежестью, миром и жизнью — но, бросив взгляд на усеянные в поле войска, сердце кровью обливалось и билось, чувствуя приближение роковой минуты!! ... и сколько тысяч сердец дрожало в ожидании ее! Но сигнал уже подан — было около 6 часов утра,

* 18-го числа начальствовал уже Барклай де Толли.

забелели вдруг по холмам белые клубы дыма, и спустя несколько секунд послышался гул, все чаще и чаще повторяемый раскатами эха в горах, — и началась битва. Крестьясь, поскакали все по своим местам — адъютанты и ординарцы рассеялись с приказаниями по полю, и бой закипел по всей линии. Отдаленные крики «ура», стоны раненых, командные слова, топот конницы, стук оружия, наконец, грохот ружейной и пушечной пальбы — все слилось в один общий беспорядочный и неумолкаемый гул. Облака дыма затмевали воздух и наполняли его пороховым запахом. С ожесточением бросались полки на полки, сшибалась конница, налетая тучею друг на друга, и поле покрылось трупами людей и лошадей. Вскоре тронулись и резервы наши, и храбрые воины, забыв усталость почти трехдневного боя, бросались в огонь с новым энтузиазмом и отвагою при криках «ура!» Гвардия наша делала чудеса храбрости. Все смешалось в рукопашный бой. Только в 11-м часу показались в тылу французов войска под командою Клейста, которых Вандамм сначала принял за ожидаемое подкрепление. Смятение сделалось в их рядах всеобщее. Видя себя окруженными, французы думали только о личном спасении и стали пробиваться сквозь неприятеля и до того смешались с ним, в тесных дефилеях гор, что и те и другие, полагая себя побежденными, бросали оружие и сдавались друг другу. Сражение приняло вид самый беспорядочный, солдаты карабкались по утесам, обрывались, скатывались с них и разбрелись до того по окрестным горам, что даже начальники пришли в недоумение; сам генерал Клейст, видя со всех сторон неприятелей, полагал уже себя в плену — и бросился в лес искать спасения, пока не встретился случайно с генералом Дибичем, которому первому пришлось его вывести из заблуждения и поздравить с победою.

Почти в это самое время, будучи послан уже в четвертый раз с различными поручениями, возвращался я, пробираясь с трудом по заваленным дорогам в дефилеях.

Измученный конь мой, весь в пене, едва мог передвигать ноги и спотыкался на всяком шагу; несколько раз рисковал я быть сброшенным и потому, сойдя с него, пошел пешком, держа лошадь под уздцы, и пробирался по довольно крутой тропинке. Чем ближе я подходил к открытому полю, тем чаще попадались мне тела убитых и раненых. Ужасно было глядеть на этих несчастных; стоны раненых в особенности раздирали мне душу. Многие из них умоляли о помощи, просили воды, кричали, ругались; но

крик их и ругательства заглушались в массе других криков и в шуме битвы, которая все еще не умолкала, но перенеслась уже за местечко. Казаки и ординарцы скакали по полю по разным направлениям. Легко раненные солдаты помогали переносить на носилках тяжело раненных. Все это двигалось, кричало, бранилось, шумело. Проскакали двое всадников, крича: «Победа! победа!» Несколько солдат крестились, другие прокричали «Ура!» Слышу крики позади себя и топот лошадей. Оглядываюсь и вижу — выскакивает из-за опушки леса толпа всадников; вблизи раздаются несколько выстрелов, вглядываюсь и различаю французские мундиры. Я поспешил сесть на лошадь и, вынужденно саблю из ножен, стал шпорить коня своего, дабы отстраниться от нападающих; но тщетно усиливался я понукать измученное животное. Лошадь уперлась и не трогалась с места. Толпа подсакивает ближе, я вижу, что за ними скачут казаки вдогонку. Впереди всех неслась на тяжелом боевом коне тучная фигура французского генерала, в расстегнутом нараспашку мундире; несколько офицеров следовали за ним. Два казака, бывшие у меня в тылу, случайно бросились ему навстречу с опущенными пиками. Слышу, хриплый голос кричит мне: «General russe, sauvez moi!»⁵ Конь мой, завидя скачущих, инстинктивно пустился вслед за казаками. Я закричал: «Стой, казаки, стой! не коли!» и едва успел спарировать удар пики, как уже французы были окружены со всех сторон и сдались нам в плен.

Французский генерал остановился и стал слезать с лошади. Толстое лицо его было красно от волнения, пот градом лил, вместе с грязью, по щекам его. Мундир на нем был весь в пыли. Вздохнув несколько раз тяжело, он обратился ко мне и, принимая меня все еще за генерала, вероятно, по моей флотской шляпе, — с театральным жестом подал мне свою шпагу, сказав: «Je vous rends, général, mon épée qui m'a servi pendant de longues années pour la gloire de mon pays»⁶. Но я отказался принять его шпагу, сказав, что он лично отдаст ее государю нашему, к которому его отведут, и, спросив его фамилию, узнал, что это был сам главнокомандующий Вандамм. Он казался пьян, потому что насилиу держался на ногах и просил несколько минут отдохновения, не будучи в состоянии продолжать путь. Несколько офицеров, взятых вместе с ним в плен, сошли с лошадей и окружили его. Он стал всем им пожимать руки, приговаривая: «Mes braves amis! On g'est pas toujours heureux»⁷, и осведомился потом с участием

о двух других, вероятно, раненных и упавших на дороге. Я успокоил его, сказав, что они будут прибраны и отведены тотчас на перевязочный пункт. Завидев издали взвод конногвардейцев, скачущих по полю, я послал казака к ним навстречу, с приказанием им приблизиться и конвоировать пленных. Подскакали конногвардейцы, под командою ротмистра Сталя⁸. Я передал ему Вандамму со свитою, велел вести его к государю, а сам, пересев на казацкую лошадь, помчался вперед, дабы известить Его Величество⁹ о взятии в плен французского главнокомандующего. Расстояние было довольно велико — и прошло некоторое время, пока мне наконец указали новое место нахождения императора Александра Павловича. Увидав его издали на вершине горы, стоявшего во главе своей свиты, я подскочил прямо к нему и громким голосом возвестил о взятии в плен главнокомандующего неприятельской армии Вандамму. Стоявший возле государя нашего император австрийский, сняв шляпу, закричал: «Vivat!», и вслед за тем подъехал ко мне Великий князь Константин Павлович и, спросив, «Где Вандамм?», приказал мне ехать с ним навстречу. «Шпоры, сударь, шпоры», — кричал мне великий князь, понуждая меня нетерпеливо к скорейшей езде. Более получаса времени скакали мы по долам и холмам, отыскивая дорогу, с которой второпях я совершенно сбился. Нетерпение великого князя доходило донельзя. «Колзаков, хочешь ли ты мне дать Вандамму? — повторял он непрестанно с возраставшим гневом. — Вы шутите, что ли, надо мною?» Но напрасно расспрашивал я у проходящих, не видали ли они пленного французского генерала, — никто не отвечал мне удовлетворительно; наконец, выехав на какое-то возвышение, заметили мы издали шагом едущий конвой и понеслись к нему навстречу. Вандамм, отдавая свою шпагу великому князю, принял его, вероятно, за государя, причем сказал ему «Sire»¹⁰ и повторил прежнюю фразу. Великий князь назвалса ему и не принял шпаги, сказав, что он ее лично передаст императору Александру. Когда подъехали мы с пленными к царю, Вандамму стащили с лошади, с которой он с трудом слезал. Тяжело вздохнув, маршал бросился сначала к своему коню и, обняв его шею, стал целовать его; потом, медленно переступая, подошел к государю, стоявшему впереди всех, и с тем же театральным движением повторил в третий раз свою фразу. Государь ответил ему: «Général, j'en

* Впоследствии комендант в Москве.

suis bien fâché, mais c'est le sort de la guerre!»¹¹. Затем кликнул князя Волконского и отдал ему шпагу Вандамма, а пленных приказал отвести. «Sire, un mot encore,— сказал Вандамм,— je prie votre majesté comme grâce de ne pas me rendre aux mains des Autrichiens»¹². Государь с улыбкою переглянулся с императором австрийским и согласился на просьбу Вандамма, приказав князю Волконскому иметь о нем должное попечение.

Так кончилось достопамятное Кульмское сражение, трофеями которого было 12000 пленных, множество пушек, знамен, и вдобавок сам главнокомандующий. Дело прекратилось около часу пополудни.

Вандамму повезли к Теплицу, но повозка его въезжала в город в самое то время, когда проходили полки союзных армий, и должна была у самой заставы остановиться. Бешенство Вандамма было ужасное; он думал, что его выставили напоказ, в особенности австрийских полков, которые, указывая на него пальцами, громко смеялись и подтрунивали над ним. В это время императору Францу случилось проезжать мимо со своим штабом. Высунувшись из кибитки, Вандамм обратился к нему почти с угрозою: «Sire, c'ets ainsi que vous traitez un général au service de l'empereur Napoléon, votre proche parent? Je lui ferai commaitre vos procédés, prenez garde qu'il ne s'en venge»¹³. Император австрийский потер себе руки и проскакал мимо, приговаривая: «Ce n'est pas ma faute»¹⁴.

Вандамму отвезли сначала в Прагу, где жители, ненавидевшие его за прежние жестокости и страшные контрибуции во время занятия французами немецких городов, приняли маршала¹⁵ весьма враждебно. Народ стал бросать в него камни, чернь кидалась на повозку, так что казацкий конвой насилу мог его защитить. При этом восемь казаков было ранено камнями. Впоследствии Вандамму отвезли в Россию, где он и пробыл в Вятке до самого окончания войны.

Примечания

¹ Этот текст был помещен в качестве вступительной статьи от редакции «Русской старины» и предварял воспоминания.

² Пер. с фр.: «Яркий реванш», «блестяще отыгранная партия» (искаженное и неправильно написанное слово «revenge», правильно «revanche»).

- ³ Мемуарист явно здесь преувеличил роль Александра I, поскольку не только юридически, но и фактически главнокомандующим союзными войсками оставался австрийский фельмаршал К. Шварценберг. Александр I мог отдавать приказания только российским войскам.
- ⁴ Речь идет не об армии, а о фланговом отряде российских войск под командованием генерала А. И. Остермана-Толстого, прикрывавшего направление на Теплиц.
- ⁵ Пер. с фр.: «Русский генерал, спасите меня».
- ⁶ Пер. с фр.: «Я отдаю Вам, генерал, шпагу, которая столько лет служила славе моей страны»
- ⁷ Пер. с фр.: «Мои храбрые друзья, невозможно всегда быть везучими».
- ⁸ Имелся в виду Карл Густавич Сталь, но мемуарист в данном случае несколько ошибся, поскольку в 1813 г. этот офицер служил в лейб-гвардии Драгунском полку, уже имел чин полковника (получил в 1811 г.) и так же, как П. А. Колзаков, являлся адъютантом Великого князя Константина.
- ⁹ Т. е. императора Александра I.
- ¹⁰ Пер. с фр.: «Государь»
- ¹¹ Пер. с фр.: «Генерал, мне все это неприятно, но для Вас война окончена».
- ¹² Пер. с фр.: «Государь, еще одно слово ... я прошу Ваше Величество как милости не оставлять меня в руках австрийцев».
- ¹³ Пер. с фр.: «Государь, как Вы обращаетесь с генералом на службе императора Наполеона, Вашего близкого родственника. Я ему доложу о Ваших действиях, остерегайтесь, чтобы он за это не отомстил».
- ¹⁴ Пер. с фр.: «Это не моя ошибка».
- ¹⁵ Заблуждение мемуариста, он не имел сана маршала, а был всего лишь дивизионным генералом. Эту ошибку повторили и редакторы публикации в названии.

АТАКА ЛЕЙБ-КАЗАКОВ В СРАЖЕНИИ ПОД г. ЛЕЙПЦИГОМ 1813 г. 4 октября

В десятом номере журнала «Русская старина» за 1913 г. был напечатан (с. 20—24) мемуарный отрывок из воспоминаний Емельяна Антоновича Конькова. Он родился на Дону около 1788 г. в станице Вешенской. Происходил «из штаб-офицерских детей Войска Донского». Его отец Антон Семенович Коньков дослужился до войскового старшины и с 1810 г. исполнял должность войскового есаула. На военную службу Е. А. Коньков сначала попал казаком в донской казачий полк войскового старшины Грекова 21-го, где в чине сотника уже проходил службу его старший брат Венедикт. Полк стоял в Москве и занимался «казачьими разъездами». Вскоре он получил чин портупей-юнкера, а 20 января 1811 г. его перевели с тем же чином в лейб-гвардии Казачий полк, где 28 февраля 1812 г. был произведен в первый офицерский чин корнета. В 1812 г. в этом полку уже служили офицерами два его брата — Венедикт и Иван. С полком Коньков прошел всю кампанию 1812 г., принимал активное участие в арьергардных делах во время отступления русской армии, сражался под Витебском, Смоленском и Валутиной Горой, участвовал в Бородинском сражении, затем дрался с французами в авангардных боях под Тарутино, Вязьмой, Ляховым, Красным, Вилейкой, Вильно и Ковно. За двенадцатый год для молодого корнета он получил неплохие награды: ордена Св. Анны 3-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом и золотую саблю с надписью «За храбрость». Кроме того, 16 марта 1813 г. ему дали чин поручика. В кампанию 1813 г. полк находился в конвое императора и особо отличился в битве народов при

Лейпциге. В первый день сражения 4 октября 1813 г. полк охранял ставку, где находился Александр I, а также австрийский император и прусский король. В это время в центре прорвалась французская тяжелая кавалерия, и эта конная масса, как лавина, сметающая все на своем пути, устремилась в направлении Главной ставки союзников. Как раз о знаменитой контратаке лейб-казаков в этот день, остановившей продвижение французских «латников», и повествует напечатанный рассказ. За Лейпцигскую битву Конькова наградили орденом Св. Анны 2-й степени. В кампанию 1814 г. ему довелось участвовать в сражении при Бриенн-ле-Шато, Фер-Шампенуазе и находиться при взятии Парижа. На этом закончилось его боевое поприще. В 1816 г. он был произведен в штабс-ротмистры, в 1818 г. — в ротмистры, а в 1819 г. вышел в отставку с чином полковника. Правда, с 1861 г. он исполнял должность окружного генерала 3-го военного округа войска Донского, ему был присвоен чин генерал-майора, а затем генерал-лейтенанта. Умер Е. А. Коньков 1 февраля 1882 г.

Рассказ Е. А. Конькова был записан около 1880 г. его дальним родственником генерал-лейтенантом Митрофаном Ильичем Грековым (1842—1915), участником нескольких войн, также долго служившим, только позднее (с 1862 по 1870 гг.), в лейб-гвардии Казачьем полку. Поэтому он, конечно, хотел запечатлеть потомкам через свидетельство живого участника самый славный эпизод в истории полка — подвиг казаков в Лейпцигской битве в 1813 г. Это была первая публикация, чуть позже М. И. Греков дважды опубликовал этот рассказ отдельной брошюрой на семь страниц (Греков М. И. Атака лейб-казаков в сражении под г. Лейпцигом 1813 г. 4 октября. Рассказ, слышанный от участника Лейпцигского боя ген.-лейт. Емельяна Антоновича Конькова. СПб., 1913) и повторил в другом периодическом издании (Подвиг лейб-казаков 4 октября 1813 г. // Записки Терского общества любителей казачьей старины. 1914. № 3).

Сам рассказ содержит несколько неточностей, так как с момента описываемой знаменитой атаки прошло почти семьдесят лет'. Память явно подводила мемуариста, поэтому многие события Лейпцигской битвы, происходившей 4—7 октября 1813 г., оказались спрессованы только в один

день. Необходимо учитывать, что какие-то детали мог исказить или неверно записать со слов мемуариста публикатор М. И. Греков, поскольку этот отрывок впервые увидел свет только спустя более чем двадцать лет после услышанного им рассказа. Тем не менее, это ценный исторический источник, так как очень хорошо передает эмоциональный настрой участника битвы. Кроме того, это одно из немногих дошедших до наших дней воспоминаний казаков об эпохе 1812 г.

Рассказ, слышанный от участника Лейпцигского боя генерал-лейтенанта Емельяна Антоновича Конькова, служившего в то время в л.-гв. Казачьем Его Величества полку, скончавшегося в 1882 г. в отставке.

Я счастлив, что дожил до юбилея столетнего славного боя под Лейпцигом, где мой родной полк покрыл себя неувядаемой боевой славой.

В 1862 г. 18 июня я был выпущен в этот полк офицером из школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

Состоя в родстве с Коньковым, я часто бывал у них в имении и, как молодой человек, заслушивался рассказами маститого старика. Трудно было его навести на эти рассказы, но как только он начинал свои боевые увлекательные рассказы, то как будто молодец. Заметно было по его блестящим глазам, что он всею душою переносился в славное былое, рассказ же о Лейпцигском бое он еле-еле мог кончить, так как его, девяностолетнего старика, душили слезы.

Вот подлинный его рассказ со своеобразными выражениями:

На рассвете 4 октября 1813 г. наша армия уже заняла позиции в 4-й линии под Лейпцигом. На правом фланге 4-й линии на холму стоял наш незабвенный император Александр I, а с ним еще два союзных императора². С этого холма хорошо было видно плато расположения наших войск.

Наполеон рассчитывал под Лейпцигом исправить свое постыдное бегство и дать понять своей армии, что она все-таки непобедима, хотя мы ее защипали* при отступлении из России, не давали французам ни днем, ни ночью покоя. Наполеон густыми колоннами пустил свою кавалерию на наши линии. Понятовский

* Подлинное выражение Конькова.

командовал передовыми частями. Впереди всех скакали латники* кирасиры.

Эта атака** настолько была стремительна, что наши три линии были сломаны, а затем оставалась еще одна линия и затем беззащитный император. Сбоку и немного сзади стоял наш лейб-казацкий дивизион, пятисотного состава, который был и в конвое императора. Командовал этим дивизионом полковник Ефремов. У нас трепетали сердца, когда мы следили за этой бешеной атакой. То мы жалели своих солдат, а в особенности боялись за нашего обожаемого императора, который стоял бледный, следя в подзорную трубку за боем.

Вдруг он повернулся в пол-оборота к графу Орлову-Денисову и, указывая рукою по направлению боя, громко произнес: «Казаки, остановите!»

Граф Орлов-Денисов немедленно же подскочил к нам и буквально передал царские слова.

Полковник Ефремов выскочил перед дивизионом, перекрестился большим крестом и, обращаясь к казакам, крикнул: «Братцы, умремте, а дальше не допустим!»

Дивизион за ним двинулся рысью, размыкаясь в лаву, и на ходу брали наперевес пики.

Здесь я не вытерпел спросить: «А разве у вас тогда вахмистры были с пиками, как написано на картине?», он ответил: «Не только вахмистры взяли пики, но и мы, офицеры, взяли пики». Вот как веровали в пику!

Перед нами впереди был топкий ручей, а за ним возвышенность, которая скрывала наши движения от глаз неприятеля.

Перестраиваясь в лаву, мы перешли топкий ручей рысью и, выбежавши*** на возвышенность, очутились против самого уже атакующего.

Неожиданным нашим появлением на фланге неприятель настолько был озадачен, что как будто на минуту приостановился и завокнулся, как вода в корыте****.

А мы со страшным диким гиком уже неслись на него.

* Подлинное выражение Конькова.

** Коньков эту атаку сравнивает с налетом саранчи, это, говорит, была какая-то туча.

*** Точное выражение Конькова.

**** Подлинное выражение Конькова.

В этот момент на нашем левом фланге открыла огонь наша артиллерия, поражая неприятеля в правый его фланг; он не выдержал, дрогнул и повернул назад.

Вот тут-то намгодились наши родимые пики*, которые не раз нас выручали в боях.

Когда французы дрогнули, смешались и повернули назад, то тогда мы их так кололи, что за одним другой подыхал**. Я при этом улыбнулся, тут Коньков обиделся и, обращаясь ко мне, сказал: «Вы, молодой человек, как будто думаете, что я преувеличиваю, но вы же посмотрите на меня, во мне 12 вершков³ росту, а я тогда был один из маленьких, вот мне теперь 93 года, а я и сейчас, когда дерну за чёлку (за чуб) лошадь, то она передо мной станет на колени». Я извинился, что я если и улыбался, то выразил этим свое удивление.

Французы обратно поскакали по направлению к Лейпцигу, мы их преследовали и на их плечах ворвались в г. Лейпциг⁴. Нам очень хотелось поймать живым Понятовского, на которого мы давно зубы точили, но он отчаянно бросился мимо моста прямо в реку, где и утонул, потому что был в кольчуге⁵.

Когда кончился этот кровопролитный бой, к нам подскакал от государя ординарец-офицер и потребовал весь дивизион к государю.

Мы возвращались буквально растерзанные: кто без кивера, кто в разорванном мундире, и окровавленные лица и руки, но на лице каждого можно было прочесть, что честно исполнил свой долг присяги.

Ефремов ехал без кивера, который у него был сбит в бою. А когда стали подъезжать к государю, то император громко произнес: «Ефремов, ко мне!»

А когда Ефремов подскакал, то государь своеручно на него надел Св. Георгия 3-й ст. и поцеловал.

В этот момент у нас по фронту грянуло несмолкаемое громкое ура***.

Все офицеры и все казаки получили награды, а дивизион получил георгиевский штандарт с надписью: «за Лейпциг», с тех пор и установлен полковой праздник 4 октября св. Ерофея⁶.

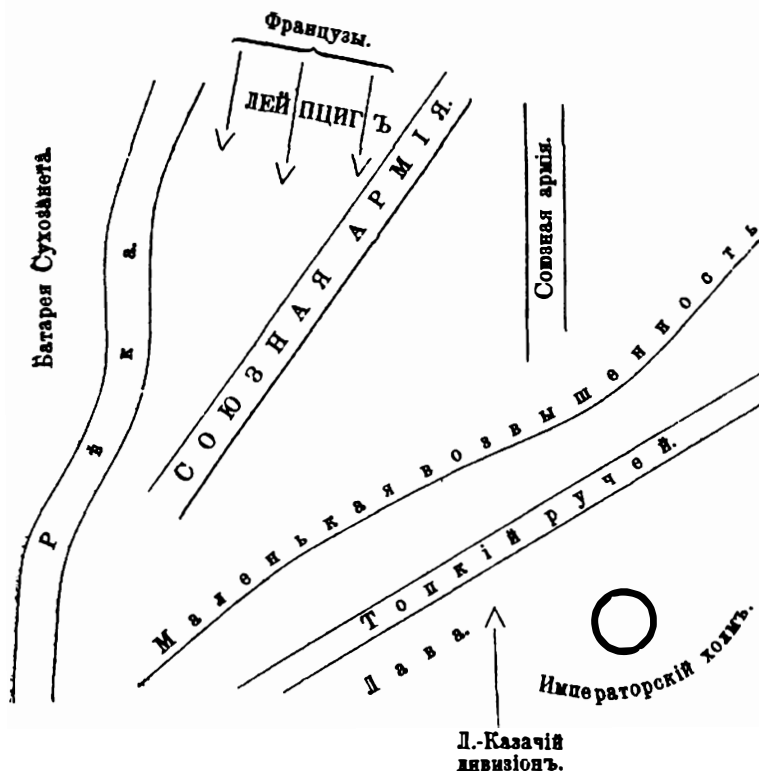
* Подлинное выражение Конькова.

** Подлинное выражение Конькова.

*** Государь подъехал к дивизиону ближе и, проезжая по фронту, благодарил всех, у государя были заметны слезы на глазах.

Схема атаки лейбъ-казаковъ

4 октября 1813 г. подъ Лейпцигомъ.



Кончивши свой рассказ, Коньков заплакал и, махнув рукой, сказал: «Много товарищей потеряли — царство им небесное, но боя этого я никогда не забуду. А бледное лицо обожаемого нашего государя я буду помнить до гробовой доски».

Коньков скончался в 1882 г. 1 февраля, девяноста пяти лет от роду.

Еще он мне рассказывал, как они входили в Париж, как их встречали жители, как они стояли бивуаками в Елисейском

Поле, как приходили жители на них смотреть, в особенности на казаков, которые действительно имели грозный боевой вид.

К сожалению, все эти его рассказы я не могу теперь припомнить.

Примечания

- ¹ Об атаке лейб-казаков в Лейпцигской битве подробнее см.: Потто В. А. Лейб-казаки под Лейпцигом //Разведчик. 1892. № 106; Хрещатицкий Б. Р. История лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Ч. 1. СПб., 1913.
- ² Находились, помимо Александра I, австрийский император Франц I и прусский король Фридрих Вильгельм III.
- ³ Вершок — дореволюционная мера измерения длины.
- ⁴ Эти события явно перепутаны мемуаристом. Атака лейб-казаков произошла 4 октября 1813 г., и до Лейпцига они не доскакали, а в сам город союзные войска вошли с боем лишь 7 октября.
- ⁵ Мемуарист также перепутал события. Маршал Ю. Понятовский утонул не 4, а 7 октября 1813 г. при взятии Лейпцига союзными войсками.
- ⁶ Полк был награжден георгиевским штандартом с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4-го октября 1813 года». Также был награжден 22 серебряными трубами с надписью «За отличия против неприятеля в минувшую кампанию 1813 года». Полковой праздник был установлен 4 октября в день Св. мученика Иерофея.

ПОХОД ВО ФРАНЦИЮ 1814 г.

По (неизданным) запискам прапорщика лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Михайловича Казакова. Краткие биографические сведения об И. М. Казакове, сообщенные его внуком А. Безгиным

Дед мой с материнской стороны Иван Михайлович Казаков родился в Новосильском уезде, в сельце Котельном, 27 апреля 1797 г. В июне 1813 г. из камер-пажей произведен в прапорщики гвардии с назначением в л.-гв. Семеновский полк. Из-под осажденного Модлина, близ которого формировались кадры резервных частей полка, в декабре 1813 г., имея всего 16 лет от роду, привел на Рейн маршевую роту. 1 января 1814 г. с полком вступил в пределы Франции, а 19 марта того же года — в Париж; и в том же году морем возвратился с полком на родину. В 1820 г., по случаю известного столкновения полка с командиром оного Шварцем, штабс-капитан Казаков был переведен майором, сначала в Нижегородский пехотный, а через полгода в Астраханский кирасирский полк. В 1824 г. И. М. Казаков женился на дочери мценского помещика Н. Н. Телепневой и в 1827 г. вышел в отставку в чине подполковника. С 1830 по 1842 гг. он прослужил по выборам четыре трехлетия малоархангельским уездным предводителем дворянства. В 1855 г. И. М. Казаков, избранный начальником Малоархангельского ополчения, сформировал дружину из местных ратников и привел ее в Крым — 15 сентября в Евпаторийский отряд, а 19 ноября 1855 г. под Севастополь на Бельбек. Умер И. М. Казаков восьмидесяти шести лет от роду, 7 октября 1883 г., в своем имении Алексеевке Малоархангельского уезда, про-

студившись на охоте с борзыми, с которыми он вскачь лично загнал волка.

Севастополь
5 октября 1907 г.

Александр Безгин,
отставной генерал-майор

Глава I

В Пажеском корпусе. — Производство в офицеры в л.-гв. Семеновский полк. — Отъезд в армию. — Блокада Модлина. — Наводнение. — Выступление в поход с маршевой ротой. — Вступление во Францию. — Фуражировки и реквизиции. — Мародеры. — Фланговый марш из Лангра. — Наряд на ординарцы к Ермолову. — Сражение 18 марта под Парижем. — Утро 19 марта и вступление союзников в Париж. — Посещение императором Александром I Парижской оперы

В 1809 г. поступил я в Пажеский корпус, будучи принят по экзаммену в третий класс; в 1810 г. переведен во второй, в 1811 г. — в первый класс и произведен в камер-пажи. Учение шло хорошо, и я был на счету лучших учеников. Камер-пажем я поступил на половину императора Александра I, который, по необыкновенной доброте своей, полюбил меня, а я обожал его и всю царскую фамилию.

Два года — почти ежедневного нахождения во дворце от 4 часов пополудни до полуночи, для услуг царской фамилии, императору и императрице Елизавете Алексеевне, этим земным ангелам — довели любовь мою до обожания, а преданность до пожертвования жизнью.

Вся царская фамилия была не только милостива к камер-пажам, но и любила их и была совершенно уверена в их любви и преданности, это доказывалось тем, что при фамильных обедах, где все они обедали одни, никто, кроме камер-пажей, не служил, и никто не мог входить в столовую, исключая камер-фурьера двора Крылова; и тогда они были, как говорится, нараспашку — обо всем говорили без всякого этикета и шутили и смеялись, как простые смертные; по окончании стола приказывали нам брать при себе конфеты и фрукты, и все это поступало в наши треуголки.

Когда после обеда все расходились по своим половинам, мы провожали их, после чего нам подавали обед, и если не было вечером собрания, то нас отвозили в корпус, кроме одного дежурного, обязанность которого начиналась с 10 часов утра и кончалась в полночь. Когда вдовствующая императрица выезжала куда-либо, то дежурный верхом обязан был сопровождать у двери кареты; если это случалось зимой, государыня всегда говорила дежурному: «*Restez, mon cher, il fait trop froid*»*, но в молодости холода нет, а верхом ездить было наслаждение, ну и упросишь и умилюстивишь, так что позволит сопровождать.

Камер-пажем я был два года: с половины 1811 г., 1812 г. и в июне 1813 г. выпущен в Семеновский полк, по экзамену вторым по корпусу. Прежде, до 1811 г., первые двое выпускались по экзамену поручиками, но по отмене этого в 1812 г. — прапорщиками.

Что испытал и перенес император в столь тяжелом и столь славном 1812 г., может знать только тот, кто был, как я, почти ежедневно при дворе и при царской фамилии. Когда пришла весть, что Наполеон вынужден был оставить Москву, и император вечером вышел уведомить об этом императрицу, дежурными камер-пажами были я и О***; мы бросились поздравлять государя; он расцеловал нас, тогда мы кинулись на колени просить его приказать сделать выпуск, чтоб иметь возможность участвовать в войне; но он сказал на это: «Погодите, вы еще молоды и вам нет еще и семнадцати лет». Мы со слезами продолжали умолять его; тогда он велел ехать к князю А. Н. Голицыну, чтобы тот завтра доложил ему об этом. Князь также стал отговаривать нас, говоря, что еще рано, слишком молоды — нет еще и семнадцати лет; но, на просьбы и слезы наши, дал слово доложить государю. Мы были в восторге; но дело протянулось, так как к Пасхе назначили экзамены, и только в июне 1813 г. нас произвели в офицеры, камер-пажей в гвардию, а пажей в армию. Хоть и написано в стихах: «Нет счастья на земле — на небесах оно», но это неверно, счастье и блаженство есть: оно в чине прапорщика в офицерском мундире; надев его, прапорщик не слышит земли под собой, а на гулянье восторг его не знает предела, так как в воображении своем он уверен, что все только на него и глядят.

После производства мы откланялись императрицам, были угощены и получили подарки.

* «Оставайтесь, мой милый, ведь слишком холодно», пер. А. Б.

Назначение наше последовало не прямо в полки, а в форми-
ровавшиеся резервные батальоны, расположенные близ блоки-
рованной нашими войсками крепости Модлин; причем произве-
денным в офицеры разрешено было заехать к родителям, с тем,
чтобы в месячный срок явиться в м. Свенцяны, где собирались
кадры для формирующихся резервов. Такой краткий срок за-
ставил меня поспешить к отцу, жившему в своем новосильском
имении Котельном. Лишившись матери, когда мне было только
два года, семья наша состояла, кроме отца и сестры 19 лет, жив-
шей при нем в Котельном, еще из брата 18 лет, выпущенного из
пажей в офицеры в конце 1812 г., в полк родственника по матери,
генерала Мещеринова, но вместе с приездом моим к отцу было
получено известие, что брат Андрей тяжело ранен под Бауценом
и лечится в госпитале в г. Бунцлау.

Грустно было расставаться с родными после столь кратковре-
менного пребывания у них, но надо было спешить в армию. Меня
снарядили, надели кожаный пояс с тремястами полуимпериалов
и со слезами проводили в дорогу, из Орла на Чернигов, Бобруйск
в Гродно. Из Чернигова до Бобруйска почти вся дорога шла ле-
сами; на одной станции смотритель советовал мне переночевать,
говоря, что в лесу по ночам пошаливают. Со мной было два че-
ловека, из них один немолодой, служивший в Пажеском корпу-
се дядькой на нескольких пажей; было ружье, пара пистолетов,
сабля и топор; молодость не знает страха, кровь горяча, жизнь
сильна и в смерть не верит, а опасность сама ищет. Я не согла-
сился ночевать — ночи июньские коротки, оружие есть — сел в
повозку, и катать ямщик. Стало темнеть; не доезжая пяти верст
до следующей станции, лес сделался гуще, и усталые лошади
едва тащились шагом по песчаной дороге; как вдруг из кустов
выскочила темная фигура и схватила за повод коренную лошадь,
которая уперлась и стала пятиться назад. Выхватив пистолет, я
закричал: пусти или убью. Разбойник начал свистать, из чащи
послышался шум; тогда я выстрелил между коренной и пристяж-
ной, мимо, боясь задеть лошадь; фигура отшмыгнула в лес; я вы-
скочил из повозки с саблей и другим пистолетом, бросился за
ней; однако оклик дядьки: — «Куда вы, в лесу вас убьют, садитесь
скорее», — меня образумил — и то правда — ускачем. Ямщик
стал гнать лошадей, и мы прискакали на станцию, где смотритель
мне объявил, что накануне на этом перегоне был ограблен про-
езжий.

Через Бобруйск и Борисов я приехал в Свенцяны, где собирались кадры для формирования резервов. Отсюда мы вскоре двинулись и, пройдя границу, переправой через Буг, пришли под Модлин в предместье его Новый двор, где был расположен формирующийся наш батальон, командиром которого был полковник Гурко; в этот же батальон поступали раненые и выздоравливающие офицеры нашего полка; обучались поступающие в батальон рекруты; и от батальона же выставлялись караулы на пространство против угла, образуемого слиянием Вислы с Наревом, составлявшим сильный кронверк крепости Модлин и находившимся в расстоянии версты от нашей стоянки в м. Новый двор, на конце площади которого насыпан был высокий земляной вал, защищавший площадь от выстрелов. На этой же площади был костел с башней, из которой были отчетливо видны противлежащие верки крепости, что дало мне возможность, по поручению, удачно снять план западной и южной части крепости. Линия наших часовых находилась от кронверка сажень в 400; местность была ровная, гладкая, с небольшою покатостью к крепости; неприятельские часовые были ясно видны на валу, нам слышны были их голоса и музыка их, игравшая по вечерам: а так как у нас не было пушек, то они нас нисколько не боялись. Когда мне впервые пришлось идти содержать ночью цепь, я, выждав, пока стемнеет, вышел со взводом на сто сажень вперед и расставил втихомолку цепь из парных часовых, с приказанием говорить только шепотом, в виду находящейся от нас в ста сажень их цепи, которая как только услышит у нас какой-либо шум, тотчас давала знать в крепость, и оттуда, зная у нас отсутствие артиллерии, угощали нас ядрами и картечью. Получив доклад от унтер-офицеров, что вся цепь расставлена от Вислы до Царева, я присел к маленькому кусту и не помню как заснул; только чуть стало рассветать, я насилу был разбужен унтер-офицером, просившим меня поскорее уходить за вал, чтоб не попотчевали картечью. Стоянка наша могла называться мирной: мы без орудий не могли их атаковать, а они по малочисленности не делали вылазок.

Рота, в которой я состоял, была расквартирована в полуверсте сзади местечка. Однажды ночью в то время, как я спал раздетым, вдруг забили сбор. Лишь только я спустил с кровати ноги, как смекнул, что в избе вода: живо одевшись, сел на лошадь — вижу, что солдаты переходят ручей выше пояса в воде; вместе с ними я переехал на не залитый берег, где и собрался весь батальон, и как

стало рассветать, то увидели, что угол между Вислой и Наревом и площадь в Новом дворе составляют одну сплошную массу воды, которая беспрестанно прибавлялась. Верстах в двух позади были довольно высокие холмы, покрытые лесом, нас повели туда, и, выбрав удобное место, мы расположились на бивуаках, с которых при восходе солнца мы увидели, что вода подходит все ближе к холмам и, наконец, обошла их справа и слева, так что к вечеру мы очутились на острове, вокруг которого вода разлилась верст на сорок. Избы в деревне залило с крышами — кой-где торчали из воды одни трубы; жители тоже спасались на крышах, откуда на лодках переправлялись на остров, на котором мы расположились. Оказалось, что вода залила всю низменную окрестность между Вислой и Наревом, так что холмы, на которых мы стояли бивуаком три недели, были как на острове. Остров этот был версты на две в длину, а в ширину от пятидесяти до двухсот сажен: все зайцы и лисицы собрались туда, гонимые водой, — охота была отличная и производительная. Разлив реки Вислы продолжался почти три недели, и когда к концу августа вода опала, реки вошли в берега, мы возвратились на свои квартиры.

В начале сентября получено было предписание выслать из резерва две сильные роты в каждый гвардейский полк для пополнения убыли, понесенной в Кульмском сражении, состоявшей из 30 офицеров и 800 нижних чинов. Все востроилось, обрадовалось, выбрали 700 человек, разделили на две роты по 350; командовать одной назначен капитан Дирин, а так как все хотели идти в действующую армию, то на другую согласились бросить жребий, по которому мне, младшему прапорщику, судьба благоприятствовала, и я назначен был вести роту. Со всех гвардейских полков составилась порядочный отряд, порученный генералу Кошелеву. Когда все собрались 2 сентября в Варшаву, мы на другой день выступили в поход. И вот мне, прапорщику, только что выпущенному три месяца из камер-пажей, пришлось вести роту в 350 человек из Варшавы на Рейн через всю южную Германию отдельно, не выдав в глаза ни одного начальника до самого Фрейбурга. Дабы не обременять жителей, каждой роте особо дан был отдельный маршрут — мне на Бреславль, через Силезию, Богемию, Баварию. Везде нас отлично принимали, а в Мюнхене, где русских раньше не видали, приняли нас как освободителей с особым радушием. И я, прапорщик, через всю Германию провел роту до Рейна, с титулом: *Negre Capitaine*. Первый этот мой

поход был отличный и совершен благополучно, несмотря на мои шестнадцатилетние проказы. Идя по назначенному маршруту, я располагался, как хотел, и делал дневки, где мне вздумалось; и, вытребовав форшпанки*, делал иногда в один день два перехода. У нас не было ни казначея, ни расходов, а везде все получалось под расписки, по которым впоследствии правительство расплачивалось. За Фрейбургом, где император сделал смотр всем собравшимся гвардейским резервам, мы сошлись с армией и вступили в полки около нового года; а 1 января 1814 г. перешли в Базеле Рейн и вступили во Францию. В тот же день перешли Рейн — корпус генерала Сакена — кажется, во Франкфурте и прусская армия под командой Блюхера — в Кобленце. В этот день холод был до 15 градусов мороза, по Рейну шел лед, и поля были покрыты снегом. Пройдя верст 15 от Базеля, армия остановилась на бивуаках; и тут только я узнал, что такое поход и война: через всю Германию была только приятная прогулка, а на снегу в 15 градусов мороза мне показалось очень даже неприятно. Греясь у костра и распивая чай, офицеры подтрунивали надо мной и спрашивали: «Что, Казаков, хорошо ли это, как тебе нравится, ты просился на войну — где же лучше, здесь или в Пажеском корпусе».

Тут же к нашей армии присоединились и австрийские войска; общая команда над всеми, по политическим соображениям, была предоставлена фельдмаршалу графу Шварценбергу, хотя сам император наш был в Главной квартире при гвардейском корпусе. Так как на пути к Парижу находилась первоклассная крепость Бельфор и предположено было ее обойти, то мы пошли на Везуль и Лангр. Перед нашей армией была небольшая часть французских войск, которая ретировалась даже без выстрела.

Два перехода за Лангром мне дали командировку — отвезти больных в г. Лангр и сдать их в устроенный там госпиталь. Кто бывал в походах, тот знает, как неприятны такие командировки; но делать нечего — больных посадили, положили на забранные реквизицией подводы и, получив от полкового адъютанта Панютина бумаги, я сел на лошадь свою и отправился с больными, которых сдал благополучно; а затем вытребовал себе квартиру, где, поблагодарив хорошего человека хозяина, накормившего меня и мою верховую лошадь, переночевал и на другой день отправился

* Подводы. *Заметка А. Б.*

догонять полк. В эту поездку мне много способствовало знание французского языка.

В приказах по армии был строго запрещен грабеж (как бывает в неприятельской земле) и велено было обращаться как можно осторожнее с огнем. Все это прекрасно, но неисполнимо: как только армия приходит на место, назначенное для ночлега, тотчас наряжаются команды для фуражировки, за кормом для лошадей, за дровами, соломой, водою — не есть ли это тот же грабеж — и близлежащие селения около стотысячной армии, ночующей на бивуаках, оказываются разоренными и разграбленными, несмотря ни на какие приказы. Назначается офицер, с каждой роты по унтер-офицеру и 25 рядовых, что составит человек 300 с полка. Команда идет в порядке до селения, где все распускаются для поисков нужного и необходимого. Жители большею частью уходят или скрываются. Спрашивается: как сохранить порядок там, где селение растянуто на полуверсте, да еще, как это большею частью случается, в ночное время. Первые пришедшие на бивуак скоро и легко достают нужное, а последние поневоле должны вместо соломы стаскивать крышу, а на дрова избы разбирать; можно ли усмотреть, чтоб они не пошершили и не стянули бы чего вовсе ненужного. Мне случилось раз зимой, в небольшой деревушке, почти разграбленной, видеть, как стащили соломенную крышу с одной избы, в которой поместился наш главнокомандующий Барклай, и каково же было мое положение, когда он вышел поспешно из избы и стал смотреть, как снимают солому и стропила, которые зимой не нужны, так как дождя не бывает. Когда же жандармы и казаки стали сгонять с крыши фуражиров, то Барклай, смеясь, приказал их не трогать, чтоб не замерзли и не остались бы без пищи. Не есть ли это чистый, систематически организованный разбой и грабеж, которого нет возможности избежать. Когда армия наша проходила Шампань и Эпернэ, фуражиры нередко прикатывали, вместо воды, бочки с вином. Скот был брошен по полям и деревням, так что мяса иногда бывало очень много и резались такие коровы красавицы, которых трудно нарисовать; а начальники, от которых поступали строжайшие приказания — не жечь и не грабить, — преспокойно кушали чудную говядину, сваренную в хорошем вине. Вот неизбежные плоды войны, всею тягостью лежащие на несчастных жителей, на поля которых приводят армии по научным, тактическим и стра-

тегическим распоряжениям. Это есть великая война, а разбойничанье — малая.

До г. Труа мы дошли без сражений; первое сражение было под Бриенном, город, где Наполеон получил образование, он же его и защищал. Сражение не было ни выиграно, ни проиграно: обе стороны удержались на своих позициях. В сумерки мне пришлось опять идти на фуражировку; командировка эта — самая горькая и несчастная. Распустив команду и назначив сборное место, остался я с одним только старшим унтер-офицером. Увидя, что в костеле по окнам мелькают огоньки, я вошел в него; там была толпа солдат, которые «шершили» (их термин) от слова — *chercher*¹. В пылу негодования я стал кричать: выходи вон, что, вы забыли, что это храм Божий, или вы нехристи... Огоньки мигом потухли, и послышался глас, не с небеси, а с хор: «Убирайся сам скорее, а то вылетишь в окно». Как приятно слышать такие речи. Унтер-офицер сказал: «Уйдемте, ваше благородие, тут сброд целой армии, а наших нет». Вот обратная сторона медали для чина прапорщика.

Не доходя немного до Ножана, мы услышали пальбу, но вместо того, чтоб поспешить туда на помощь, нас остановили и вскоре повели назад на прежние бивуаки; причиной тому было — полученное в Главной квартире известие, что Наполеон разбил Блюхера и заставил его отступить; потом бросился на Сакена, напал врасплох, разбил отряд генерала Олсуфьева и взял в плен под Лаоном генерала Сен-При². Так как к Парижу наступало три армии, которые старались концентрироваться, чтоб в одно время подступить, то Наполеон, допустив их ближе, разбил поодиночке и бросился под Ножаном на наш авангард, который должен был ретироваться, вследствие чего заставил и нашу главную армию, состоящую из гвардейского и гренадерского корпусов и из прусской и австрийской гвардии, — поспешно отступать, наседая на наш арьергард так, что, отступая, мы не успевали варить пищу и по той же дороге дошли опять до Лангра и Везуля. Пруссаки шли вместе с нами, и их солдаты разговаривали с нашими. Пруссаки говорили нам: «нах Москау», на что русские отвечали: — нет, брат, прежде пойдем нах Берлин. С австрийцами такого ладу не было, а на фуражировках бывали и драки. Таким образом, мы очень поспешно ретировались, чтоб не сказать, бежали от Наполеона; и, дойдя до Лангра, все полагали, что отступим за Рейн. Но, переночевав в Лангре, нас двинули вправо, а против Наполеона на шоссе

был оставлен сильный кавалерийский отряд под командою генерала Винценгероде, который должен был ретироваться до Базеля на Рейне. Армия же наша из Лангра, оставив шоссе, двинулась форсированным маршем двумя колоннами вперед, по проведенной на карте линии, через Шампань на Мо и на Париж. Наполеон попался на эту штуку: он сделал два перехода за Винценгероде к Рейну, а мы два большие перехода к Парижу. Такой рискованный фланговый марш, конечно, не Шварценбергом был придуман, а самим императором и начальником его штаба Дибичем. В приказах было отдано, чтоб не было отсталых, — и действительно их не было. Против нас не было никакого войска, и только под Фер-Шампенуазом мы перерезали путь шести тысячам конскриптам под командой маршала Сульта*. Кавалерия наша, составлявшая наш авангард, тотчас атаковала их, но они построились в каре и отбили наших казаков. Французы стали ретироваться; армия, шедшая двумя колоннами, была растянута более чем на десять верст; потребовали те полки кавалерии, которые были в голове колонн, и по мере прибытия их — на рысях пускали в атаку; но безуспешно: неприятель выдерживал кавалерийские атаки и ретировался в порядке, пока не подошла артиллерия и картечными выстрелами расстроила каре. Отступление французов обратилось в бегство; кавалерия преследовала, рубила и брала много в плен, но усталая после форсированного марша в сумерки остановилась, а армия только к вечеру дошла до Фер-Шампенуаза. После перехода через Мо там оставлен был корпус, чтоб удерживать Наполеона, который, видя невозможность не только удерживать, но и догнать нашу армию, поворотил на Фонтенбло. Сакен и Блюхер также подходили к Парижу и 17 марта остановились близ Парижа: гвардейский корпус у Belleville и деревни Pantin на шоссе, гренадеры — левее Buttes Chaumont; Сакен против canal de l'Ourcq, Блюхер — около Montmartre³.

Вечером мне прислали наряд: 18-го утром к рассвету явиться в корпусную квартиру на ординарцы к генералу Ермолову. Не могу

* В записки эти, видимо писанные на память, спустя много лет, при отсутствии материала для проверки — могли вкрасься неточности, расходящиеся с военной хронологией, так, например, в записках ничего не говорится о происходившем 9 марта, за четыре дня перед Фер-Шампенуазом, — сражении всей армии Шварценберга с Наполеоном при Арсис-сюр-Об; а в сражении при Фер-Шампенуазе упоминается здесь лишь о 6000 новобранцах маршала Сульта, а не о корпусах Мармона и Мортье с 23 000 человек при 84 орудиях, как это значится в военной истории; или автор перепутал, или же отсутствовал, находясь где-либо в арьергарде. *Примеч. А. Безгина.*

дать себе отчета, был ли я доволен этим назначением или нет, кажется, что я бы лучше желал быть во фронте, полк как будто своя семья, и на людях и смерть красна, а ординарец — известное дело — его рассылают всюду и не берегут, как адъютантов. Форма ординарца очень проста, как и походная: сюртук, фуражка, шарф и нагайка — необходимое оружие для лошади.

18 марта рано утром явился я к Ермолову: — К вашему превосходительству от лейб-гвардии Семеновского полка на ординарцы прислан. «Как ваша фамилия»? — Прапорщик Казаков. «А, любезный, ты из камер-пажей, да я и с отцом твоим знаком — смотри — будем нынче хлопотать и трудиться, а завтра, может быть, и отдых — и в Париже побываем». — Да, ваше превосходительство, если не убьют. — «Ну это кому что придется».

Сев на лошадь, генерал поскакал по шоссе к Бельвилю, где на левой руке, на довольно большой возвышенности, стоял Бельвильский замок, откуда верстах в двух был виден Париж; внизу этой возвышенности расположены: деревня Пантен, через которую идет шоссе по ровной и гладкой равнине до самого города, и предместье Ла-Виллет, от которой тянутся сады с каменными оградами каждого хозяина; за ними высота эта продолжается в виде полукруга и кончается в полуверсте от города уступами, в которых были карьеры (каменоломни) Бютт Шомон. Неприятель занимал деревню Пантен, Бельвиль и Бютт Шомон и окраину города до высоты Монмартра. Наша и прусская гвардия составляли центр, гренадерский корпус — левый фланг, корпус Сакена — правый фланг, а фельдмаршал Блюхер — еще правее, против Монмартра.

18 марта, в шестом часу утра, на крайнем правом и левом флангах началась пальба, а в центре началась атака. Авангард наш вытеснил неприятеля из Бельвиля и деревни Пантен; тогда неприятельские стрелки заняли сады за деревней, расположенные вдоль бельвильской высоты, за которой не очень крутой покатостью начинались Бютт Шомон. По выбитии неприятеля из ближайших садов он занял Шомонскую высоту и каменоломни, которые полукругом тянулись от Бельвиля к Парижу. Сады деревни Пантен составляли сильную позицию, будучи огорожены каменными стенками частных владельцев, служившими удобной защитой неприятелю. По очищении Бельвильской высоты император с блестящею свитой занял ее; и все сражение от Бютт Шомон до Монмартра было видно нам, как на плане. За деревней

Пантен на шоссе была неприятельская батарея, которая не позволяла нашим войскам дебушировать на поле, так как направо и налево тянулись сады с каменными стенами, а улица имела вид ущелья, через которое едва можно было пройти. Император, желая дать случай прусской гвардии отличиться, приказал генералу Ермолову атаковать и взять батарею. Меня отправили с приказанием. Как только я доложил генералу — то пруссаки закричали «ура!» и колонной повзводно, с музыкой, как на ученье, вышли из-за горы и вступили в улицу. Длина всей улицы была сажен во сто. Батарея открыла учащенный огонь, но пруссаки бросились вперед бегом с криком «ура!» и, несмотря на значительные потери, взяли ее и тем заставили неприятеля ретироваться к Парижу и на Бютт Шомон. По очищении прусскою гвардией деревни Пантен и взятии батареи, стрелковая цепь быстро двинулась вперед, тесня неприятельскую. Пруссакки возвратились за деревню, чтоб не терять напрасно людей; и наша гвардия встретила прусскую — восторженным «ура!» в отплату им за то, что они встретили нашу гвардию после Кульмского сражения таким же «ура!»

Атака пруссаков и взятие ими батареи были произведены на глазах императора, продолжавшего оставаться на Бельвиле, куда возвратившись, я уже не застал генерала Ермолова, поскакавшего по направлению садов, в которых еще держались французские стрелки. Вдруг слышу оклик: «Ординарец к императору». Я подскочил и получил от государя приказание к генералу Ермолову, чтобы он занял Лэ Бютт Шомон, куда ретируются французы. Пробираясь около стенок садов, за полверсты левее Бельвиля, я увидел батальон пехоты, стоявший развернутым фронтом, чтоб не терять людей в скученном строю. Генерал Ермолов стоял с небольшим конвоем казаков на левом фланге батальона. Я остановил лошадь перед третьим рядом и докладываю генералу приказание; но так как стрелки наши выбили неприятельских до последней стенки и те бегом отходили на покатошь Шомонских карьеров, через что стрельба шла беспрестанная, то генерал закричал мне: «Подъезжай ближе». Лишь только я тронул лошадь и миновал последний ряд, как ядро выбило всех трех человек, стоявших один за другим в третьем ряду. «Ну, я тебя спас», — сказал Ермолов. Выслушав приказание государя взять Шомонские карьеры, он велел вызвать стрелков налево и густою цепью атаковать высоты, и сам в шляпе с султаном и в ленте поехал на левом фланге стрелков, приказывая наступать вперед и вперед.

Пули сыпались, ранив двух казаков; из его ординарцев оставался я один, другой Финляндского полка Корсаков был им куда-то услан; тогда я, еще в духе камер-пажа, говорю ему: — Ваше превосходительство, вы составляете цель, двое из вашего конвоя уже убиты, и меня уколотят, а мне хотелось бы побывать в Париже. «Ну молчи — еще молод, а ступай скорее доложи государю, что я сейчас возьму Лэ Бютт Шомон, и проси прислать батарейную батарею и Семеновский и Преображенский полки». Я поскакал во весь карьер и полверсты пришлось скакать под выстрелами неприятельской цепи до каменного забора, где был переулоч. Только что подскакал к повороту, как из самого переулка выскакивает легкое конное орудие в четыре лошади, поворотившее налево, так что моя лошадь, ударившись в лафет или спотыкнувшись, упала на левый бок, так неожиданно для меня, что левая моя нога осталась под нею и заднее колесо орудия переехало через нее позади передних ног и прошло так близко около моего носа, что оторвало ремень от нагайки, висевшей у меня через плечо. По миновании этой опасности, лошадь моя вскочила, и я встал цел и невредим, и тут я только узнал, что это неприятельское орудие, удирающее от кучки казаков. Видя, что лошадь моя не жалуется ни на что, я сел опять и поехал на Бельвильскую высоту, где находился император.

Бельвильская высота сзади садов дер. Пантен поднимается уступом сажен на восемь и так крута, что на нее пешком нельзя взобраться, а надо объезжать на полверсты к шоссе, откуда она поднимается длинною пологостью, за которою был перевязочный пункт, где, проезжая мимо, я видел, как отрезывали ногу офицеру, барону Корфу, в то время как тот курил трубку из длинного чубука. Взобравшись на высоту, я поскакал к свите и доложил генералу Дибичу о поручении генерала Ермолова. Император, узнав меня, спросил: «Что такое?». Когда я доложил, что просят в подкрепление Преображенский и Семеновский полки, государь ответил: «Нет! — лейб-гренадерский и Павловский полки, а батарейной батарее, по занятии Бютт Шомон, открыть огонь по городу». Я поскакал к резерву, где находилась батарея. Командующий оною полковник Таубе записал мою фамилию, вывел батарею на шоссе и приказал прислуге сесть на лафеты и передки, а мне указать, где генерал Ермолов и куда вести батарею. Крупной рысью понеслись мы по шоссе через деревню Пантен, проехав которую, взяли налево полем на Бютт Шомон. Высота эта была уже очи-

щена от неприятеля, и стрелковая цепь наша, как бы на учении, подвигалась к предместью города. Взобравшись на высоту, где Париж был виден в полуверсте, как на ладони, батарея выстроилась и открыла огонь по городу.

На правой стороне шоссе за дер. Пантен была ровная местность до Монмартра; там корпус Сакена вел атаку, подавая руку пруссакам, атакующим Монмартр. Лейб-гренадеры и Павловский полки, рассыпав стрелковую цепь, двигались к городу. За версту была видна атака французской кавалерии на стрелковую цепь, которая отстреливалась, собираясь в небольшие кучки, а проскакавшие в промежутки французы были атакованы нашими гусарами, которые порядочно порубили их; все это было исполнено, как бы на учении или на маневрах.

Оставив батарею, громившую город, я поскакал сзади нашей цепи и нашел генерала Ермолова на шоссе, проезжавшего возле двух орудий, посылающих одно за другим ядра в палисады, устроенные шагов на двести позади предместья на поперечной улице.

День клонился к вечеру; было уже 4 часа; цепь наша дошла до самых домов; французы убрались за укрепленную поперечную улицу; из домов продолжались выстрелы, а наши выбивали из них оставшихся и шершили по домам.

По открытии с Бютт Шомон огня снаряды долетали до середины города; против батареи показалось белое знамя; батарея прекратила стрельбу, и парламентар был отправлен к императору. Вскоре прискакали адъютанты с приказанием прекратить сражение. Генерал послал меня по цепи с распоряжением остановиться и не стрелять, но люди были слишком возбуждены и все выпускали заряды.

Здесь приходится описать местность, чтоб понять эпизод, происшедший неожиданно. С правой и с левой стороны дороги начинались каменные трехэтажные дома, выдающиеся сажен на 200 от окружающей город улицы. Дома, как видно, недавно выстроенные и не совсем еще отделанные, были сзади обнесены огородами, и все вместе составляли выступ из города. С правой стороны, за домами под прямым углом к улице, оставалось поле, где находился Уркский канал и его резервуар Ла-Виллет, а позади его большая, высокая в три яруса и широкая с уступами башня, усеянная солдатами. Генерал расположился за домом по правой стороне дороги, одно орудие оставил на шоссе, другое поставил правее, так чтобы можно стрелять в башню. Когда стрельба со-

всем прекратилась (не знаю, как другие, но я был очень рад, что остался жив и не ранен и что буду в Париже), генерал уже хотел слезть с коня, как с башни послышался крик: *Mon general, approchez vous! venez!**. Генерал выехал из-за угла и мы за ним, но как только показались, вдруг с башни раздалось несколько выстрелов, и один конвойный казак упал раненный; все осадили за угол. Генерал приказал подать фитиль, и орудие грянуло картечью в башню, с которой полетело вниз несколько человек. *General, venez seul. Ce sont des ivrognes qui ont tire, — venez seul pous vous garantissons sur i'honneur*** . Он поехал один и подъехал к башне. Они стали извиняться перед ним. Генерал им сказал, что парламентарии их поехали в Бельвиль к императору и что война кончена. Возвратившись за дом, генерал Ермолов приказал спешиться и велел подать закуску. Не успел я взять кусочек хлеба, как с левой стороны опять раздалось несколько выстрелов. «Казakov, поезжай туда — выгони этих мародеров». Приказ — и исполняй его без отговорок. Я велел двум казакам ехать за мной, но генерал сказал: «Поезжай один, иначе тебя убьют». Поехал и, поравнявшись с поперечной улицей, где по стенам были расставлены солдаты, я, махая платком, подъехал к стене и говорю им: *Comme il y a armistice, et vos parlementaires sont aupres de l'Empereur, la guerre doit etre finie. Je suis envoye pour faire cesser les coups de fusils que l'on tire du cote gauche. — Peut-on parvenir par cette rue? — Oui mon officier****.

Я поехал шагом с белым платком в руках и слышал не очень лестные отзывы о себе: *Chien de russe — sacre b... de cosaque!***** Это меня заставило остановиться и заговорить с ними. *Messieurs, que vous ai-je fait, que vous me traitez de la sorte — je remplis mon devoir, etant envoye par mon general pour chasser ces maraudeurs, qui font la honte de l'armee. — «Tiens! il parle francais — vous n'etes donc pas russe?» — Si fait: russe jusqu'au bout des ongles. — «Excusez monsieur l'officier, cet homme qui se permet d'outrager sans rime ni raison — est une brute ou iv-*

* Генерал, приблизьтесь — пожалуйста.

** Генерал, пожалуйста одни. Это пропойцы стреляли, подъезжайте одни — мы чеством ручаемся за вашу безопасность.

*** Так как заключено перемирие и ваши парламентарии у императора, то война должна быть кончена. Я послан прекратить ружейные выстрелы, раздающиеся снова. — Можно ли пробраться этой улицей? — Можно, господин офицер.

**** Русская собака ... казачий.

rogne». — Vous savez, qu'il y a armistice et que vos parlementaires sont auprès de l'Empereur*.

Проехав полверсты, тихим шагом, услышал шум и говор влево, где были отдельные строения, и там я увидел пехотного егеря, спорившего с местным жителем, который бросился ко мне: *Mon officier sauvez moi***. Я закричал егерям: — Что вы тут делаете? Мародерничать! Сейчас вон! Где ваш полк? Вон, негодяи! Марш! Они отправились задами. Тогда я обратился к хозяину — *Donnez moi je vous prie un morceau de pain, je meurs de faim****. Он бежит и выносит мне белый хлеб и миску бульона. С каким восторгом я съел это. Оглянувшись, я увидел возможность возвращаться назад полем позади всех строений. Когда вернулся к генералу, стало уже смеркаться. Он, сидя на диване, попивал с приехавшими к нему адъютантами шампанское, которого притащили к нему целый ящик. Мне также налили целый стакан, но я и половины не мог его выпить. Тут генерал отпустил меня, и я впотьмах отправился отыскивать полк, оставшийся на бивуаке около замка Бельвиль. Таким образом кончилось сражение под Парижем, который сдался вечером 18 марта. Напившись чаю, усталый и измученный — я уснул как убитый.

Рано утром меня разбудили, и я, одеваясь, был поражен необыкновенной картиной, которая никогда не исчезнет из моей памяти. Было 19 марта. Яркое весеннее солнце освещало удивительную панораму. Париж был виден как на ладони. Бивуак представлял необыкновенное зрелище: из замка, близ которого ночевал полк, было все вынесено — расставлено и разложено по всей горе — повсюду видны были столы, стулья и диваны, на которых лежали наши гренадеры; другие на ломберных столах чистили и белили амуницию; иные одевались и охорашивались перед трюмо; ротные фельдшера брили солдат; другие сами брились перед огромными зеркалами и фабрили усы. Гудел говор несметного множества людей; смех и радость отражались на всех

* Что я вам сделал, господа, что вы меня так третируете, я исполняю только свой долг, так как послан своим генералом прогнать мародеров, позорящих армию. Э! да он говорит по-французски, вы, значит, не русский? — Русский до ногтей. — Извините, г. офицер, человек тот, который позволил себе оскорбить вас без всякого повода, — невежа или пьяница. — Известно ли вам, что заключено перемирие и что ваши парламентареры находятся у императора.

** Спасите меня, господин офицер.

*** Умоляю вас дать мне кусок хлеба, я умираю с голода.

лицах. Шутки и остроты так и сыпались. Кто смотрел в зрительную трубу, говорил: славное местечко, братцы, — хорошо бы там пошерстить; и зачем они сдались, мы бы там похозяйничали. А старые гренадеры отвечали на это: — что вы врете, болваны, разве забыли строжайший приказ — не жечь, не грабить и не разорять ничего.

Рано утром потребовали в полковую канцелярию ротных писарей, и те принесли оттуда приказы: — одеться в парадную форму; полку собраться к 10 часам утра по правой стороне шоссе у самого города и в полковой колонне ожидать приезда императора. В 9 часов полк стал собираться внизу у д. Пантен в колонне. Наш полковой командир генерал-майор Потемкин молодцом подскочил к полку, поздоровался и поздравил с победой и миром, заключенным со временным правительством Парижа, провозгласившим падение Наполеона.

Еще накануне вечером государь после сражения объявил, что он утвердил новую форму — рейтузы с нашитыми красными лампасами и что сам нынче явится в ней; почему и приказал, чтобы полк был в новой форме. Тогда генерал Потемкин еще вечером послал в Париж полкового казначея Лодомирского купить сукна, а ночью всем офицерам нашили лампасы. После приветствования полка генералом Потемкиным полковой адъютант Федор Сергеевич Панютин поскакал по батальонам, вызывая гг. офицеров пожаловать к генералу; мы все тотчас вышли к нему; и генерал благодарил нас [за] то, что мы все были уже с красными лампасами, а мы в свою очередь поблагодарили его за присылку нам алого сукна, которого сами мы не были в состоянии достать.

Полк действительно был в отличном состоянии и вышел, как выходил на парад в Петербурге. До Парижа было версты две, когда полк по отделениям двинулся направо по шоссе, но здесь предстала весьма непривлекательная картина: по всему пространству направо и налево было много неубранных трупов людей и лошадей, и валялись разбитые орудия. Проходя мимо убитых, солдаты набожно крестились и говорили; «Бог не судил им видеть торжество наше». Подходя к первому дому, где вчера останавливался генерал Ермолов, мы свернули вправо и, построившись во взводные колонны, примкнули к Преображенскому полку. Тут собрался весь гвардейский корпус, прусская гвардия и часть австрийской. Главная квартира находилась в нескольких

верстах далее деревни Пантен (не помню названия); когда из этой деревни показалась блестящая свита государя, прусского короля и князя Шварценберга, последовала команда: «Смирно; дирекция налево». Император подъехал к левому флангу. На царское: «Здорово, ребята!» грянуло громкое «ура!», подвигавшееся по мере приближения императора. Объехав полки, государь командовал: «К церемониальному маршу, повзводно, скорым шагом марш!» Барабаны забили, и музыка заиграла. Конвой заскакал вперед; государь и свита тронулись за ним. И 19 марта 1814 г. войска вступили в Париж. Погода была великолепная и теплая. На улицах народу было бесчисленное множество; все окна и балконы заняты были жителями с флагами и цветами. Торжество было во всей силе слова. Долго шли мы по улицам, потому что шли повзводно на взводную дистанцию до самой площади Louis XV* — между Тюильрийским садом и Champs-Elisees⁴, где император остановился со свитою, пропуская шедшие церемониальным маршем войска. Поравнявшись с государем, войска заходили повзводно левым плечом в аллею Елисейских Полей, где первая гвардейская дивизия остановилась на бивуаке в куртинах, прочие же полки проходили дальше за город, направляясь кружным путем на Фонтенбло, куда прибыл со своей гвардией Наполеон. Стоянка наша была сносная. Там было много ресторанов, где мы в первый раз по вступлении во Францию порядочно пообедали.

В 5 часов пополудни меня отыскал адъютант и объявил мне, что я назначен со взводом в караул в театр la Grand Opera, куда вечером имеет прибыть император. Так как я первое лицо в полку с левого фланга, то с меня всегда и назначался наряд. Генерал Потемкин позвал меня и, отдавая приказание не опоздать, прибавил, что так как я недавно из камер-пажей, то государь меня знает и я буду знать, что мне нужно будет делать в карауле.

Я отправился со взводом в театр. Проходя через Вандомскую площадь, я сделался свидетелем странной сцены: на площади, полной народа, две пары волов тянули канат, зацепленный за бронзовую статую Наполеона, высящуюся на Вандомской колонне. Тянули, тянули, но, несмотря на все усилия и старания погонщиков, не могли свалить статуи. Тогда какой-то любитель, взобравшись на колонну, закрыл статую мешком и тем удовлет-

* Ныне place de la Concorde (площадь Согласия).

ворил неразумному желанию толпы, которая сама не знает чего хочет. Толпа есть только орудие в руках агитаторов или коноводов, управляющих толпой соразмерно своим выгодам. Я был поклонником Наполеона I, его ума и великих всеобъемлющих способностей; а Франция, как пустая женщина и кокетка, изменила ему, забыв его услуги, — что он, уничтожив анархию, — возродил всю нацию, возвеличил и прославил ее своими удивительными победами и реорганизацией администрации, чем справедливо заслужил титул: *le Grand Napoleon*!⁵

Огромная толпа стояла на площади перед *le Grand Opera*, когда я пришел туда со взводом; каждый хотел достать билет, зная, что император будет в театре; давали, кажется — *le Triomphe de Trajan*⁶. Только что я устроил при входе караул, стали съезжаться начальники; в числе их приехал генерал Сакен, назначенный генерал-губернатором Парижа. Отдав ему честь, я получил приказание отобрать восемь человек из взвода и повести их коридорами на маленький подъезд, куда подъедет государь. Придя туда, я уже нашел там восемь французских жандармов с карабинами. Коридор был аршин шесть ширины, а потолок так низок, что гренадеры едва могли войти в киверах без султанов. Я бросился к Сакену, спрашивая, как прикажет поступить. Сакен, войдя в эту комнату, велел снять султаны, а ружья держать у ноги, и поставил нас с правой стороны у входа с подъезда, а жандармов, которые могли стоять и в касках, и с карабинами, — с левой, мне же приказал — двух часовых приставить к царской ложе и занять входы в партер и на сцене, что я исполнил. На сцене меня приняли очень ласково и любезно директор Гардель и вся труппа. Все любовались на молодцов гренадер, которых я расставил по часовому у самой занавеси и при входах сзади сцены. Тут я познакомился, кроме директора, — с Вестрисом, с Тальмой, с Боготини, с мадемуазель Марс и с прочими известностями; везде меня водили по сцене, и я любовался сам на хорошеньких танцовщиц. В оркестре мне дали кресло; театр был уже полон, и вход мой с директором в оркестр обратил взоры всей публики: *'officier de la garde! l'officier de la garde!'*⁷ и посыпались расспросы, но я учтиво отклонил их, сказав, что я должен встретить императора при карауле. Доложив генералу, что часовые всюду расставлены, я спросил его, где мне прикажет стать и нужно ли мне вынимать шпагу из ножен, когда караул будет стоять с ружьями у ноги,

он отдал мне на все приказания и прибавил: «По приезде государя иди перед ним, очищай вход до самой ложи и отвори перед ним дверь,— тебе это немудрено — так как ты был камер-пажом и государь тебя знает». Коляска подъехала. Я отворил дверь. Генерал-губернатор встретил его. Он вошел таким молодцом-красавцем, что и описать невозможно. Я стоял первым у него с правой стороны и держал руку у кивера; взглянув на меня, он с ангельской улыбкой сказал мне: — «Здравствуй!» Чуть-чуть не бросился его обнимать, как это было во дворце камер-пажом. Император был мне как отец, я его обожал и нисколько не конфузился. К жандармам государь обратился со словами: «*Bonjour mes enfants!*» — «*Vive l'Empereur!*»⁸ воскликнули они. Гренадеры же наши громко и ясно ответили: «Здравия желаем, Ваше Императорское Величество».

При вступлении императора в ложу мне, право, страшно стало от начавшихся тогда неумолкаемых криков и беснований публики. Наконец грянул оркестр, и шум утих; я преспокойно отправился в оркестр и сел на указанное мне место. В антрактах опять крики и беснования. Зная, что государь не будет ожидать конца пьесы, я отправился к своему посту и, как он вышел из ложи, я также проводил его до особого подъезда. По окончании спектакля, когда стали расходиться, я снял часовых и, поблагодарив директора за приглашение приходить в его ложу, отправился к полку на бивуак. Утром офицеры расспрашивали меня, как и что было в театре. Я все рассказал; о самой же пьесе ничего не мог сказать, как только то, что я видел не триумф Траяна, а триумф — императора Александра.

Глава II

Знакомство с хирургом Дюпюитреном. — Понятия французов о русских. — Федоров — русский пленный на службе во французской гвардии. — Вынужденное посещение венерической палаты в госпитале. — Молебствие. — Отношения парижан к русским офицерам и солдатам. — Кви-про-кво при объяснениях солдат с обывателями. — Въезд Людовика XVIII. — Пале-Рояль и рулетка. — Характеристика Дюпюитрена как человека. — Силомер в Тиволи. — Болезнь. — Прощание с Дюпюитреном. — Выступление с полком из Парижа в Шербур. — Фортель, выкинутый матросом. — Посадка батальона на корабль «Память Св. Евстафия». — Игра в шашки с евреем. — Квас и черный хлеб на корабле. — Ламаншский канал — Немецкое море. — Мертвая зыбь. — Мель у берегов Дании. — Столкновение с купеческим судном. — Зунд и Балтийское море. — Мимо острова Борнгольма. — Возвращение

20 марта вечером наш полк поместили в caserne la Pepiniere, из которой, простояв одни сутки, полк был переведен в caserne Napoleon⁹ на берегу реки Сены против Тюильрийского сада, а офицерам розданы квартирные билеты. Мне дали билет в улице Сент-Оноре у часового мастера. Взяв фиакр и со мною одного из своих людей, поехал к часовому мастеру, но квартиру нашел неудобной. Мне посоветовали ехать в la mairie de St. Germain l'Auxerois¹⁰. Войдя в присутствие, я представил выданный мне billet de logement¹¹ и объяснил, что у часового мастера нет места, кроме мастерской; мне тотчас выдали другой билет на квартирование вблизи этой мэрии у известного доктора и хирурга monsieur Dupuytren. Дом его был на набережной реки Сены, против Луврской колоннады. Жил он в бельэтаже. Вхожу в залу, выходит ко мне человек лет под сорок*, серьезный; спрашивает меня: «Que me voulez-vous?»**, я отдаю ему билет и говорю: «Veuillez bien m'exceuser, de vous deranger, monsieur»***; взглянув на билет,— говорит отрывисто: «C'est bien, je vous recois — entrez, vous aurez une chambre a part»****,— ведет меня через гостиную,

* Родился в 1777 г. в Pierre-Buiffiere — близ Лиможа.

** Что вам от меня угодно?

*** Благоволите, М. Г., извинить меня за причиняемое вам беспокойство.

**** Хорошо, я вас принимаю, войдите, вы будете иметь отдельную комнату.

через свою спальню и говорит: «C'est ma femme,— а ей:— Voila notre locataire»^{*}.

Я рекомендую, вижу, что жена его хорошенькая брюнетка, высокого роста, с прекрасной талией и с ней премиленькая лет шести дочка. Стал извиняться, что невольно ее беспокою, но г. Дюпюитрен пресерьезно говорит: «Monsieur, assez causer, veuillez me suivre pour vous montrer votre chambre»^{**}. Прошли еще комнату, вроде гардеробной и через коридорчик,— l'antichambre, в другую большую комнату в три окна: среднее служит дверью на террасу, аршин семь в квадрате, прямо против Луврской колоннады, левым фасом выходящей на набережную, с которой переброшен чугунный pont des arts¹², а с третьей стороны виднелась большая caserne Napoleon, где стоял наш полк. Я был очень доволен и не знал, как благодарить его. Но как у меня еще было два человека и два вьюка с вещами, которых надо было также поместить, то я рассказал Дюпюитрену об этом затруднении. «Это ничего не значит,— сказал он,— вот дверка на маленькую лестницу, которую я отопру, когда привезут ваши вещи». Я тем более остался доволен таким распоряжением, что полковой вагенбург¹³ и все офицерские лошади с лишними вещами будут находиться за городом в Сен-Дени; и тогда же я распорядился — бывшего со мной человека Фрола послал в фиакре привезти необходимые вещи, а Якову с остальными вещами и тремя лошадьми велел отправиться в вагенбург. Поблагодарив еще раз Дюпюитрена, я собрался уходить,— Куда же вы идете? — Я пойду обедать в ресторан.— Нет,— сказал он,— вы мой постоялец и прошу вас отобедать с нами. Я не мог отказаться. Тут он начал меня расспрашивать: откуда я, как зовут меня, почему я говорю по-французски, делал мне настоящий допрос; я должен был высказать всю свою историю с малолетства: воспитание в Пажеском корпусе, камерпажство при императоре и всю свою подноготную, так что он показался мне довольным и стал даже ласков.

Французы вообще не имели никакого понятия о России, они по невежеству считали ее страной дикой, варварской; ничто их так не удивляло, как то, что много русских говорили по-французски. Бывало, идешь походом и, встречая какого-либо жителя, спро-

^{*} Моя жена,— а ей: — Вот наш постоялец.

^{**} Довольно, сударь, беседовать, благоволите следовать за мной, чтоб я вам показал вашу комнату.

сишь его: Combien y a t'il de lieues jusqu'a telle ou telle ville?*

Получишь в ответ: Combien de lieues?** и показывает пальцами 2 или 3. Скажешь ему: Mais mon ami — on vous parle, et vous repondez par signos. — Tiens! il parle français, celui-là***. Подобного рода курьезы случались и в Париже, так, например, когда мы проходили через город парадом, слышали, как французы говорили, что будто у всех нас кирасы под мундирами, так их удивляла выправка каждого солдата, чтоб выставить грудь вперед; и когда приходилось останавливаться, чтобы взять взводную дистанцию, то расстегивали мундиры, чтобы уверить их в отсутствии кирас. Тут также часто раздавались восклицания «Tiens! il parle français»****. В Париже в то время осталась только первая гвардейская дивизия, в которой вряд ли был тогда какой-либо офицер, не знавший французского языка. И французы вообще от высшего общества до крестьян — полюбили русских. Французские солдаты были очень дружны с русскими, но в противоположность с последними — с пруссаками и австрийцами были все на ножах.

Часть французской Старой гвардии также была в Париже, и в одном доме со мной квартировали четыре гренадера, из которых один оказался русским из Орловской губернии, по фамилии Федоров, взятый в плен под Аустерлицем, которого в плену принудили вступить во французскую гвардию на службу, и он совершенно офранцузился, женился и не захотел возвратиться в Россию. Как этот Федоров был тоже постояльцем Дюпюитрена, то он часто приходил беседовать и поговорить с моим человеком Фролом. Я несколько раз уговаривал его возвратиться в Россию, но он отказывался. Нельзя было и его обвинять: он был отдан в службу как сирота, не имея ни отца, ни матери, к кому ж он там придет, а здесь он уже сжился; у него жена и дети. «Их, — говорил он, — он не может покинуть, — и при этом прибавил: — Жалованье хорошее; начальники мною довольны. Перед походом в Россию меня полковник отправил в кадры, чтоб не драться мне против своего отечества. Нас было несколько человек и всех из Варшавы отправили во Францию». Дюпюитрен, застав меня разговаривающего с ним, сказал мне: Laissez le tranquille, mon cher, — vous

* Сколько лье от такого до такого города?

** Сколько лье?

*** Но, друг мой, вас спрашивают словами, а вы отвечаете — знаками — Глядь! этот никак говорит по-французски.

**** Глядь! он говорит по-французски.

devez connaitre le proverbe: «ubi bene, ibi patria!»* и рассказал мне свою историю: — он савояр**, пришел пешком в Париж; поступил в школу, стал учиться, дошел до степени доктора и не имеет желания возвратиться домой.

На другой день в 7 часов утра, когда в первый раз после бивуака я сладко спал на чистой, мягкой постели, слышу грозный приказ: «Levez-vous!» слово хорошо мне знакомое, так что я вскочил, думая, что еще в Пажеском корпусе, где ротный командир Ротмалер ежедневно будил нас. Увидав своего хозяина, я опомнился и спросил: Qu'y a t'il? laissez-moi encore dormir; — j'ai sommeil. — Non, non, levez-vous, nous devons partir. — Ou, et pourquoi? — Vous le saurez; habillez-vous, le temps presse***! Нечего было делать — он так грозно и повелительно говорил, что я поспешно оделся. Мы вышли по маленькой лестнице из моей передней. Внизу стоял кабриолет; он сел и пригласил меня садиться; выехали со двора и понеслись большой рысью по набережной через Pont-neuf¹⁴. Мне это все показалось так странно, что я также строгим тоном спросил его: Mais où me menez-vous? — Attendez, vous le saurez tout-à-l'heure!**** — Мне едва минуло 17 лет и хоть и был я высок ростом, но бессознательно чувствовал, что он овладел мною. Через несколько минут мы остановились у подъезда огромного здания, на фронтоне которого большими словами виднелась надпись: Hotel-Dieu. Я подумал, что это церковь; но сбежавшие с лестницы швейцар и прислуга в фартуках и большие залы, при входе в которые его встретил очень почтительно какой-то чиновник, — дали мне понять, что это госпиталь. Когда он стал осматривать больного, я спросил про него у окружающих и узнал от них, что он и есть le fameux directeur de l'Hotel-Dieu*****. Наконец, пройдя через несколько отделений, мы вошли в палату сифилитиков; что я тут увидел, подействовало на меня так сильно, что я хотел уйти, но Дюпюитрен схватил меня за руку: Non,

* Оставьте его в покое, мой милый, вам должна быть известна пословица: «Где хорошо, там и родина».

** Здесь слово «савояр» написано фигурально, так значит в общежитии: — бедняк — замухрышка или просто — трубочист; а не уроженец Савойи, так как известно, что Дюпюитрен родом из Лимузена.

*** Что случилось? Дайте мне еще поспать; я спать хочу. — Нет, нет, вставайте, мы должны ехать. — Куда и зачем? — Вы узнаете, одевайтесь, время не терпит.

**** Но куда же вы меня везете? — Подождите, вы сейчас это узнаете.

***** Знаменитый директор госпиталя Отель-Дье.

non, mon cher, il faut que vous sachiez — que cela vous arrivera, si vous courrez les lieux publics; et voilà pourquoi je vous ai forcé de venir ici avec moi. Donnez moi votre parole, que vous n'irez pas dans ces bouges infâmes! — De tout mon cœur, je vous donne ma parole d'honneur, de ne pas y penser seulement*. После этого мы поехали домой, и я от души его благодарил и назвал его: Vous êtes un bourru bienfaisant; et que c'est le bon Dieu, qui m'a conduit chez vous, et ma reconnaissance vous sera éternelle**!

Таким образом он меня покори́л своей воле, а я его полюбил и слушался, как отца. Я не мог уходить из дому, не сказавшись ему: когда мне хотелось видеть Париж и его редкости, то он сам ездил со мной за проводника; когда же ему самому приходилось куда ездить, то он говорил жене: «Ma chère amie aie bien soin de notre locataire pour ne pas le laisser sortir! Et j'espère que vous serez assez galant pour tenir compagnie à une jeune dame pendant mon absence?» — Il le faut bien, puisque vous êtes devenu mon maître, et que je suis votre prisonnier***. Так как в Париже было приказано вне службы ходить в партикулярном платье, то он знал, что в мундире я никуда не пойду, а во фраке он меня не пускал. Сказал я ему однажды, что хочу идти в Пале-Рояль — обедать у известного Very. Он берет шляпу; берет под руку жену, и мы все вместе отправляемся туда; там мы пообедали, ели мороженое в ротонде и кончили день театром. Раз я отпросился сходить к своим офицерам, также жившим на отведенных квартирах. Всех, кого я только застал дома, даже ротного моего командира, нашел одержимыми — *par un rhume ecclésiastique*¹⁵. Возвратясь, я рассказал об этом моему хозяину и от души благодарил его за его наставление; тут он стал мне больше доверять и давал более свободы.

Чаще всего я ходил в оперу, приглашенный директором Гарделем в его ложу, которая была на самой сцене с правой

* Нет, нет, дорогой мой, вам нужно знать, что и с вами будет то же, если вы будете бегать по публичным местам; и вот почему я вас принудил заехать сюда со мной. Дайте мне слово, что вы не пойдете в эти гнусные вертепы. — От всей души даю вам честное слово даже и не думать о них.

** Вы благодетельный бука; Бог меня к вам послал, и я вам вечно буду благодарен.

*** Милый друг, займись нашим постояльцем, чтобы не выпускать его из дому. — И я надеюсь, что вы будете достаточно любезны, чтоб провести время с молодой дамой в мое отсутствие. — По необходимости придется это исполнить, потому что вы сделались моим властелином, а я вашим пленником.

стороны; все закулисные таинства мне открылись. Между танцовщицами мне приглянулась прелестная девица *mademoiselle Virginie*¹⁶. К сожалению, ее скоро увез какой-то рыжий английский лорд.

Через несколько дней после нашего водворения в Париже было назначено молебствие на площади, на том самом месте, где был обезглавлен Людовик XVI. На этом месте был поставлен амвон трехсаженной вышины, с расходящимися во все стороны ступеньками, покрытыми алым сукном; вокруг амвона на площади стоял весь корпус в густых колоннах. При появлении императора и прусского короля войска отдали честь, и оглушительное «ура!» продолжалось все время объезда колонн. На амвоне главный обер-священник с полковыми священниками и придворной певческой капеллой дожидались с образами. По команде вынесли из полков все знамена и обставили амвон. Скомандовали на молитву; все сняли кивера, и началось молебствие. По окончании молебствия все войска, при восторженных криках «ура», прошли церемониальным маршем, после чего были распущены по квартирам.

Жизнь наша пошла своим порядком — дежурства и караулы, как в Петербурге. Мне пришлось раза два стоять в карауле, у генерал-губернатора Сакена. Гауптвахта на дворе. Утром, как только ему выезжать, караул выстроится и отдаст честь, генерал поздоровается и не велит более выходить, а только ставить часовых. Офицер должен быть наверху в зале и обедать вместе с генералом.

Как нам, так и солдатам хорошее житье было в Париже; нам и в голову не приходила мысль, что мы в неприятельском городе. С нами искали случая познакомиться даже из *le faubourg St-Germain*^{*}. Офицеры гвардии были люди образованные и лучшего петербургского общества. Французские дамы явно оказывали предпочтение русским офицерам перед наполеоновскими и про последних говорили вслух, *qu'ils sentent la caserne*^{**}; и действительно мне случалось видеть, как большая часть из них входят в кивере или в каске в комнату, где сидят дамы, говорят, приклады-

* Квартал в Париже, обитаемый по преимуществу старой дореволюционной французской аристократией.

** Что они отзываются казармой.

вая руку к козырьку: «*Bonjour la compagnie; j'ai l'honneur de vous saluer*»*, — и начинают отстегивать свою саблю.

Солдат наших тоже полюбили, — народ видный, красивый. Около казармы всегда куча народа, и молодые торговки, с ящиками через плечо, с водкой, закуской и сластями толпились около солдат на набережной перед казармой; причем, чтобы не случилось какого недоразумения, безотлучно находился тут дежурный офицер.

Однажды, будучи дежурным, сидел я в лавке у ворот, куда посторонние не допускались, вижу, как молодец гренадер подходит к торговке и говорит: «Ну, мадам, дай-ка мне шнапса», — и показывает на бутылку; торговка наливает ему столовую рюмку водки, гренадер проглатывает ее и требует другую; торговка наливает и смотрит, что он с ней сделает, когда же он проглотил и эту, то она закричала: «*Mon Dieu, mon Dieu, il mougga*»**; но гренадер просит еще третью рюмку, торговка отказывается наливать, а тот все настаивает, тогда я сказал: «*Donnez lui encore une*». — «*Mais, mon Dieu, il mougga*». — *Ne craignez rien, donnez lui encore****, — он выпил третью и заплатил; затем он подошел ко мне и спросил: что это она все говорила: «мондье, мондье». Это она боялась, как бы ты не умер. Он засмеялся: — как это от трех наперстков-то, да я всю бутылку ее выпью и не поморщусь. — Ну, брат, довольно, здесь пьяных не любят.

Походы по Польше, Германии и Франции внесли путаницу в филологические познания наших солдат, так, например, научившись в Польше по-польски, когда вошли в Германию, стали требовать, что им нужно, по-польски и удивлялись, что немцы не понимали их; были даже смешные жалобы: раз немка угощала своего квартиранта кофеем и, осторожно слив кофе в чашку, подала ему ее; видя всю эту процедуру, солдат пригрозил ей кулаком и сказал: — вишь плюха какая, себе оставила погуше, а мне дает жижку; и хватает у нее кофейник. Она ему кричит: «*Nicht gut, nicht gut, schlecht*»****, он вырвал из ее рук кофейник и выпил всю гушу, которая там осталась. Дошло до офицера, он стал ему выговаривать, а тот ответил: «Помилуйте, ваше благородие, ведь эта басурманка налила мне жижку, а себе взяла погуше; с досады

* Здорово, компания; честь имею кланяться.

** Боже мой, Боже мой, — он умрет.

*** Налейте ему еще одну. «Боже мой, да он умрет» — Не бойтесь, дайте ему еще.

**** Не хорошо, не вкусно, скверно.

я вырвал у нее кофейник и выпил все, а она-то кричит — ни гу, ни гу, шлях! — врешь, басурманка, я не шлях, а русский, и ты меня не одурачишь». Офицер расхохотался и перевел немке, та в свою очередь рассмеялась. Придя во Францию, они усвоили себе некоторые немецкие слова и требуют от французов: Гиб брод, гиб шнапс. Опять та же история: является жалоба и объяснение: — Я ему учтиво сказал, гиб брод, — пора есть, а он замотал головой, как будто не понимает; я вижу, что хлеб-то лежит на лавке, я и отломил себе краюху. — Ты не прав, он тебя не понимал. — Как не понять, я ведь не по-русски ему говорил, а гиб брод. — Да ведь он француз и по-немецки не понимает. — Виноват, ваше благородие, а я думал, что он не хочет меня накормить.

Вскоре пошли у нас снова парады, при встречах: графад'Артуа*, императора австрийского и Людовика XVIII. Нас расставляли шпалерами по тем улицам, по которым они проезжали, и мы отдавали им честь. Наполеон в Фонтенбло должен был отречься от престола, и королем французским был признан Людовик XVIII, который был очень толст и страдал подагрой, через что, въезжая в Париж, ехал в карете, а когда был большой парад и мы проходили мимо церемониальным маршем, то он сидел на балконе, потому что по летам и толщине не мог сесть на коня. При этом ни у жителей, ни у войска не замечалось никакого восторга. Вечером, на правом берегу Сены, против площади Людовика XV был сожжен большой фейерверк. Народу было множество. И мне и другим офицерам удалось спасти в давке какую-то молодую даму, которую в толпе чуть не раздавили; она была без чувств, когда мы ее вынесли из толпы и оставили на руках мужа, не знавшего, как нас благодарить, но мы поспешили уйти и не спросили даже, кто они.

Редкий день проходил без того, чтоб я не бывал в Пале-Рояле, — сборное место, куда все офицеры собирались, как самое приятное, веселое и, вместе с тем, самое пагубное. Пале-Рояль есть своего рода город в городе Париже: вы можете в четверть часа с головы до ног одеться франтом; можете отлично есть и пить и жить в прекрасной квартире и иметь все удовольствия и развлечения, не выходя из Пале-Рояля, лишь бы у вас были деньги. Можете и вконец разориться, проигравшись в № 129, в рулетку, в банк, в *rouge et noir*¹⁷, где найдете отличное общество.

* Карл X (род. 1757; вступил на престол 1824; отрекся 1830, умер 1836).

Сколько раз мне случалось видеть там наших генералов и старика Блюхера в партикулярном платье, горчайшего игрока, проигрывавшего большие суммы. Я часто заходил туда, но не имел охоты играть, да и дал слово Дюпюитрену этого не делать.

Примечание И. М. Казакова:

Рулетка есть ад и рай для многих — выигрывающий в восторге, а проигравшийся испытывает все мучения ада и в сумасшествии с отчаяния застреливается или бросается в Сену.

Доктор Дюпюитрен — европейская известность, был очень богат, но жил сравнительно скромно, как зажиточный парижский буржуа, держал свой экипаж, кучера и трех лошадей. В доме один камердинер, служанка и кухарка. Обед, при котором подавались лучшие вина, был всегда хорош, — из четырех блюд, но не кухмейстерский; и несмотря на посещения его важными лицами и нашими генералами, меню его обеда не изменялось. Когда я спрашивал его, почему он не велит поизысканнее приготовить обед, он отвечал: «Je ne suis pas un restaurateur s'ils veulent venir chez moi, ils n'ont qu'à manger mon pot au feu»*. Он был серьезный, но добрейший человек, настоящий — *bougu bienfaisant*: больных бедных приходило к нему множество, и он, кроме лечения, давал им деньги, завернув их в рецепт. Я очень полюбил его и привязался к нему, и он меня очень любил: раз спрашивает меня, не нужны ли мне деньги. На что мне они, *grâce à vous*¹⁸, мне не на что их тратить: у меня их много — тысячи полторы, полученные от отца и зашитые в пояс. Я ему показал пояс, он взял его к себе и выдавал мне по мере надобности. Мне только тогда исполнилось семнадцать лет; я чувствовал, что он со мной поступает, как отец, и считал его семью как бы своею, и только впоследствии я вполне мог оценить его любовь и благодарить Бога, что я случайно попал к нему в Париже, без чего я по молодости и неопытности мог погубить себя физически и нравственно. Однажды за обедом он заговорил о бывшем сражении под Парижем и о том, что он был возле башни La Villette и оперировал раненых, за что и получил орден Почетного легиона. Как! Вы были в Ла-Виллет? Возразил я ему, когда и я был там при генерале Ермолове, значит, вы были свидетелем того эпизода, когда по прекращении сражения выстрелили по генералу и его конвою и ранили казака? — Да, да, услышав ружейные выстрелы, мы вслед за тем слышали и пуш-

* «Я не трактирщик, если они желают посещать меня, то пусть не брезгуют моим приварком».

ку, которой убили и ранили у нас несколько человек, — сказал Дюпюитрен, — ah! Mon bon ami, vous l'avez échappé belle! Я рассказал ему все, что случилось со мной в этом сражении. Ему рассказ мой мог бы показаться фантастичным, но я решительно не терпел лжи и ничего не утрировал, а достоверность случившегося у Ла-Виллет, чему он сам был свидетелем, убедила его в справедливости моих слов.

Хотя Дюпюитрен и показывал мне все редкости города, ему всюду был доступ, но это мало послужило мне на пользу — я был еще большим ребенком, не понимал цены этому, и все это проходило для меня бесследно. Раз пошли мы — он, его жена в сад Тиволи, где в то время были разные игры и карусели, как и в Петербурге на Масленице, — это меня больше всего забавляло. Недалеко от входа было место, где пробовали силу «Allons, essayez votre force»^{..}. Мне все это было знакомо в корпусе, где была гимнастика и чугунные ядра, которые заставляли нас катать, поднимать и бросать за известную черту; и я там слыл за силача. Тут мне подали машину с пружиной, в которой стрелка, по мере сжатия, вертелась и показывала градусами вес поднятия тяжести; внизу широкое стремя, в которое ставишь обе ноги, и сверху ручка, за которую тянут. Мне говорит Дюпюитрен: «Allons, essayez la force des reins»^{***}. Я стал тянуть, стрелка стала показывать много, хозяин машинки говорит: «Oh! Oh! comme vous y allez»^{****}. Я потянул еще сильнее, и стрелка, дойдя до *nee plus ultra*^{*****}, согнулась; хозяин закричал: «Assez, monsieur, assez, vous allez casser ma machine»^{*****}. Дюпюитрен говорит: «Que diable, vous êtes un Hercule, mon ami, qui le dirait en vous voyant aussi fluet»^{*****}.

Когда я бывал на карауле, то возвращался на другой день, только в полдень. Дюпюитрен скучал, и жена его мне говорила, что не только он, но и маленькая Мари все искала меня, потому что я ее очень любил и играл с нею. Когда Дюпюитрен возвращал-

^{..} А! мой друг, вы счастливо отделались!

^{***} Ну, испытайте вашу силу.

^{****} Ну-ка, испытайте силу поясничных мускулов.

^{*****} Ого, как вы скачете.

^{*****} До крайнего предела.

^{*****} Довольно, сударь, довольно, вы сломаете мою машину.

^{*****} «Кой черт, да вы, мой друг, настоящий Геркулес, кто бы мог это подумать, видя вас таким тщедушным».

ся и видел меня, он говорил весело: «Vous voilà enfin,— reposez vous mon cher»*. А мне на что отдых, я бы хотел бегать по городу и завидовал парижским гаменам, весь день бегающим по улицам, и я со многими из них был приятелем. Таким образом время скоро проходило. Два месяца, как мы стояли в Париже. Мир был окончательно заключен. Наполеон формально отрекся от престола Франции и, сохраняя свой титул императора, был увезен на остров Эльба в Средиземном море, переданный ему во владение.

Было очень жарко. В один прекрасный вечер я пошел в купальню на реке Сене. Купался довольно долго. Придя домой, я почувствовал сильную головную боль, лег в постель, заснул и потерял сознание; утром человек мой, видя, что я не встаю, стал будить меня; а я без памяти и в сильном жару и бреду. Он доложил Дюпюитрену, который, придя, послал за фельдшером. Поставили синапизмы и шпанскую мушку. Человек мой побежал в полк донести о моей болезни. Полковой лекарь тотчас приехал; увидя Дюпюитрена, поговорил с ним и отправился, оставив меня на его попечение. Дня три я был без памяти, мне дали лекарства, и я две недели вылежал в постели. Горячку прервали, но напала сильнейшая лихорадка, и сделалась ужасная слабость. Генерал Потемкин, наш полковой командир, приезжал несколько раз навещать меня.

Так как вскоре приказано было выступить в поход в Шербур, чтоб оттуда всю первую гвардейскую дивизию отправить на русской эскадре, пришедшей для этого в Шербур, то генерал предложил мне остаться в Париже, при комиссии, которая должна собрать всех отлучившихся, а как императору, как шефу полка, обо всем доносили, и он знал от лейб-медика Виллие, который часто бывал у Дюпюитрена в гостях и видал меня, как постоянного, что я болен, но в надежных руках, приказал оставить меня при комиссии в Париже. Яков Алексеевич Потемкин с Дюпюитреном уговаривали меня, но я ни за что не соглашался, не понимая, что в этом была милость государя и моя выгода и польза по службе, и говорил генералу: доложите императору, что живой или мертвый, а я пойду с полком в Россию. Государь согласился и приказал назначить другого; назначили подпоручика Буйницкого, и он получил крест и чин поручика. Молодость, молодость, прекрасная вещь, но большая глупость! Впрочем, мысль эта, может быть,

* «Вот и вы наконец, — отдохните, мой милый»

и несправедлива, но последствия в моей жизни убедили меня, что мы действуем произвольно, а Высшая Воля и Провидение устраивают нашу судьбу помимо нас и ведут нас туда, где мы должны быть.

Простояв почти три месяца в Париже, первая гвардейская дивизия выступила на «Эвре» и «Кан» в Шербур. Лихорадка меня трясла через день. Как ни прискорбно мне было расставаться с семейством знаменитого Дюпюитрена, любившего меня как своего родного, но у меня было неодолимое желание возвратиться в Россию к любимому отцу, у которого я остался один, ибо старший брат мой Андрей, вышедший из корпуса еще в 1812 г., был смертельно ранен в сражении под Бауценом и умер в госпитале, о чем я узнал в Париже от родственника, служившего с ним в одном полку.

Сборы мои были непродолжительны. Лошадей моих осталась пара в вагенбурге; накануне выступления полка их привели ко мне; хозяин мой послал комиссионера купить мне упряжь и небольшую дорожную бричку; маршрут прислали из полка; но семья Дюпюитрена, задав мне на прощанье обед, со слезами проводила меня; и я, несмотря на все свое желание мое ехать в Россию, горько плакал, прощаясь с милым и дорогим мне семейством, которое было для меня столь благодетельным. Господин Дюпюитрен взял с меня слово, что я буду писать ему из Петербурга, и переписка, хотя и не частая, но раза по три или четыре в год, продолжалась до смерти Дюпюитрена, последовавшей в 1835 г., еще при жизни Карла X, с которым он был так дружен, что завещал Карлу три миллиона франков*. Письма мои к нему я начинал всегда словами: *Mon cher et bien aime bienfaiteur...***

Поход был не утомительный, я, как больной, ехал при штабе, и полковой лекарь лечил и кормил меня латинской кухней; вследствие ли леченья или от самого похода, но лихорадка стала отставать, так что по приходе в Шербур я был здоров. Несколько дней мы ждали прихода из Англии нашей русской эскадры, на которой должны были плыть в Петербург. В Шербуре я был до крайности удивлен, увидев на другой день, что в небольшой гавани корабли стоят на земле, обставленные подпорками, а иные лежали на боку, и их чинили и конопатили, и море, вследствие отлива, удалилось от города верст на десять или более, а по дну морскому

* Значительную часть своего состояния.

** Милый и дорогой благодетель...

расхаживали люди, собирая в корзины раковины и улитки. С полудня начался прилив, с такою силой и скоростью, что вряд ли от волны можно ускакать на лошади. Вследствие прилива и отлива военные корабли не могли подходить к городу, а бросали якорь на дальнем расстоянии.

Однажды днем, когда прилив был во всей силе, я был свидетелем удивительной сцены на одном купеческом корабле. Мачта оканчивается шпилем, толщиной вершка в три, длиной аршин в шесть, на конце которого укреплен досчатый, плоский круг в диаметре вершков десяти. Не знаю, из любви ли к искусству или по другой какой причине, матрос взлез по гладкому шпилю и сел на круг, потом встал на ноги, снял шляпу и стал кланяться стоявшей на набережной толпе народа, которая начала ему аплодировать. Тогда он снял с себя куртку, шаровары и сапоги; потом опять оделся, всем раскланялся, и по шпилю спустился головой вниз до сальника, а оттуда по канату на палубу. Во время всей проделки сердце замирало и дух захватывало, ожидая его падения с этой высоты. По окончании такого необыкновенного представления деньги посыпались ему на палубу, и вряд ли кто из всей толпы не подал ему свою лепту, даже из домов, где было множество зрителей по окнам, матросу посылали деньги, так что он собрал порядочную сумму.

Когда эскадра наша из двенадцати кораблей остановилась на дальнем рейде, начались у нас переговоры насчет провизии во время нашего путешествия; нашему батальону назначено было садиться на 74-пушечный корабль «Память Св. Евстафия» и одной артиллерийской бригаде. На этом корабле находились: контр-адмирал Элиот, капитан Т., старший лейтенант Панафидин, лейтенант Веревкин (наш орловский дворянин) и другие, которых имена запомнил. Флотские офицеры всей эскадры и слышать не хотели об уплате нами за стол; тогда генерал наш сказал: «Тогда мы будем угощать вас вином». Положили по сто рублей с каждого офицера; и это составило порядочную сумму, имея в виду, что в полку было до пятидесяти офицеров. Генерал послал в Париж квартирмейстера и казначея Лодомирского, который привез большой обоз вин и разных гастрономических и кондитерских припасов, так что стол и вина были великолепные.

Я продал в Шербуре своих лошадей и бричку. В назначенный день присланы с корабля баркасы, катера и шлюпки, которые стали перевозить наш батальон на корабль. Четыре пушки уже были

перевезены, и батальон пошел по длинному молу, а я, как состоял в числе больных, нанял двухвесельную лодку, перенес все свои чемоданы и с двумя своими людьми отправился на рейд. Погода была свежая, ветер порядочный; по мере удаления от берега валы запенились белыми гребнями, и лодка ныряла и прыгала по волнам, как щепка, так что мне стало страшно, и я досадовал, для чего я не пошел с батальоном, для которого были большие баркасы и катера. С большим трудом мы подвигались против ветра и волнения; и не зная, откуда ход и лестница на корабль, я подплыл к кораблю с подветренной стороны, где волнение было меньше, и влез по трапу, т. е. где к наружным стенам корабля прибиты бруски и протянуты две веревки, за которые хватаясь руками, влезает на палубу. Когда я вступил на палубу, то страх мой пропал, видя, что этот левиафан даже не шевелится, когда лодка так и прыгает и мечется по волнам. Многие офицеры уже были на корабле, и мне указали мою койку, на второй палубе возле кают-компания между двумя чугунными пушками, посреди которых, как с правой, так и с левой стороны, были офицерские койки, завешанные парусиной. Расположившись там, как дома, я вошел в кают-компанию, где все собрались и даже играли в бостон, в шахматы и в шашки.

Не знаю, по какому случаю находился на нашем корабле еврей Гольдберг, хотя одетый и не в лапсердаке, но настоящий израиль. С ним офицеры играли в шашки, причем, при выигрыше, он получал условленную плату, а проигрывая, должен был пить по небольшой рюмке морской воды; и случалось часто, что он принужден был уходить поспешно на нос корабля из-за рвоты, происходящей от морской воды.

Быв еще молод, я в карты не играл, а только в шахматы; водки и вина не пил, а занимался рисованьем и лазаньем по мачтам; на марс я лазил не хуже матросов; лазил, как называют матросы — в собачью дыру и до сальника, это высшее место мачты, откуда выставляется шпиль. Мне очень нравилось лежать на бушприте; это мачта на носу корабля, состоящая из двух толстых десятиаршинных бревен, выставленных на носу корабля под углом градусов 15, расставленных между собой на пол-аршина, а промежутки переплетаются веревками, на которых во всю длину лежит собранный треугольный парус, по которому легко дойти до конца мачты, где я часто сидел и лежал как бы на воздухе и летел над

морем. Сначала капитан корабля запретил было мне ходить на бушприт, но, увидев, что я и на мачты лазаю, махнул рукой.

В первый день, как мы поступили на корабль, тогда за обедом подали нам черный хлеб и квас, то кают-компания огласилась криком «ура!» Контр-адмирал, комнаты коего были над нами, прислал узнать причину восторженного шума. Корабль был двухдечный, или двухпалубный, на первой мы жили между орудий, а на второй — весь наш батальон. Мы держали караул часовых, и дежурный по батальону должен был утром и вечером рапортовать адмиралу, который приглашал его обедать с собой. Лихорадка несколько раз у меня прекращалась, но, по невздержанности в пище, опять начинала трепать, так что полковой врач за столом садился возле меня, отнимал вредные кушанья и не давал много есть.

Когда с адмиральского стопушечного корабля дан был сигнал выступить эскадре в море и идти к берегам Англии, на корабле все засуетилось, стали поднимать якорь, вертеть шпиль (ворот), и корабль стал тихо подвигаться к месту, где опущен якорь. Меня все это занимало, и я с любопытством следил за всеми маневрами, как на палубе, так и на мачтах. По команде лейтенанта и свистку боцмана матросы, как кошки, полезли по мачтам, приготовили паруса и по свистку спустили их с рей; ветер стал постепенно их надувать, и эта огромная машина гордо и величественно поплыла по направлению ветра. Эскадра построилась в две колонны. Наш корабль был в правой колонне шестым, а еще шесть шли в полуверсте с левой стороны. Город Шербур находится на Атлантическом океане, гораздо южнее Ламаншского канала, отделяющего Англию от Франции, то переезд наш при тихой погоде продолжался трое суток. В канал мы шли ближе к английскому берегу, но и французский берег был у нас на виду. Па-де-Кале от Дувра до Кале тридцать верст. Пройдя Дувр, мы остановились у города Диль; берег был низкий, песчаный, и более версты до него корабли не могли подходить. На берег мы съехали на лодках, чтоб поестъ английского ростбифа. Император был уже в Лондоне. Генерал наш тотчас же отправился туда; многие также хотели съездить в Лондон; но начальство не позволило. Мы целую неделю простояли у г. Диля. Сочувствия к англичанам не было ни у офицеров, ни у солдата, ни у матросов.

Из Англии эскадра получила предписание идти в Петербург. Выйдя из Ламаншского канала, вступила в Немецкое море. Тут

нас застало сильное волнение, так называемая мертвая зыбь; ветру почти не было, он был противный, и мы должны были лавировать, чтобы понемногу подаваться вперед. Волны были огромные, как горы, так что в полуверсте лавирующий корабль совершенно скрывался от глаз, и виднелись только верхние части мачт, потом, всплывая на верх волны, при лавировании, так ложился на бок, что показывал почти всю подводную часть и на палубе не было возможности ходить. Тут у всех офицеров и солдат сделалась морская болезнь — все лежали расслабленные, один лишь я из всех пехотинцев почему-то не подвергался этой несносной и мучительной болезни, а ходил по палубе, держась, однако ж, рукой за такелаж или за снасти, чтоб не поскользнуться и не упасть. Морские офицеры растолковали мне причину этой зыби: в океане на далеком расстоянии была буря, и ветер развел сильное волнение моря, взяв противоположное от нас направление, и заставил волноваться ту часть моря, на которую ветер даже не действовал. Трудно представить, что ощущает в эту зыбь человек, не привыкший к оной. Я так был любопытен, что выходил на бушприт, ложился на парус, прикрепленный между двумя бревнами, выпущенными из носа корабля, и ощущал то же, что и на качелях, когда корабль поднимается на высокую волну и потом спускается на дно волны.

Мне очень хотелось выдержать шторм и бурю на корабле, чтоб иметь понятие о том, что человек испытывает во время бури и опасности между небом и водою, но ни в Немецком, ни в Балтийском морях ничего подобного не было. Зыбь прекратилась, подул попутный ветер, мы уже были в виду Ютландии; и тут я вполне убедился в реальности Галилеевой системы: плывши очень скоро, мне казалось, что будто корабль стоит на месте, а берега Ютландии бегут мимо нас.

Берега Ютландии очень низки, почему около берегов большие отмели. В один день, когда мы сели за стол обедать, вдруг почувствовали сильные толчки и колебания, так что бутылки и графины попадали на стол, и все в испуге вскочили; флотские офицеры побежали на палубу, но вскоре возвратились и, сев опять обедать, объяснили, что течение так сильно, что сбило корабль с пути, и мы было сели на мель, но, к счастью, и ветер был настолько силен, что благополучно перетащил корабль через узкую мель.

К вечеру погода стала изменяться; туман стал ложиться довольно густой и к утру так сгустился, что капитан приказал бить

рынду, т. е. звонить в колокол и бить в барабан, чтоб не столкнуться с кем-нибудь. В 7 часов я вышел на палубу; в колокол беспрестанно звонили; я подходил к носу по левому борту, как вдруг корабль ударился носом в какое-то небольшое одномачтовое судно; последовал треск и крики, что перед носом корабль показался в тумане. Удар пришелся в кормовую часть корабля, проходившего с правой стороны; у нас поврежден был бушприт, а в судне пробита корма и сломана мачта; наш корабль продолжал свой путь как ни в чем не бывало, а бедное судно должно было поспешить к недалекому берегу, чтоб спастись или сесть на мель. При восходе солнца туман рассеялся; эскадра стала в виду. Пошли переговоры флагами с адмиральским кораблем, и, по окончании сигналов, последовал с адмиральского корабля выстрел ядром, которое саженьях в пятидесяти запрыгало рикошетами по морю, что означало строгий выговор капитану.

Погода становилась лучше и лучше, наконец, перед входом в нескольких милях от Зунда, настал совершенный штиль. Море стало зеркалом. Жара страшная: ничто не двигалось; спустили парус для купанья; я хотел выкупаться, но доктор решительно схватил меня за руки и не пустил.

Штиль продолжался суток двое, и все корабли, как мертвые, стояли без движения, а между ними море бороздили шлюпки, кто по службе, кто в гости. Наконец по зеркальному морю пробежала рябь; начались приказы и разговоры сигналами; подул ветерок, и мы поплыли к Зунду. С левой стороны показался высокий гористый берег Норвегии, но, к сожалению, мы не пошли Бельтом, и Копенгаген остался для нас тэrrа инкогнита. По мере движения нашего по Зунду воды Немецкого моря имели зеленоватый отлив, а при вступлении в Балтийское цвет моря сделался бурым, и припоминая, что в географии ему приписано качество бурного, я надеялся, что нам придется выдержать шторм; но ожидание мое не сбылось. Видя громадность корабля, в котором помещалось более 1500 людей и более 80 орудий большого калибра, высоту борта от воды, как мне казалось аршин 10 или 12, я не мог предполагать, что в бурю волны его кидают как щепку, а адмиральский 120-пушечный трехдечный «Голиаф» в полтора раза более других, я думал, не должен был бояться никакой бури.

Плавание наше по Балтийскому морю было спокойное, и никакой бури мы не испытали, а только пировали и попивали взятое на наши деньги вино из Парижа. Как я не пил ни водки, ни вина,

то часто посмеивался над нашими и флотскими офицерами, которые порядочно подгуливали. Раз после обеда с шампанским и прочими винами и грогом или жженкой некоторые вылезли на палубу в очень веселом расположении духа, и подпоручик князь Щербатов стал уверять, что он видит остров Борнгольм, тогда как нам пришлось еще два дня плыть до него. Этому дальновидению много смеялись, и в поговорку вошло, когда видишь пьяного человека, то говорили: он видит Борнгольм! Другое морское выражение: лег на дрейф также применено к пьяному человеку, потому что корабль, желая почему-либо остановиться, ставит так паруса, что ветер, дуя в тот и другой парус, противодействует ходу, корабль останавливается и только покачивается с боку на бок, как пьяный человек, то и стали говорить, что он лег на дрейф или дрейфует; и несмотря на дальновидение князя Щербатова, мы не видали Борнгольма, пройдя мимо него ночью.

Наконец, мы благополучно прошли Финский залив и вступили в Кронштадт. Путешествие наше по морю продолжалось более месяца, после чего нас высадили в Ораниенбауме.

Сообщил Александр Безгин

Примечания

¹ Пер. с фр.: искать.

² Ошибка мемуариста. Э. Ф. Сен-При не попадал в плен под Лаоном, а получил смертельное ранение при обороне Реймса.

³ Перечисление по-французски мест под Парижем: Бельвиль и деревня Пантен, Шомонские холмы, канал Урк, Монмартр.

⁴ Пер. с фр.: Елисейские поля.

⁵ Пер. с фр.: Великий Наполеон!

⁶ Пер. с фр.: Триумф Траяна.

⁷ Пер. с фр.: офицер гвардии, офицер гвардии.

⁸ Пер. с фр.: Здравствуйте, мои ребята! — Да здравствует император!

⁹ Пер. с фр.: казарма Периньер, казарма Наполеона.

¹⁰ Пер. с фр.: мэрия Сен-Жермен Оксеруа.

¹¹ Пер. с фр.: квартирный билет.

¹² Пер. с фр.: мост Искусств.

¹³ Вагенбург, т. е. обоз.

¹⁴ Пер. с фр.: через Новый мост.

¹⁵ Пер. с фр. дословно: эклизиастический катар, т. е. венерическое заболевание.

¹⁶ Пер. с фр.: мадмуазель Вирджиния.

¹⁷ Пер. с фр.: красное и черное.

¹⁸ Пер. с фр.: благодаря Вам.

ИСТИННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ, ИЛИ ЖИЗНЬ ГАВРИИЛА ДОБРЫНИНА, ИМ САМИМ НАПИСАННАЯ

1752 — 1823

Гавриил Иванович Добрынин в отечественной литературе всегда считался автором записок, имеющих огромное значение для истории быта русского духовенства. Именно эта сторона его мемуарного наследия принесла ему известность после его кончины. Но написанные самобытным языком автобиографические записки Г. И. Добрынина имеют огромную ценность и для историков эпохи 1812 г.

Он родился 20 марта 1752 г. в с. Радогож Севского уезда Орловской губернии в семье сельского священника. Вскоре отец умер, и ему пришлось переехать к деду по матери, также священнику, у которого он выучился грамоте. С ранних лет служил у севских архиереев певчим, затем келейником.

Затем, в 1777 г., «уволившись с аттестатом», получил должность провинциального протоколиста в г.Рогачев, с апреля 1778 г. занимал должность губернского секретаря в Могилевском наместничестве, в 1782 г. был определен стряпчим в Могилевскую верхнюю расправу, в 1783 г. получил чин титулярного советника, а в 1788 г. награжден чином коллежского асессора. При образовании Витебской губернии в 1797 г. перешел на службу в Витебский нижний земский суд комиссаром, а в 1800 г. назначен советником во 2-й департамент Главного суда Витебской губернии и награжден чином надворного советника, в 1807 г. стал коллежским советником, а в начале 1812 г. за успехи по службе был пожалован орденом Св. Анны 2-й ст.

В 1812 г. он был вынужден остаться в Витебске и находился там во все время французской оккупации города. Этот период своей жизни Г.И.Добрынин описал сначала в мемуарной статье «Отрывок из записок витебского жителя», первоначально опубликованной в «Сыне Отечества» в десятом номере за 1813 г. Более полный текст был включен в его воспоминания в 1871 г. в «Русской старине». После изгнания неприятеля его карьера сложилась вполне удачно, в 1814 г. он занял должность губернского прокурора, которую занимал до конца жизни.

Но ни личность, ни служебное положение не остановили бы на себе внимание, если бы он не оставил после себя «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная». Его записки состояли из трех частей, мы публикуем почти в полном виде третью часть, относящуюся по времени к 1812—1814 гг. (Напечатано в «Русской старине». 1871. № 10. С. 346—366). Его автобиографические воспоминания содержат много любопытных подробностей о чиновном мире, системе управления губернии, но особенно интересны о пребывании и поведении французов в Витебске в 1812 г. Автор был тонким наблюдателем, поэтому его записки пересыпаны остроумными характеристиками, содержат с большим юмором описываемые им по большей части трагические эпизоды. Именно литературные достоинства этих записок, поразительные для автора-самоучки, в свое время обеспечили им успех среди самой широкой публики.

Часть третья и последняя*

(В ВИТЕБСКЕ)

§ XXXXVI

От 1810 до 1823 г.

Счастье и бедствие

Всеблагодару Провидению угодно было продолжить жизнь мою до 71 года от моего рождения, на котором я снова принимаюсь за перо — 1822 г. в сентябре месяце — для продолжения моих предположенных записок и с ними вместе истории моей жизни.

В 1810 г., по высочайшему именному повелению, прибыл в Витебск, для управления обеими белорусскими губерниями, в достоинстве белорусского военного губернатора, Его Королевское Высочество герцог Александр Вюртембергский.

Губернатор Сумароков дал для Его Высочества гостеприимный, обеденный великолепной стол и пригласил всех губернских чиновников. Мне случилось сесть подле адъютанта герцога, г-на Тургенева.

Благородная фамилия Тургеневых известна мне была еще от времен местопребывания моего в Севске, при дяде моем тамошнем епископе Кирилле Флиоринском, по стечению иногда к нему, по сану его, дворянства с визитом, тако ж и по временной потом моей бытности в Москве, в 1785 г. Он занял меня кратким разговором и порадовал, что Его Высочество предварен обо мне с хорошей стороны в Петербурге, особенно же от статского советника Паглиновского. Паглиновский, Дмитрий Моисеевич знаком мне от самого вступления моего 1777 г. по штатской службе, в пограничный с Россией белорусский город Рогачев, где обучался он в партикулярном пансионе, а потом в Могилеве, в котором я служил 20 лет.

* Считаем необходимым заметить, что третья часть «Истинного повествования» Добрынина была помещена, с некоторыми сокращениями и подновлением слога, в «Виленском сборнике» изд. 1869 г. С. 39—63. Мы и эту часть, как и предыдущие, дословно печатаем с подлинной рукописи автора, с сохранением при этом не только текста, но и всех нередко мелких особенностей правописания Добрынина. *Ред.*

Правитель канцелярии герцога, г-н Старинкевич, знаком мне еще от Могилева и бывал у меня с детства при любомудром своем отце, шкловском протопопе, занявшем витийство от киевской академии, и остроумном по натуре. Качества отца удачно перелились и в сына, которой, сверх домашнего и кадетского в шкловском корпусе воспитания, был летучего ума, а потом, из Петербурга, достался уже к герцогу в теперешнюю должность от знаменитого князя Лопухина.

Тургенев имел счастливый смысл со нравственностью; после уже я узнал, что он почерпнул много для себя полезного в Виттингенском, известном в Европе университете. Он был несколькими годами постарше двадцатисемилетнего Старинкевича. Сии два мудреца не были мне лиходеями. Они, при избрании иногда, кому? что? где? препоручить, выставляли меня первым Его Высочеству на шкловском и эттингенском языке.

Его Высочество возлагал на меня многие комиссии по Витебску и уездам, за исполнение которых был мною доволен.

В начале 1812 г. был я счастлив получить, по представлению Его Высочества, орден Св. Анны второй степени, при всевысочайшем, собственноручно подписанном рескрипте. Тогда ордена жалованы были очень редко, и я, сгоряча, писал к одному приятелю, в Петербург, что «теперь уже меня не постигнет никакое зло». В самом деле я тогда так думал и верил, забывшись, что никто прежде смерти счастливым назваться не может.

В одну пору из моих домашних рукописей показал я Старинкевичу записку. Она была трактат, или рассуждение о беспорядках и злоупотреблениях витебской квартирной комиссии, которая бедных и посредственных граждан отягощала постоем, отоплением, освещением и даже прокормлением постояльцев; подводами под проходящих, по требованиям городской полиции. На имущих же и значительных граждан, хотя положен был денежный годовой оклад, но сбор одного зависел от произвола, и комиссия никому верного отчета не давала, хотя и велено ей давать отчет губернатору.

Я, к перемене сего непорядка на порядок, сделал такое математическое годовое расчисление, такое равновесие, что все обитатели города были бы довольны, если бы оно состоялось. Евклид во своих выкладках, Невтон во своих небесных разрядах и Неккер в статистике и финансах — не могли быть вернее; и это такая неоспоримая правда, которую я сам пишу!

Старинкевич, прочитавши мою записку, заложил ее под паху и, не сказав мне ни слова, улетел, а через несколько дней получил я от Его Высочества предписание привести ее в исполнение. Таким образом, попался я в лабет¹; ибо видел, что скорее можно было на досуге обдумать и написать, нежели написанное привести во всех подробностях в исполнение, в таком городе, в котором с лишком две тысячи домов не столько достаточных, сколько посредственных, и не столько посредственных, сколько беднейших; однако ж милость и доверие Его Высочества меня облегчали и труд мой делали удобовозможным. Уже я истребовал от квартирной комиссии и от других мест, к подлежащему мне предмету, материалы, но неумолимое и непобедимое время с нами не согласилось.

Уроженец из Корсики — по имени Наполеон Бонапарте, по счастью и деятельности — император французов, по проворному властолюбию — покоритель Германии, Италии, Польши, Голландии, по стечению обстоятельств — увенчанный честью и славою быть зятем императора немецкого² — приближался уже к границам Белоруссии, следственно, и России.

Недосуг было думать о наших гражданских занятиях, а надлежало скорее схватить на плечи котомку по примеру троянца Энея, который в подобном случае вынес из Трои на плечах отца своего.

Следующее под сим письмо, писанное от меня по изгнании уже неприятеля, к одному приятелю в Петербург и напечатанное им, без воли моей, в «Вестнике Европы» или в «Сыне Отечества», с некоторыми исключениями, под названием: «Отрывок из записок витебского жителя», принадлежит к сим же временам и к моему повествованию.

Письмо

«Слух о приближении французов к Витебску навел страх и ужас на всех мирных жителей. Национальные россияне начали прежде всех высылать свое имение из домов и из лавок, куда кто мог, а потом и сами удалились. Чиновники, находившиеся в штатской службе, им последовали, а некоторые и упредили. В короткие средилетние ночи, скрип и стук по улицам повозок, заколачивание в домах ящиков, вопли и гулы рабочих и хозяев навели на мой томной дух уныние, когда я — не имея ни сна, ни

аппетита — ходил по дорожкам в моем саду, не зная, что думать и что начать, рассуждая, сам не знаю, кстати или нет, говорил я сам себе и каждому: «Я человек устаревший в статской службе; сражаться мне ни с кем не придется, останусь в Витебске. Здесь у меня домик с садом, а за городом сад и огород с постоянным домиком. Все это совокупно приносит мне нажитого в мой век годового дохода до 500 руб., кто ж для меня, в замену этого, что где приготовил? Лучше остаться здесь, нежели бежать неизвестно куда, неизвестно для чего. 35 лет уже как я в Белоруссии и проч. Останусь и буду смеяться тем, которые, удалясь из Витебска, ко мне возвратятся; ибо, быть не может, чтобы достояние России досталось языку чуждому, детишу мгновенно-преходящего случая». В ночи против 7 июля стучатся ко мне в двери.

— Кто там?

— Бумага от губернатора.

Читаю: «В 10 часов с получения сего, выбраться советнику Д. и следовать в город Невель, с делами и архивом своего присутственного места».

На рассвете прихожу в свой департамент и нахожу почти уже все готовым и все разрушенным. На столах нет ни сукон, ни зеркала. На стенах — ни портрета, ни часов, ни зеркала. Внезапное зрелище и отъезд поразили меня. Я уже давно страдал ревматическим в ногах припадком, а в сем случае он меня тронул наподобие паралича. Как бы то ни было, он тронул меня не в пору, потому что я уже имел предписание. Когда никто из канцелярских служащих не хотел со мною для помощи ехать, питомец мой, г-н Кунцевич, объявил желание не отставать от меня и беречь архив.

Собравшись наскоро, поехал и повез на 14 подводах дела. По дороге и потом в Невеле нашел я весь Витебск с подобными транспортами; так же: гимназию, семинарию, белое и черное духовенство; а некоторые, выехавшие с женами и с грудными детьми, едва имели насущные сухари, приправленные горькою судьбою. Все это составило такой унылый маскарад, на котором танцевать никто не охотился.

По прошествии 4 дней, которые пробыл я в Невеле, получено из Витебска губернаторское предписание, чтобы Приказ общественного призрения возвратился в Витебск со всеми бумагами. Из сего не трудно было расчесть, что и мне можно еще съездить в Витебск и возвратиться в Невель при случае нужды.

Я, оставя при архиве вышеупомянутого мною Кунцевича, спешил забрать последние из Витебска вещи и видеть оставленного при смерти в доме моем друга моего, или уже обнять его могилу. Но, не доезжая до Витебска 10 верст, захватили меня, в доме помещика Эньки, человек с 30 конных французов, часу в 11-м перед полуднем. Прежде всего потребовали они от хозяина вина, водки. Насандаливши носы, бросились разбивать, в глазах его, сундуки, шкафы, комоды, бюро; потом в амбары, в конюшню, в каретной сарай; взяли лошадей, коляску, которую запрягли и нагрузили всем что легче и дороже, с помощью наших людей, побуждая их к тому по плечам; и мой кучер Малахов никогда так проворно не работал. Взяли моих лошадей с упряжью, из чемодана побрали белье, бритвы с прибором, столовой на одну персону серебряной прибор и 1500 руб. ассигнациями. Прочее все, что было в чемодане, оставили. Один из победоносцев, несмотря на мой орден, снял его с шеи и уже ладился спрятать. Тогда у меня потемнело в глазах; но начальник их, взяв от него, возвратил мне. Я, перешедши мгновенно от удара в радость, чуть не пал, из благодарности, на колени перед великодушным начальником грабительства.

В тот день случилось у хозяина в гостях соседи с женами и с малолетними дочерьми; у них так же отобрали лошади и дрожки, а со всех нас сняты сапоги.

Я предполагал уйти из дому, но они, попеременно, везде разбегались верхами, следственно, везде бы я к ним попался в руки.

Находившийся при мне одиннадцатилетний друг моего сына, учившись в гимназии и наслышавшись от разговоров, что Франция произвела многих великих людей и что она упредила нас в науках, следственно и во нравственности, смотрел на все безбоязненно; но один из великих во нравственности треснул его кулаком в висок, так что он ударился другим о край дверного замка и пробил голову. Малолетний, ощутив кровь, сказал мне:

«Не тревожьтесь, мне не больно, только что кровь течет». Я удалил его, а сам скрылся, в темный угол каретного сарая, и там, в полуразломанной карете, просидел до самой ночи, пока они уехали.

Все ограбленные и уstraшенные, когда я к ним показался, сказали мне, что герои обо мне спрашивали раз 30. «Где тот барон, который с крестом? Отдан ли ему крест?»*

* Они всякого благородного или помещика называли бароном; ограбляя и разоряя всех и каждого, они пропасть наделали босых баронов. Г. Д.

Нет сомнения, что они в другой раз хотели его от меня взять и что начальника бы их на ту пору уже не случилось.

Несчастный хозяин и помещик от нас скрылся, а мы, в числе человек 12 с служителями, препровождали ночь в овине.

На рассвете, по общему совету, положено пробраться к одному из сонесчастливых, витебскому гражданину Симоновичу, версты через три. За неимением нигде лошадей, едва я мог найти в мою брику быка; а сами вей, босиком, достигли, при восходе солнца, пристанища, состоящего из одной горнички с анбаром и сарая пред овином, в котором я скрылся с брикою моею.

В тот же еще день посетили нас другие воины. Мы удалились в кустарники, в леса и — куда кто умел; а они забрали у хозяина весь хлеб печеной, одежду, сколько нашли, лошадей, большой и мелкой скот, домашних птиц, взрыли везде полы и сожгли несколько ульев пчел. Из брики моей взяли, на сей раз, с половину оставшихся вещей, состоявших в одежде; прочее все разломали, разодрали, разбросали и удалились.

По удалении их сказали мне многие единогласно, что хозяин Симонович сам французам указал мою брику*. Как бы то ни было, Симонович, желая спасти себя, советовал мне от него удалиться, говоря, что брика моя была причиною и его несчастья.

Я, сам-третей с моими людьми, перетащил облегченную уже брику через версту, потому что лошадей ни у кого уже не осталось, и водворился в стоящую близ перелесков повет, принадлежащую крестьянину г-на Энки. Здесь дали мне крестьяне, по просьбе моей, в ведре воды, а вместо ковша большую фарфоровую бульонную верхнюю чашку и ободранные уже красного дерева кресла, похищенные из господских домов. И здесь также, не прерывая заведенного в армии порядка, посещали брику мою через пять дней солдаты, иногда пешие, иногда конные, но, не находя в ней ничего, напоследок ободрали сукно и часть кожи и, выбросив из пуховика и подушки пух, наволоки обратили в казну; а я, в продолжение сего, с присовокупившимися ко мне по сему же несчастному жребию несколькими канцелярскими служителями, при каждом приближении к нам просвещенного народа, бегал по лесам и по болотам и там ночевал с ними. Мой малолетний телемак³, разделяя со мною горькую чашу, сказал единожды:

* Уже спустя три месяца, видал я Симоновича, шедшего в Витебске в шинели моего слуги. Г. Д.

«Вот попались, к больному батюшке не доехали, а в Невель возвратиться нельзя».

Не имея уже что сберечь, перестал я скрываться; но один из новонаступивших героев доказал мне практически, что я думал погрешительно; он замахнулся на меня саблею и, показывая мне прусскую сребреную монету, требовал таковых же; но видя, что я указываю ему на босые мои ноги, снял с меня шляпу, панталоны и рубашку.

Нетрудно приметить, что воин сей был человек с расчетом. Он тотчас сметил, что ему нужнее рубашка и панталоны, нежели халат; мне же, в моем положении, халат был нужнее, нежели рубашка и панталоны. На сем благоразумном рассуждении основал он свое решительное определение и его исполнил.

Оставшись в одном халате, получил я от моих слуг манишку и холстинные панталоны, а один из канцелярских служителей снабдил меня шляпою. При сем случае вспомнил я жребий несчастного мексиканского государя Монтесумы, к ногам которого бросились, в слезах, его служители, перекладывая хлопчатую бумагу между его телом и железом, когда бесчеловечные гишпанцы положили на него оковы. Это меня облегчило; а прекраснейшее и наиплодоноснейшее во всех прозябениях — из всех прожитых мною в Белоруссии 35 — лето подкрепляло и сохранило жизнь мою.

В продолжение 6 или 7 дней видели мы из лесов и кустарников, как отряды армии, рассыпаясь, грабили каждодневно все то, что могли найти в помещичьих и крестьянских домах, и разоряли, с удивительным мужеством и храбростью, все то, что с ними никогда не сражалось.

Подобные герои напали на деревню витебского помещика Лукомского, вскочили в дом его, начали ломать, разбивать, грабить, схватили его самого. Юный сын бросился защищать несчастного отца, отец схватил сына в объятия, но выпустил из объятий уже застреленного. Таким образом, убитых в разных местах начали было привозить в Витебск и ставить на площади подле Воскресенской церкви, против бернардинского кляштора⁴; но начальство французское запретило ввоз военным тарифом. Ему легче было позволить убийство и грабеж, нежели видеть исполнение позволения.

Сам князь N, квартируя в Витебске в доме доктора Сварацкого, обнадеживал несчастных на польском языке сими словами: «Вы

будете разорены, вы будете бедны, но будете иметь свое отечество». К сему спасительному увещанию надлежало бы дополнить: вы умрете с голоду или будете расстреляны, но будете иметь свое отечество.

Какое имя ты, лесть груба, злу дала!

Убийство и грабеж геройством назвала.

Сумароков

Нужно ли знать, чем я питался?.. Мы ходили сам-друг или сам-третей в ближайшие деревни, доставали за деньги хлеб, крупу, молоко и в лесу варили кашицу, имея на 6 человек две деревянные ложки, ножик, горшок и боле ничего. На сем месте вспомнил я афинского Аристиды, и он меня утешил.

В артели нашей был вышесказанный одиннадцатилетний друга моего сын. Он, чувствуя зрением и вкусом недостаток пищи, иногда мне повторял: «Я есть не хочу, вы только не беспокойтесь». Понимая источник его речи, кровь в жилах моих останавливалась и, к большему в моих горестях несчастью, не мог я плакать, подобно больному, которой спать не может.

В один день пошел я, сам-третей, добывать пищи. Нахожу в деревне, принадлежащей нашему губернскому прокурору, полную улицу мужиков и женщин пьяных, торжествующих день расхищения господского с напитками погребя.

Когда мы вошли к одному мужику в сени, прося у него и у хозяйки продать нам хлеба и молока — женщина поднесла мне старого венгерского вина в замаранной рюмке из неполной уже бутылки, при которой был из бересты ярлычок с надписью 5 = — знак = значит червонец. Мужики требовали, чтоб я им сказал, как оно называется. Мне рассудилось назвать его им дрей-мадера; и они начали повторять, чтоб не забыть. Добывши от женщин кувшин молока и несколько ломтей хлеба, испеченного из господской расхищенной муки, лишь только хотел им дать серебряную полтину, как один из моих спутников, вбежавши с улицы в сени, шепнул скоростижно: «Уйдем поскорее». И только что я показался на улицу, вдруг закричали мужики: «Это шпионы; нам надобны хлеб и молоко для французов». Один из них бросился ко мне с веревкою, вязать, и схватил меня за конец рукава моего халата, а другие бросились ломать из плетня колье.

Я, вырвавшись, кинул им пятирублевую ассигнацию, а сам пустился в ретираду форсированным маршем; спутники мои

сделали то же! Пьяные мужики не могли долго гнаться, может быть, участвовала в том и пятирублевая ассигнация. Мы скоро вбежали в лес. Голод наш был больше страха: мы не кинули молока и хлеба.

После уже мне сказали, что у них тогда находился французский офицер и бранил их за то, что они бросились меня вязать и что кричали: нам надобен хлеб и молоко для французов. Вероятно, это был поляк: они, при многих случаях, мягкосердечнее других народов*. Другой же нации не мог бы с нашими мужиками объясняться.

В последние два дня такой жизни мы услышали, что Наполеон уже в Витебске и что, в почесть ему, грабеж уменьшается. Но это была мечта бедствующих, ибо грабеж шел своим чередом.

Напоследок, мы, для перемены воздуха и образа жизни, согласились итти в Витебск большою дорогою. Собралось нас, из окрестностей лесных и болотных, обоего пола, человек более тридцати. Женщины, иные с детьми при грудях, иные вели их в руках; мушины старые, средние, юные им предшествовали или последовали, кто как попал, и почти все были босиком.

Когда пробирались мы на большую дорогу, атаковали нас еще пешие герои в серых шинелях. Вдруг является из-за кустов конный офицер и приказывает великодушно пропустить нас, как таких неподозрительных людей, у которых взять уже нечего.

Мы, проходя по пути через дом г-на Енки, видели там множество квартирующих и фуражирующих, между навоза и собственной нечистоты, как жуков, французских воинов, которые нас не затрогали. Но в доме уже не видно было ни стекол в окнах, ни дверей, ни целой огорожи.

При самом входе в Витебск разночинцы мои рассеялись, кому куда Бог послал, а мне встретилась маневрирующая конная гвардия. По всем улицам, которыми я проходил, видел во всяком окне дома, набитых французов, и каждой дом, сараи, повети, анбары наполнены были ими же. Никого из граждан по улицам не было видно, кроме беднейших и евреев. Лавки и винные погреба пусты; двери везде отперты, разломаны, стекла побиты, затворы окон порасколоны, иные висят на одном крюку в диагональ по окну. Церкви, косциолы⁵, кляшторы наполнены были больными, ранеными и всеми принадлежностями, для них и для лошадей. И

* Любопытно, что в издании «Виленского сборника» слова: «они, при многих случаях, мягкосердечнее других народов» — пропущены и пропуск не обозначен. *Ред.*

Витебск казался мне совсем уже не тот, в котором я жил и служил 15 лет.

В три месяца с лишком бытности их в Витебске не слышно было ни колокола, ни петуха. Первый был запрещен, а второй был съеден.

Бывают в жизни места или пункты, которых забыть чувствительность никогда не допустит. На Подвинской улице бросился ко мне почти на шею молодой шляхтич, вскричав на польском языке:

«Боже? что я вижу? Это наш г-н советник!»

Некстати мне было спрашивать его, кто он; но, сколько я ни силился отвечать ему знакомством, не больше успел, как только заметил, что он бывал иногда в нашем департаменте поверенным от некоторых знатнейших витебской губернии помещиков. Мы обнялись и пролили слезы.

«Вам нужно теперь,— сказал он,— выпить рюмку вина; вот моя квартира у гражданина Лопаты».

Вошедши и поблагодаря за доброхотство при нужде, спросил я его: «Вы же о чем беспокоитесь?» — «А вот моя жена,— указывая на прекрасную женщину, лет 20, лежащую в постели,— она скинула мертвого ребенка, испугавшись от набежавших в мою комнату с саблями победителей».

Он дал мне, по желанию моему, рюмку водки, которая, при диете, разлилась по внутренности моей, вместе с незабвенным и достопочтенным для меня именем, г-на Зборовского.

Он продал мне свою новую шинель, которая и была единым мне покровом, во всю бытность в Витебске неприятелей. Прокурорша наша приказала сшить для меня рубашку. Мир ей праху!

Тогда у нас продавался фунт печеного хлеба на медь 1 руб. 50 коп., ведро хлебного вина 10 руб. сер., а рубль был средней в 450 коп. медных.

Домой пришел я не на радость. В нем квартировал генерал, министр военной полиции.

Непростительно мне, что я не припомню его фамилии; но простительно, потому что я и сам себя тогда не помнил. Впоследствии времени, видел я, что физиономия его и обращение согласны были со внутренними достоинствами наилучшего в нем человека.

Решетки, отделяющие сад от подворья, поломаны и разбросаны, везде вокруг дома и сада проломы. Везде праздношатающиеся служители и солдаты. Сад обращен в конюшню и пастбище,

езде настой и смрад. Моя склонная природа к чистоте, порядку и тишине в другую бы пору воскипела; но, претерпевши и потерявши много, я смотрел уже на все почти равнодушно. Лучше сказать: от самой чувствительности я обесчувственел, окаменел; особливо тогда, когда друга моего нашел я лежащего в башне, отчаянно больным, но при здоровой памяти и рассудке. Я утешал его тем, что, ежели бы я и все потерял, нимало не огорчусь, только бы он выздоровел — хотя и видел, к неизобразимому моему несчастью, что ему не выздороветь. Он также мне обрадовался, сколько болезнь ему позволяла, и сказал: что мы еще не совсем несчастны, когда я вас вижу. Жена его рассказала, что она, перед первым набегом на дом партии неприятельской, схватила в замешательстве и почти в беспамятстве несколько пар чайных чашек, банку липцу и других мелочей и тысячу рублей ассигнациями и зарыла на грядах. Но солдаты, рассыпавшись, тотчас заметили копаное свежее место; чашки, банку и другие мелочи разбили, а ассигнации унесли с собою.

На другой день прибытия моего переводчик штата генеральского служителю моему сказал: «Здесь квартира для генерала, а в нее теперь пришел человек неизвестный; он должен явиться к генералу, а не то у нас суд короткий, его расстреляют». Роман мой умел ему отвечать, что господин его пришел домой в халате, босой, что ему надобно одеться и обуться и что за это его расстрелять не следует.

Сюртук друга моего и сапоги ко мне пришлились; я явился к генералу в ордене.

Орден, часы, табакерка и 180 руб. ассигнациями спрятаны были в земле, под диким камнем, при той деревне, где я скрывался и бегал. Верный мой Роман, бывший со мною в дороге, в самый еще день прибытия моего в Витебск, убеждал меня послать его за сими вещами. Сколько я с ним ни спорил, что надобно повременить, потому что теперь на дороге его ограбят; однако ж он одержал верх, нашел где-то лошаденку и, на другой день на рассвете поехавши, привез под вечер все, как будто для того, чтоб я к нечистой силе явился не без креста. Чтоб почувствовать в полной мере, сколь драгоценна в таком случае верность и расторопность в слуге, надобно быть на моем месте. Я уже лишился сего верного человека. Он умер. Горе к горю!

Генерал принял меня не грубо; подставил сам стул и говорил со мною через переводчика. Я, чтоб его и себя не затруднить, дал

ему о себе краткую записку, кто я? и что со мною при окончании пути случилось? и отклонялся.

После сего, на третий день, он потребовал меня к себе ввечеру и принял с прежнею вежливостью; спрашивал: как называется мой орден, какой я имею чин, как давно служу. Переводчик не пропустил спросить, чего стоит мой орден? Мой ответ был: «39-летней службы». И, тотчас обратясь к генералу, сказал ему, что «я имел счастье на мой орден получить, от моего государя, рескрипт».

Он угощал меня французским вином из стаканов моего буфета и сказал: «Наш государь вашему государю друг; вы как служили одному государю, так можете служить и другому; Наполеон сам это подпишет на общей бумаге, так как он подписал в Варшаве и в Вильно».

Я нашелся бы, что ему на это отвечать; но как участь моя похожа была на лесажева Жилблаза⁶ в подземельном жилище у разбойников или на вольтерова Гурона под тремя засовами в темнице, то я, встав со стула, благодарил его немим поклоном и при том сказал: «Желал бы я, чтоб записка моя, данная позавчера его превосходительству, была переведена». Он отвечал, что она прочитана; и я в другой раз ему поклонился и вышел.

Он простоял в моем доме от прибытия моего дней 13 и всегда, когда я к нему ни показывался с визитом, просил меня или французским вином, или французскою водкою. Но, кроме визита, войти мне в мои покои не позволяли. А служители, штат его, солдаты, каждодневные производили в доме требования, грабежи; таскали мелочные остатки и сложенные у меня господ Коссова, Старинкевича и Зеленки вещи; обдирали стулья, ломали в саду деревья. Мои экипажи выброшены были в сад, и там на дожде, мокли ободранные, а их поставлены на место моих.

В один день генерал, позвав меня, спрашивал: «Чьи это вещи?», указывая на сложенную мебель и ящики. По ответе моем он велел записать имена и чины служивших. Потом спросил: «Для чего они сложили у вас, а не у другого кого?»

— Они были мои приятели.

— Что в этих ящиках?

— Не знаю.

Он приказал их откупорить, говоря, что им, кроме напитков и сахару, ничто не надобно. Адъютант запустил руку в сено, коим перекадены были в ящиках вещи, и, не нашед напитков и сахару,

сказал, чтоб люди мои заколотили ящики по-прежнему. Но когда я вышел, возвратился посмотреть, скоро ли мои люди управятся, нашел г-на адъютанта, занимающегося вновь испытанием ящиков. Несколько мелочной столовой фаянсовой посуды выставлено было уже на стол. Он, увидев меня, казалось, посовестился и, указав на посуду, сказал, что это им не надобно, однако ж ящики остались откупоренными; а ключи от всего отобраны ими были при самом еще въезде в дом, и от всего хлебного и другого столового запаса, от столовой, чайной, поваренной и буфетной посуды, не осталось в доме ничего.

Наполеон каждодневно, и почти всегда в 7-м часу пополудни, выезжал за город в разные стороны верхом. За ним следовало всегда конницы до 700 человек разных наций. Шествие замыкали поляки с значками, трепещущими от слабого дуновения ветра. Я, смотря на это, рассуждал сам с собою, ибо с другими рассуждать было опасно: «Ежели ему такое количество потребно для показания величия и славы, то для Витебска слишком много чести, потому что в нем знатнее меня и доктора Сварацкого никого нет; ежели ж оно нужно для охранения его жизни, то участь его незавидна».

Мне очень хотелось прочесть его физиономию; но как я по природе близок, и в 6 шагах не могу с первого взгляда узнавать без ошибки человека в лицо, а лорнеты мои с другими вещами французами похищены, то не грех побожиться, что я его не видел.

По выезде генерала с Наполеоном в поход, я поспешил, сколько можно, очистить мои покои и друга моего с башни перенести в мой кабинет. Вдруг набежала партия солдат, рассыпалась по всему дому и требовала занять все покои. Мне много стоило труда удержать большого в кабинете, чтоб его не выбросили. Потом выбежали из дому; явилась другая партия, потом третья, и все производили, одна за другою, единообразные свои маневры, разбегаясь по покоям, по саду и повсюду. Приметно было по их хищным лицам и движениям, что им хотелось серебра и золота*; но бедные сии люди не знали, что у нас не Гишпания и не Голландия, не Англия, не Перу и не Мексика.

Я тотчас пошел просить коменданта о соблюдении порядка. Он отвечал через переводчика, что пришлет ко мне жандарма

* Переделано из следующей фразы: «Приметно было, что они и сами не знали, что им надобно. Вернее сказать, что они искали серебра и золота».

для квартирования, дабы он охранял меня и мой дом от набегов и опасностей; однако ж это не исполнилось, а между тем наскочила еще партия, увела моего человека, и я считал его уже пропавшим; но он имел больше верности и привязанности ко мне, нежели похитившие его расторопности или охоты, чтоб его удержать. Он возвратился ко мне часа через два; а между тем лекарь и больной капитан, со слугами сам-шесть и с пятью лошадьми, остановились у меня сами собою, заняли весь дом и поддерживали нечистоту в совершенной и самой отвратительной степени. На стенах, между эстампами, развешивали сырое мясо, от долговременности которого смрад наполнял покой. На фортепьяно ставили кастрюльки; от утра до утра топили печи, трубы не закрывались, двери и окна не затворялись. Имея перед глазами дрова, разбирали заборы, доламывали штакет и в покоях рубили на топление печей, в самую лучшую теплую погоду; а вокруг покоев, через отверстия всегда окна, извергалась всякая нечистота и, вместе с воздухом возвращаясь, служила питанием больному капитану.

Нелишним почитаю, хоть для примера, сказать: каких качеств и познаний людьми, или какою сволочью обогащена была армия великой нации. В один день слышу я треск металлический в том покое, в котором лежал больной капитан. Сквозь досчатую решетку, разделявшую меня с ним, увидел я, что он вывинтил из стены один из бронзовых наличников, на которых прежде стояло стенное зеркало, и ломает его. На ту пору входит к нему денщик. Капитан, показав ему свой труд, говорит: «Это золото». Рыжий денщик, осердясь, что капитан его не мастер находить золото, схватывает изломок, бросает его с размаха на пол, схватывает скоропостижно со стены эстамп и, в доказательство капитанской ошибки, показывая ему медные при рамах колечки, удостоверяет его, сердясь, что «и это такое же золото». Бывший тогда при мне малолетний питомец, г. Томашевский, перевел мне жаркий их спор, которой довольно показывает жадность их и глупость.

Каждый день приносил с собою мне и служащим новые тревоги. Описывать подробно все их злодеяния потребна была бы целая книга. Многие из разоряемых граждан просили, искали удовлетворения у французских начальников; но правосудие оказываемо таково, каково бывает для притесненных, содержащих своих притеснителей на развалинах собственного иждивения. Вероятно, что начальники и не в силах были удовлетворять, по-

тому что приказания их никто не слушал; похоже, как будто они или все были начальники, или все подчиненные.

Между тем как сии общие и частные горести не уменьшаются, августа 11-го посетил меня рок таким ударом, какого со мною, во все прожитые мною 60 лет, еще не случалось. Друг мой скончался на 33-м году жизни, оставя жену и малолетних детей. Каждодневное ожидание смерти его бессильно было ослабить во мне мученье. Ужасного во мне действия скорби, печали или малодушия изъяснить перо мое не в силах. Я вижу прекраснейшие нынешние дни, но ими не наслаждаюсь и, по чувствам моим, должен сказать, что солнце светит уже не для меня. Прошел месяц после его смерти, а лютая болезнь моего сердца все еще на той же степени, на какой была и в день смерти его. Может быть, это — по мнению некоторых — и оттого, что я мало имею связи с обществом, в кругу которого можно бы рассеять или уменьшить несносную грусть мою; но это для меня дело невозможное; во-первых, потому что у нас теперь общества нет; во-вторых, потому что ежели всякой рожден с собственным темпераментом, то и я должен сказать, что всякую в моей жизни горесть общество мне всегда умножает. Мне приятно в нем быть тогда, когда сердце растворено удовольствием.

Душевные друга моего качества и способности ко всякому долгу, его предусмотрительность во всяком деле, экономия, коммерция, садоводство, прививание оспы, кухня, столярное, фельдшерское, парикмахерское ремесло, сапожничество для меня и его, и проч., чему он приучал и других моих людей; порядок и чистота в доме и в горнице; везде достигающий его глаз, деятельная рука и драгоценная его ко мне, в продолжение 18 лет, дружеская верность и приверженность составляли — могу сказать — сотворенного мною друга моего Михаила Яковлевича Двинского. Он принадлежал мне по крепости, но душу имел благородную, и за достоинства мною уволен⁷, а магистратом принят в гильдию.

Люди нежного вкуса, называющие и собачку «мон-кер, мон-ами», имеют свои причины сказать: «Как это низко, назвать другом человека, который был его крепостной!» Напротив сего, я также имею свою причину сказать, что он сам с себя достоин был начать свое звание; многие, получа оное по наследству, сами на себе оканчивают.

Давно уже я укрепил за него городской мой дом, а за городом землю с постоянным домом, и пространном, им же самым геометрически разбитым и садовнически разработанным, садом и ого-

родом, приносившими, почти в начале своем, годового дохода до 500 рублей и достаточное для дома годовое земляными плодами продовольствие. Война все опустошила; а остатки растащили растощенные витебские жители.

Таким образом, возложав все на его честность, способность и преданность, ни о чем не заботился, как только о должности; а после полудни, оставалось время ходить по саду, поджидая иногда небольшого кружка избранных приятелей, когда табельные дни и годовое время позволяли; и ничем столько не веселился, как каждоминутною и на всяком шагу сопровождавшею меня мыслью, что я упрочил мою маленькую принадлежность достойному и наилучшему человеку, которой погребет мои кости. Рановременная его смерть показала мне, что слабый смертный, родившийся в сей горький мир, не властен распоряжаться своим жребием. Скоро наступит зима, не знаю, переживу ль я ее. Когда я воображаю о собственной смерти, смерть друга моего облегчает ее; но малолетные его сироты удерживают меня при жизни. Отец, потерявший одного и последнего 12-летнего сына, был, по-видимому, в подобном моем сокрушении; изречение его, вложенное в его уста счастливым пиитом, или им самим написанное, прилично и мне:

Паду, как бедная обитель,
На столб опершая чело,
На коего, всего рушитель,
С косою время налегло!

§ XXXXVII

1812 года, октябрь

Изгнание неприятеля

Рыцари, коих в сие время в Витебске оставалось около тысячи человек⁸, угрожали, что они, в наступающую зиму, оденутся в женские салопы, которых, по их словам, осталось еще на их долю. Однако ж они ожидали уже своей участи; и, в течение последних трех недель, трикратно нагружали свои повозки и трикратно выгружали. Часто взлезали на крыши домов и смотрели во все стороны.

26-е число, поутру рано, был спасительный день изгнания их из Витебска; грекороссийская здесь церковь празднует день сей každогодным Господу Богу молебствием.

Неприятель в Витебске разделился на три неравные произвольные части; одна выпалила из двух пушек и из мелкого ружья по несколько зарядов, с левой на правую сторону Двины, против наступивших наших. Другая, рассыпавшись по городу, докапывала спокойно на огородах картофель и бураки. В тот год и октябрь был столько же хорош, как август. От неприятелей запрещено было хозяевам собирать плоды садовые и огородные. От рановременного употребления первых множество их погибло кровавым поносом. Свидетельствуют о том каски, оставшиеся от них по оврагам, а тела расташены зверьми и собаками.

Третья (часть) тот же час бросилась в бегство из города во все стороны; все они взяты в полон, комендант их недалеко от города отбежал⁹. При взятии его один из наших воинов зацепил за его карманные часы, но столь неповоротливо, что комендант успел обнажить саблю и дать ему смертельную рану, от которой непроторный солдат через сутки умер, как будто в наказание за то, что прежде принялся за часы, нежели за комендантскую саблю.

Известно уже и без моей повести, что из всех мест России, начиная от Москвы до Германии, прыгали неприятели балет с променадом и, где прилично было, аплодированы русскими пулями и штыками. Сам Наполеон поспешил сыграть на свою долю два бенефиса на островах Эльбы и Св. Елены.

Из полумиллиона, или — как тогдашнее время гласило — из миллиона регулярной саранчи Наполеон успел увести с собою только 40000. Прочие все: иные остались в плену, иные потом замерзли на снегах, в лютую тогдашнюю, как будто для них приуровленную и вдруг наступившую зиму, иные погибли* от голода. В сем последнем случае — по уверению самовидцев — подмосковной простой народ, не знающий тактики и стратагемы, запрашивал их в пространные избы, снабженные хлебом и молоком, и, вместе с избами, сожигал их скоропостижно. Такое вероломное гостеприимство, в другом случае, раздирало бы нравственную и чувствительную душу; но мне, в тогдашнем моем положении, оставалось только удивляться и благоговеть к постоянному порядку, существующему непрерывно от язычества до христианства, от христианства до Америки, от Адама до сего дня; в чем не

* Зачеркнуто: «от угара в белорусских карчмах».

дадут солгать ассириане, персы, греки, римляне, мавры, моголы, чингис-ханы, аттилы, Магомеды, пизарры, кортецы, римские понтификаты и сам Каин с Авелем; не говорю уже о народе возлюбленном, который в царствование Тиверия Кесаря и управление Иудеею Пилата торжественно отозвался: «кровь его на нас и на чадах наших». Московский же простой народ вправе был думать, что не он зачинщик драки: «На починающего Бог» сказано пред войною в высочайшем манифесте. Сказано и исполнилось.

Фридрих Великий, в собственноручной «Истории своего времени», сказал, как будто для нашего времени, что «неприятели вступили как римляне, а выступили как татары».

Губернатор Сумароков, за несколько времени пред войною, переведен на такую же должность в Великий Новгород.

Вскоре возвратился в Витебск и г-н гражданский наш губернатор Лешерн. Я встретил его в его квартире. Он меня сперва не узнал, потому что парика уже на мне не было.

Зимою он препоручил мне сожжение и зарытие мертвых неприятельских тел в Невеле и в Велиже. В сих двух городах, в домах и окрестностях, найдено их более тысячи, в военных мундирах. Они, по предписанию, сожжены и зарыты в пространные ямы. Народ оживился упованием и даже почувствовал, что он весною свободен будет от моровой язвы.

Недолго мы видели нашего доброго начальника Лешерна, он переведен в Гродно, а должность его, по случаю смерти вице-губернатора г-на Сушки, заступил губернский прокурор Маньковский. Я не должен пропустить в молчании того, что он в сие, хотя краткое, но еще смутное и отчетистое время, показал себя неусыпным и взыскательным, с благоразумием, которого ему по натуре не доставало. К нему прислана из Петербурга складочная от сердобольных сердец денежная сумма в пользу разоренных, собранная под особенным попечением и с пособием всевысочайшей фамилии, с поименным расписанием, кому сколько вручить. Я получил на мою долю 1500 р. ассигнациями. Состояние мое поправилось; и в то же время прибыл в Витебск губернатором Петр Петрович Тормасов, человек светской, обходительной и снисходительной. Стол его для всякого, по приличию, был открыт, и каждой принят был отверстым сердцем, а особливо тот, кто играл в карты.

Вскоре за сим был я счастлив получить из Петербурга от Его Королевского Высочества, герцога Александра Вюртембергского,

благосклонное письмо, извещающее о перемещении меня из советников в прокуроры. Хотя же пост сей не возвысил меня ни жалованием, ни классом, но отличное благоволение особы, которая по крови не чужая всем почти европейским престолом, радовало меня. Все, казалось, пошло своим чередом, и мне оставалось только оправдывать милости и не терять, или паче возвысить всеобщее о себе хорошее мнение.

Примечания

¹ Лабет — ремиз (т.е. штраф) в карточной игре.

² Так мемуарист называет австрийского императора.

³ Т. е. Телемах, сын Одиссея.

⁴ Кляштор (пол. klasztor, бел. кляштар) — монастырь.

⁵ Здесь — костелы.

⁶ Жиль Блаз, герой романа Алена Рене Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантьяны».

⁷ Т. е. М. Я. Двинский был его крепостным, а он отпустил его на волю («увольнен»).

⁸ Численность французского гарнизона оценивалась историками в 600—800 человек.

⁹ Комендантом был полковник Ф. Шаварде, попал в плен 26 октября 1812 г.

ВОСПОМИНАНИЯ БЕККЕРА О РАЗОРЕНИИ И ПОЖАРЕ МОСКВЫ в 1812 г.

В обширном собрании статей и материалов, еще не напечатанных — имеющих в распоряжении редакции «Русской старины», — находятся, между прочим, «Воспоминания Ф. Беккера» о пребывании его в Москве, в течение всего времени обладания ею Великою армией французской. Статья эта доставлена нам в ноябре 1870 г.; но за наплывом множества других монографий, записок и исторических документов — не могла попасть на страницы «Русской старины» в течение четырнадцати лет. Не знаем, жив ли ныне почтенный старец, доктор, питомец Московского университета — автор этих «воспоминаний», тем не менее винимся пред ним или, если его уже нет на свете, пред близкими к нему, в том, что не поместили его интересного рассказа четырнадцать лет тому назад. Полагаем, однако, что достоинство и интерес воспоминаний нимало от того не умалились. Ред¹.

I

Нынешнее (т. е. в ноябре 1870 г.) положение Франции, а особенно Парижа, мне напомнило мое детство. Пусть же и французы испытают, каково сидеть на диете, как мы сидели в Москве в 1812 г.

Шесть недель мы питались единственно картофелем, капустою и коренною-соленою рыбою; хлеба же и кусочка в глаза не видали!

Так как теперь собирают старину, а с тех пор прошло уже более полувека, и едва ли есть еще очевидцы того знаменитого вре-

мени, то я решаюсь пересказать некоторые черты мною испытанного и виденного в 1812 г. Для этого я начну немного выше:

Отец мой, саксонский подданный (по фамилии Беккер), прибыл в Россию в царствование императора Павла через Петербург в Москву, где и поселился. Он сначала завел небольшую торговлю, но, не имея ни малейшего купеческого таланта или оборотливости и при совершенном незнании русского языка, в скором времени разорился и впал едва ли не в крайнюю бедность.

Для поддержания семейства мать моя обучилась акушерству и маленькою своею практикою содействовала нашему содержанию.

В эпоху, о которой я хочу говорить, нас было четверо: сестра 11 лет, я — 8 лет, брат — 5 лет и еще брат — полуторагодовалый.

Это было в конце августа 1812 г., около 25 и 26 чисел. Погода стояла превосходная, сухая, теплая. Мать моя уехала в Рязанскую губернию к помещику, мы же с отцом оставались в Москве, жили в Бронной, в старом деревянном доме, да и вокруг нас в то время, кроме мелкого деревянного строения, никакого другого не было. Теперь все это переменилось.

Живо помню, что в это время в Москве уже стало чрезвычайно пусто. Случилось раза два идти с отцом с Бронной на Мясницкую, через Тверскую и Кузнецкий Мост, то едва, там и сям, попадется человек, а всякий знает, что это самая живая и многолюдная сторона в Москве.

Однажды только нам попался около Тверского бульвара крестный ход и был слышен сильный колокольный звон, но провожатых за ходом было очень немного, а экипажа решительно ни одного. Я спросил отца, для чего это, то он мне сказал, что празднуют победу. Должно быть, что это было за бородинское дело. Прошел крестный ход, и водворилась тишина и пустота; как есть ни один человек ни вблизи, ни вдали. Меня это поразило; я опять спросил отца: «отчего такая пустота?» На что он мне сказал: «оттого, что скоро французы придут».

Таким образом прошло еще несколько дней. Вдруг отец, пришедши домой, приказал нам собираться, что мы переезжаем на другую квартиру. Когда я его спросил: «для чего это?», то он мне сказал, что, бывши у своих знакомых-немцев, ему сказали, что в нашей стороне оставаться опасно, по совершенной опустелости и по причине сплошных деревянных строений. И действительно,

совершенно было пусто; последний человек, оставшийся в доме, был какой-то мастер, делавший балалайки. Я накануне того дня, видя, что он собирается и берет топор, спросил его, куда он идет? Он мне ответил, что идет на Воробьевы горы — бить французов².

Надобно сказать, что семейство наше состояло, как сказано выше, из четверых детей, отца, служанки (пожилой солдатки Василисы) и старой барышни, которая называла себя княжною***³ и нанимала у нас с своею компаньонкою комнату. Недолги были наши сборы: взяли с собою только несколько подушек и белья; то же сделала и наша жилища; все это мы понесли на себе и отправились в дом, замыкающий Тверской бульвар, у Никитских ворот. Там мы поселились без всякого спроса в двух больших комнатах, в одной мы, а в другой княжна.

На следующий день отец мой принес саблю, а Василиса полный фартук штофов и полуштофов с разными напитками, из них были и сладкие, которых нам отец дал попробовать. Когда я спросил его, «откуда все это взялось», то он мне сказал, что из арсенала и кабака, которые отданы в пользу всем желающим. Можно себе представить пустоту, когда на долю бабы достался полный фартук напитков.

Следующий день было воскресенье; учиться меня не заставили, и я с самого утра вышел на крыльцо, которое выходило на улицу прямо против Большой Никитской. Тут я увидел сильный дым, против себя, как бы в конце Никитской; я передал это отцу, и он отправился в ту сторону. В скором времени, возвратившись, он сказал нам, что город (так называется в Москве Гостиной двор или ряды) горит. Тотчас он поднял в комнате половицу и спрятал под пол саблю и все штофы и полуштофы с напитками. На мой вопрос, для чего это, он сказал, что «так нужно, вероятно, и у нас будет пожар». Нас, детей, конечно, это очень мало беспокоило, и я продолжал зевать на крыльце, против которого дым становился все больше и гуще.

Около обеда, когда я стоял с отцом на крыльце, против нас остановилась небольшая группа верховых, в фуражках и серых шинелях; то были военные. От них отделился один пеший в партикулярном платье и, подошедши к нашему крыльцу, спросил, «нет ли у нас квасу». Отец сказал, что нет; «так дайте хотя воды — генералу хочется пить»; тогда отец мой вынес воды в ков-

ше (стакана не было у нас); он подал генералу, и, когда он напился, вся свита тронулась к Тверским воротам.

Я ясно помню лицо ехавшего впереди генерала: оно было белое, полное, круглое. Вернувшегося отца я спросил, кто это такой, и он мне сказал, что это Кутузов со свитою. Отец ушел в комнату, а я остался на крыльце.

Прошло еще несколько пеших, не замечательных людей, наконец подошел ко мне солдат, хромой, в серой шинели с красным воротником, и попросил у меня пить. Я вошел в комнату и сказал, что русский солдат просит пить. Отец вышел опять с тем же ковшом, подал ему пить и приказал спросить его, не хочет ли он вина, но он отказался, сказав, что он ранен. Отец дал ему немного медных денег, и он также направился к Тверским воротам.

Тут настала мертвая тишина: во все направления, на три стороны, налево — по Тверскому бульвару, направо — по Арбатскому и вперед — по Большой Никитской, ни души живой, ни стуку, ни шуму, ни голосу; кажется, и галки, и вороны, и собаки все исчезли. Видя, что смотреть нечего, я ушел в комнату. Настало время вечерен, но обычный колокольный звон нигде не раздавался. Прошел вечер, и мы легли спокойно спать. Так кончилось воскресенье.

II

На другой день, в понедельник, все еще было тихо и мертвая продолжалась тишина и пустота. Внезапно, в начале пятого часа, послышалась музыка; мы с отцом выбежали на крыльцо и увидели по левой стороне Арбатского бульвара идущую пехоту. «Это французы», — сказал отец. Когда они приблизились, я увидел, что они в синих мундирах, а не как наши русские в зеленых. Шло их очень много; они повернули направо по Никитской, в направлении к Кремлю. Они меня нисколько не заинтересовали, не были ничем замечательны. Когда они прошли, то вдруг, в другом направлении — от Поварской, пошла кавалерия; эта меня изумила. Подобного войска я не видывал: огромные светло-гнедые лошади, на которых сидели огромные всадники, в блестящих желтых металлических латах, с блестящими, также желтыми, шишаками на голове, с длинными конскими хвостами. Они ехали мирно, не имели никакого оружия в руках. Это были кирасиры, те самые,

которых мы, мальчишки, впоследствии называли беспардонными. Почему так — не знаю.

За ними стали показываться отдельные всадники; так, к нашим воротам подъехал гусар, но как ворота были заперты, то он оставил лошадь у ворот, сам пролез в подворотню и отправился в дом. Через весьма короткое время он опять вышел, сел на коня и уехал.

День уже клонился к вечеру, и мы легли спать. Но вдруг ночью мы слышим голос отца, приказывающего скорее вставать и одеваться. Мы тотчас это исполнили, а он между тем завязал в простыню две подушки и целую ковригу черного хлеба. Все мы были готовы. В эту минуту вошла к нам в комнату княжна со своею компаньонкою. Княжна мне подала так называемый погребец (ларчик с чашками и стаканами, обитый тюленью шкурою) и сказала: «неси». Я взял, и мы вышли на наше крыльцо. Тут увидел у меня отец ларчик и сказал: «брось!» Я поставил его на крыльцо и отправился с пустыми руками.

Когда мы вышли на средину улицы, я услышал позади себя сильный ветер и шум. Я оглянулся. И взору моему представилось ужасное зрелище. Вся правая сторона Арбатского бульвара в полном пламени. Противоположная сторона ярко освещена, а деревья на бульваре от сильного ветра качались из стороны в сторону. Все это ясно было видно, но где оканчивалось пламя, этого видеть было нельзя. Мы тотчас повернули налево, на Тверской бульвар. Перед нами ночь черная.

При выходе из дому к нам примкнуло еще несколько человек, — немцев же. Мы шли вперед. Едва мы вступили на бульвар и прошли, может быть, шагов сто, как вдруг сзади нас поднялся крик и спор многих голосов. Я оглянулся и увидел, что, в стороне на бульваре, около огня, сидит много людей и оттуда бежит на крик, на помощь. Конечно, и отец мой все это видел, слышал и понял. Он приказал нам идти как можно скорей и молчать. Таким образом, продолжая путь в темную, безмолвную ночь, мы прошли все бульвары и, пройдя Красные Ворота, остановились в Лесном ряду, чтобы перевести дух.

Тут я оглянулся в ту сторону, откуда мы шли. Во всю дорогу я этого сделать не мог, ибо отец беспрестанно торопил. Но какое представилось мне зрелище! Весь горизонт, как можно окинуть было глазом, представлял огненное, яркое море! Башни же

ближайших церквей рисовались на огненном фоне как бы какие-нибудь черные гиганты.

Отдохнувши немного, во время чего нам запрещено было разговаривать вслух, мы отправились дальше. Когда уже рассвело, мы вступили в какой-то лес; я спросил отца: «где мы?», и он сказал, что это Сокольники.

Здесь я нашел огромную брошенную редьку, которую поднял и взял с собою. Пройдя еще некоторое расстояние, мы остановились около порядочного дома, деревянного, с колоннами и крыльцом. Мы очень проголодались и стали просить отца дать нам хлеба. Он согласился остановиться, развязал свой узел, вынул хлеб и отломил нам каждому по куску, а так как у нас не было ножа, то мы разбивали найденную мною редьку об угол крыльца. И ломти редьки с черным хлебом до сих пор мне кажутся таким лакомством, которого я не вкушал с тех пор, хотя и бывал на многих парадных и дорогих обедах и ужинах.

После этого великолепного завтрака мы отправились дальше; наконец подошли к маленькому домику в три окна. Мы вступили на двор — нет никого. Двери открыты, и мы вошли в комнату. Все пусто. Тихо, как в могиле. Комнаты совершенно пустые. Только кругом лавки. В углу под иконами стол, но икон нет; в другом углу русская печь.

Дом, по-видимому, принадлежал или крестьянину, или бедному мещанину. Отец тотчас отправился осмотреть окрестности. Вошедши в комнату, сказал, что мы здесь можем остановиться. Мы этому очень обрадовались, потому что смертельно устали.

Отец нарыл на огороде картофелю, развели огонь и сварили его. Вот в чем и состоял наш обед, даже без соли. Такой же и ужин. Легли мы спать на голых лавках, как в чем кто был одет, т. е. в курточках и панталонах, а сестра в одном платье; в том же и наши спутницы — княжна с компаньонкою.

Следующий день провели точно так же, не выходя из дому. На третий день, в сумерках, въехали на двор три кавалериста, в медных шишаках, в плащах и с ружьями со штыками за спиною. Отец выбежал к ним навстречу и скоро вошел с ними в комнату, сказавши нам, что это драгуны. Они были очень большого роста, с черными усами и бакенбардами; вошли в комнату без всякого оружия. Один из них нес 4 курицы, небольшой мешок, штоф и белый хлеб. Все это поместил на столе.

Отец тотчас передал кур нашим женщинам, чтоб их ощипали. Когда это было сделано, развели огонь и поставили варить, а из мешка насыпали туда рису. Потом один из французов приказал мне налить в стакан из штофа, — то было красное вино, и обносить всех женщин, указывая на каждую и приговаривая по-немецки: *an die Frau, an die Frau, an die Frau* (этой женщине). Пока я всех их обнес, разговор их с отцом шел очень плохо, ибо они не свободно говорили по-немецки, а он не говорил по-французски.

Когда суп был готов, они с отцом поели. Остаток отдали нам, прочим. После ужина они пошли в сарай, к лошадям. Отец их проводил и, вернувшись, приказал нам не говорить, что здесь есть французы, если неравно придут казаки.

На другой день утром рано они съехали со двора, подаривши отцу моему кусок черного сукна и жилеточной материи.

Вскоре за ними отец отправился в город; засветло воротился и принес несколько сальных свеч. Таким образом он продолжал несколько дней.

Пища наша все это время состояла из вареного картофеля и черного хлеба. Наконец безлюдье в Сокольниках наскучило нашей княжне. Она уговорила отца отыскать более обитаемое место. Решено отправиться в Преображенское.

Это также очень отдаленная часть Москвы, застроенная большею частью разными фабриками.

Итак, мы отправились в путь со всеми пожитками. Погода была прекрасная. Пройдя довольно обширное поле, мы прибыли в Преображенское и вошли в небольшой деревянный дом. В нем мы застали довольно людей, порядочно одетых, и мы с ними сели. Через несколько времени я заметил, что отца нет в комнате. Я пошел его отыскивать и нашел его в отдаленном углу огорода. Когда я его спросил, зачем он удаляется от людей, он мне ответил, что ему сказала княжна, которая слышала от хозяйки, что здесь нам оставаться нельзя, что сторона наполнена грубыми фабричными, которые узнают по выговору, что он не русский, сочтут за француза и непременно убьют, почему лучше будет, если мы возвратимся в Сокольники. Когда в комнате бывшие разошлись, мы собрались в обратный путь, но княжна с компаньонкою остались в Преображенском. Василиса же последовала за нами.

В Сокольниках мы поселились в том же доме, где уже жили. На другой день отец пошел в Москву, я проводил его за ворота и увидел перед собою в Москве сильный пожар, простиравшийся

на далекое расстояние. Отец сказал, что это, должно быть, горит Разгуляй и Немецкая слобода. Эти части Москвы большею частью состояли из деревянных строений, а потому и пожар был страшный.

Во время его отсутствия въехали к нам на двор два всадника; один остался на дворе с лошадьми, а другой вошел в комнату. Это был очень молодой человек высокого роста, едва 20 лет. Он одет был в зеленую куртку, в старых шароварах, с фуражкой на голове и с пистолетом в руке. Не говоря ни слова, он прошелся раза два по комнате, оглянулся на все стороны и, видя совершенную пустоту, молча вышел, сел на коня, и оба уехали.

Мы радостно вздохнули, ибо пистолет его приводил нас в ужас и трепет. Мы сидели все время по углам и едва переводили дух, опасаясь как-нибудь его разгневать и чтобы он нас не перестрелял.

К вечеру отец возвратился и рассказал нам, что он попался французам, которые его ободрали, но взяли только серебро, а ассигнации ему оставили. Прошла уже целая неделя со дня нашего ухода из Москвы. Коврига нашего хлеба почти истребилась, и потому, что ее оставалось очень немного — отец нас оделял самыми тоненькими ломтиками, а заставлял есть больше картофеля.

Собираясь опять в Москву, он, из предосторожности, чтоб не быть замеченным французами, надел Василисин овчинный нагольный тулуп. Уже стало вечереть, а его нет. Уже стало темно, — а его все еще нет. Тогда Василиса нам сказала: «Ну, знать, отца вашего убили; коли он завтра не вернется, я вас брошу!» Как мы ни были малы, но поняли весь ужас этого слова. Мы подняли плач и вой. Мы стали ее умолять этого не делать; но она стояла на своем: «Что мне с вами делать, куда я с вами пойду?»

Без ужаса и теперь не могу вспомнить этих минут. Но милосердный Бог не допустил нас до последней крайности! Почти в эту минуту вошел в комнату отец. С каким восторгом я и сестра, мы бросились к нему; но вдруг остановились, увидавши, что за ним лезет медведь. Очень скоро мы успокоились, когда рассмотрели, что это не медведь, а огромный солдат в медвежьей шапке, который согнулся в крюк, входя в низкую дверь.

Снявши тулуп, первое слово отца было по-немецки: «Дети, собирайтесь скорей, скорее!», потом по-русски: «Василиса, возьми Карл чи-час». Так назывался полторагодовалый брат. Все было

исполнено в одно мгновение. Отец связал узел. Василиса надела тулуп, завернула в него Карла, и мы отправились.

III

Было время темное, холодное, сырое; последние дни все шел дождь. Сокольниками мы прошли довольно покойно, но когда мы вступили в Москву, то отец, для сокращения пути, повел нас не улицами, но по опустелым дворам, между погорелых домов, от которых торчали только печи и трубы.

Тут было идти очень плохо. Мы беспрестанно спотыкались на валяющиеся кирпичи и обгорелые бревна. Наконец наш гренадер сжалился над сестрой, взял ее на руки, а меня вел за руку, и я поспевал за ним только на рысях. Отец шел впереди с 5-летним братом на руках. Василиса с ребенком замыкала шествие.

Наконец мы пришли к какому-то большому каменному дому. Это тогда был дом князя Репнина на Маросейке. Вошли на двор, и провожавший нас солдат спустил с рук сестру и ушел, не сказавши ни слова.

Отец нас ввел по высокой широкой лестнице в большую комнату, потом прошли другую и остановились в третьей. В комнатах была совершенная темнота. Отец велел подождать и сам скоро вернулся со свечой в руках. Тут мы увидели, что мы находимся в большой комнате, но совершенно пустой. Нет ни лавочки, ни скамеечки, ни стула; словом, ничего. Нас оделили по ломтику хлеба, последнему, что оставалось. Что завтра будем есть, мы не знали и не помышляли об этом. Маленького брата положили на подушки, а мы все прочие растянулись на голом полу в чем пришли.

На другое утро, вставши, отец нам принес немного картофеля и кусок черного хлеба. Когда мы спросили, откуда он это взял, то он сказал, что возле нас, в других комнатах, живут немцы и что это они ему дали. Вечером, когда мы все отдохнули, он нам рассказал, что с ним в тот день случилось. И вот что мы слышали:

Надевши, как было выше сказано, василисин тулуп, он отправился в Москву. Везде шел без остановки, как вдруг на углу старого университета, который уже сгорел, его остановили два француза: один верхом — гусар, а другой пеший, имевший в руке толстую восковую церковную свечу. Гусар стал ему кричать: «панталон, панталон». Отец мой отговаривался по-немецки, что

не знает, где их взять, чего тот не понимал или не хотел понимать, а пеший стоял и не пускал его. Уловивши, как ему казалось, удобный момент, отец хотел бежать, но в эту минуту пеший ударил его свечой по голове, так что он упал. Тогда солдат его толкнул в подвальный этаж университета, где еще тлели и дымились остатки строения. От падения отец пришел в себя и выскочил в противоположную сторону на двор. Увидевши это, гусар заехал кругом и хотел воспрепятствовать ему вылезть. Но отец, увидавши на дворе солдат, начал кричать о помощи. К счастью, то случились немцы, вюртембергцы. Они подскочили, отогнали гусара, взяли к себе отца, растерли вином шишку, которая у него вскочила на голове, дали выпить немного вина и отпустили. Тогда он отправился к знакомым немцам на Маросейку, в дом князя Репнина, и рассказал свое приключение. Ему присоветовали тотчас перебраться в Москву.

Они с ним пошли к генералу, который стоял в этом доме, и стали у него просить провожатого (*sauve-garde*); генерал не соглашался, говоря, что поздно, что солдаты должны быть все дома при перекличке, что завтра он ему даст сколько угодно. Но по усиленной просьбе отца, что дети будут в отчаянии, если он не вернется на ночь, генерал согласился, с тем, чтоб он вернулся к перекличке через час, а дело уже шло к вечеру.

Таким образом, отец пустился в Сокольники, не разбирая дороги, а гренадер за ним, и всю дорогу ужасно бранился, так что отец ежеминутно опасался, что он его убьет и уйдет. Однако они благополучно прибыли в Сокольники и нас перевели в Москву. Вот причина, почему он так торопился.

На третий день, когда мы встали, отца уже не было дома. Около обеда он явился и принес с собою порядочный мешок картофеля, который он нарыл на огородах, что и составляло единственную нашу пищу в течение нескольких дней.

В это время отец мой нанялся работником к немцу-булочнику, но так как он в этом деле ничего не знал, то топил только печь и носил дрова, за что получал каждый день по одному ситному хлебу, какие бывают обыкновенно пятикопеечные, но в это время они продавались по два франка. Через неделю, однако, кончился этот доход, за недостатком муки, и мы опять остались при одном картофеле.

Между тем Василиса, не знаю откуда, добыла два кресла и небольшой стол, а отец принес три конские попоны и несколько попок. Это служило нам постелью и одеялом.

Тут познакомился с нами француз, или, вернее сказать, эльзасец, один из музыкантов, живших над нами в 3-м этаже.

Он был огромного роста, смуглый, с черными усами и бакенбардами, и бил в хоре в турецкий барабан. Так как ему недоставало получаемой порции, то он составил с нашим отцом компанию: ходить вместе за картофелем.

Они это делали следующим образом: поймают на улице пару лошадей, отправятся в огороды, наруют картофеля, наложат его в мешки, и на этих лошадях привозят домой. Потом лошадей отпустят, и на другой день, поймавши других, опять отправляются на тот же промысел. Таким образом отец мой навозил большой угол картофеля. Потом стал возить соленую, что называется коренная, целую рыбу, не знаю, белугу или осетрину. Он навозил ее также большой запас. Наконец стал возить капусту, свежую, прямо с огородов. Из этих припасов, т. е. картофеля, капусты и соленой рыбы ежедневно варился какой-то соус. Хотя и без хлеба, но мы были сыты.

Эльзасец ходил к нам ежедневно и обедать, и ужинать.

Охотно я слушал его рассказы про походы и сражения, хотя он говорил очень ломаным языком.

Однажды в воскресенье он пришел к нам утром в необыкновенное время. Отец спросил его, почему он не на параде? На что он ответил, что отказался идти за неимением башмаков. Ему приказывали добыть себе башмаки, как и прочие, на что он отозвался тем, что служит императору и воровать и грабить не обязан.

Вернулся ли он в Эльзас? Когда хозяйство наше поустроилось, отец мне сказал, чтоб я с ним шел на старую квартиру. Я этому чрезвычайно обрадовался. Погода опять стала прекрасная. Мы отправились.

Страшно было видеть опустошение Москвы. Где стояли дома деревянные с мезонинами, видны были только печи в три яруса, стоящие одна на другой, как башни. Улицы, мне очень знакомые, — неузнаваемы; нет ни заборов, ни огородов. Можно было переходить из улицы в улицу, диагонально по дворам и садам, — так казалось близко.

При переходе переулком с Мясницкой на Кузнецкий Мост нас настигла группа верховых. Отец мой остановился, снял шляпу и

мне приказал снять картуз. Когда они проехали, я спросил, кто это такие? Он мне сказал, что это император Наполеон впереди. Я успел только заметить небольшого смуглого человека в сюртуке и маленькой треугольной шляпе. Вся свита тоже была в сюртуках и больших треугольных шляпах. Не было ни на одном такой шинели, как на наших офицерах. Нам пришлось проходить через двор церкви, название которой я тогда не знал, но это было на Петровке, Рождество Столешники (что в Лечниках). Здесь услышал конский топот в церкви. Я остановился посмотреть и увидел около церкви француза, который из больших местных икон составил ширмы, а меньшие колот топором и подкладывал в огонь под котел, в котором он что-то варил. Я подбежал к отцу, отошедшему несколько вперед, и стал ему рассказывать мною виденное, но он, не останавливаясь, приказал мне идти далее.

Везде представлялось то же зрелище. На Тверской огромные дома стояли обгорелыми. За Тверскими воротами открывалось взору почти чистое, необозримое поле. Это впечатление так сильно меня поразило, что и теперь нередко вижу во сне, как я хожу в Москве по погорелым улицам, по запустелым дворам, заросшим репейником и крапивой, каких много оставалось еще очень долго, и куда мы мальчиками собирались играть в казаки и французов. Подошедши к дому, откуда сначала вышли при вступлении французов, мы вошли в наши бывшие комнаты. Они были не заняты. Отец поднял известные ему половицы, но ничего не нашел, что спрятал — саблю и напитки. Итак, мы вернулись домой с пустыми руками.

В это время мы жили спокойно. Ели капусту с картофелем и соленой рыбой, и ничто нас не тревожило. Кроме того только, что у нас у всех расстроилось пищеварение, но на это не обращалось никакого внимания.

Около этого времени мы пошли с отцом навестить знакомое ему семейство Петерсон. У них были две дочери — 9 и 10 лет. Там нам подали прекрасный на вид ростбиф, но когда сказали, что это лошадиное мясо, я не решился есть. Отец же ел и очень хвалил. Мы и после того были знакомы с этим семейством. Мать считалась вдовою, потому что отец их, во время пребывания французов, без вести пропал и никогда уже не возвращался.

Наконец, однако же, нам понадобились свечи; тогда отец натопил лошадиного сала, положил палку через два кресла, навесил на нее каких-то бечевки и обливал их по несколько раз нато-

ленным салом. Свечи вышли, но кривые и бугроватые. Однако же они нам служили не хуже стеариновых. В это время я часто выбегал за ворота и смотрел парад.

Против ворот выстраивался длинный по всей Маросейке фронт солдат, в синих шинелях и медвежьих шапках. После некоторых ружейных приемов они вдруг с силою опускали шомполы в ружья. Этот звук и гул меня очень занимали. Потом все поворачивали к Кремлю, через Ильинские ворота.

Я всегда видел нашего эльзасца, как он шел в хоре музыкантов со своим огромным барабаном, который он нес не так, как у нас, но поперек груди. Правой рукой бил в него колотушкой, а левой какую-то расщепленную палочкою.

Сентябрь весь простоял сухой и теплый. Но с октября погода быстро переменялась. Стал идти дождь. Пошел холод и мороз, и показался снег, который и не таял. Уже я редко выходил на двор, но помню, что однажды, вышедши на крыльцо, увидел большого француза, шедшего по двору в лиловом атласном салопе, доходившем ему до колен. Это меня очень изумило.

Мороз становился все сильнее и сильнее. Наконец в один день пришел к нам эльзасец и стал прощаться с отцом, объявляя, что они завтра выходят. При этом он подарил отцу моему голубую штофную ризу, которую при мне отец зарыл под картофель. Эльзасец ушел, мы очень об нем сожалели, потому что успели его полюбить.

В ту же ночь мне понадобилось, по своей болезни, идти в третью комнату. Я прошел одну и другую. Но лишь только хотел отворить дверь в третью, как раздался страшный какой-то удар. Мне вообразилось, что надо мною обрушился дом. Я крикнул, присел и схватил себя за голову. Но, чувствуя себя невредимым, я с криком побежал назад. Отец уже встал и опять приказывал собираться. Привыкнувши к подобным приказаниям, в одну минуту все было исполнено.

С узлом за спиной привел он нас на другую половину, где мы уже нашли нескольких мужчин и женщин, также с узлами за спиною, сидящих в безмолвии.

В скором времени раздался еще удар, так что окна задрожали, все вздрогнули, но ни я и никто не вскрикнул. Потом третий удар, но слабее прежних. Очень долго еще все сидели и посматривали в окно, как бы в ожидании чего-то, но все было тихо. После некоторого времени все разошлись, и мы легли опять спать.

На другое утро нам сказал отец, что удары эти происходили от взрыва Ивана Великого и арсенала.

Я впоследствии видел много раз эти груды развалившихся зданий, с лежащими на них колоколами. Самая же башня Ивана Великого уцелела.

Вскоре, в то же утро, явился казак. Меня вызвали, чтоб с ним говорить, ибо все эти немцы очень плохо говорили по-русски, и я служил переводчиком. Мне приказывали, между прочим, спросить его: нет ли еще французов в Москве? Но казак сказал, что нет. Ему поднесли стакан водки, и он ушел. Как только я узнал, что французы вышли, я тотчас отправился наверх в их комнаты посмотреть, не найду ли там чего-нибудь для себя. Но комнаты их оказались пустые, только два или три стула и одна лавка. На полу же разбросано множество книг, все новые, притом французские, чего я читать не умел.

Между ними я поднял книгу в черном кожаном переплете, с белыми листами, на последнем листе было что-то писано, также по-французски. Спустя уже несколько лет, когда я научился понимать по-французски, я разобрал письмо, и оказалось, что это пишет сын к матери во Францию и говорит: «Мы теперь в Москве, страна очень разорена и нам жизнь очень трудная. Мы проведем зиму здесь, а весной пойдем в Константинополь». Всякий знает, как сбылись эти замыслы!

На третий день отец вдруг нам принес калачей, баранок, чаю, кофе и сахару. Восхищение наше было необычайное, когда нам дали всего этого сколько душе угодно. Мы едва верили своим глазам и, как голодные волки, бросились на эту прелесть. Все было забыто, но не все кончилось.

Спустя несколько дней, когда отца не было дома, входит к нам так называемый квартальный и с ним будочник. «Смотри все, что есть», — приказывает квартальный будочнику, и тот начал развертывать наши попоны, в которых завернуты были опойки и подушки. «Что прикажете?» — спросил солдат. «Бери ковры и кожи, подушку оставь», — сказал квартальный. Будочник свернул и взял. Надобно сказать, что опойки ни на что, кажется, были негодны. Они представляли ландкарты, дурно нарисованные! Потом пошли через комнату, в углу которой лежала большая куча картофеля. «Не прикажете ли развалить картофель?» — спросил солдат. «Чего там искать», — ответил квартальный, и они ушли, взявши с собою попоны и кожи. Помню, что при слове: «Не прикажете ли

развалить картофель?» я чрезвычайно испугался, зная, что под ним зарыта риза. Я вообразил, что за церковную вещь отец может подвергнуться ответственности.

Подобные обыски делали во всех домах и все отбирали с тем, чтобы отыскать настоящих хозяев.

Многим ли они были возвращены — я не знаю. Таким образом, мы приведены были в первобытное состояние, и опять пришлось ночевать на голом полу. Но на другой день отец закупил войлоков, которые нам служили постелью, также и шерстяные одеяла. Это была уже роскошь.

Вообще в это время мы ни в чем не нуждались, что касается пищи, питья и обуви; оставшиеся у отца ассигнации пригодились.

Вскоре возвратилась и мать наша. Можно себе представить радостное и вместе горестное свидание. Она приехала ночью и застала нас почти без белья. В течение шести недель мы его не переменили, и потому первая ее забота состояла в том, чтобы нас им снабдить.

По стечению некоторых обстоятельств случилось так, что мы перебрались из дома, в котором мы до сих пор жили, в те же комнаты, из которых вышли при вступлении французов, и стали ходить по тому же крыльцу.

Мы стали жить хотя в весьма стесненных обстоятельствах, но по крайней мере были сыты, одеты и обуты.

V

В начале лета, в 1813 г., открылось против нашего крыльца народное училище. Меня поместили туда для изучения русской грамоты.

По-немецки я уже умел читать и писать и продолжал с отцом читать Библию.

Пробывши первый день в классе, я возвратился и сказал, что в этом училище учат только Священной истории и русскому катехизису, и то церковными буквами.

— Нужды нет, — сказал отец, — учись всему; все, что знаешь, полезно.

И так я продолжал целый год, хотя мы были и лютеране. Впоследствии я имел случай научиться французскому и латинскому

языкам. В 1824 г. вступил в Московский университет по медицинскому факультету или отделению, как тогда называлось, хотя в табели или матрикуле и писалось *Studiosus facuetatis medicae*.

Лишь только я выдержал экзамен на студента, еще не побывавши ни на одной лекции, отец мой скончался, почти 60 лет. Вскоре, по выходе французов, он заболел совершенно расстроенным пищеварением. Болезнь его по временам уступала лечению, но здоровье не восстанавливалось, и он умер от совершенного истощения, вследствие болезни печени, которая, без сомнения, произошла от душевных потрясений, трудов и дурной пищи. Все, что он нам оставил, состояло в следующих 4 стихах, которые он нам часто повторял:

Und immer Treu und Redlichkeit,
Bis an dein kühles Grab;
Und weiche keinen Fingerbreit
Von Gottes Wegen ab.

Перевод:

Твори всегда верность и справедливость,
До холодной своей могилы;
И не отступай ни на палец
От путей Господних.

Мир праху его!

В 1828 г. я кончил курс по медицинскому факультету. Я был своекоштным студентом. В это время я жил с матерью, хотя не в богатстве, но с порядочными средствами.

Студенчество наше было самое приятное. Профессора обходились с нами дружелюбно и ласково. Мы их почитали и любили. Хотя и записывали ежегодно в табель или матрикулу известное число профессоров, но нас не заставляли насильственно слушать таких, которые нам не очень нравились, т. е. менее даровитых. Однако публично заявлять, что мы их слушать не хотим — нам и в голову не приходило. Мы их, конечно, посещали не очень прилежно, но на это никто не обращал никакого внимания. Хоть во все не ходи и не слушай, а на экзамен подай, что слышал и чего не слышал.

Не было ни обществ, ни студенческих касс. Всякий содержал себя, как знал. И все шло мирно и тихо.

Только однажды вздумали отбирать у казенных студентов мундиры. Это между ними возбудило всеобщей ропот.

«Как,— говорили они,— через год нам доверяют и судьбу, и жизнь людей, а теперь не доверяют мундиров из толстого сукна». Они принесли жалобу ректору, и дело уладилось без всяких последствий к общему удовольствию.

И не вышли мы все дураками. Укажу только на своих современников: Николая Ивановича Пирогова, которого знает вся Европа, г. Сокольского, г. Корнух-Троцкого, г. Шеховского, которые были профессорами; не говорю о многих других, которые и на практическом поприще, и на служебном составили себе почетное имя и звание.

Почему же теперь (в 1870 г.) беспрестанно читаешь в газетах и журналах статьи, не делающие чести ни профессорам, ни студентам?

Это, говорят, дух времени; а, по-моему, это не дух времени, а недуг времени. Но как его излечить? Это не мое дело.

Но буду продолжать свой рассказ. В 1831 г. я поступил в губернском городе на службу. Медицинскою практикою приобрел безбедное состояние, а в сравнении с детством и молодостью — даже весьма хорошее.

Теперь (в 1870 г.) доживаю старость свою в кругу своего семейства, окруженный детьми, внучками и внуками. Благодаря Бога, всем доволен и счастлив. Но нашествия французов не могу ни забыть, ни простить, хотя в частности их люблю, потому что были между ними и добрые люди.

Ф. Беккер. Калуга. 30 ноября 1870 г.

Примечания

¹ Опубликовано в журнале «Русская старина». 1883. № 6. С. 507—524.

² После Бородинского сражения генерал-губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин в своих знаменитых «ростопчинских» афишах опубликовал сообщение о намерении дать новое сражение «на трех горах» (Воробьевы горы) и призвал жителей принять в нем участие.

³ Так в оригинале, но без каких-либо пояснений или ссылок.

МОСКВА В 1812 ГОДУ, ЗАНЯТАЯ ФРАНЦУЗАМИ

ВОСПОМИНАНИЕ ОЧЕВИДЦА

В 1840-х годах был я в одной из средних губерний; там познакомился с помещиком Г. Я. Козловским. Это был веселый и добрый человек за 50 лет, постоянно живущий в деревне, любивший вспоминать свое прошлое, особенно некоторые события из 1812 г., которые он очень хорошо помнил, потому что в то время был он уже на возрасте. Это меня заинтересовало, и я спросил: не может ли он письменно изложить, в подробности, все, что сохранилось в его памяти. Он согласился охотно и, через несколько времени, привез тетрадку, которая залежалась в числе прочих бумаг и отыскалась уже много лет спустя. Наивность простодушного рассказа наводит на мысль, что он был написан Козловским еще юношей, вскоре после передаваемых в нем событий. Во всяком случае, так как это рассказ очевидца, то из него можно составить себе ясное понятие о том положении, в котором находилась тогда Москва.

П. А. Степанов¹

I

Передаю подробно все то, чему я был свидетелем, что я вынес, что врезалось неизгладимо в мою память. Мне было 17 лет, когда французы вторглись в Россию. Жил я в Москве у моих родных в собственном их доме, по Калужской улице. Я был в таких годах, когда с любопытством слушаешь, что говорится кругом.

Когда французы вторглись в Россию, все надеялись, что их отразят; после Смоленска оробели, а после Бородина спешили уйти

из Москвы. Мои родные забрали все, что могли второпях, и уехали в деревню. Я тогда был в частном пансионе, и мне велено остаться до роспуска заведения и поручено охранять дом с несколькими старыми слугами. Когда наша армия с Драгомиловской заставы перешла на Калужскую, я пошел наведаться о пансионе, но он исчез, и я остался в Москве один, без всяких сношений с родными, предоставленный самому себе, с единственною надеждою на Бога. Видел я сон, что хотел броситься на какое-то чудовище, поразить его саблею, но какая-то сила удержала мою руку, и я не в силах был нанести удара! — так и сбылось в самом деле; сон сказал правду: мне не удалось быть в кампании, чего я так желал. Я верю снам: они иногда посылаются свыше, и изъяснение причины их так же трудно, как и многое другое в природе.

Таким образом, Москва волновалась страхами от приближения неприятеля; притом частые пожары, поимки шпионов и ежедневные воззвания, в коих хотя ободряли народ, но ясно указывали, что заставы не заграждены и что всякий, кто хочет, может выехать; мало-помалу, к сентябрю месяцу, все выехали: и казенные и присутственные места, и гарнизон, и полиция — все оставило Москву в добычу неприятелю. Тут сброд людей, раненые солдаты, колодники, выпущенные из всех тюрем, мастеровые и другие люди, оставшиеся в Москве, как искатели приключений, группами ходили по пустым улицам, разбивали кабаки, штофные лавки и все, что попало; еще не было настоящего неприятеля, а я уже видел собственными глазами плоды безначалия и своевольства, предтечи будущих зол. Наконец, наступил роковой день — понедельник 2 сентября 1812 г.

Тогда арсенал был открыт и всякий имел случай брать оружие, какое и сколько угодно; часу в 3-м после обеда приходит ко мне один немец, тоже живший в Москве и, не знаю почему, оставшийся, и зовет меня в арсенал за оружием; будучи молод, само собою разумеется, я с радостью принял его предложение и отправился. Вот мы в арсенале разбираем ящики с саблями, взяли по две; товарищ мой вздумал достать карабин, просил меня остаться на дворе, а сам пошел вверх; не прошло нескольких минут, как на дворе арсенальном, где я стоял со множеством народа, вдруг сделалась великая суматоха, шум и крик:

— Французы, французы! — все бросились к воротам, в которые, впрочем, кажется, никто не входил.

Тут вскоре раздался залп из нескольких орудий: иные говорят, что это выстрелы по нашим молодцам, которые, вооружившись из арсенала, думали защищать Москву; другие утверждали, что этот залп был сделан по случаю занятия крепостных или Кремлевских ворот. Неприятель уже приближался. Нельзя описать нашего страха; мы сидели на дворе, как в клетке, все потеряли головы, обезумели. Один казак спрашивает сквозь решетки, куда ему ехать, и не находит дороги, которую ему указывают; какой-то гражданин проходит мимо, раненный в щеку. Стали долетать пули и до нас. Товарищ мой и я не знали, что нам делать. Наконец, мое невольное движение было пасть на колени и ждать своей участи. В это время пуля влетела в окно и указала мне путь спасения; бросаюсь в окно, где она пролетела, и протискиваюсь сквозь железную решетку во внутренность арсенала, там пролезаю сквозь настановленные музыкальные пюпитры в противоположное окно, спускаюсь на стену, где теперь Александровский сад, и во весь опор бегу по стене, к Иверским воротам; не добегая до них, натыкаюсь на подмости, поставленные, вероятно, для починки или беления стены; по ним спускаюсь в ров и пробираюсь в Тверскую улицу. Тут пошел шагом. Мне встречались некоторые французские кирасиры; но никто меня не остановил. Так я, благодаря Бога, благополучно выбрался из арсенала и достиг дома нашего. К несчастью, ворота заперты; я стучу, никто не является: беда ужасная. Наконец, выходит дворник; говорю, что слышал залп из пушек, что французы уже вступили; мне не верят, утверждают, что это наши войска, которых гонят. Однако я долго не мог успокоиться от испуга, и мне стыдно вспомнить, как малодушен и испуган я был. Скоро площадь наполнилась разными родами войск, одетых в городскую форму, в киверах и в полной амуниции. Составя ружья в козлы и установя пушки, солдаты тотчас же разбрелись в улицы и переулки и стали шнырять по домам за добычей. К нам в дом явились первыми музыканты: молодой унтер-офицер приветствовал по-французски: «Здравствуйте, господа! Ваше отечество погибло, мы приходим к вам победителями; а вы нам дадите поесть и попить». Все молчали; я, как единственный, который говорил по-французски, поневоле сделался их дворецким и начал носить, угощать, кормить чем случилось, некоторые так накушались, что насилу сошли с лестницы, а двое даже упали и заснули на месте; между тем гости

беспреданно прибывали, и я, истощивши провизию и водку, уже не знал, что мне делать, как являются офицеры капитан Буасо, с ним еще двое и молодой юнкер знатной фамилии; тут я отдохнул, солдаты перестали ходить, и эти гости, казалось, будут по-благороднее обходиться; они спросили чаю, я велел приготовить; к несчастью, недостало сахара, опять беда! Капитан сердится серьезно, не верит, кричит: «Вы хотите обмануть старого воина; но если не дадите сахару — я велю вас разграбить»^{*}; я чуть не плачу, взял у своих денег и предлагаю ему 2 рубля серебром, уверяя, что мне не жаль, но нет сахару и достать его теперь негде. Он посылает меня купить, прошу проводника и вместе с вестовым иду в город; уже солнце село, когда мы пришли к Воскресенским воротам; здесь часовые не пустили нас; я просил моего провожатого засвидетельствовать перед капитаном, что нельзя проникнуть в лавки, которые были уже зажжены и пожар распространялся по всему Гостиному двору. Таким образом, мы возвратились; капитан перестал сердиться; они разговаривали со мной, расспрашивали о разных предметах и удивлялись нашим деньгам, что один рубль серебра ходил четыре рубля на ассигнацию и проч.; потом улеглись спать, а я, в пустой комнате, бросившись на софу после трудов и тревог дневных, так заснул крепко, что, проснувшись поутру, на заре, насилу вспомнил о незваных гостях своих, которые еще спали спокойно.

Так прошел первый день; между тем пожар распространился по всем сторонам Москвы и туманные облака с дымом представляли мрачную картину.

На другой день гости встали, позавтракали и отправились; тут опять начали посещать солдаты; но я отыскал одного доброго капитана, старичка, по фамилии Ансар: он был столько сострадательен, что приказал их гонять вон и поставил к нам часовых; пожар, распространяясь более и более, достиг смежных с нами домов. Я, по любопытству, выскочил на площадь; вдруг меня схватили два солдата и повели на гауптвахту; спрашиваю: зачем? — они ничего не отвечают; прихожу, но, право, не знаю, как мы пробрались сквозь этот огненный хаос; однако прошли и достигли назначенного нам небольшого домика позади того, где остановился капитан с ротой; нам дали солдата для защиты, это был добрый ита-

^{*} Vous voulez tromper un vieux militaire, mais si vous ne donnez pas sur le champ du sucre, je vous ferez piller.

льянец по имени Массара; мы ночевали спокойно; но на третий день не избегли некоторых покушений от мародеров, которых мы с Массара отгоняли. Массара пошел к себе в роту, а у нас остался другой на его место; я пошел с ним в мезонин, где расположено было их капральство: нахожу человек 20 или 30 солдат, сидящих и лежащих на полу; тут они занимались, кто чинил платье, кто чистил ружье, кто амуницию исправлял, и такие они мне показались добрые, веселые и ласковые, что я у них часа два проболтал, потом возвратился домой, где обо мне очень беспокоились,— ночевали еще ночь также спокойно; на четвертый день я ходил к капитану, поблагодарил его за благодеяние и защиту, попросил людей проводить нас еще на новую квартиру. Тогда Москва была пуста, и все дома были общие, можно было занять любой, какой хочешь; мы нашли дом, в котором внизу жили университетские прачки, мывшие белье на двор Наполеона, и для того в доме был караул, состоявший из одного капрала и 6 рядовых; в этом доме мы расположились. С самого прихода я упросил капрала, чтоб и нас также берегли и давали к нам рядового, который может быть без амуниции, но только бы защищал от нападений мародеров; капрал Старой гвардии, заслуженный, добрый человек, исполнил нашу просьбу, и на все время, до самого их выступления из Москвы, каждый день в 11 часов утра, после развода в Кремле, приходила смена, сдавала под сдачу хранить дом и живущих в нем. Тут мы жили спокойно, все солдаты, приходившие к нам Старой гвардии, были люди добрые; ни от одного я и никто из наших не слышали обидного слова; одно было тяжело: не было хлеба и доставать его было очень трудно и дорого; например, небольшой хлеб у одного немца-булочника, который теперь стоит 5 коп., продавался по 2 руб., и мы его делили на маленькие кусочки как антидор, отчего и принуждены были есть пареную пшеницу, доставая из обгорелых барок на Москве-реке; но и та скоро протухла, и если бы не картофель на некоторых огородах, то просто можно было умереть с голода. Французы сами нуждались в хлебе, им раздавали его маленькими порциями. В это время, обеспечивши домашних, я пускался гулять по Москве, и тут мне удалось несколько раз видеть самого Наполеона.

II

В первый раз я вышел на улицу перед вечером; стою с нашими караульными солдатами, разговариваю, заставил одного делать ружьем, показывая ему сам наши приемы (я знал экзерсицию в пансионе). Вдруг один из них кричит: император! император! Они сделали фронт; смотрю, он проехал в длинных дрожках старинных (верно, в Москве найденных) наподобие лодочки, и я очень явственно рассмотрел его. Когда уже он скрылся из глаз, то сначала я не поверил солдату, сказавшему, что это император, полагая, что мы Наполеона хорошо знаем по портретам черного и худощавого, а этот более бел и полон, и я прибавил, что он или сам ошибся, или меня хотел обмануть; но солдат этим ужасно обиделся и сказал, что нельзя же ему не знать своего императора и шутить этим он не намерен. Так я и затвердил черты и одежду Наполеона.

В другой раз я ходил за Калужские ворота узнать, цел ли наш дом; пришел и нашел его неповрежденным; в нем занимал тогда квартиру генерал Пажоль, командовавший кавалерийскою дивизиею и раненный в руку. Бывший при доме дворецкий еще прежде ему обо мне говорил, и он меня очень ласково принял, разговаривал со мною и оставил мне множество французских книг, которые были в кабинете (где он сидел в больших креслах), однако впоследствии я их уже не нашел. Вышедши от него и обойдя все комнаты, заметил, что многие из наших картин были вынуты из рам, свернуты в трубки и приготовлены к отправлению во Францию; мне очень жаль их было, а делать нечего, особенно досадно было видеть два пейзажа Сальваторроза, которые также хотели свернуть в трубки, но как они были очень налакированы и стары, то не только потрескались, даже и холстина лопнула и потому совершенно были негодны; потом осмотрел я все строение в доме, лошадей генеральских и экипажи в сарае; нашел чужие кареты и нечаянно рассердил одного польского вахмистра, состоявшего при конюшнях генерала: слыша, что он говорит хорошо по-русски, я спросил его: «Ты литвин?» Он за это взбесился и после говорил дворецкому, что если бы я не был знаком с генералом, то он бы меня убил до смерти, а я думал — за что бы, кажется! Оказалось, что поляки и литвины не одно и то же.

Возвращаясь домой по Якиманке, я заметил едущих сзади человек тридцать кавалерийских фуражиров с трубачом, вдруг слышу между ними шум и стук оружия; оглядываюсь, они построились во фронт около стены, вынули сабли, трубач приготовил трубу, это меня заставило остановиться; вижу — навстречу едет кавалькада шагом; впереди Наполеон в синем мундире с белыми отворотами, в белых панталонах, в ботфортах, в петлице орден Почетного легиона, шляпа на манер Фридриха II, сзади его свиты мамлюк Рюстак², граф Тюрень³, камергер его и человек более 50 конноегерей гвардейских в медвежьих высоких шапках с лопастями на бок и мамлюками с перьями. Увидя его, я раздумался: снять ли мне шляпу; но потом рассудил: а ну если он велит ее снять вместе с головою, это хуже будет; нет, лучше снять одну шляпу, — я снял и рассматривал его очень наблюдательно: он ехал, опустив глаза вниз, очень мрачен и, казалось, был в великом размышлении. Рюстак, увидя меня, улыбался и кланялся мне, и я ему тоже; когда Наполеон подъехал к французам, те отдали ему честь, и трубач проиграл поход, а я пошел домой рассказывать виденное мною.

В третий раз я опять ходил за Калужские ворота и, идя по Калужской улице, нечаянно попал на противоположную сторону улицы от нашего дома; в это время в Калужскую заставу выходила гвардия вон из Москвы, в поход. Долго я соображал, как перебраться на ту сторону, но смелым Бог владеет, и я решился проскользнуть между взводов; они шли колоннами, интервалы были не велики, я пустился поперек бегом и перебежал, слыша смех за мною: «Посмотрите на этого маленького бегущего буржуа», — они все меня так величали; я продолжал идти далее. Между тем полки построились в порядок, музыка заиграла, барабаны заби-ли, и по той же стороне, где я шел, опять увидел Наполеона, галопирующего на лошади; он одет был в сюртуке сером и в обыкновенной своей треуголке; тут я в последний раз рассматривал его. Еще я видел его прежде раза два, но то вскользь и не помню теперь где.

Во все это время со мной случались удивительные анекдоты: однажды я играл в шашки с одним старым заслуженным французским гвардейцем; моя игра была очень расстроена, потеря двух шашек и невыгодное их расположение все заставляли думать, что я проиграю; но я не терял надежды, стал с ним спорить, что еще, может быть, выиграю. Он, между прочим, сказал: «Хорошо,

если выиграете, то это значит, что русские будут в Париже, как мы здесь в Москве, посмотрим, посмотрим», после этого слова, как нарочно, я у него беру три шашки вдруг, потом еще и наконец запираю его; смех и радость моя были так сильны, что он раздражился, вскочил, схватил стул и так сильно ударил его об пол, что стук раздался по всему дому. Меня бранили за это, говоря: охота мне с ними спорить и их сердить; но я отвечал, что он сам напрогнозировал себе это и напрасно сердится. Иногда приходилось употреблять некоторые уловки для безопасности: один раз ходил я в аптеку на Тверской бульвар, меня задержали там до ночи; когда я вышел, уже было темно, на пожарищах встречались толпы разноплеменных солдат, — признаюсь, страшно показалось мне. Вдруг замечаю шедшего офицера, я к нему адресуюсь; он спрашивает, что мне надо, я просто признаюсь ему, что боюсь идти один, он очень обрадовался товарищу, и мы с ним превесело и преспокойно прошли до Кремля, отблагодарив друг друга за компанию.

В это время можно было бояться русских мужиков более, нежели французов. Однажды я шел по Якиманке, встречались мне французы, спрашивали о дороге в Смоленск, я им указывал и отделялся таким образом; наконец, вижу толпу мужиков встретившихся мне, они идут и у каждого на плече железо, которое они из Москвы с пожарища и разных мест таскали. Один говорит другому: «Смотри-ка, ведь это француз?» Поравнявшись с церковью, начинаю молиться; другой ему отвечает: «Нет, это наш здешний», и молитва меня спасла, потому что наши мужики не спускали французам и втихомолку их прибирали; пример этому был на Калужской улице: идет больной француз, навстречу ему несколько мужиков, он подходит к ним и говорит: «Господа, где госпиталь?» Один из мужиков взглянул на него и, проворча: «Да долго ли нам мучиться!» — как хватит его железной полосой по лбу — тут и конец.

Привожу на память себе великодушные маршала Нея: он стоял на Маросейке, в угловом доме к Ильинским воротам. Один из наших учеников лет 16, но высокий ростом, вздумал служить во французской службе, явился с этим к маршалу, тот усмехнулся и сказал: сколь ни лестно слышать ему такое ревностное желание служить под его начальством, но, видя, что это не что иное, как увлечение молодости, а между тем несчастье, которое он навлечет на себя, вступая на службу в неприятельское войско, и притом воображая горесть его родных, он не советует ему совершить

такую неосторожность и лучше дожидаться терпеливо, чем все кончится, — и отказал.

Меня заманивали в разные службы; в одно время явился один живший в Москве, не помню его фамилии, иностранец и уговаривал меня принять должность комиссара, рассказывая, что я буду получать жалованье, хлеб (который был в редкость), буду носить белую повязку на руке и исправлять полицейскую должность и проч.; но я ни за что не согласился служить неприятелю. Камергер двора Наполеона, граф Тюрень, уговаривал меня вступить в службу в какому-нибудь знатному господину, но я отвечал ему, что надеюсь иметь своих слуг, а не быть в услужении других, и между тем рассказал мое родство с одним из генералов*.

«Знаю, знаю, — отвечал он, — мы в Тильзите с ним познакомились по заключении мира, он был в свите императора Александра⁴, а я с Наполеоном», — и с тех пор Тюрень имел ко мне уважение и не зазывал в службу.

Впрочем, нельзя припомнить всего и всех ужасов. Одно скажу, что несмотря на все опасения, страхи, голод, ибо у нас по несколько дней не бывало хлеба, несмотря на беспокойство, страдания душевные, безызвестность о будущем, отвратительное зрелище обгорелых домов, кучи смердящих трупов людей и лошадей, убитых и тлеющих, и на все ужасы тогдашние, я нимало не сожалею, что был свидетелем их. Это славный урок, утверждающий в вере и уповании на всемогущество Божие, без Коего и влас главы нашей не погибнет. С теплою верою и надеждою на святую Его милость, я юный, беззащитный, между трупов и по развалинам домов, сквозь огонь прошел невредимо — и даже меня, беззащитного, никто ни словом, ни делом не оскорбил!

Г. Я. Козловский
Сообщ. П. А. Степанов

Примечания

¹ Публикатором этих мемуаров является Петр Александрович Степанов (1805—1891), генерал от инфантерии, бывший комендант Царского Села, писатель, активно сотрудничавший с журналом «Русская ста-

* То был князь Волконский; есть известие, что автор рассказа, г-н Козловский, был его побочный сын. Короткое время Козловский служил офицером, женился, вышел в отставку и поселился в небольшом поместье Калужской губернии. *П. С.*

рина», в частности, там были опубликованы и его воспоминания о М. И. Глинке, А. С. Даргомыжском и ряд других материалов. Эта мемуарная запись была опубликована в журнале «Русская старина» за 1890 г. в №1 (С.105—114).

² Правильно — Рустам.

³ Правильно: Тюрени А. А. М., граф, маркиз д'Энак и де Пиньян.

⁴ Имелся в виду генерал-адъютант П. М. Волконский.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД В ЗАПИСКАХ АННЫ ИЛЬНИЧНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ

1812 г.

Помещая на страницах уважаемой «Русской старины»¹ довольно обширные и весьма характерные Записки русской женщины, свидетельницы событий, ознаменовавших достопамятный год великой Отечественной войны, А. И. Золотухиной, привожу о ней и роде ее мужа сведения, основанные частью на бумагах, частью на семейных преданиях.

Анна Ильинична Золотухина родилась в Рязанской губ., в Михайловском уезде, отец ее был капитан артиллерии Илья Сергеев. В 1799 г. она вышла замуж по любви за Золотухина, который был и беднее, и моложе ее; умерла она в 1814 г.

О фамилии Золотухиных известно следующее: прежде фамилия их была Жемчужниковы, но при Федоре Иоанновиче два брата поссорились за место при царском столе (еще до уничтожения местничества); один уехал в деревню по указу царя и начал называться Золотухиным. Все его потомки пишутся Золотухиными в шестой части дворянской книги Тульской губ.; в архиве депутатского собрания этой губернии находятся и все бумаги о родословной этой фамилии, и прочие о членах ее документы. При Петре I Яков Золотухин ездил довольно за границу, за что и получал награды от императора, а Екатерина I подарила ему бокал, с ее вензелем, который и теперь хранится в их семье. Иван Афанасьевич Золотухин был женат на очень умной женщине, Анне Матвеевне, которая поместила своего сына, Василия, в Пажеский корпус. Екатерина Великая отличала его своей милостью, но он умер скоропостижно. Анна Матвеевна поехала в Петербург бере-

менная и много плакала; Екатерина II, видя ее горесть, лично сказала ей:

— Если ты родишь сына, то и жалую ему чин премьер-майора.

Это и был муж Анны Ильиничны, Матвей Иванович Золотухин, который родился и умер премьер-майором в Тульской губ., Алексинском уезде, в селе Кошкино.

Анна Линберг

От редакции. Печатаемые здесь Записки дороги нам не только как сказания о крупных исторических событиях, которых, впрочем, они касаются лишь поверхностно, но они дороги как хроника русской женщины, горячо, самоотверженно любившей мужа и свою многочисленную (из восьми детей состоявшую, девятым ребенком Золотухина была в 1812 г. беременна) семью; она бесхитростно, с необычайной искренностью, на память близким своим, начертала поразительную картину тех душевных мук и материальных лишений, каковы выносили, за шпалерами и в тылу армии, близ театра военных действий и на нем, обыватели и обывательницы русских городов и сел в эпоху народной войны, в 1812 году... Это то, что ни в каких реляциях, ни в каких «историях» не находит места; это прямо жизнь, как она действительно текла под гром пушек, при заревах пожаров, при всех бедствиях, которыми сопровождается война, этот бич Божий,— хотя бы и победоносная...

При редкости вообще у нас мемуаров и хроник русских женщин минувшего времени, «Русская старина» радушно приняла на свои страницы Записки Анны Ильиничны Золотухиной, писанные в маленькой, в 16 д., тетрадке, на толстой синей бумаге. Редакция передает эти Записки своим многочисленным читателям во всей безыскусственности, наивности, простодушии, а местами и излишней болтливости давно опочившей сном смерти составительницы. Нами исправлены только грамматические ошибки, расставлены знаки препинания, почти отсутствующие у автора, и Записки разделены, для удобства чтения, на главы.

I

Быв несколько времени на квартире в деревне близ Полоцка, имев довольно времени свободного, я решилась употребить его на то, чтобы описать все, что случилось со мною, в то время, как мой Матенька* определил себя на защиту отечества, оставя мать, сестру, которая жила с ним, меня и восемь человек детей и еще в это ужасное время родившегося девятого сына. Он записался в Тульское ополчение.

Не одна я ощущала все ужасы 1812 г., но и вся Россия была настолько удручена горестью, что не только мое перо, но и перо лучших писателей не в состоянии выразить всего того, что всякий русский ощущал в душе своей, когда враги вторглись в пределы наши; но я буду только писать о себе все, что могу припомнить из случившегося со мной в этот ужасный 1812 г. и в 1813 г., чтобы дети, прочтя это иногда и узнав все чувства мои, не подумали, что я оставляла их без душевной горести, а при том, так как они еще очень малы, то чтобы, читая эти записки, они сохранили в своей памяти воспоминания о всех несчастьях, случившихся со всеми нами, а также и о милосердии Господа, и о покровительстве Царя Небесного над всей Россией.

Когда враги наши были уже у Смоленска, тогда был объявлен манифест о призвании всего благородного сословия для спасения отечества². Матя мой никогда не избегал такого случая быть полезным отечеству и, быв даже в большой нерешимости, готов был тотчас идти в армию; 18 июля (1812 г.) назначен был съезд всего благородного дворянства в Тулу. Можно ли выразить те чувства, которые волновали меня, когда мой Матя поехал туда; быв уже восемь месяцев в тягостном положении, имев восемь человек детей, я не смогла следовать за ним; с чрезвычайным страхом в сердце и с большою горестью должна была я остаться, и мой Матя ни на что еще окончательно не решился; 20-го числа человек от него возвращается, привозит мне письмо, в котором пишет Матя, что всякую минуту выходят перемены, что враги наши все входят внутрь России, везде по пути все грабят, жгут, храмы Господни истребляют, чтобы я ехала в Москву узнать, где 20-й егерский полк, в котором шефом князь Шаховской, друг Матин, с которым служил Матинька и прежде вместе, или, если возмож-

* То есть ее муж, Матвей Иванович Золотухин. О нем с уважением упоминает в своих известных Записках А. Т. Болтов как об одном из особенно любезных ему приятелей и земляков.

но, то чтобы поместить чрез внучатого брата моего, князя (П. М.) Волхонского³, в свиту Е. И. В.⁴ Я была совсем готова ехать, с рас-терзанной от горести душой, но получаю известие, что император уже выехал из Москвы в Петербург, а князь Волхонский никогда не отлучается от него, следовательно, я не могла уже просить о помещении моего друга в свиту; я готова уже была ехать в Москву и узнавать, где находится полк Шаховского; когда я уже совсем готова была ехать, получаю письмо от Мати, чтобы остановилась, что он решается остаться в ополчении. Наш тульский губернатор, Николай Иванович Богданов, был избран начальником над всем Тульским ополчением, и так как никто не знал друг друга до сего времени коротко, то все считали, что Тульское ополчение всех лучше выбрало себе начальника. Богданов служил тогда в артиллерии, был известный человек по многим, как говорят, храбрым деяниям, к тому же настолько счастлив, что любим многими, в том числе и моим мужем, который так любил его, что хотел остаться в дежурстве у него, но, признаюсь, я всегда совсем иначе была расположена к нему, не имел к тому никакой основательной причины, кроме той, что мой Матя всегда разными манерами старался доказать ему свою к нему привязанность, а он был к нему расположен таковым же образом, как ко многим другим, которых я никогда со своим мужем не сравнию; но не только я, все те, кто умеет ценить людей, в оном согласятся. Я упростила Матю, и он сделал это для меня, что не остался в дежурстве. Но и тогда начальник ополчения сказал Мате и другим из нашего уезда, чтобы были спокойны и были уверены, что тот полк, где будет Матя, пойдет последний в поход, и то тогда, когда уже сам пойдет. В соседстве у нас Матя был довольно всеми любим, так что когда он еще не знал, к кому в полк определиться, то уже многие хотели быть у него под командой. С полковником Пушкиным⁵, от которого мы живем в 13 верстах и со всем домом которого мы были всегда в приятных отношениях, Матя и в прошедшую милицию был вместе, но тогда только третья часть пошла, остальные были только назначены; они были оба в оставшейся части; тут его выбрали полковым начальником; Матя, по привязанности к нему, не хотел быть в другом полку, остался у него батальонным начальником и, чтобы быть ближе к нему, — начальником первого батальона. Сотенными у Мати были: Викулин, самый ближний сосед; у него офицерами Савиных и Мительков. Пестов был Каширского уезда и не так коротко тогда был знаком, но тесть его, Болотов, Андрей Тимофеевич, который знал хорошо Матю

и любил нас, рекомендовал своего зятя. У него офицерами были в сотне: Ивской, Степан Иванович, и меньшой сын Анфорова. В третьей сотне был сотенным Донской, также из Каширского уезда, но он прежде служил вместе с Пушкиным и, быв знаком с Викулиным, захотел быть у Мати в батальоне; офицерами у него были: один тульский помещик, Меснов, который также почти не знал лично Матю, а захотел быть у него, и другой — Чернской-Шелатов, а в последней сотне начальником был Николай Петрович Бельский; у него офицерами были: Саблуков и прежде Ивской Давыд Иванович, когда же он вышел по болезни, то Болотов*. Когда Матя мой возвратился из Тулы, я встретила его со слезами, узнав, что все офицеры уже назначены; адъютантом у него был старший сын Анфорова, а квартирмейстером Бельский второй. Так как всякий полк имел четыре батальона, то во втором начальником был Кулебякин, в третьем Колезиков, в четвертом Аксаков; один Колезиков был не алексинский, а оба были соседи наши и, как казалось, коротко знакомые и хорошие приятели.

В это самое время вся Россия была в трепете, все уезжали из Смоленской, Калужской и даже из Тульской и Московской губерний; все ехали в дальние деревни или города, больше всего ехали в Нижний и в Казань. Мы все не знали, что нам делать: беспрестанно слышим о новых успехах наших врагов, родные наши собираются уезжать, многие соседи уже уехали; Матя решается отправить нас с матушкой, сестрой и детьми в Арзамасскую деревню; я никак не могу решиться на это; как возможно, любя его столько, быть от него в такое ужасное время так далеко, не иметь о нем частых известий! Это меня ужасало; к тому же мое болезненное состояние было помехой к поездке; нас всех страшила мысль о том, что мне придется ехать 500 верст в таком положении, не имея при себе бабушки. Однако все уезжают, враги наши входят в Калужскую губернию,— это от нас уже не более 100 верст. Матя мой едет в Алексин для набора воинов; мы все в большом страхе, не зная, что нам делать с собою; наконец, чтобы быть ближе к нему, мне вздумалось предложить, чтобы мы ехали в рязанскую деревню; Матя согласился, равно и матушка с сестрою. Начали приготовляться к отъезду, приехала к нам сестра Фаина Ивановна проститься, она поехала в Курск; потом Надежда Ивановна, проводя своего сына, который только что записался в ополчение и должен был идти на встречу неприятеля;

* Не Павел ли Андреевич — единственный сын составителя известных Записок?

она ехала в Ефремов; заехала проститься, ночевала у нас; поутру мы все были у обедни; я не могла вообразить, как я поеду, как оставлю своего Матю; всю отраду находила только в мысли быть ближе к нему и чаще иметь от него известия. Так тяжело было собираться мне к выезду из Кошкина, что невозможно описать. Матушка, быв у обедни и видя всю тоску мою, любя меня, сжалась над моим положением, и ей пришло на мысль, взяв всех моих детей с сестрою, ехать в рязанскую деревню, а мне тут остаться, покуда возможно; луч надежды облегчил мою горечь, благодарность моя к матушке неизъяснима, но опять грусть, согласится ли на это мой Матя? Однако я послала к нему, написав, какую матушка мне делает милость, видя мою грусть; между тем опасность, час от часу, умножалась — Матинька сам приезжает к нам из Алексина, соглашается оставить меня, покуда возможно; думали, что полк наш будет стоять у Серпухова или в Серпухове, поэтому он предложил мне переехать на это время к Анфорову, и если опасность увеличится, то Анфоров, заложа своих лошадей в мою карету, поедет со мною в ту же деревню, куда ехали наши; мы в их приязни всегда были очень уверены, и оба сына их были препоручены Мате. Матушка собиралась ехать, Матя остался проводить ее; матушка с сестрой, Анночка, Машинька и Лидинька сели в линейку; Николаша, Володинька с Андреем Андреевичем в кибитке; Зинаидочка, Сашенька, оба со своими няньками, в коляске; в других кибитках девки. Сборы были так грустны, что мы все не знали, что укладывать и что оставлять: все платья мои и даже все, что нужно и было заготовлено для моего будущего ребенка, все отправили, а шубы, даже матушкины и детские, все остались. Как горестно было мне отпускать милых детей моих, это один Бог знает, и всякий, кто расставался с такими милыми сердцу, с такими, можно сказать, неосмысленными малютками своими, тот только и может постигнуть всю горечь этой ужасной разлуки; но, по крайней мере, я знала, что они едут в свою деревню, под покровительством матушки и сестры, которые их любят как нельзя больше, и дети к ним привязаны почти столько же, как и ко мне; расставаясь со мной, только старшие плакали, а остальных занимало то, что они едут, и все были уверены, что через неделю я приеду к ним; когда экипажи были поданы, то слезы мешали нам выразить наши чувства; они поехали, Матя проводил их; некоторые из меньших как сели, так и заснули; казалось, когда я потеряла их из вида, то чувства мои

онемели, но Матя возвратился и, увидя его возле себя, я успокоилась. Матя должен был снова ехать в Алексин; некоторые из соседей наших остались у меня, чтобы мне не быть одной; мы с Матей уже решили, что, покуда он в Алексине, — мне не ездить к Анфорову, но жить дома, а на случай, ежели неприятель подойдет к нам ближе, а наши лошади все еще будут с матушкой и детьми, то в соседстве у нас есть большая деревня совсем незнакомого нам помещика, но мужики которой так любят нас, что на дворе у себя держали шесть лошадей, чтобы всякую минуту быть наготове запрячь их мне в карету, если мне нужно будет скорее уехать от наших врагов. Как описать ту пустоту в сердце и то горестное чувство, которое я испытала, оставшись одна, по отъезде матушки с детьми и когда мой Матя поехал в Алексин; соседи мои тоже уехали, и я осталась одна в своем большом доме; всякое местечко напоминало мне мою разлуку с ними; заслышав малейший шорох, мне казалось, что кто-либо из моих малюток бежит ко мне, тоска до того одолела меня, что я не знала, что мне делать; призываю Елизавету свою, велю ей принести совсем с постелью своего маленького к себе в комнаты, думая, что хотя он займет сколько-нибудь пустоту комнаты, но я обманулась: пустота была в душе и сердце, кто же мог ее заменить без Мати и детей моих! Я не могла войти в комнату, где дети жили, наконец, я почувствовала такую грусть, что боялась дольше оставаться одна, послала просить одну из ближних соседок, Широкову, к себе; она приехала и тем утешила несколько мою скорбь.

Через четыре дня приехал мой Матя и пробыл у меня три дня; в это время возвратились лошади от матушки, и я получила письма, в которых она сообщала мне, что они доехали до деревни благополучно; я от всей души поблагодарила Царя Небесного за его покровительство им; Матя мой опять поехал в Алексин, а на другой день я уже поехала к нему; он видел, что тут мне больше не достанет сил жить одной: это время я беспрестанно была в страхе, потому что неприятель был очень невдалеке от наших мест и уже подходил к Москве; впереди же шла наша артиллерия; мародеров везде было множество; казаки, которые также уезжали из полков и во многих местах пугали, что французы близко, велели жечь селенья, а сами грабили, одним словом, ужас был со всех сторон, везде по деревням караулы, везде по ночам перекликаются; жутко бывало по ночам, особенно когда сердце преисполнено грусти, к тому же и мое болезненное состояние препятствовало

мне спать. Уезжая в Алексин, я оставляла дом свой с совершенно спокойным духом оттого ли, что одной в нем очень было несносно, или оттого, что я ехала к своему Мате; в карету посадила я с собой свою Елизавету с ее ребенком; я боялась остаться одна, чтобы грусть не овладела мною; и между тем как вся домашняя прислуга и Широкова, оставшаяся проводить меня, прощались со мною со слезами, я поехала довольная и спокойная. Подъезжая к Алексину, мне встречается Бскакова, ехавшая из Алексина, останавливается, выходит из своей коляски, подходит ко мне бледная, встревоженная до крайности и первым долгом сообщает мне, что она едет в степь и что меня мой Матя не дожидется, что он пошел уговаривать бабушку, чтобы она ехала со мной в степную деревню, что здесь нет возможности оставаться, все в опасности, Москва взята злодеями, Тула в опасности; губернатор отправляет все свое семейство в Ефремов, и она едет уговаривать сестру свою Викулину, чтобы она также оставила мужа и ехала бы с ней, что даже муж велел ей приехать в Алексин затем, чтобы уговорить ее ехать непременно: услышав все это, я чрезвычайно огорчилась, думая, что завтра же мне придется оставить Матю, оставить в такое опасное время и ехать в моем положении одной с людьми за полтора ста верст. Говорят, что Тула в опасности, а мне придется через нее ехать; дети мои и матушка находятся в Рязанской губернии и во ста верстах, но все же казалось опасно оставаться им там, так как враг идет, как говорят, на Рязань. Приезжаю в Алексин, нахожу друга своего гораздо спокойнее, нежели воображала; он мне говорит, что рассказывают, будто Москва взята, а достоверно никто не знает, губернатор отпускает жену и детей, но еще не отправляет их, что мне еще нельзя ехать от него завтра, а необходимо предварительно отдохнуть и узнать, куда им назначат идти, бабушка не соглашается ехать со мной в степь, но это меня не беспокоило, я совсем забывала, в каком положении я нахожусь; грусть по поводу разлуки с Матей превозмогала всю тяжесть и опасность моего положения; все бывшие тут знакомые мне дамы пришли ко мне, все сокрушались насчет моего положения, одна я была покойна на этот счет, один Матя занимал меня, я только и думала, как мне расстаться с ним, как перенести это, проживши двенадцать лет с ним в спокойное время; недельная разлука с ним была мне тяжела до крайности, а теперь казалось, что если я оставлю его в это опасное время, то уже более никогда не увижу; эта мысль меня ужасала.

Тут к нам приходили почти все те, которые не только были у Мати в батальоне, но и все бывшие в нашем полку; многих жены были тут, и все они навещали меня; я познакомилась с теми, которых я не знала в Матином батальоне, но таких было мало; из сотенных один Донской был мне незнаком; увидев его и узнав, что жена его в таком же положении, как я (т.е. беременна), от всей души жалела ее; казалось, ей было еще тяжелее меня, я все еще была с Матей, а она находилась в 40 верстах от своего друга, но на другой день он получил записку от сестры, которая была с его женой, что она благополучно разрешилась от бремени; радость его была так велика, что все, кто видели его, радовались вместе с ним тому, что в его семействе прибавилась еще одна малютка; пришедши к Мате, он подал ему записочку и не мог почти ничего сказать от волнения.

Я пробыла в Алексине два дня; первый день никуда не выходила, но все знакомые перебивали у нас; до нас доходили самые разноречивые слухи; перед вечером не помню кто сказал нам, что проехал один генерал и сказал, что Москва взята, но сочли, что он изменник, который хочет только потревожить всех, даже сожалели, что городничий не отправил его к губернатору в Тулу; в других же местах почта и дороги были везде захвачены неприятелем; в это время курьеры из нашей армии ездили все через Алексин; проезжали еще какие-то люди и сказывали наверно, что Москва не взята, но что англичане и сербы, быв с нами в союзе, вступили в нее для защиты; и между тем из Москвы все уезжали, даже в Алексин приехало много купечества, но все они выехали из Москвы 30 августа, тогда наши враги не были еще в Москве; вечером часов в 8 полковник присылает к Мате, чтобы он к нему сейчас пришел. Матя пошел, а я осталась в страхе, не зная, что значит все это, но Матя скоро возвратился, сказав, что велено по Оке держать кордон, что ему с батальоном приказано стоять в Страхове, в двух верстах от нашей деревни; узнав это, я просила Матиньку, чтобы и мне ехать с ним в Страхово и пробыть там сколько возможно. На следующий день велено выступать из Алексина. Поутру все роты стали собираться идти к квартире полковника; Матя повел весь батальон, а я осталась на некоторое время на квартире; едва уехал Матя, приехал ко мне наш предводитель князь Волхонский; входя в комнату, говорит, что он приехал меня успокоить, Москва не взята, а это вошли в нее

англичане и сербы и входили с музыкой, а эти пустые вести о том, что в нее вошли злодеи, совсем несправедливы.

Мы все прихрабрились, но из Алексина все жители собирались выехать, и даже многие выезжали, иные начинали уже говорить, что Москву жгут, но им почти не верили, и все были в таком смятении, что не знали, чему верить. Проводив предводителя, я села в карету и поехала в квартиру полковника, но из нее уже все вышли и направились к тому месту, где стояли два батальона, Матин и Аксакова, и другие два батальона были в Крапивне; там набирались люди, но они еще не возвратились. Когда мы подошли к батальонам, туда принесли уже образа и начали служить молебен с коленопреклонением; трудно описать, что чувствовали тогда все присутствовавшие, скажу лишь, что не только те, которые шли на службу и остающиеся их семейства, но и все присутствовавшие плакали. После молебна пошли завтракать к полковнику, а я осталась тут; оттого, я думаю, что все были очень расстроены, я не видала, как ушла Пушкина, а она мне не сказала ничего, я даже после узнала, что к ним ходили завтракать, а алексинский купец Маслов поил всех воинов вином. Савиньков был отправлен в Страхово для занятия квартир, но едва он выехал, как встретил жену свою, ехавшую к нему на встречу; она никак не хотела верить, чтобы войска выступали только в Страхово; воротясь, он насилу довел ее до нас, и она упала без чувств, насилу нам удалось уверить ее, что полк идет так близко; Савиньков поехал, а мы с его женой и Викулиной уговорились жить также с нашими милыми друзьями в Страхове, и Викулина села со мной в карету с тем, чтобы завезти ее по пути к ее свекрови. Мы поехали со своим батальоном, однако обогнали его, чтобы пораньше приехать в Страхово и приготовить ужин к приходу Мати с батальоном.

Я приехала уже в 9 часов вечера; дорога была очень дурная, я же ехала очень тихо, и даже шла пешком в тех местах, где было очень ухабисто; это было 5 сентября 1812 г.⁶, вечером, шел маленький дождик; я приехала прямо на двор дома покойного Петра Дмитриевича Еропкина, доставшегося после него князю Гагарину; для нас очищали флигель, мели, все прибирали; пыль была такая, что я принуждена была сидеть на крыльце; в этом флигеле было две комнаты без печей и баня, в которой печь была вся изломана и ее нельзя было топить, да через сени еще большая комната. Когда пыль улеглась, то я вошла в маленькую комнату, напилась чаю с Савиньковым и заседателем, который тут был; до-

жидалась Матю до первого часа ночи; по приходе его, мы ужинали все вместе; Матя и все его товарищи очень устали.

На другой день, шестого сентября, мы расположились жить в бане, послали из дома привезти несколько мебели и железную кровать, но смятение было так велико, что и в голову не пришло поставить верх и полог; окошки были перебиты, мы велели кое-как замазать стекла, послали к матушке проведать их; все наши были у нас весь день. Матя ездил осматривать, где стояли по Оке караульные. Приехала Викулина и Савинькова; с Викулиной была ее старшая дочь Катенька; все поместились во флигеле; приехал сын Саблукова; он служит в армии и вел рекрутов в депо; он также сказал, что слышал наверно, что Москва взята, но и ему не верили, даже запрещали говорить об этом, словом сказать, никто верить не хотел, чтобы Москва была в руках злодеев. 7-го числа приезжала ко мне Анфорова и с нею ее племянницы, все говорили одно, но все неверное; я чувствовала себя не очень хорошо, казалось, минута моего разрешения приближалась, бабушки не было; я положила твердое упование на Царицу Небесную и была очень спокойна; Матинька получил от Богданова письмо или, лучше сказать, записочку, наскоро написанную, в которой уведомлял его, что точно Москва взята, и что в Туле небезопасно, и что он жену свою с семейством уже отправил и советовал бы и меня скорее отправить. Матя приносит мне письмо прочесть; я говорю, что я уже не в силах ехать; сначала он думал, что я для того это говорю, чтобы не уезжать от него, но вскоре дело выяснилось. Викулина не хотела тут ночевать и перебралась на крестьянский двор; я призвала свою женщину, которой два раза удавалось уже принимать, и была так спокойна, точно не мне предстояло родить. Мой Матя в тысячу раз беспокоился более меня. 8-го числа Матя поехал к обедне домой, Викулина пошла тут к обедне, я же была не в силах идти; однако у нас обедали все наши и чай пили; некоторые остались ужинать, но я уже не выходила; в 8 часов все разошлись, а в 11 я родила благополучно сына; бабушка моя очень испугалась, так как (ей показалось, что) мой Митя родился мертвым и так как она была еще в этом деле непривычная, то просила даже, чтобы Матя дал понюхать малютке одеколону, которым он тер мне голову и давал нюхать; ночь была страшно холодная, отовсюду дуло, но Господь был так милостив ко мне, что я не простудилась; кровать моя стояла возле самых дверей, против окошка, но все прошло благополучно. Для ма-

ленького ничего не было приготовлено, Широкова привозила мне для рубашечек белье своего мужа, а мое все было отправлено. Из Серпухова все выехали, жили по деревням и лесам; из Тарусы также все переехали на нашу сторону, поэтому и купить негде было; на другой день Матя поехал к полковнику, и он сам приехал к нам; тут опять увидела я, как велико было ко мне милосердие Божие: в ту самую ночь, когда я родила, один офицер Аксакова батальона, великий шалун Соколов был на Оке у Алексина в карауле; ночью плыла барка с сухарями, он ее окликал, но на барке, видимо, все заснули и ничего ему не отвечали; ему приди в голову, что это французы, закричал: «Французы в Алексине, давайте народу!» Это разнеслось от пикета к пикету, все кричат, бегут, дошло до полковника, он встал и на лошадь, туда же поскакал и перехватил весь свой караул, вот отчего до нас не дошел этот шум и тревога; Аксакова разбудили, жена его очень встревожилась; из ближних деревень даже мужики сбежались с вилами и рогатинами, все кричат и бегут в Алексин. Поравнявшись с баркой, полковник посылает к ней человека вплавь, чтобы остановить ее, и тогда уже узнают, что тут вместо французов — сухари; всех успокоили, а весь наш батальон не знал этой тревоги, и я не была в самое опасное для меня время встревожена, а спала спокойно. На третий день моих родов мы получили письмо от матушки и сестры, они были также в страшной тревоге; враги наши из Москвы вошли в Рязань⁷, все тамошние соседи наши уезжали оттуда; сестра писала мне, чтобы я поскорее приезжала, чтобы ехать в Елец; к ним уже приехали брат Афанасий Иванович с семейством и сестра Татьяна Ивановна с дочерьми; сестра писала даже, что они назначили уже день отъезда; если бы я даже поехала к ним из Алексина, то, вероятно, застала бы их уже в дороге.

II

Как скоро я родила, тотчас послали к матушке и сестре; с каким нетерпением ждали мы возвращения этого посланного, чтобы узнать, поехали ли они и здоровы ли; после обеда приехал к нам Нагаев, он был в Московском ополчении и сказал, что Москву отдали, что наши войска прошли через нее, а французы вступили тотчас, что они грабят и жгут в Москве и в окрестностях; многие из тех, кто был в Московском ополчении и имели деревни в

Московской губернии, очень роптали, как скоро отдали Москву, и даже уехали по домам, в том числе был и Нагаев, у которого также потерпели некоторые деревни. Впрочем, роптали не одни только жители Москвы: все говорили, зачем Москва отдана, но впоследствии оказалось, что этим спаслась вся Россия. Из самого вступления злодеев в Москву еще более повсюду высказалась милость к нам Создателя; они начали грабить церкви, но после них находили в церквях чудесным образом оклады с образов, переломанные и брошенные на полу. Образ, что на Спасских воротах, они никак не могли снять, стреляли в него, но даже стеклу ничего не сделали; образ Николая Чудотворца на Никольских воротах остался цел, тогда как неприятель, выходя из Москвы, взорвал всю стену до самых ворот, до самого образа. Много подобных дел совершили неистовые враги наши; страшно было даже слышать обо всем этом, но впоследствии они были видимо наказаны за все свои злодеяния.

Когда мы жили в Страхове, то ловили по Оке мародеров, даже со скотиной, которую они крали; квартира наша сделалась ужасно холодна, везде дуло, мне не было возможности долее оставаться тут; Матинька мой перевел роту в Кошкино и сам переехал в свой дом для меня. На пятый день после родов я переехала в Кошкино, очень ослабела, но все-таки дошла до гостиной, и можно сказать, что тут я только в первый раз увидела своего новорожденного малютку, потому что на другой день после рождения его отправили с бабушкой, которая его принимала, в Кошкино, и чтобы ему было не так холодно, то его поместили во флигеле в Елизаветину комнату. Кормилица нашлась солдатка наша, но очень изрядная молодая женщина; крестили его заочно Зинаида с Володей, на третий день его рождения; при себе я перевела его в матушкину комнату, куда поместила с ним Елизавету с сыном и ту женщину, которая его принимала, но он почти не спал и все кричал, потом пошли по нему большие нарывы и, наконец, Елизавета с этой женщиной заметили, что он голоден, у кормилицы молока было мало, а она никак не хотела признаться в этом, но попробовали дать ему соску и узнали, что он точно с голода не спит по ночам, бывало так, что кормилица тихонько давала ему соску; я была вынуждена переменить кормилицу, взяла дворовую женщину.

Через несколько дней я поправилась; мы никогда не были одни: все те, кто был у Мати в батальоне, бывали у нас всякий день, некоторые жили у нас в доме; оба Анфоровы постоянно жили у

нас; Матя не отпускал и меньшего в роту, но они постоянно находились при нем. Человек, посланный к матушке, возвратился; он догнал матушку уже на дороге, она поехала к Хрипуновым, но писала нам, что она там больше 10 дней не пробудет, не желая их стеснять, и просила Матю уведомить ее, куда ей ехать; в степной деревне также опасно и все оттуда выехали; нас с Матей это так расстроило, что мы не знали, на что решиться; в Кошкино им невозможно было приехать; опасность не только не прошла, но с каждой минутой возрастала; надобно было что-нибудь отвечать матушке, но мы не знали, на что решиться, так что Матя, сев писать, просил Царя Небесного вразумить его, а я, сидя возле него, плакала; наконец, Матя написал, чтобы матушка с сестрой Аннушкой и Машей побыли у Хрипуновых подольше; так как эта семья была не так велика, то по дружбе к ним Хрипуновых они, наверное, были бы им не в тягость, хотя в маленьком домике, но все бы поместились. Николашу и Володеньку с Андреем Андреевичем прислать к нам ввиду того, что это мальчики и слава Богу здоровые, но если опасность увеличится, они как-нибудь со мной уехали бы. Зинаиду, Лидию и обеих Сашенок с Феклою и Яковом Степановичем с его детьми отправить в рязанскую деревню. Грустно было нам обоим писать это, но мы не находили лучшего средства. Как ни усерден был Яков и как ни любила нянька наших детей и хорошо за ними смотрела, но все же они не будут уже под матушкиным и сестриним покровительством, и сердце мое не могло быть спокойным; однако слабость моя проходила и я выздоравливала гораздо скорее, нежели ожидала, и даже удивительно было, что огорчение не расстраивало моего здоровья, — так велико было милосердие Господа ко мне.

Все это время французы грабили и оскверняли храмы господни, сожгли почти всю нашу деревню и столицу и вышли из нее, пробыв в ней больше месяца. Пленных врагов наших беспрестанно гнали через наши деревни, а злодеи эти, по выступлении из Москвы, сделались еще злее, истребляли огнем все попадавшие им на пути деревни и города. Однажды, погода была прекрасная, Викулина зовет меня к себе в Страхово обедать; мы с Матей оба отправились к ней; туда приехали и все наши, Савинькова с сестрой. Савиньков был в карауле, жена его после обеда поехала к нему; я не знала, как они там стоят, и захотела также проехать; отобедав, мы все отправились туда; подъезжаем к берегу Оки; какая ужасная сцена представляется нашим глазам: весь луг на

противоположном берегу против Тарусы был установлен телегами; коровами, лошадьми и народом с маленькими детьми; это были разоренные из-под Москвы, которые успели уйти; все были в рубищах, лишенные почти дневного пропитания и всего имущества; некоторые из них были доведены до такой крайности, что и у маленьких детей их, кроме одной рубашки, ничего не было, и покуда ее сушили, ребенка не во что одеть было, то его голову грели возле разложенного огня; скотина от голода ревела, потому что на лугу травы совсем не было; из Тарусы все выезжали; вся армия наша и злодеев наших была не более как в тридцати верстах от Тарусы; тарусский городничий получил уже повеление, если еще опасность умножится, то жечь Тарусу: все это раздирало сердце на части от ужаса; пробыв тут недолго, мы поехали назад; напившись чаю у Викулиной, возвратились домой. Спустя несколько времени приехал к нам Пушкин со своим адъютантом; он ехал в Липицы, там стоял конный полк князя Щербатова, также из нашего ополчения; он был назначен бригадным, и наш полк также был под его начальством. Матя мой поехал вместе с ним, а ко мне приехала Анфорова с Нечаевым, а Савинькова жила у меня; после обеда мы все сидели в маленькой гостиной, Елизавета моя вызывает потихоньку Савинькову; та входит довольно встревоженная; я спрашиваю ее, зачем она выходила, она мне говорит, что Елизавета ей сказала, что слышна пушечная пальба, но что она выходила слушать и ничего не слыхала; я, признаться, не поверила этому, а думала, что Елизавете показалось от страха, она уже и прежде ночи не спала и дивилась, как я решаюсь тут жить.

Часа в три приехал Матинька с Пушкиным, и сказали, что точно слышна пушечная пальба и что Щербатов с полком едет в армию⁸, заедет к нам напиться чаю. Пушкин стал меня уговаривать уехать из этой деревни, потому что опасность была очень близка; вся армия наша находилась от нас не больше, как в 25 верстах и место сражения было не далее 30 верст; Матинька также говорил, что я его успокою этим, что он отпустит со мной надежных десяти человек вооруженных; приехал и Щербатов со своими офицерами; как было тяжело смотреть на них; люди, которые жили несколько лет в отставке, которые имели семейства, некоторые из них поседелые, ехали на поле сражения. Щербатов имел желание отличиться, но товарищи его шли затем, чтобы защищать свои дома, поэтому натурально, что они были угнетены горестью.

Все они уговаривали меня ехать, также и Савинькову, я не знала, что мне делать: ехать и оставить Матю — это мне казалось невыносимо, ехать одной — везде мародеры партиями, казаки, а между тем в Серпухове то наведут, то снимут мосты по Оке и все выехали, кроме одного архимандрита, он оставался в Серпухове; вижу, что Матиньку я успокою своим отъездом, поэтому решила ехать; зову с собой Викулину, Савинькову, но те ни одна не едут, а между тем полковник получил секретный ордер, что если ближе будут враги наши, то идти в Тулу; наконец, я решаюсь ехать в рязанскую деревню, считая, что уже дети должны быть там, и взяв с собой, ехать в Елец к Хрипуновым, туда, где матушка была со старшими моими детьми. Горесть так жестоко овладела мною при мысли, что мне с Матей расставаться должно, что я почти целый день плакала. Пушечные выстрелы беспрестанно были слышны, и даже час от часу становились слышнее; ужас все более овладевал нами. Вечером Матинька с товарищами своими пошли пройтись, я осталась одна, и, вообразив все обстоятельства своей горестной разлуки с милым своего сердца, с милым Матей, чувства оставили меня; когда я опомнилась, Матя сидел возле меня и все его товарищи помогали мне. Матя, видя мою невыносимую скорбь, пожалел меня, отложил отъезд мой до 25-го числа, день Сергея Чудотворца, и меня облегчило его обещание. В день Сергея Чудотворца мы получили известие, что наши бьют французов и гонят; тут я еще упрашиваю Матю, чтоб мне подождать ехать, он соглашается оставить меня с собою; в это время человек наш возвращается от матушки, и как я была рада, что не поехала, — Бог меня сохранил; матушка со всеми моими детьми уехала от Хрипуновых к брату Афанасию Ивановичу в тульскую деревню; в Туле не было уже такой опасности, однако все еще в самый город не приезжали, даже и купцов почти не было, а если бы я поехала, то в рязанской деревне детей бы не нашла, должна бы ехать со своим больным Митенькой в Елец к Хрипуновым и там бы не застала своих; какое бы было мое страдание во время этой моей поездки; верст триста или четырехста проехать в такой грусти и не иметь даже того утешения, чтобы получать известия о своем милым Мате, и нигде не находить свое семейство: от истинной души моей благодарила Царя Небесного, что избавил меня от этого мучения.

Мы побыли еще несколько дней в Кошкине; приехал опять Пушкин к нам, ехавши к бригадному, но бригадный, Рахманов,

был уже у нас; Матя мой уже не поехал, но вечером того самого дня приехал к нам полковой адъютант Владычина Рославский, для занятия квартир; их полк также пришел из Тулы, и нашему велено подвинуться к Алексину, а Владычину занять наши квартиры. Поутру приехал наш полковник и сказал, что нам приказано стоять в Ламанове и чтобы в тот же день очистить квартиры, потому что Владычин идет уже с полком. Матя мой на одну ночь перевел еще роту в Кошкино, потому что поздно было идти в Паново, а Страхово очистили для Владычина; Кошкино наше не было назначено под квартиры, но так как в это горестное для всей России время дорога через Кошкино сделалась самая проезжая, очень много шло разных команд и везде делали большие притеснения обывателям; Матя поехал с Пушкиным к Владычину, чтобы предложить ему самому остановиться у нас в доме и попросить его, чтобы он и роту одну поставил в нашем селе. Владычин и с ним Карпов приехали к нам обедать, и Владычин сам не захотел у нас в доме остановиться, а роту поставил в Кошкино. Наш батальон очень рано пошел в Ламаново, около него занимать квартиры, мы же с Матей, после обеда, проводя своего полковника и Владычина, поехали сами в Ламаново, взяв с собою Митю с кормилицей и Елизавету с сыном. Ехав через нижнее Ламаново, где была квартира Пестова и Донского, мы заезжали к Пестову, к нему и жена приехала; от них поехали на свою квартиру; нам была квартира в доме, но дом холодный, везде несло, а некоторые комнаты были совсем без печей; с нами в доме поместились по обыкновению оба Анфорова и Савиных, а в бане Викулин с женой; его рота стояла в этой деревне, а Бельскова рота была в Егнышовке; тут и полковник жил в своем доме; всякий день мы видались со всеми, Пушкин также к нам почти всякий день ездил, а живя с Викулиной на одном дворе, мы всякую минуту были вместе; всякий день слышны были неумолкаемые пушечные выстрелы; признаться, когда, бывало, не слышать сих выстрелов, то все боялись, не сделался бы мир, и всякий раз, как просыпались, то первый вопрос был — не слышна ли пальба? Хотя при всяком выстреле сердце обливалося кровью, но все были уверены, что наши войска во всяком сражении под покровом Царя Небесного и под предводительством князя Кутузова выигрывают, что и было точно с самого Бородинского сражения, которое было еще до взятия врагами нашими Москвы; везде их били не только мужественные

наши войска, но и простые мужички; даже они начали умирать с голода и просили мира, быв в Москве.

III

К полковнику был прислан ордер, по получении которого повеления выступать в 6 часов в поход. Осень была прекрасная, октябрь был так хорош, что мы очень часто гуляли. Случилось, что все наши разошлись: Матя, Викулина и еще человека два у нас было, не больше; мы пошли гулять, и как вышли на крыльцо, то я услышала страшную пальбу; прежде я не выходила из комнат, когда была слышна эта страшная стрельба; по слабости своей я еще мало выходила, но тут, услышав пальбу в первый раз, она меня смутила; однако, быв близ Мати, казалось, опасность была не так велика; по вечерам были видны вдали в той стороне, где находились обе армии, огромные зарева; однако опасность в наших местах сделалась уже не так велика; обе армии стали от нас удаляться, враг наш не тут уже был, как во время шествия на Москву: он не побежал, но его гнали; я стала просить Матю, чтобы детей привезти, но он все еще не решался; в Тарусу жители стали собираться, также и в Серпухов и в Тулу; наконец, Матя согласился, а больше превозмогло его желание послать за Николашей и Володей с Андреем Андреевичем, — и дней через пять послали за ними лошадей. Пестов уже перешел со своею ротою в Велигуше; зовет нас к себе чаю пить, его жена и свояченица Воронцова* к нему приехали, а от него Донской зовет, чтобы заехали к нему; Викулина также хотела к Донскому приехать; мы с Матей на дрожках поехали к Пестову, от него уже в сумерки выезжаем к Донскому; он мне говорит: «Посмотрите, какая у меня прекрасная спальня», а где его кровать была поставлена, то там была повешена занавеска; думая, что он оттого хочет показать мне свою спальню, чтобы пошутить, как он перегородил избу занавеской, я приподнимаюсь немного, но он просит меня подойти поближе; я подошла — и каково было мое удивление и радость, увидя на его кровати сидящего Андрея Андреевича и Николашу с Володей; как приятно было мне прижать их к своему сердцу после двухмесячной разлуки! Я не могла на них наглядеться, казалось, они совсем переменились, и они нам чрезвычайно об-

* Пестова и Воронцова были дочери Андрея Тимофеевича Болотова.

радовались. Когда мы поехали к Пестову, они приехали вскоре после нас; Викулина привезла их с собой к Донскому, и они мне сделали этот приятный сюрприз; Володя с Николашей не отходили от окошка, все смотрели на караул, который стоял у нас под окном, а я все на них смотрела; как мне хотелось и других детей моих видеть; Матя несколько раз предлагал мне, когда я плакала, чтобы я съездила к брату повидаться с детьми, но, признаюсь, что как я ни желала их видеть, но не решалась ехать, потому что боялась, что матушка уже оставит меня с ними и я буду разлучена с Матей своим, вот что меня удерживало; к тому же я знала, что по милости матушкиной и дружбе сестры Анны Ивановны они все покойны и что за ними имеют присмотр не менее моего.

12 октября (Андрей Тимофеевич) Болотов был именинник, мы с Матей на дрожках, а на других — Пушкин поехали к нему; к нему из армии приехал внучок его, Воронцов, и мы узнали от него, что тогда в наших местах опасность час от часу уменьшалась, и Болотов даже сказал нам, когда мы с ним советовались, что можно и за матушкой с детьми послать; на другой же день мы послали за ними лошадей, и к Пушкину жена приехала, и он также решил писать к своим, чтобы приезжали, но Наталья Николаевна с сыном одна приехала; разочтя дни, когда матушка должна приехать, мне казалось, что она с Казанской должна быть дома; от большого желания видеть детей мне казалось, что они непременно должны приехать.

21 (октября) был день рождения жены Пестова; мы поехали с Матей к нему после обеда, с тем, чтобы, посидя у него, ехать уже в Кошкино, полагая наверно, что матушка приехала и чтобы приехать ко всенощной поднять в церкви образ; мы поехали на дрожках; проезжая мимо пикета, на котором был в карауле Пестов, мы подъехали к нему; поговоря с ним, хотели ехать дальше, но только что отъехали несколько шагов, дрожки наши нагнулись в сторону; мы остановились посмотреть, от чего это, Пестов подошел к нам, осматривал наши дрожки и увидели, что дуга лопнула, подвязали кое-как; Матя шел пешком до самого Велегуша. К Пестову приехали верхами Викулин, Донской и оба Анфоровы, с тем, чтобы с нами ехать в Кошкино, отслушать всенощную и опять возвратиться в Ламаново; наши дрожки подвязали лучше, и мы поехали, но, отъехав не более полверсты, дрожки наши совсем разломались, и мы вынуждены были с них сойти; Петр Николаевич поехал к Пестову за его дрожками, а мы пошли

пешком; ночь была хоть холодна, но светла; Алексей Николаевич вел всех верховых лошадей, Донского лошадь оторвалась, и все пошли ее ловить, но, поймав ее, Викулин потерял нагайку и поехал назад, не захотел ехать с нами; Донской озяб, поехал вперед, остались мы с Матей и меньшей Анфоров, но скоро дрожки Пестова приехали, и мы доехали благополучно до Кошкина.

Подъезжая к деревне, казалось, что в доме огонь, и я вообразила, что через несколько минут я увижу матушку, сестру и своих малюток; сердце мое трепетало от радости: казалось, тихо едем; наконец, приезжаем к дому, но в нем темно, нет огня, наши еще не приезжали; мы все перезябли, чаю с нами не было, а тут без Елизаветы своей я не знала, где его найти, но Пелагея принесла немножко чаю и несколько кусков сахара. После всенощной Донской и Петр Николаевич уехали, Алексей Николаевич остался с нами, ужинали мы также деревянными ложками; на другой день послали в Широком попросить чаю, сахару и приборов; после обеда у нас были Болотовы и только что поехали, как увидели, что наши едут; мы выбежали на крыльцо, не могли их дожидаться, и дети как обрадовались, увидя дом свой, что насилу усидели в экипажах; выезжая во двор и увидя меня и Матю стоящих на крыльце, Лида вскричала: «Ах, бабушка, отец мой и мать моя тут, вот я их вижу!» Как подъехали они, то слезы облегчили меня, и они только могли выразить ту радость, которую я ощущала, увидя детей после двухмесячной разлуки, и ту благодарность, которую я в душе моей имела к матушке и сестре за все попечения их о детях; дети все очень нам обрадовались, один Саша не узнал меня, а к Мате кинулся на руки, несмотря на то, что Матя усы отпустил; я в это время очень похудела, и он не узнал меня. Я в них во всех нашла большую перемену, они выросли все, беспрестанно то тот, то другой подходили и целовали меня; Матя ночевал тут, а поутру поехал в Ламаново, но я осталась с ними, он прислал в карете Андрея Андреевича с Николашей и Володей, кормилицу с Митей и Елизавету, а сам остался там; я думала, что через неделю, взяв с собою некоторых детей, поеду к нему, но через три дня приехал адъютант Мати и сказал, что Матя велел лошадям прислать, что им опять квартиры переменять; ему опять приказано стоять в Кошкино, чему мы очень обрадовались; между тем погода переменялась и зима начиналась, реки становились, и кордоны по Оке велели снять; переехал и Матинька, и мы тут восемь дней прожили благополучно, в кругу своего семейства.

Потом сотенный наш начальник Бельский зовет нас в свою деревню к себе на завтрак; приезжаем все к нему; у него еще был один капитан Рахманова полка, но по отлучке его батальонного начальника он правил батальоном и стоял в деревне Бельского; как мы приехали, то он показал нам ордер командира идти в Рославль и там дожидаться приказа, это нас всех встревожило чрезвычайно; полагая, что, верно, и нашему полку идти, и прежде были слухи, что всему ополчению назначен поход, но мы не хотели этому верить: обыкновенно, чего очень боишься, то все надеешься, что не случится; к тому же полагали, что наш полк, по обещанию, выступит последний; все думали, что коли и пойдут, то все еще не скоро, но сердце предвещало уже, оно начало страдать. Приехав домой, приказа от полкового командира еще не нашли; но вечером мы легли спать в одиннадцать часов; натурально, что, дожидаясь этой страшной бумаги, я не могла покойно спать, лежала и плакала; приходит девка, приносит бумагу, адъютант прислал, чтобы через два дня выступить; тут уже горесть овладела мною, и я начала рыдать, просить Матю, чтобы позволил мне проводить его до Калуги; он дал мне слово; в ту же минуту велел к сотенным послать записки, чтобы они все рано поутру съехались; мы встали раньше обыкновенного, можно ли спать, когда душа страдает. Все приехали, все были в одинаковом положении; к Донскому приехала жена; не зная еще об этом походе, она приехала ко мне; конечно, мы друг друга не могли утешить, но страдали вместе и плакали. К нам приехала сестра, Надежда Ивановна, со своими; она только что возвратилась, узнав из моего письма, что Мате поход, и приехала проститься; сборы были таковы, что я, укладывая все его белье и платье, всякую вещь, верно, не один раз оплакивала.

IV

7 ноября батальон наш выступил очень рано, так как ему велено собираться в Игнешовке, и мы все встали в 6 часов, даже дети старшие пятеро проснулись проводить папеньку. Анфоровы приехали проводить детей и ночевали у нас; как описать ту ужасную сцену, когда Матя прощался с матушкой, с детьми и с сестрами; сестре Анне Ивановне сделалось дурно, племяннице также средней, с которой Матя всегда был дружнее; дети все плакали, меня

уже Матя поскорее отправил, посадил в кибитку; он сел на облучок; впереди в санях ехали оба Анфоровы. Все дворовые провожали Матю, но, конечно, невозможно описать все то, что было при прощанье, потому что никто не помнит этого хорошенько, от горя души у всех были мертвы. В Тяпкине мы переехали через речку, мужик вышел проститься с Матей; кругом нас были мужики совсем посторонние, но все любили моего Матю, кто только знал его и его чувство, — возможно ли мне не обожать его?

Проехав Ламаново, наш батальон дожидался Матю; он сел верхом, а я проехала вперед к Пушкину; проезжая мимо батальона, слезы лились из глаз моих. Приехав к Пушкиным, нахожу у них Баратова с женой; все их семейство и Петр Николаевич Пушкин с женой сидят и довольно покойно чай пьют; я как вошла, так никак не могла воздержаться и рыдания мои обнаружили всю мою скорбь; они меня старались успокоить; Екатерина Матвеевна как ни скрывала тоску свою, но кто чувствовал такую же горесть, тот мог понять ее чувства; Наталья Николаевна говорила, чтобы я не огорчалась, что они идут занимать кордон по Смоленской губернии, что им не грозит опасности, но что если они пошли уже служить, то зачем на печи сидеть, они за этот поход получают ордена, и что он продлится не более двух месяцев; сердце мое не соглашалось с этим, и слезы мои были ей ответом; меня мучила уже одна разлука с милым сердца моего, Матей, а еще меня тревожила мысль, какие беспокойства и мучения ему придется испытать в походе.

Пришли все батальоны, и Пушкин поехал к ним, понесли обрза, и там служили молебен с коленопреклонением, но я уже не могла туда ехать, чувствовала, что я не в состоянии смотреть на это; они все пришли завтракать, приехала Викулина, она со мною вместе ехала провожать своего мужа; затем все батальоны двинулись, их вел версты две Пушкин, а потом воротился; Матя повел свой батальон, и мы поехали, обогнали их и, приехав в Алексин, искали квартиры, назначенные нашему батальону; нас увидел на улице Баратов, подошел ко мне и сказал, что он только что слышал от одного офицера, что проезжавший курьер сказал ему, что некоторые ополчения ворочены и будто и нашему велено воротиться, хотя мы чувствовали, что это не совсем справедливо, но надежда возымела в сердце моем. Приехав на квартиру, мы дожидались с час своих малых друзей; боялись, так как было очень темно и везде была вода, чтобы они не промочили

ног и не простудились; квартира наша была изрядная комната, довольно чистая и к ней хорошенькая передняя, в которой жили у нас Анфоровы. Дом этот принадлежал алексинскому купцу, другую половину дома он занимал с женою и дочерью, которая уже несколько лет лежала больная, почти без чувств, ничего почти не говорит; если ей дадут есть, то ест, и то очень мало, а сама не просит, лежит или сидит сложа руки и опустя голову.

Наши пришли и точно промочили ноги, у Матиньки ноги очень распухли; тут мы пробыли целую неделю; подвод не было и от теплой погоды Ока испортилась. Послали к Богданову спросить, что нам делать; он велел сказать, чтобы не спешили идти, между тем он сдавал свою комнату⁹ генералу Миллеру, а сам не хотел выполнить своего обещания идти вместе с батальоном, остался губернатором, а не начальником Тульского ополчения, но все еще были под его начальством; некоторые почувствовали, что ошиблись, но было уже поздно. Все, кто тут были, знакомые приезжали ко мне; жена Семенова приехала проститься с ним, и та приехала со мною познакомиться. У Пушкиной умер брат, и я поехала поутру навестить ее и от нее принуждена была заехать к Алтуфьевой; она у меня была и очень звала; погода была так теплая, что снег весь стаял и на санях ехать было невозможно. Меня все уговаривали, чтобы я не провожала далее своего Матю; он сам несколько раз пытался уговорить меня, но я плакала, у меня сделались сильные спазмы в горле, и он меня более не останавливал. Через неделю велено было выступать; весь полк должен был собраться в квартире полковника, для слушания молебна, и все поехали туда, но я с Викулиной не могла этого сделать; с нами Матя оставил Савинькова, и мы с ней, сев в маленькие сани, поехали, а в коляску, которую уже привезли к нам в Алексин, посадили девку; стало немного подсыывать, оттого мы и сели в сани; подъехав к перевозу, думали, что мы переедем раньше полка и будем дожидаться на той стороне, вместо того нам пришлось часов пять прождать на берегу, паромы были на той стороне и на них ставили пушки и пороховые ящики; лошади были очень измучены, поэтому чрезвычайно долго ставили на паром и сводили с парома, так что полк наш тем временем пришел; как горестно было смотреть нам на него; все те, кто оставлял свои семейства, были так удручены горестью, что она отражалась на их лицах; протопоп благословил хоругвию, и его несли вместо знамени.

Так как наш батальон был первый, то его первым и поставили на паром, и наши сани тут же. Семенов, увидя меня, старался как можно скорее меня поставить на паром, чтобы мне не стоять на берегу. Как только мы переехали, то батальон пошел и мы за ним поехали, Матя мой в других санях возле нас; нашему батальону назначена была квартира верстах в пяти от Алексина. Накануне поехал квартирмейстер Матвей Петрович Бельской; мы полагали, что квартира уже очищена; приезжаем к назначенному селению; Матя, видя, что квартирьеров нет, велел адъютанту ехать вперед и нам за ним. Приезжаем, но тут и квартирмейстера не было, и квартиры не заняты; он был человек совсем необыкновенный, никогда не служил и проехал вперед верст десять, не спросясь ни у кого. Адъютант развел квартиры, пришел батальон, приехала наша коляска, мы все пили чай и ужинали вместе; тут нас догнал Пестов, он ездил проститься к своим, приехал с надеждою, что дальше Калуги не пойдем, и многие так думали, но сердце мое не чувствовало никакого облегчения.

Поутру мы все встали очень рано, Викулина и все наши опять к нам пришли; адъютант пришел сказать Мате, что нашли в соломе полумертвого француза. Матинька пошел к нему и узнал от него, что их много гнали пленных и что провожатые, увидя, что он слаб и не может идти, побили его порядочно и бросили на дороге, считая мертвым, но он, опомнясь, дополз до сарая, в котором его и нашли; Матя велел его накормить и представить в суд. Мы также поехали за батальоном; всему полку велено было собратсь идти вместе. Доехав до сборного места, мы поехали вперед и Алексей Анфоров верхом с нами; приезжаем опять к квартирам и тут квартирмейстера нет — он также ошибкой проехал в другую деревню. Алексей Николаевич отводил квартиры и как ни выбирал, не мог выбрать порядочной; нашли маленькую и черную избушку, а в других везде были больные. Батальон пришел довольно поздно, и мы уже ночевали с Анфоровыми в одной избе, и так как другой избы не было, то все караульные и наши люди тут же спали, так что вся изба была занята спящими; о, как тут в этой тесноте, в тяжелом от сырости воздухе, на полу я спала хорошо, прижав к сердцу милого неocenенного друга своего Матю; он всю ночь беспокоился обо мне, но я лежала возле него и казалось, что в самой лучшей комнате, на лучшей кровати.

Поутру, послав занимать квартиры уже Алексея Николаевича, мы поехали вперед; Матя с батальоном остался дожидаться дру-

гих батальонов; это было 16 ноября, день Матиных именин; по дороге мы видели всюду лежавших французов мертвых, в иных местах кучами, человек по десяти; везде гнали пленных, и это были отсталые, которые не могли идти дальше от утомления, другие были замерзшие; приехали мы также довольно рано на квартиры, они уже были готовы; Викулины поместились с нами на одной квартире, изба была пребольшая; Пушкину была назначена квартира в этом же селении. Наши все пришли ко мне; я послала звать Пушкина, дорожный пирог у именинника кушать, а он прислал меня звать переехать к нему на квартиру, он стоял в господском доме, но я не поехала, а он приехал к нам, и мы провели весь этот день вместе; тысячу раз благодарила я Царя Небесного, что я хоть в крестьянской избе, но с Матей провожу этот день; что бы было со мною, если бы я была дома без него!

Вечером полковник наш уехал, Матя лег полежать на постель, а я сидела возле него; вдруг к нам входит мужчина в бурке, спрашивает квартиру Пушкина; Матя спрашивает у него, кто он такой, и узнает, что он князь Щербатов, партизан. Матя предлагает ему войти, он садится и начинает разговаривать, куда ему готовится провожатый. Он говорит, что наши везде бьют и гонят французов, что они уже мрут от голода и морозов и с отчаяния отдаются в плен целыми полками; дивился, куда ведут ополчение, что оно совсем не нужно, и говорил, что, верно, воротят назад; рассказывал много анекдотов про дружины; наконец, провожатого привели, и князь Щербатов поехал. Матинька поехал с ним к Пушкину, но недолго был там и скоро вернулся; поутру была сильная метель и холод, а мы ехали в открытых санях, коляску свою мы уже отправили домой, и девка ехала в других санях; я надела теплую шинель Донского сверх шубы, а Викулина — шинель своего мужа; всему батальону велено было собираться у мельницы верстах в трех от Калуги, и мы ехали все с батальоном. Матинька мой все сидел у нас; подъезжаем к мельнице, нас встречает один из квартирмейстеров, офицер, говорит, что в Калуге не дают квартир, вице-губернатор говорит, что все заняты, а велит идти через город и еще за 12 верст и надобно через реку на пароме переезжать, но и там сегодня переправляются батальоны Калужского ополчения. Матинька велел ему ехать к полковнику, а мы подъехали к мельнице и вошли в избу погреться; нашли уже тут многих из наших офицеров и трех дам: Шепелевскую,

Ефремову и Андрееву; они все ехали с мужьями в Рославль. Ефремов был у калужского вице-губернатора, и он ему сказал, что ни одной нет квартиры для нашего полка, а Миллер прежде приказывал сказать Пушкину, чтобы не спешил идти, то мы все думали, верно, мы остановимся в ближних деревнях на несколько времени; приехал полковник, но он был совсем иного мнения, он спешил идти и не хотел останавливаться; поехал сам в Калугу, взяв с собою Семенова, а всем велел ждать; с Матей был штоф водки и сухой заяц. Матя и все, кто тут был, выпили и закусили, я не могла куска проглотить; видя поспешность полковника, я воображала, что через два дня я должна буду расстаться с милым другом сердца моего, с моим Матей; мы тут ждали до четырех часов. Матя ушел к Арсеньеву в кибитку уснуть, а в избе была страшная теснота; офицеры со всего полка и некоторые старые урядники и воины, которые выбивались из сил от стужи, приходили попеременно греться, прочие воины все стояли в поле, дрожа от холода; погода не переставала, больные лежали на возах; видевши все это, сердце раздиралось; наконец, полковник прислал Семенова сказать, чтобы полк шел, что штабным квартиры в городе, а прочие все с полком пойдут в ближние деревни; подъезжаем к Калуге, полковник нас дожидался и велел всем городом полку идти парадом; снег перестал, но стужа была чрезвычайная; покуда полк строился, мы стояли, не зная своей квартиры; все ехали при полку; как горестно было видеть парад этот, сердце обливалось кровью. Матя и все наши офицеры так перезябли, что удивительно, но полковнику того хотелось, нечего было делать, должно повиноваться; никто не видел этого парада. В городе попался нам квартирмейстер. Матя велел ему сесть к нам в сани и проводить нас до квартиры; мы поехали, квартира наша была у купца, две комнаты очень изрядные; в одной расположились мы с Матей, в другой Викулины и с ними Анфоровы; полк прошел весь город парадом, Матя с Викулиным и Анфоровы воротились; Пушкин со своим адъютантом Панютиным также зашли к нам отогреться и выпить чаю.

Мы в Калуге пробыли также неделю; всякий день, просыпаясь, первая мысль была, что это последний день я с Матей вместе; всякий вечер, ложась спать, жестокое отчаяние терзало мне душу и сердце при мысли, что завтра я буду прощаться с Матей; Матя старался утешить меня разными обещаниями: писать ко

мне часто, приехать к 3 февралю (1813 г.), и если будут стоять в Рославле, то призвать меня, но все это мало облегчало горесть мою, казалось, я с ним расстанусь надолго. Однажды Аксаков и Семенов звали меня к себе обедать на уху из налимов; их квартира была очень близко, мы с Матей пошли к ним обедать, долго сидели, потом поехали к Казанской Божией Матери, заехали к Баскакову; там дожидалась нас Викулина, его сестра; Баскакова просила, чтобы он нам с Матей пересылал письма, адресованные на его имя; он взялся за это от доброй души. Приехав домой довольно поздно, мы легли спать, я не могла заснуть, видела все, что в другой комнате огонь, и думала, наверное, прислан приказ о выступлении, и адъютант пишет записки в сотни. Могла ли я уснуть с этими мыслями; я долго лежала, как вдруг входит ко мне моя женщина и зовет меня к Викулиной; я встаю, прихожу к ним и узнаю, что она больна и в великом отчаянии; велела разбудить хозяйку, узнать, где бабушка живет. Посылают за ней, она уверяет, что не выкинула, а так занемогла. Просидев у нее несколько часов, я пошла в свою комнату. На другой день Викулина стала так слаба, что когда захотела пройти в другую комнату, то ей сделалось дурно; в это время у нас были Пушкин и Аксаков, и все мы увидели, что не было возможности домой ехать в санях, но приходилось остаться на некоторое время в Калуге; мужа ее с ней хотели оставить на это время; хотя бабушка и уверяла, что она не выкинула, но впоследствии оказалось, что выкинула, и я должна была, расставшись с милым сердцу моему моим Матей, ехать одна домой; это было в субботу, а полку приказано было выступить в понедельник; вечером присылает ко мне Аксаков, сказать, что жена его приехала к нему; я с Матей пошла к ней повидаться, она говорит, что не могла долее переносить разлуку, приехала с тем, чтобы ехать с ним, он чрезвычайно ей обрадовался и также не хотел ее отпускать домой. Как завидно мне было ее положение: ей это можно было сделать — у ней только было двое детей, и те маленькие, она их оставляла на руках у хорошей няньки, препоручала мне и другим соседям, а у меня девять человек; казалось, совестно их оставить, мои уже требовали воспитания и нравственности; я думала, что для них я должна принести эту жертву, расстаться с моим Матей, думала, что они успокоят меня хотя немного, к тому же у Аксаковых и средства были лучше наших.

V

Наконец, настает тот ужасный день 25 ноября (1812 г.); полку велено выходить в 9 часов утра, а Матя хотел, чтобы, посадив меня в сани, ехать самому к батальону; не знаю, в 10 часов или ранее мы прощаемся с Матей; описать то, что было со мной при расставании, никак не могу. Мне не было дурно, я глядела во все глаза, но ничего не видела; Викулин проводил меня до заставы, и я поехала одна в санях, а в других девка. Стужа была так велика, что люди все переизносились, а я в одной шубе и ничего не чувствовала, сидела даже не плакала; человеку нашему показалось, что я озябла, он надел на меня свою шинель. Проехав 60 верст без остановки, я вспомнила, что я не завела часы, вынимаю их и вижу, что еще одиннадцать часов; они остановились; говорю: «как рано», но кучер говорит, что солнце уже село; тут я пришла немного в себя, слезы полились из глаз и сердце немного облегчилось; я вообразила, что я почти с Матей не простилась, казалось, что я его не прижимала к стесненной горестью груди своей, казалось, он меня мало целовал, и тоска опять овладела мною. В таком положении я доехала уже к вечеру до сестрицы Надежды Ивановны; как я вошла к ней, то Татьяна Ивановна, видя мои страдания, дала мне капель; я много плакала, она хотела дать мне обедать, но могла ли я, расставшись с Матей, есть что-нибудь. Почувствовав, что я очень озябла, я попросила чаю; видя мою грусть, они все очень расстроились сами; я у них ночевала; лежа в постели, я всю ночь не переставала плакать. Отобедав у них, поехала домой, и чем ближе подъезжала к дому, тем ужаснее было мое положение, тем больше тоска раздирала мое сердце, все те места, где Матя бывал со мною, были оплаканы; подъезжая к пикетам, где они кордон держали у Оки, я плакала, а проезжая ту квартиру, где я родила Митю, вспомяв все его (т. е. мужа) о мне попечение и нежную заботливость, рыдания мои усилились еще более; приехав домой и увидя дом свой и детей, я лишилась чувств, и меня уже втащили в комнаты; матушка и сестра также очень расстроились, дети, даже и самые маленькие, чувствовали ту тягость, которая лежала у меня на сердце, большие плакали, маленькие боялись подойти ко мне; а как тяжело мне было войти в спальню, быть там одной без милого моего Мати! всякая комната несколько раз была оплакана мною так, что даже маленький мой Саша лишь только меня увидит, то кинется ко мне на руки и, к образам протянув ручонки,

говорит: «Дай Бог папу» и кланяется,— он ничего больше не говорил. Невозможно описать, как тяжело мне было видеть детей, они все молились с большим усердием о милом своем папеньке. Я клала Лидишку с собой на постель спать, а Зинаиду кровать поставила возле своей; я не могла спать; грусть моя не только не уменьшалась, но час от часу возрастала; я проводила почти все ночи в слезах или молилась о своем Мате и просила Царя Небесного о нашем соединении; все наши соседи приезжали ко мне, одни, чтобы узнать о своих, другие меня проведать, но ничто не могло меня отвлечь от моей тоски, она беспрестанно терзала меня; многие бранили меня, другие дивились моему отчаянию, но оно не уменьшалось. Целую неделю я не имела известия о милом друге сердца моего и выходила из себя; матушка с сестрой собрались ехать к Елагиным на несколько дней, я осталась одна с детьми; мне казалось, что лучше остаться одной и свободно предаваться своему горю.

Однажды поутру я только что выхожу вниз, Яшка Федоров говорит мне, что он слышал, будто в Тарусе есть у перевозчика письмо ко мне от Мати; в ту же минуту я поспешила послать в Тарусу, но человек встретил на пути перевозчика, который ехал ко мне и вез письмо, которое я оплакала и перечитывала тысячу раз; сначала радуюсь, что имею известие, что мой Матя здоров, а после, рассчитав, сколько времени писано это же письмо, воображаю, что по отправлении этого письма бог знает что с ним делается, может, стужа чрезвычайная, может быть, он простудился и болен, может, еще того хуже; бог знает чего не придумывала и так терзалась ежеминутно. Матушка поехала, я перевела в свою комнату Анночку и Машеньку, но грусть мою ничто не могло облегчить; я не была покойна ни минуту, думая постоянно, что мой милый Матя в какой-нибудь опасности или болен; мне казалось, что я его никогда не увижу, и эта убийственная мысль беспрестанно терзала меня. Думая облегчить эту ужасную грусть, я ездила к некоторым соседям, но ничто не помогало; была у Викулиной, поплакала с ней, ездила к Пушкиным, получила от неоцененного друга своего еще письмо: он писал мне всякий день по страничке и по несколько вместе присылал; я писала к нему беспрестанно, но он не получал моих писем. Во время нашествия французов наши почты в некоторых губерниях еще не были установлены; несмотря на это, я просиживала над письмами почти целые ночи и, признаюсь, писавши, все плакала; но эти слезы только и уте-

шали меня; читала его письма, разбираала, которые нежнее написаны, и опять укладывала в ларчик; порхала к старшей сестрице Надежде Ивановне, взяв с собою старших детей, матушка была еще там; я привезла ей письма своего милого Мати, но читать их никак не могла; Варвара Ивановна читала их, а я опять плакала. Пробыв тут двое суток, я поехала домой, ездила к Пушкиной и провела детей Аксаковых; увидя их одних, вспомнила опять все обстоятельства и также поплакала. Таким образом я провела время до 20 декабря (1812 г.). Все твердили, что ополчение должно непременно возвратиться в январе, полагали, что в нем нет никакой нужды, все так говорили, а я думала иначе, и то, что всякий шаг моего Мати удалял его от меня, не выходило у меня из мысли; думали мы с Пушкиной, что если они остановятся в Рославле, то непременно ехать к ним хотя повидаться.

20 декабря получаю я через оказию письмо от милого своего Мати, он пишет мне, что им велено идти в Минск и что есть слухи, что и на Цесарские границы¹⁰; только тот, кто любил так, как я любила своего Матиньку, и был в разлуке, может понять, что я чувствовала, получив это письмо: надежда скоро увидеть его совсем исчезла, к тому же я знала, что с ним денег не так много; как доставить их к нему! Боже мой, какое это было мучительное положение, я не знала, что делать; решаюсь ехать просить Богданова, нельзя ли перевезти наш батальон в Тулу или через него послать деньги, так как он посылал ордера к нашим, чтобы по крайней мере хоть деньги переслать к Мате; еду в Тулу, беру с собою Анночку и Машеньку, чтобы не быть одной на квартире; заезжаю к Викулиной; по пути пишу к Мате, заготавливаю письмо, думая с верной оказией послать, конечно, писавши, горько плачу; приезжаю в Тулу в 10 часов утра, посылаю к Александру Ивановичу Богданову, он приезжает ко мне через несколько минут, говорю ему, с чем я приехала в Тулу; на это он сообщает мне, что Тульское ополчение идет уже не в Минск, а в Витебск, что Николай Иванович получил ордер от Кутузова, чтобы ни одного человека из всего Тульского ополчения в Туле не оставалось, следовательно, нет возможности возвратить наш батальон; я прошу, чтобы переслать к Мате мое письмо и деньги с ордером в наш полк. Он говорит, что письмо возможно, но деньги нельзя, потому что Тульское ополчение не состоит уже под ордерами его брата, что он зависит от светлейшего и что Богданов уже ни одного ордера не станет посылать ни в один полк; рассказывает, что

губернатор болен, а губернаторши нет в городе; все это меня еще больше расстроило, и горесть моя усилилась; мне хотелось видеть губернатора и самой от него узнать, верно ли все это; Александр Иванович сказал мне, что его дочь и дочь губернатора приедут после обеда повидаться со мною на мою квартиру; в 4 часа прислали они ко мне человека сказать, что они не могут быть у меня, потому что приехала губернаторша: я обрадовалась ее приезду, потому что это подало мне надежду увидеть губернатора; ко мне приехал Тихменев; увидя меня, уговаривал, чтобы я не так плакала, но возможно ли это в разлуке с Матей! Вечером присылает меня звать к себе Пушкина; она также приехала просить губернатора о доставлении письма к мужу, но получила ответ, что у него нет okazji доставить его; я поехала к ней, она мне говорит, что Меснов (он остался в Туле, не пошел в поход с полком) получил от полковника ордер принять из комитета жалованье и привезти в полк, но что он сам не едет, а посылает людей; я тотчас посылаю к нему с письмецом просить его, чтобы он мое письмо и деньги тут же доставил кстати; он тотчас же приезжает ко мне, берется доставить, предлагает мне, нет ли нужды больше послать, чтобы я взяла у него сколько мне нужно, но я не хотела этого, просила доставить то, что было со мною; на другой день я поехала с обоими детьми обедать к губернаторше; она мне очень обрадовалась; Александр Иванович предложил, если будет повернее оказия, послать своих денег к Мате, сколько я велю ему, а после уведомит меня, и я тогда возвращу ему их; но я не приняла и его предложение, знала, что это пустяки; мне очень хотелось видеть губернатора, но сколько я ни заговаривала об этом разными манерами, губернаторша меня не понимала; Александр Иванович все затворяет дверь в спальню и сам бежит от меня, старается, чтобы я с ним не завела опять той же материи, потому что я ему много говорила прежде. Наконец, губернатор, узнав, что я у них, присылает меня просить к себе в спальню; я тотчас пошла к нему, повторила ему просьбу мужа, которую передавала уже его брату, и получила точно такой же ответ; я напомнила ему его обещание и то, что он покойно лежит на кровати, а наши в такие жестокие морозы то туда, то сюда ходят; мне было так грустно, что я наговорила ему много неприятностей; он конфузился, не знал, что мне отвечать, говорил, чтобы я отдала ему письмо к Мате, что он его доставит верно, однако верность эта вместе с письмом вместе пропала; Матя не получил его; губернатор сказал мне, что есть

слухи, что Тульское ополчение возвратится, но я видела, что это пустяки; он обещал также, что как скоро произойдет какая перемена, то Александр Иванович через нарочного уведомит меня; они воображали, что этой пустой надеждой можно утешить убитое горестью сердце; мне было у них так тяжело, что я спешила уехать; быв в такой жестокой тоске, больно было смотреть на спокойных людей; тут же все сбились на бал и делали наряды, а тому, кто так страдал душою, как я, все это еще более усиливало тоску. Я поехала домой; губернатор сказал мне, чтобы я привезла письмо к своему Мате, он уже как-нибудь постарается доставить, хоть через Миллера. На другой день, рано утром, поехала я к брату Афанасию Ивановичу; приехала к нему; они только что отобедали, очень мне обрадовались, поплакали со мною; переночевав у них и отобедав, я поехала опять в Тулу; приехав, написала письмо к своему милому другу и вечером повезла к Богданову; просидела у него с час; письмо от меня взяли и положили на бюро, я думаю, оно и теперь там лежит; губернатор сказал мне, что он не помнит, от кого слышал, что будто ополчение скоро вернется и что если он узнает, что это правда, то с нарочным меня уведомит, но я совсем не надеялась на его обещание, видела ясно, что оно дано мне для того, чтобы я перестала напоминать ему его прежние обещания.

Приехав на квартиру, я послала к Месному деньги и другой пакет с письмами к своему Мате и, переночевав еще одну ночь в Туле, рано поутру поехала домой, остановилась кормить лошадей у Николы, для того, чтобы сходить в церковь и отслужить молебен; священника не было дома, но дьякон отпер церковь, и я с детьми помолилась в ней. Вечером, дорогой, у меня так разболелась грудь, что я не в силах была доехать домой, заехала к Викулиной и, напившись горячего чаю, легла спать; встав поутру, грудь продолжала болеть у меня, и я хотела тут отдохнуть, поэтому осталась обедать; стол уже накрыли, когда приехала Анна Алексеевна, я взглянула в окошко и увидела свою лошадь и человека; меня это немного встревожило, я хотела подойти ближе, чтобы посмотреть, но Викулина, заглянув в окно, закричала: «Вон, нашего ополчения»; я узнала Гаврюшку, и мы обе побежали на двор, Баскакова удерживала нас, но мы ничего не слушали; выбежав на двор, засыпали его вопросами, но я не поняла ни одного ответа; наконец, он говорит, что есть письмо от Мати, но что оно у другого человека, я не могу дожидаться этого письма.

Баскакова, видя, что я вся трясусь и не могу выговорить слова, принесла мне письмо, но я не могла распечатать его, руки у меня тряслись; она мне дала капель, и я немного пришла в себя, слезы также много облегчили меня; я распечатала письмо, но начала никак не могла найти, прежде прочла конец, всякую строчку омыла слезами и несколько раз перечитала. Из письма я узнала, что Матя, не имев от меня никакого известия, прислал нарочного урядника Тетюрева и воина своей отдачи (т.е. сданного из его вотчины) меня проводить. Призываю опять Гаврюшку, не могу с ним наговориться, спешу домой, чтобы видеть урядника; они приехали накануне, и матушка послала ко мне в Тулу человека, с которым до Нечаева доехал Гаврюшка; он привез Викулиной также письма: я взяла Гаврюшку с собою в Кошкино, а человека, посланного ко мне, послала с письмом к Месному, чтобы взять мой пакет с письмами и деньги, полагая вернее и скорее послать их с урядником. Приехав домой, я застала у себя сестрицу Надежду Ивановну, с дочерьми, и Попову; увидя их, слезы мои также не могли удержаться, но как Попова уехала и мы остались одни, то я стала опять читать Матино письмо. Матя писал мне, что урядник и воин надежные люди и что если бы возможно, то, взяв с собою Анфорова и двух Яковых, я поехала бы к нему; впрочем, он писал далее, что это пустые мечты, что это невозможно, о Витебске ничего не упоминает, пишет, что все идут в Минск; мне пришло на мысль, что эти строки в его письме означают точно, чтобы я приехала к нему, что он сам этого желает; ах, как это согласовалось с моим желанием! Перечитываю двадцать раз эти милые строки, час от часу убеждаюсь, что мне действительно следует ехать, по двум причинам: во-первых, что уже сил не доставало, положение мое было невыносимое, матушка и сестра измучились, глядя на меня; во-вторых, что Матя желает видеть меня; возможно ли не ехать? Матушка и сестра приводят мне многие причины, по которым нельзя ехать: первое, что если я поеду в Минск, а они пойдут с полком в Витебск, или если я поеду в Витебск, а они в Минск, но это не казалось мне препятствием. Тетюрева не было дома, он ездил к Анфоровым, также возил письма; не могу его дожидаться; наконец, он приезжает, бегу к нему, расспрашиваю о милом Мате, не велел ли он мне приезжать с ними? он говорит, что ничего не слыхал об этом; досажаю, отчего Матя прямо не написал, тогда бы и матушка меня не остановила; чувствую, однако, что я никак без него не могу жить, детьми не могу даже заниматься;

казалось, чтобы сберечь себя для детей, мне непременно нужно было видеть Матю; вижу, что матушку и сестру огорчает мое намерение ехать к Мате, не знаю, что делать, терзаюсь день и ночь, со мною начинают делаться обмороки; Анночка моя и Маша, видя мои мучения, приступают к тетеньке, чтобы она меня отпустила к папеньке; Елагины были свидетелями сей ужасной горести моей, они все советуют мне ехать, видя, что я исстрадалась. В Крещение приезжают ко мне Донская, Викулина, Савинькова, Анфорова, привозят письма к ним; Анфорова удерживает меня, чтобы я подождала ехать, Савинькова едва сама не решается со мною ехать, Донская, видя мои мучения, советует мне ехать и, признаюсь, мне казалось, что она больше всех чувствовала и понимала мое положение, судя по себе; беспрестанное волнение мучило меня, и я ни на что не решалась; сидя за столом, я очень плакала, так что сестрице Надежде Ивановне сделалось дурно, глядя на меня. Тетюрев говорит мне: не лучше ли так сделать, чтобы его поскорее отправить и чтобы я написала к Мате, чтобы он опять прислал его за мной, а теперь, может, я долго полк проищу; я уже была так расстроена, что поверила этому, вообразила, что Матя непременно придет за мной Тетюрева или сам придет, решила отпустить его, не мешкая, прося его, чтобы он как можно скорее ехал и назад возвращался за мною, чтобы он сказал Мате, в каком я положении и как нетерпеливо жду присылки за собой. Пишу к Мате; приезжает Пестова, мы вместе с ней принимаемся писать и плакать; поутру отправляю Тетюрева и остаюсь с надеждою, что Матя придет за мною; взяв с Тетюрева слово, что он нигде мешкать не будет и что наверно придет за мною, я остаюсь немного спокойнее.

Пестова зовет меня к Андрею Тимофеевичу (Болотову) на рождение Марии Абрамовны; привыкнув почитать это семейство и находя всегда большое удовольствие быть с этими почтенными людьми, взяв с собою Анночку и Машу, я поехала к вечеру к ним; переночевав у них, остаюсь еще обедать; Пестова упрасивает меня, чтобы я к ней проехала, я даю ей слово; она поехала домой. После обеда я собираюсь ехать к ней, но хочу заехать к Екатерине Алексеевне Болотовой; Александра Михайловна со мною едет к ней же; входим в комнату, Болотова говорит мне, что она сейчас получила письмо от Соколова, в котором он ее уведомляет, что приехал Аксаков и привез домой жену; она беременна и поэтому не может быть с ним в походе и что Аксаков пробудет дома толь-

ко одни сутки; услышав это, я написала Пестовой записку, что не могу быть у нее этот раз, спешу домой, чтобы завтра пораньше повидаться с Аксаковым и поговорить о своем милом Мате; ехавши домой, мне не раз приходила мысль ехать вместе с ним, но боялась затруднить его собою; приехав домой, ночью написала Мате письмо; Аксакова уведомляла меня запиской, что Матя, слава Богу, здоров, чтобы я писала к нему, а она от моего Мати везла записочку ко мне, но потеряла ее, что мне было очень досадно и если бы меня Матя не предупредил, что он с Аксаковой, может быть, писать не станет, потому что поехал в матушкину деревню, в Могилевскую, то я не могла бы быть спокойной, я бы бог знает что придумала. Взяв опять с собою Машу и Анночку, я повезла письмо свое к Аксакову; чувствуя себя не очень здоровою, я не хотела возвратиться в тот же день, но на прошение их никак не могла остаться и поехала, с тем, чтобы от них проехать ночевать к Пушкиным; к Аксаковым приехали Викулина и Савинкова с матерью и сестрой, они меня давно не видали и очень удивились, как я похудела; сидя за столом, Аксаков вдруг говорит мне: «А ваш Матвей Иванович мне говорил: если моя Анночка поедет с тобой, то привези ее, пожалуйста».

В ту же минуту я говорю ему, что была бы весьма обязана ему, если бы это возможно, и он с удовольствием берется довезти меня. Как объяснить то, что я почувствовала при этом от радости, как я была обязана Аксакову и как он был мне мил в это время, я не знала, как благодарить его; Марья Николаевна (Аксакова) советует мне ехать для успокоения себя и говорит, что мой Матя также очень похудел и грустит обо мне; я решаюсь, да и как не решиться на то, чего так страстно желаешь, о чем беспрестанно молишь Царя Небесного. Говорю Аксакову, что я еду спроситься у матушки и что если она меня не остановит, то я завтра приеду к нему очень рано, собравшись совсем, если же матушка не согласится на это, то пришлю к нему сказать. Боже мой, в какой тревоге еду я домой, с каким страхом, что матушке будет также тяжело отпустить меня и что она не решится на это. Приезжаю к матушке, рассказываю ей все, она не останавливает меня, сестра также берется по дружбе к нам иметь попечение о детях моих; радость переполняет сердце мое, призываю Елизавету, велю ей уложить вещи; матушка отпускает со мною свою женщину; я беру с собою еще Яшку Федорова; вечером отдаю некоторые приказания Якову; ночь не могу спать; надежда, что через несколь-

ко дней обниму милого своего друга, неоцененного Матиньку, грусть оставить детей на неопределенное время, все это вместе не дает мне уснуть ни минуты; в 5 утра я встаю; матушка, сестра и старшие мои дети также встают проводить меня. Прощаясь с ними, я была почти без чувств; с одной стороны, радость быть вскоре с Матей, с другой — горесть оставить матушку, сестру и детей действовали на меня так сильно, что я не помнила себя, но, рассудив, что я еще больше расстраиваю своею грустью матушку и сестру и что я оставляю детей под таким покровительством, что о них нечего беспокоиться, я только и думаю о предстоящем радостном свидании с Матей; в 6 часов, простясь с матушкой, прося ее со слезами о милостивом покровительстве детям, обняв с искренним дружеским чувством сестру, быв твердо уверена, что она по доброте своей и дружбе к нам не оставит детей, в чем я не ошиблась, так как она по своим попечениям о них была им вторая мать; попрося ее о них еще раз, перецеловав своих малюток, перекрестив их и отерев слезы, я села в кибитку, посадив с собою польку, и поехала к Аксакову, с тем, чтобы ехать с ним к милому сердцу своего, к моему Мате.

VI

Приехала к нему; он говорит, что у него все готово к отъезду, и он ждет только урядника, Бунцлера, который с ним приехал и отправился к родным. У них сидела Селиверстова; она приехала просить Аксакова, у которого в батальоне был ее муж, чтобы его отпустили на несколько дней в отпуск, для устройства своего состояния, которое было весьма расстроено; он дал ей слово непременно в скором времени исполнить ее желание, за что она была ему так благодарна, что беспрестанно твердила о доброй душе его. Мне также казалось, что, взяв меня с собой к моему Мате, он делал такое удивительное благодеяние, что нельзя больше; мы обе с Селиверстовой прославляли доброту его сердца, он очень был доволен. Приехал Бунцлер, накрыли стол для завтрака, мы стали изыскивать средство, как нам ехать удобнее; Аксаков уверял меня, что я увижу своего Матю через четыре дня, и мысль эта восхищала меня. Подорожная у него была на три лошади, но он думал для себя брать по шести, потому что с ним был урядник, воин и своих два человека, да мне еще три лошади под мою

кибитку. Николай Иванович выдумал дать от себя подорожную Бунцлеру на три лошади, я его прошу, чтобы он взял к себе мои деньги на прогоны, но он говорит, что в них нужды не будет; я очень этому удивилась, просила, чтобы растолковал мне это, и тут узнала, что мы поедem на обывательских; садимся завтракать, приезжает Пушкина с дочерью, удивляется моей решимости, спрашивает, куда я еду, не зная, где находится полк, но меня никакие резоны остановить не могут; я ей говорю, что через четыре дня буду с Матей, прижав его к своему сердцу, скажу, с чем сравнится мое блаженство!

Позавтракав, мы стали собираться ехать, и я очень боялась, что расстроюсь, увидя расставание Аксаковых; спешила поскорее сесть в кибитку; недолго мешкал и он; мы поехали в Алексин, я еще на своих лошадях, а он в санях на обывательских и кибитка его на другой тройке обывательской. Приехали в Алексин прямо к Соколову, у них была Арсеньева, Елена Михайловна; узнав о моем путешествии, она удивилась, но я была в страшном восторге, воображая, как скоро я увижу моего Матю; напились мы тут чаю, привели шесть лошадей; Николай Иванович уже оставил свои сани, переложил вещи в мою кибитку, и я с девкой в своей кибитке, а он с Бунцлером в своей поехали из Алексина; я отправила своих лошадей домой; написав к сестре письмо, просила ее, чтобы она извинила меня перед всеми родными, что я уехала, не простясь, и перед теми, у кого были близкие в нашем ополчении; мне некогда было взять писем от них. Лошадей нам дал исправник прекрасных, и мы скакали очень скоро; Николай Иванович говорил, что большою дорогою ехать дальше и больше беспокойства, поэтому он выбрал самую ближнюю и спокойную дорогу, и все говорил, что он думает, что мне будет очень тяжело, а то бы он доехал в три дня, или еще скорее; я просила его, чтобы он спешил как можно скорее, потому что ехать к Мате мне было нисколько не трудно. Проехав тридцать верст, приезжаем на какой-то завод, где было большое селение; начинало темнеть; требуем лошадей, говорят — нет; подаем подорожные, их не хотят смотреть, говорят, нет лошадей потому, что тут вся деревня занята фабричными, а мужиков совсем нет; Николай Иванович грозит избить их, бранится, брань не помогает, а бить себя не дают, но говорят, что в стороне есть деревня, куда велят нас проводить, между тем поднялась сильная метель и совсем стемнело; мы поехали в указанную деревню, нас повели по мерзкой дороге

и на крутые горы, однако мы доехали благополучно до деревни и остановились у первой избы. Мы с Николаем Ивановичем вошли в избу, крошечную и премерзкую, а Бунцлера послали к помещику с подорожными просить лошадей; только что мы собрались пить чай, Бунцлер приходит, говорит, что помещик просит к себе чаю напиться, пока лошадей будут переменять, и предлагает лучше ночевать у него, так как ехать ночью в метель на обывательских лошадях будет беспокойно. Николай Иванович принимает его предложение; чтобы не причинять ему беспокойства, я также соглашаюсь ехать к господину Приморскому, и если метель не перестанет, то ночевать, если же погода будет лучше, то прошу Николая Ивановича ехать непременно ночью. Итак, сев в свои повозки, мы поехали.

Подъезжаем к господскому дому, состоявшему из двух флигелей; входим в комнаты, хозяин, человек лет сорока, сидит за ломберным столом, вид его показался нам как-то очень странным; он большой говорун и весел очень; жена его также не молодая женщина, очень ласковая, простая; свояченица старая девушка, дочь лет семнадцати, замужняя, племянница девушка лет тридцати, еще три дочери очень молоденькие; когда мы познакомились, то надобно было рассказать, куда и зачем я еду; нам подают чай и хлопчут, чтобы скорее лошади были готовы, хозяин поминутно посылает узнать, почему долго лошадей не ведут, а хозяйка и дочь ее уговаривают ночевать; наконец, дочь рассказывает мне, что и ее муж в ополчении; узнав, что его фамилия Рославский, я рассказываю ей, что он был у нас в доме; узнав, кто я, она также говорит, что от него все слышала, благодарила за ласковый прием, и начали нас уговаривать непременно ночевать, приготовили очень хороший ужин, старались очень угощать, и мы по причине дурной погоды вынуждены были остаться ночевать. Поутру, пока подавали кофе и чай, прошло уже почти все утро; товарищ мой не торопился, а я теряла терпение, наконец, в 9 часов мы выезжаем; метель не унимается; лошади мерзкие, дорога проселочная и тяжелая, кибитка товарища моего так мала, что ему не было возможности сидеть в ней, и так тяжела, что ее насилу тащили; весь день он сидел у меня на облучке и несмотря на метель и стужу; ночь мы также принуждены были ночевать, метель не унималась, мороз был жесток, к тому же, избирая все ближайшие дороги, мы ездили проселками и путались, а на третий день я уговорила его сесть со мною в кибитку, а девушку посади-

ли в его кибитку; в эту ночь и в следующую опять была метель, опять ночуем, я выхожу из себя, теряю терпение, мы все еще странствуем по Калужской губернии; как выехали из Алексина первую станцию, сердце мое трепетало, воображая, что я через четыре дня буду обнимать Матю, а тут мы уже ехали трое суток и все еще отъехали не более ста верст; я упрашиваю своего товарища, чтобы уже не ночевать дорогой и чтобы не выбирать кратчайших дорог, но ехать по одной. На четвертый день мы приезжаем в деревню, закинуты рогатки и нет проезда, потому что вся деревня почти вымерла; наши лошади стали совсем, меняя негде, заезжаем погреться в харчевню, насили нас пустили; тут был к лесу приставленный офицер и пил вместе с харчевником. Харчевник опять указывает ближайший путь к Козельску; Николай Иванович опять записывает, и мы едем по его словам, едем до самого вечера; ни одной деревни по пути, лошади совсем стали, кибитка Аксакова поминутно вязла; наконец, приезжаем в деревню, кругом так все занесло, что никуда, кроме господского двора, проехать нельзя; едем туда, посылаем просить позволения войти, покуда лошадей переменяют; нам говорят, что эта деревня Щербачева, козельского предводителя, что лошадей нет и его дома нет, а жена его больна и нас принять не может; товарищ мой идет сам и насильно входит и заставляет пригласить и меня; племянница их нас принимает, наконец, просит войти к тетке; та принимает нас очень гордо, опять надобно рассказывать, как и куда мы едем: узнав, что я невестка Афанасию Ивановичу, а она с ним и с Елагиными очень коротка была, знала Матиньку еще маленького, переменила свое обращение со мною, сделалась очень ласкова; мы пьем чай. Посылают в другую деревню за лошадьми; между тем приезжает хозяин и также ласково обходится с нами, узнав, что я такая близкая родня Елагиным; хозяйка, услышав, что мы еще не обедали, хотя уже было пять часов вечера, велит накрыть на стол, мы обедаем, а лошадей приводят, уговаривают нас ночевать, но я не соглашаюсь; уже метель прошла; дают нам двух человек провожатых, до Козельска с фонарем; мы несколько раз теряем дорогу, наконец, достигаем Козельска; никто нас не пускает остановиться к себе; человек Щербачева именем своего барина грозился и уговаривал, но ничто не помогло; едем на постоянные дворы, все заняты постоями под больных; наконец, Николай Иванович говорит, что есть одна знакомая, какого-то подьячего жена; едем к ней, полагая наверное, что она пустит,

но и тут ошиблись, она отказала, сказав, что больна, едем еще в деревню за пять верст от Козельска, и там уже меняют лошадей. Дни проходят, а мы все еще очень далеко от полка, а я теряю терпение; грусть моя все усиливалась. Взяв тут лошадей, едем далее, приезжаем наконец в первое польское местечко Хотимск, останавливаемся, чтобы переменить лошадей, но нам не дают их, и мы отправляемся вперед; кибитка наша поехала вперед нас, а мы оставались еще, думая, не выхлопочем ли лошадей, но сколько ни старались, нам не дали, и мы на тех же поехали; приезжаем в другое местечко, полагая, что наша кибитка, верно, уже нас тут ждет, но мы очень удивились и не знали, что подумать, когда нам сказали, что ее никто не видал; мы заехали к одному русскому священнику, это уже было 10 часов вечера, хотели напиться чаю, внесли мой погребец, а ключей не было, они были у моей женщины, а она еще не приехала; мы ждали их два часа, послали отыскивать и крайне беспокоились о них, но скоро их отыскивали; они поехали по другой дороге, которая гораздо далее, и оттого промешкали. Напившись чаю, собирались ехать, священник пришел благословить нас, прочел нам на дорогу молитву, и мы поехали; стужа была так жестока, что люди все шли пешком, а возницы наши идти не могли, так озябли; там вообще все мужики одеты очень плохо, на ногах у них лапти самые маленькие и прозрачно сплетенные и тоненькие онучки; проехав пять верст, человек мой подходит к кибитке и говорит, что возницы почти совсем замерзли; увидев, что близко фольварк, мы велели остановиться, чтобы отогреть их; входим в комнату, нас принимает полька, дочь эконома, довольно ловкая девушка и очень бойкая, тотчас нам подала чаю, велела топить печь, чтобы нам отогреться, мне велела послать постель, чтобы полежать; товарищ мой много говорил тут, хвалил очень обращение польских дам, и эта полька была восхищена, он формально уверял, что не знает ни одной русской женщины, которая бы во всем была так мила, как польки; по этому разговору я начинала понимать суждения моего товарища и все время видела большую разницу в нем против того, каким он мне казался, когда я еще не знала его коротко; прежде я считала его очень умным, но, пробыв с ним неразлучно тринадцать суток, я узнала его короче. Мы пробыли тут почти всю ночь; перед светом поехали; восемь дней мы были в дороге; я рассчитывала, что тот урядник Тетюрев уже непременно должен возвратиться к полку; в письме, посланном с ним, я описала Мате всю свою мучитель-

ную тоску, просила его приехать к себе; тут пришла мне ужасная мысль, что мой Матя, увидя мою невыносимую грусть, попросится и поедет в отпуск, чтобы сколько-нибудь успокоить меня и облегчить чрезмерную горесть мою, а, ехавши так долго, я не найду его в полку; что будет тогда со мною? я еду для того, чтобы быть с Матей и видеть его, и если разъедусь с ним, то как я перенесу это, и что мне будет делать, ехать ли назад, но с кем? со мною был только один человек и одна женщина; как решиться на такое дальнейшее путешествие с ними? к тому же, что, если Матя, приехав домой и не найдя меня и узнав, что я поехала к нему, поспешит возвратиться в полк, и я могу с ним разъехаться. Остаться при полку, как мне мой товарищ ни уверял, что это будет лучше, но мне казалось совсем не так хорошо, хотя я и была уверена во всех Матиных товарищах, что я ими буду очень успокоена, потому что они любили моего Матю, — и верно, для него и мне всегда была бы уступлена лучшая квартира, но Мати не было бы со мною, как бы я могла это вынести!

Наконец, мы приезжаем в Костюковичи; тут оставлен был маршрут Аксакову; куда переменяли лошадей, мы обедали; товарищ мой призвал жидовскую музыку, но когда душа в таком ужасном беспокойстве, то можно ли заняться чем-нибудь; он хотел призвать каких-то жидовских певак, но я уже просила не призывать их, потому что все это только усиливало мою грусть. Поехав из Костюкович, мы ехали сутки порядочно, но воображение, что я не найду Матю в полку, беспрестанно тревожило меня, и нетерпение мое доехать скорее увеличивалось каждую минуту; приезжаем в одну деревню менять лошадей, тут живет сама помещица, полька Ганковская, которая имеет 2000 душ; послали к ней подорожную, она приказывает звать к себе; товарищ мой очень любил заезжать по гостям, поэтому и тут мы тотчас поехали; подъезжаем к низенькому и длинному дому; нас принимает хозяйка, очень любезная вдова лет около 40; она много жила в Петербурге, поэтому ее обращение очень похоже на манеры русских; она нас прекрасно угостила, но лошадей нам не дала, а дала провожатого, сказав, что близко живет один пан, который, верно, даст нам лошадей, и мы, взяв провожатого, отправились в дальнейший путь; проезжали несколько деревень, но они все принадлежали этой помещице, и провожатый наш не останавливался; уже было 9 часов вечера, проводник от нас ушел, и мы путешествовали далее одни, не зная, куда ли едем. Наконец, приезжаем

в деревню, где был панский двор, едем мимо него; в доме услышали колокольчик и, полагая наверно, что это едет кто-либо из слушающих, так как мимо них прошло много полков, велели просить ужинать; у них уже стол был накрыт; товарищ мой в другой раз не заставлял повторить просьбу, мы поехали к ним; нас приняли очень ласково, пан лет 75, а жена его 40, не больше, два сына уже совершеннолетние; оба они находились на службе у французов в то время, как те были в Польше; мы тут ужинали, после ужина подавали чай, обыкновение польское; в лошадях опять нам отказали; пан Подбереско сказал: «Коли вы не взяли лошадей у Ганковской, у которой в окружности две тысячи душ, то как же взять у меня, — у меня только 60 душ».

Сколько ни говорил мой товарищ, ничто не помогло; ни гордость, ни ласка, ничто не было забыто, но все же мы должны были ехать на тех же лошадях, на которых уже проехали две станции; в час ночи мы выехали от Подберески, возницы от нас ушли, дали нам провожатого верхом; ночь была очень темна, лошади очень измучены; ехали очень тихо; люди наши несколько ночей не спали, очень устали; у нашей кибитки сел править кучер Аксакова, а мой человек на облучке; проехали мы версты две, товарищ мой крепко заснул, кучер его пошел лег сзади кибитки и также последовал примеру своего господина; мой человек задремал, сидя, и потерял шапку, но через несколько минут заснул так крепко, что упал и сам: я очень испугалась, чтобы он не ушибся, бужу своего товарища, он не просыпается, зову кучера его, тот не слышит, и мы все едем вперед; наконец, человек мой догоняет нас, проснувшись на дороге, и товарищ мой проснулся; я ему рассказала, как упал мой человек, и он уже разбудил своего кучера и велел ему опять сесть на козлы; но тот со сна, переезжая через мост, зацепил за столб и чуть не изломал всю кибитку, так что передок рассыпался; мы стояли тут с час, покуда не съехали с этого моста; снегу тут было очень много, лошади совсем не везли; по счастью, это было близко к деревне, то мы послали звать мужиков, отложили лошадей, и люди уже на себе вытащили нашу повозку; двух лошадей привязали к столбу у моста, они обе отвязались и ушли, люди побежали догонять их, заложив только одну лошадь в мою кибитку; товарищ мой взял под уздцы эту лошадь и повел ее в деревню, где, оставя меня одну на улице, пошел посмотреть квартиру, нет ли в ней больных, чтобы нам взойти — покуда заложат других лошадей; на сей раз нам в оных не отказали, и мы

не так долго ждали их; поехали опять в путь. Сутки ехали порядочно, но терпение мое час от часу уменьшалось, и я выходила из себя, полагая наверное, что я своего милого Матиньку не найду в полку; я не могла успокоиться ни на минуту, на всякой станции просила урядника, который ехал с нами, чтобы поскорее лошадей отыскивал, воину давали деньги, также и кучеру Аксакова. Урядник стал ездить по моей просьбе вперед, но все это мало способствовало нашей скорой езде; лошади у нас были обывательские и так были измучены, что насилу ходили; мы уже закладывали в кибитки по 5 лошадей, но все плохо везли. Везде, где меняли лошадей на станциях, товарищу моему начальники деревни приносили кто гуся, кто поросенка, кто курицу, — и все это мы везли с собой, дорогой не употребляли; наконец, приезжаем в Рогачев, пишем письма домой, посылаем на почту. Человек мой приходит и говорит, что он видел у почтмейстера одного пана, который ему сказал, что у него в доме стоял Миллер и к нему приезжал наш Пушкин, пробыл у него два дня; я просила Аксакова, чтобы он сам сходил к этому пану и узнал бы повернее от него, куда пошел наш полк, но он счел для себя унижительным идти самому и послал урядника, с которым поляк, также будучи очень горд, не стал говорить, но урядник нашел у него в доме оставленную нечаянно бумагу, в которой мы увидели название той деревни, в которой стоял наш полк. Она была не на большой дороге, возницы не знали ее, и мы не знали, куда ехать. Пришла какая-то женщина, объяснила дорогу, товарищ мой записал, и мы поехали далее.

Уже двенадцать суток мы ехали по дороге и все еще не знали, скоро ли найдем наш полк. Моя грусть час от часу усиливалась, и я потеряла всякую надежду скоро обнять и прижать к измученному сердцу своего милого Матю; я полагала наверное, что мой милый уехал домой, узнав о моей безмерной тоске без него. Проехав еще станцию, когда мы стали сменять лошадей, то нам сказали, что мы не туда заехали и сделали много крюку, все это чрезвычайно огорчало меня; к вечеру мы уже приехали в ту деревню, которую искали; товарищ мой пошел на панский двор, я ждала в кибитке на улице с четверть часа; он прислал мне сказать, чтобы я вошла к пану напиться чаю, пока лошадей станут перепрягать. Домик был небольшой, по польскому обыкновению низкий и длинный, хозяин дома служил при Екатерине в нашей службе; хозяйка лет 30, очень приятная и казалась любезная, бывала несколько раз в Петербурге, поэтому в обращении была точ-

но русская. Подали нам чай; хозяйка мне сказала, что только вчера от них поехал майор Кулебякин, что он стоял у нее на квартире, и, узнав мою фамилию, она сказала мне, что майор Золотухин был третьего дня у Кулебякина. Как поразила меня эта приятная весть, что мой Матя в полку! Надежда, что скоро я увижу своего милого Матю, вторично поселилась в сердце моем, я спешила скорее ехать, думая, что в ту же ночь мы догоним полк, считая, что в сутки они недалеко ушли. Лошади еще не были готовы, нас уговаривали ужинать, товарищ мой остался, и я вынуждена была терпеть. Как отужинали, так и отправились в путь; проехав верст 25, остановились для перемены лошадей; тут нам сказали, что и в этот же день вышли из этой деревни защитники, так называли там наше ополчение, но не умели сказать, который батальон тут стоял. Нам сказали, что один проезжий офицер и теперь здесь дожидается лошадей и спрашивает также про защитников. Я просила Бунцлера, чтобы он сходил и узнал, что это за офицер, не нашего ли полка? Вернувшись от него, он сказал, что этот офицер также из ополчения, Миллер посылал его в Главную квартиру с бумагами, в которых он представлял, что в Витебск идти невозможно, также и в Борисов, так как эта губерния совершенно разорена. Я уговорила своего товарища, чтобы он послал звать его чаю напиться; офицер тотчас пришел; Аксаков принял его так гордо, что на все его учтивые поклоны не привстал с лавки, не предложил ему сесть; я его поила чаем, и он пил, стоя. Он сказал нам, что всему ополчению велено остановиться там, где офицер найдет его, и ждать второго повеления. В это время нам сказали, что лошади готовы, и мы поехали искать свой полк. Нетерпение мое час от часу становилось сильнее; казалось, лошади совсем не везут; рано поутру мы проезжаем одну деревню, в которой увидели жида, спросили у него: стояли ли тут защитники? он говорит — стояли и вчера только вышли, что тут у пана стоял майор, фамилию его он забыл, но по описанию я поняла, что это точно должен быть мой Матя; ах, как трепетало мое сердце, как было тяжело слышать, что я так близко от своего друга, и не могу увидеть его! Расспрашивали у пана и узнали, что точно мой Матя стоял тут с батальоном, сказали, что недалеко оттуда местечко и что там мы, наверно, догоним наш батальон. Боже мой, как велика была моя радость, воображая, что я увижу скоро моего милого друга!

Приезжаем к местечку, лошади наши так устали, что насилу шли, я уже посадила кучера Аксакова править лошадьми, обе-

щав ему дать на водку, если мы скорее доедем, а со мною я уже не знаю, что было, я плакала, смеялась, сердце мое трепетало; спрашиваем, тут ли защитники, нам говорят: сейчас ушли. Вот опять надо вооружиться терпением, опять несколько часов страдать. Проезжая мимо панского двора, я просила остановиться и послать спросить; урядник наш, видя мое мучение, побежал к пану расспрашивать, мы стояли против ворот; взглянув во двор, я вижу Колычева, писаря моего Мати; тут я вышла из себя, закричала, что мой Матя верно тут! Колычев узнал меня, кричит «сюда» и бежит к нам; я спросила его, где Матя, он мне сказал, что здесь; я его схватила за голову, когда он подошел к кибитке, и начала целовать; насилиу он оторвался от меня. Мы въехали на двор, но Матю я еще не видела; спрашиваю, мне говорят, что он пошел в другой флигель к Пушкину; я вышла из кибитки и хотела бежать к нему, но увидя, что он идет ко мне, ноги мои подкосились, и я упала на снег без чувств.

А. И. Золотухина

Примечания

¹ Опубликовано на страницах журнала «Русская старина» в № 11 за 1889 г. (С. 257—288) и в № 1 за 1890 г. (С. 1—20).

² Имеется в виду подписанный Александром I в Полоцке манифест от 6 июля 1812 г. «О сборе внутри государства земского ополчения», по которому обязанность формировать ополчение возлагалась на уездные и губернские дворянские общества.

³ Имеется в виду генерал-адъютант князь П. М. Волконский.

⁴ Имеется в виду свита Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.

⁵ Полковник С. П. Бобришев-Пушкин.

⁶ 5 сентября 1812 г. полки Тульского ополчения образовали кордонную линию на протяжении 200 верст по течению р. Оки от Каширы через Белев, Одоев, Крапивну до Алексина.

⁷ Не подтвержденные слухи, наполеоновские войска не занимали Рязань.

⁸ 10 сентября 1812 г. 1-й конный полк Тульского ополчения под командой князя А. Ф. Щербатова был отправлен в Тарутинский лагерь и далее (до окончания кампании 1814 г.) действовал в составе Главной армии.

⁹ Т. е. сдавал команду.

¹⁰ Т. е. на границу с Австрией.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авиллов, в 1814 г. полковой адъютант 13-го егерского полка 210

Агапов, казак 160

Аксаков Николай Иванович, капитан гвардии, в 1812 г. командир батальона 4-го пехотного полка, в 1813 г. командир 3-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 391, 393, 408, 415—416, 417—425

Аксакова Мария Николаевна, жена Н. И. Аксакова 393, 411, 415, 416

Александр Македонский (356—323 до н.э.), царь Македонии (336 до н.э.), полководец и создатель крупнейшей мировой державы древности 157

Александр I (1777—1825), российский император с 1801 г., сын императора Павла I 8, 9, 13, 21, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51—53, 54, 56—58, 59—62, 67—71, 77, 80, 81, 86, 88, 92—97, 108, 114—120, 126—130, 134—138, 141—145, 150—153, 156, 157, 170, 171, 182, 188, 193, 195—200, 210, 220, 221, 237, 239—241, 249, 253, 269, 274—277, 281—287, 289—294, 296, 301, 304—314, 316, 320, 325, 329, 385

Альбедиль Петр Семенович (Романович) (1764—1830), барон, обер-гофмейстер, управляющий гоф-интендантской конторой (1817), в 1812 г. флигель-адъютант 37

Амалия Фредерика, маркграфиня Баденская, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, мать российской императрицы Елизаветы Алексеевны 55, 56

Андреева, в 1812 г. жена Михаила Андреева, поручика Тульского ополчения 407

Анна Павловна (1795—1865), великая княжна, сестра императора Александра I, замужем за Вильгельмом I Фридрихом Оранским, впоследствии королем Нидерландов 249

Ансар, в 1812 г. капитан Великой армии 375

Анфоровы, братья (Петр и Алексей Николаевичи), в 1812 г. офицеры 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 387, 388, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 414

Апраксин Петр Иванович (1778—1852), граф, генерал-майор (1827),

- в 1808—1811 гг. адъютант военного министра А. А. Аракчеева 22—23, 29, 64
- Апушкин** Петр Васильевич, полковник, командир батарейной роты №31 3-й резервной артиллерийской бригады, в 1814 г. отличился в сражении при Краоне 212—213
- Аракчеев** Алексей Андреевич (1769—1834), граф (1799), генерал от артиллерии (1807), с 1810 г. председатель Департамента военных дел Государственного совета 8, 9, 18—37, 40—45, 47, 48, 52, 53, 56—60, 62—64, 127—130, 156, 190, 191, 197, 200, 201
- Аракчеев** Петр Андреевич, полковник л.-гв. Артиллерийской бригады (1808), флигель-адъютант (1808), брат графа А. А. Аракчеева, в 1812 г.—исполняющий обязанности дежурного генерала 2-й Западной армии 162, 164
- Аристид** (ок. 540 — ок. 467 до н.э.), афинский полководец 343
- Армфельт** Густав Мориц (1757—1814), граф (1812), шведский и русский (с 1811) военачальник, генерал от инфантерии (1812) 69, 70, 72, 75, 78, 80, 82—83, 86—87, 94—96, 100—101, 111—112, 114, 130
- Арсеньев** Сергей, в 1812 г. поручик Тульского ополчения 407
- Арсеньева** Елена Михайловна, жена офицера Тульского ополчения 418
- Архимед** (287—212 до н.э.), древнегреческий ученый-математик 170
- Аршеневский** Илья Яковлевич (1755—1820), сенатор (1800), тайный советник (1800), казначей капитула российских орденов 22
- Ахшарумов** Дмитрий Иванович (1785—1837), генерал-майор (1820), военный историк, в 1812 г. штабс-капитан, адъютант генерала П. П. Коновницына, в 1813 г. произведен в полковники 179
- Багговут** Карл Федорович (1761—1812), генерал-лейтенант (1807), участник Наполеоновских войн, погиб в Тарутинском сражении 258, 264
- Багратион** Петр Иванович (1769—1812), князь, генерал от инфантерии (1809), в 1812 г. главнокомандующий 2-й Западной армией 20, 21, 29, 41, 42, 121, 135, 156, 162, 163—169, 170, 172, 178, 184, 210, 242
- Байков** Илья, лейб-кучер императора Александра I 48, 64
- Балабин** Петр Иванович (1776—1856), генерал-лейтенант, в 1812 г. полковник и флигель-адъютант, в 1813 произведен в генерал-майоры 47
- Балашов** Александр Дмитриевич (1770—1837), генерал от инфантерии (1823), генерал-адъютант (1809), министр полиции (1810—1819), участник Наполеоновских войн, в начале Отечественной войны 1812 г. был направлен в ставку Наполеона 41, 47, 51, 64, 66, 67—70, 72—75, 77—88, 89—112, 114—116, 117, 129, 130, 131

Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850), историк, служил в Коллегии иностранных дел, губернатор в Тобольской и Виленской губерниях 187

Баратов, в 1812 г. тульский помещик 403

Барклай де Толли Михаил Богданович (1757—1818), князь (1815), генерал-фельдмаршал (1814), в 1810—1812 гг. — военный министр, в 1812 г. — главнокомандующий 1-й Западной армией 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 41, 43, 44, 49, 50, 53, 56, 64, 91, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121—128, 135, 156, 168, 179, 182, 184, 185, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 227, 228, 229, 233, 236, 239, 240, 242, 243, 244, 253, 256, 258, 272, 277, 302

Барыбин Петр Ильич (?—1812), капитан Павловского гренадерского полка, погиб в сражении при Красном 267

Баскаков, в 1812 г. офицер Тульского ополчения 408

Баскакова, жена офицера Тульского ополчения 389, 408, 413, 414

Батраков, писарь Собственной его Императорского Величества канцелярии 58

Бебер Иоганн Вильгельм (1746—1820), действительный статский советник, директор 2-го кадетского корпуса, один из виднейших представителей масонства в России, возглавлял ложу «Владимира к порядку» 82, 90—91, 93

Безгин Александр, генерал-майор в отставке, внук И. М. Казакова, публикатор его воспоминаний 295, 304, 332

Безобразов Александр Михайлович (1783—1871), действительный тайный советник, сенатор, с 1811 г. на него возложили должность директора генерал-интендантского управления 2-й Западной армии и в этом качестве находился в 1812 г. 167, 242

Безотосный Виктор Михайлович, историк 6, 130

Безродный Василий Кириллович (1768—1847), генерал-майор (1803), участник Наполеоновских войн, в 1812—1814 гг. состоял при Главной квартире действующей армии по провиантской части 38, 39, 47, 48, 187, 192, 229

Беккер Ф., врач, автор воспоминаний о пребывании в Москве в 1812 г. 5, 355, 371

Беклешов Александр Андреевич (1745—1808), генерал от инфантерии (1798), генерал-прокурор (с 1799), с 1796 по 1798 гг. каменец-подольский военный губернатор с управлением Волынской и Подольской губерниями 158, 160

Белавин Семен Иванович, в 1812 г. подпоручик Екатеринославского гренадерского полка 252

Бельский Матвей Петрович (второй), в 1812 г. квартирмейстер 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 405

Бельский Николай Петрович, в 1812 г. поручик, сотенный начальник 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 398, 402

Бенкендорф Александр Христович (1781—1844), граф (1832), генерал от кавалерии (1819), участник Наполеоновских войн 92

Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745—1826), граф (1813), генерал от кавалерии (1802), русский военачальник, участник Наполеоновских войн, главнокомандующий русской армией в 1806—1807 гг., в 1812 г. начальник штаба Главной армии 16, 42, 43, 44, 50, 64, 118, 119, 168, 182—184, 187, 263, 265

Бервиц (Беервиц) Маврикий, барон, полковник, в 1812 г. ротмистр Александрийского гусарского полка, адъютант генерала П. И. Багратиона 165

Берг Федор Федорович (Фридрих Вильгельм Ремберт) (1794—1874), граф (1856), генерал-фельдмаршал (1866), генерал-адъютант (1831), автор воспоминаний о 1812 г. 5, 271, 272, 275

Берхман (Бергман) Федор Федорович (1730—1803), генерал-лейтенант (1797), в 1792—1796 гг. губернатор Брацлавской губернии 159

Бижеич (Бижевич) Семен Агафонович (1765—1838), в 1802 г. обер-секретарь Военной коллегии, затем в 1812 г. директор общей канцелярии Военного министерства 15, 18, 22, 26, 43

Бильбасов Василий Алексеевич (1838—1904), историк и публикатор материалов 9

Бильон — см.: Биньон Л. П. Э.

Биньон Луи Пьер Эдуард (1771—1841), барон, французский дипломат, разведчик, историк. В 1812 г. занимал пост французского резидента в герцогстве Варшавском, а во время войны — комиссара при временном правительстве Литвы 116, 131

Бистром Едвард Антонович (ум. 22.09.1812), майор, в 1812 г. — полицмейстер г. Ковно, затем сотрудник русской разведки, умер от ран, полученных в Бородинском сражении 117

Блюхер Гебхард Лебрехт (1762—1819), князь фон Вальштатт, генерал-фельдмаршал (1813), участник Наполеоновских войн, в 1813—1814 гг. главнокомандующий Силезской армией 52, 54, 211, 212, 215, 216, 217, 220, 301, 303, 304, 305

Бобрищев-Пушкин Петр (Павел) Николаевич, отец С. П. Бобрищева-Пушкина 403

Бобрищев-Пушкин Сергей Павлович, полковник, в 1812 г. командир 4-го пехотного полка Тульского ополчения, с сентября 1813 г. командующий Тульским ополчением под г. Данцигом 385, 386, 391, 396—400, 403, 406, 407, 408, 424

Богарне Эжен (Евгений) Роз (1781—1824), сын императрицы Жозефины, пасынок Наполеона, вице-король Италии (1805), уча-

- стник Наполеоновских войн, в 1812 г. командовал 4-м армейским корпусом 260, 263, 267
- Богатини**, французский актер 313
- Богданов** Александр Иванович, брат Н. И. Богданова 411, 412, 413
- Богданов** Николай Иванович (1752—после 1814), генерал-майор, тайный советник, тульский гражданский губернатор в 1811—1814 гг., в 1812 г. избран начальником Тульского ополчения 385, 392, 404, 411, 412, 413
- Богданович** Иван Федорович (1782—после 1814), подполковник (1813), в 1812 г. — штабс-капитан батареинной роты №1 3-й артиллерийской бригады, за Бородинское сражение награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом 259
- Богданович** Модест Иванович (1805—1882), генерал-лейтенант (1863), военный историк 66
- Бодин**, французский генерал, якобы заведовавший в 1812 г. почтовой службой Великой армии 149, 154
- Болговская** (Бологовская) Мирония Петровна, мать Д. Н. Болговского 107
- Болговский** (Бологовский) Дмитрий Николаевич (1780—1852), генерал-лейтенант (1837), сенатор, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 80—82, 84, 98, 101, 107, 112, 129, 131
- Болотов** Андрей Тимофеевич (1738—1833), один из основоположников русской агрономии, писатель и мемуарист 384, 386, 400, 415
- Болотов** Павел Андреевич, сын А. Т. Болотова, в 1812 г. подпоручик Тульского ополчения 400
- Болотова** Александра Михайловна, урожденная Кавелина, жена А. Т. Болотова 415
- Болотова** Екатерина Алексеевна 415
- Бороздин** (1-й) Михаил Михайлович (1767—1837), генерал-лейтенант (1799), в 1812 г. командовал 8-м пехотным корпусом, временно 2-й Западной армией 169, 171, 191, 192
- Брежинский**, в 1812 г. городничий г. Чебоксар 34
- Брежинский** Семен Петрович (1780—1817), генерал-майор (1815), с 1811 г. адъютант генерала П. И. Багратиона в чине подполковника, за отличие в 1812 г. произведен в полковники 166
- Брин** (фон Брин) Франц Абрамович (1761—1844), тайный советник (1816), сенатор, в 1808—1810 гг. — томский, с 1810 по 1821 г. тобольский гражданский губернатор 26, 33
- Брокер** Адам Фомич (1762—1848), полковник (1812), московский полицмейстер (1812), близкий знакомый Ф. В. Ростопчина, с 1798 по 1810 г. служил экспедитором почтового ведомства в Москве 137

Буасо — в 1812 г. капитан Великой армии 375

Буйницкий Иосиф Федорович, в 1814 г. подпоручик л.-гв. Семеновского полка 325

Букинский Иван Степанович, в 1814—1815 гг. подполковник, командир 14-го егерского полка 214, 243

Букойский — см.: Букинский И. С.

Буксгевден Федор Федорович (1750—1811), граф (1797), генерал от инфантерии (1798), в 1808 г. главнокомандующий действующей армией в Финляндии 28, 64

Бунцлер, в 1812 г. урядник Тульского ополчения 417, 418, 419, 425

Бухмейер Федор Евстафьевич (1767—1841), генерал-майор (1808), член совета Артиллерийского департамента 22, 30

Вандамм Доминик Жозеф Гене (1770—1830), граф Унзебургский (1808), французский дивизионный генерал (1799), участник наполеоновских походов, в 1813 г. командовал 1-м армейским корпусом в сражении под Кульмом, где был взят в плен 198—199, 279, 283—286

Васильев Александр Михайлович, в 1812 г. — полковник, командир конно-артиллерийской роты № 21 269

Васильев Алексей Иванович (1742—1807), граф (1801), первый министр финансов 15, 98

Васильчиков Илларион Васильевич (1776—1847), князь (1839), генерал от кавалерии (1823), генерал-адъютант (1801), участник Наполеоновских войн 165, 167, 177, 273

Вейдемейер Александр Иванович (1789—1852), действительный статский советник, автор сочинений по русской истории, в 1812 г. дипломатический чиновник, якобы привезший весть о переходе Великой армии через Неман 41

Вейс Андрей, надворный советник, виленский полицмейстер в 1812 г., активно сотрудничал с А. И. Сангленом, награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, затем был прикомандирован к Высшей воинской полиции 115, 117

Вейсгаупт Адам (1748—1830), профессор юриспруденции Баварского университета, основатель общества иллюминатов 82, 112

Веллингтон Уэлсли Артур Конан (1769—1852), принц Ватерлоо (1815), британский фельдмаршал (1813), участник Наполеоновских войн 51, 54

Венявитинов — см.: Вязмитинов С. К.

Веревкин, лейтенант флота 327

Верещагин Михаил Николаевич (1789—1812), сын трактирщика, в 1812 г. перевел речь Наполеона, за которую был предан суду и как «государственный изменщик» приговорен к ссылке на вечную каторжную работу в Нерчинск, но перед

оставлением Москвы 2 сентября был выдан Ф. В. Ростопчиным на расправу возбужденной толпе 134, 137, 138, 140, 141, 147, 261

Вернер (de Vernègues), французский эмигрант-роялист 69, 70, 77—80, 84, 86, 87, 94, 130

Вестрис, французский актер 313

Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), известный мемуарист 20

Викулин, в 1812 г. офицер (сотенный начальник) 4-го пехотного полка Тульского ополчения 385, 386, 398, 400, 401, 406, 407, 409

Викулина, жена офицера Тульского ополчения 389, 391, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 415, 416

Викулина Екатерина, дочь офицера Тульского ополчения 392

Виллие Яков Васильевич (1768—1854), баронет (1814), лейб-медик, действительный тайный советник (1841), главный врач-хирург российских войск, участник Наполеоновских войн 58, 61, 325

Винценгероде Фердинанд Федорович (1770—1818), барон, генерал от кавалерии (1813), генерал-адъютант (1802), участник Наполеоновских войн 42, 303

Витгенштейн Петр Христианович (1768—1843), светлейший князь (1836), генерал-фельдмаршал (1826), в 1812 г. — граф, генерал-лейтенант, командир 1-го пехот-

ного корпуса 42, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 64

Владычин Дмитрий Семенович, полковник, в 1812 г. командир 1-го пехотного полка Тульского ополчения 398

Вобан Себастьян Ле Претр (1633—1707), маршал Франции, знаменитый военный инженер, построил 33 и модернизировал свыше 300 крепостей, руководил осадой 53 крепостей, один из основоположников минно-подрывного дела, автор военно-инженерных трудов 197

Восейков Алексей Васильевич (1778—1825), генерал-майор (1812), в 1810—1812 гг. полковник, флигель-адъютант, директор Особенной канцелярии военного министра (руководил военной разведкой) 88, 89, 91, 101, 108, 111, 131

Возницкая Марья Алексеевна (?—1828), дочь сенатора, жена с 1815 г. С. И. Маевского 234

Волконский, в 1812 г. предводитель дворянства Алексинского уезда Тульской губернии 391

Волконский Дмитрий Петрович (?—1853), князь, генерал-лейтенант, гофмейстер 15

Волконский Петр Михайлович (1776—1852), светлейший князь (1834), генерал-фельдмаршал (1850), генерал-адъютант (1801), участник Наполеоновских войн 38, 39, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 94, 156, 193—197, 198, 200, 201, 275—277, 285, 380—381, 385

Воронцов, в 1812 г. офицер регулярных войск, внук А. Т. Болотова 399, 400

Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), светлейший князь (1856), генерал-фельдмаршал (1856), генерал-адъютант (1815), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. генерал-майор, командир сводно-гренадерской дивизии 165, 200, 201, 202, 203, 204—209, 210—218, 240

Воронцова, дочь А. Т. Болотова 399

Вострилов, солдат 1-й артиллерийской бригады 258, 260

Вюртембергский (Виртембергский) Александр Фридрих Карл (1771—1833), герцог, генерал от кавалерии (1800), брат императрицы Марии Федоровны и дядя императора Александра I, с 1811 г. — белорусский военный губернатор с управлением гражданской частью, также витебский и моголевский губернатор, участник войн против Наполеона 336, 337, 354

Вяземский Василий Васильевич (1775—1812), князь, генерал-майор (1803), шеф 13-го егерского полка, получил смертельное ранение при штурме Борисова 244

Вязмитинов (Венявитинов) Сергей Кузьмич (1741—1819), граф (1818), генерал от инфантерии (1798), в 1793—1795 гг. — генерал-губернатор симбирский и уфимский; с 1802 по 1808 г. военный министр, в 1812 г. — главнокомандующий в Петербурге, управляющий Министерством по-

лиции 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 275, 277, 278

Гавердовский Яков Петрович (1780—1812), полковник (1812), один из офицеров свиты Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, в Бородинском сражении исправлял должность генерал-квартирмейстера 1-й Западной армии 28

Гаврилов, нижний чин 1-й артиллерийской бригады 269

Гагарин Федор Федорович (1786—1863), князь, генерал-майор (1827), в 1812 г. поручик Кавалергардского полка, адъютант генерала П. И. Баграциона, известный дуэлянт 165

Гагарина Наталья Ивановна (1778—1832), княжна, жена Н. И. Тончи 146, 154

Ганковская, польская помещица 422, 423

Гардель, директор Гранд-опера в Париже 313, 319

Гермес Богдан Андреевич (1758—1839), сенатор, действительный тайный советник (1832), с 1806 по 1817 г. пермский гражданский губернатор 34

Глухов Василий Алексеевич (Александрович) (1763 — после 1812), полковник (1807), командир 1-й артиллерийской бригады, участник Наполеоновских войн, получил тяжелое ранение при Бородино 250, 256, 259, 269

Голенищев-Кутузов (Кутузов)

Павел Васильевич (1772—1843), граф (1832), генерал от кавалерии (1826), генерал-адъютант (1810), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. сформировал конный полк из ямщиков, затем принял командование над корпусом генерала Ф. Ф. Винценгероде 42, 98, 126, 131

Голицын Александр Николаевич (1773—1841), князь, с 1803 г. обер-прокурор Святейшего Синода 297

Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), светлейший князь (1841), генерал от кавалерии (1814), участник Наполеоновских войн 47, 64

Голицын Сергей Сергеевич (1783—1833), князь, генерал-майор (1813), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. — флигель-адъютант, состоял при генерале Л. Л. Беннигсене 42

Голицын Сергей Федорович (1749—1810), князь, генерал от инфантерии (1797), в 1809 г. командовал в Галиции русскими войсками в войне против Австрии 28

Голубцов Федор Александрович (1758—1829), государственный казначей, сенатор 27

Гольдберг, еврей, сопровождавший в 1814 г. л.-гв. Семеновский полк в обратном путешествии в Россию 328

Горчаков Алексей Иванович (1769—1817), генерал от инфантерии (1814), в 1812—1815 гг. управ-

ляющий Военным министерством, после отдан под суд за хищения в провиантском ведомстве 46, 125, 126, 128, 197

Граббе Павел Христофорович (1789—1875), граф (1866), генерал от кавалерии (1856), генерал-адъютант (1842), в 1812 г. адъютант генерала М. Б. Барклая де Толли, затем А. П. Ермолова 169, 174

Граверт Юлий Август Рейнгольд (1746—1821), прусский генерал от инфантерии (1812), в начале кампании 1812 г. командовал контингентом прусских войск в Великой армии 274

Греков Митрофан Ильич (1842—1915), генерал от кавалерии (1914), военный писатель и публикатор мемуаров 289—290

Греч Александр Иванович (1789—22.10.1812) поручик 1-й артиллерийской бригады, скончался в Москве от ран, полученных в Бородинском сражении 256, 259

Греч Николай Иванович (1787—1867), тайный советник (1843), известный издатель (журналы «Сын Отечества», «Северная пчела», «Русский вестник»), журналист и мемуарист 64

Грот Яков Карлович (1812—1893), историк и публикатор документов 20

Груннер Юстас (1777—1820), начальник прусской полиции в 1811—1812 гг., агент русской разведки 84, 115

Гудович Иван Васильевич (1741—1820), граф (1797), генерал-фельдмаршал (1807), в 1798 г. занимал пост киевского, затем подольского генерал-губернатора, в 1799 г. назначен главнокомандующим армией, предназначавшейся для действий против французов на Рейне 158, 160

Гулевич Лавр Львович (1781—1812), подполковник (1811), командир батареинной роты № 23 23-й артиллерийской бригады 260

Гурбант Георг (1764—1832), статский советник, доктор медицины 26

Гурко Леонтий Иосифович (1783—1861), генерал-майор (1821), участник Наполеоновских войн, адъютант военного министра 299

Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825), граф (1819), действительный тайный советник (1804), с 1810 по 1823 г. министр финансов 60, 90, 91

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839), генерал-лейтенант (1831), военный писатель, поэт, знаменитый партизан в 1812 г. 3, 6, 267

Давыдов Петр Львович (1777—1842), генерал-майор (1814), в 1812 г. из действительных камергеров был принят с чином майора и состоял во 2-й Западной армии 167

Даллер, в 1814 г. доктор 55

Двинский Михаил Яковлевич, житель Витебска 350, 354

Деламберт К. О. — см.: Ламберт К. О.

Деюнкер, в 1812 г. штабс-капитан Северского драгунского полка, адъютант генерала М. А. Милорадовича 177

Дзичканец (Дишканец) Константин Андреевич, в 1812 г. ротмистр Волынского уланского полка, адъютант М. И. Кутузова 195

Дибич (Дибич-Забалканский) Иван Иванович (1785—1831), граф (1827), генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1818), участник Наполеоновских войн 204, 236, 283, 304, 307

Дирин Иван Алексеевич, капитан л.-гв. Семеновского полка 300

Дитерикс (2-й) Иван Иванович (1778 — после 1812), полковник (1811), командир 17-й артиллерийской бригады 255, 270

Добровольский — см.: Доливо-Добровольский

Добрынин Гавриил Иванович (1752—1823), губернский прокурор Витебской губернии, автор мемуаров 5, 334, 335

Доливо-Добровольский Фрол Осипович, в 1812 г. военный советник и полевой инспектор почт соединенных русских армий 39, 48, 52, 185

Домбровский, солдат Павловского гренадерского полка 267

Донская, жена штабс-капитана Н. Донского 402, 415

Донской Николай, в 1812 г. штабс-капитан, сотенный начальник 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 390, 398, 399, 400, 401, 402, 406

Дохтуров (Доктуров) Дмитрий Сергеевич (1759—1816), генерал от инфантерии (1810), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. командир 6-го пехотного корпуса 132, 171, 254, 257

Дранжевский (Дранженевский) Михал (1780—после 1816), поручик армии герцогства Варшавского, в начале 1812 г. был послан генералом А. Рожнецким для сбора разведданных в Россию, был арестован и отправлен в Шлиссельбургскую крепость 115, 116

Дубовский (Дубенский) Иван Григорьевич (1791—после 1818), в 1812 г. прапорщик 1-й артиллерийской бригады 255, 270

Дука Илья Михайлович (1768—1830), барон, генерал от кавалерии (1826), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. генерал-майор, командовал бригадой, а потом 2-й кирасирской дивизией, которая отличилась при Шевардино и Бородино 169

Думбровский, в 1815 г. офицер 13-го егерского полка 236

Дунаев Александр Иванович, полковник, участник кампаний 1812—1815 гг., в 1815 г. командир

Витебского пехотного полка 202, 211, 230

Дюпюитрен Гийом (1777—1835), известный французский хирург, член Парижской академии наук (1824), в 1814 г. хозяин квартиры И. М. Казакова в Париже 315—319, 323—326

Евгений Богарне — см. Богарне Эжен

Евклид, древнегреческий математик III века до нашей эры 337

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская) (1684—1727), российская императрица (с 1825), жена Петра I 382

Екатерина II (1729—1796), урожденная Софья Августа Фредерика, принцесса Анхальт-Цербстская, российская императрица (с 1761) 66, 134, 383, 424

Екатерина Павловна (1788—1819), великая княжна, сестра императора Александра I, жена герцога Г. Ольденбургского 22, 35, 54, 58, 144, 153, 160

Елагины, знакомые Золотухиных 410, 415, 420

Елизавета Алексеевна (1779—1826), урожденная Луиза Мария Августа, принцесса Баденская, жена Александра I с 1793 г., российская императрица с 1801 г. 55, 296

Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), генерал от артиллерии (1818), участник Наполеоновских

войн, в 1812 г. генерал-майор, начальник штаба 1-й Западной армии 59, 121, 122—124, 178, 179, 182, 184, 188, 189, 191, 193, 196, 197, 240, 242, 304—309, 311, 323

Еропкин Петр Дмитриевич, дворянин с. Страхово Тульской губернии 391

Есафов, фейерверкер 1-й артиллерийской бригады 258

Ефимович Екатерина Ивановна, жена Д. П. Рунича 135, 153

Ефремов Иван Ефремович (1774—1843), генерал-лейтенант (1829), участник Наполеоновских войн, в 1812—1814 гг. — полковник лейб-гвардии Казачьего полка, командовал знаменитой атакой лейб-казаков в Лейпцигской битве 291, 292

Ефремов (1-й) Осип Демидович (1793—после 1814), в 1812 г. прапорщик 1-й артиллерийской бригады 253, 267, 270

Ефремова, в 1812 г. знакомая семьи Золотухиных 407

Жеванов Иван Григорьевич (?—1830), действительный статский советник, казанский гражданский губернатор (1830) 36

Жегулин Семен Семенович (?—1823), генерал-майор (1790), тайный советник, с 1797 по 1798 г. белорусский гражданский губернатор 13, 15, 16

Жеребцов Александр Александрович (1781—1832), генерал-майор

(1815), участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии, известный масон 82

Жилко (Жилка) Фома Александрович, полковник, с 1801 по 1806 г. командир 4-го егерского полка, в 1806—1807 гг. шеф 23-го егерского полка 28, 29

Жомини Антуан Анри (1779—1869), барон, французский и русский генерал, военный историк и теоретик, участник Наполеоновских войн, на русской службе с 1813 г. 168, 193, 198

Жорж (Маргарита Жозеф Веймер, названная мадемуазель) (1787—1867), французская актриса, в 1808—1812 гг. гастролировала в России 248

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), русский поэт, вступивший в 1812 г. в ополчение 39

Загряжский, в 1812 г. посолник французов 144

Закревский Арсений Андреевич (1783—1865), граф (1830), генерал-адъютант (1813), генерал от инфантерии (1829), участник войн с наполеоновской Францией, в 1848—1859 гг. — московский генерал-губернатор 59—61, 113, 114, 122, 125

Зборовский, житель Витебска 345

Зеленин, прапорщик 3-й артиллерийской бригады, убит в Бородинском сражении 256, 257, 259

Зеленко, чиновник в Витебске 347

Зиновьев, камердинер императора Александра I 70, 71, 81, 87, 91, 92

Золотухин Александр Матвеевич, сын М.И. Золотухина 387, 401, 409

Золотухин Афанасий Иванович, брат М.И. Золотухина 393, 397, 413, 420

Золотухин Василий Иванович, сын И.А. Золотухина (брат М.И. Золотухина) 382

Золотухин Владимир Матвеевич, сын М.И. Золотухина 387, 394, 395, 399, 400, 401

Золотухин Дмитрий Матвеевич, сын М.И. Золотухина 401, 409

Золотухин Иван Афанасьевич, отец М.И. Золотухина 382

Золотухин Матвей Иванович, муж А.И. Золотухиной, майор, в 1812 г. командир батальона 4-го пехотного полка Тульского ополчения 383—426

Золотухин Николай Матвеевич, сын М.И. Золотухина 387, 395, 399, 400, 401

Золотухин Яков, дворянин, ездивший учиться при Петре I за границу 382

Золотухина Анна Ильинична (?—1814), урожденная Сергеева, жена М.И. Золотухина, автор мемуаров 5, 382, 383, 426

Золотухина Анна Матвеевна, дочь М.И. Золотухина 387, 395, 410, 411, 415, 416

Золотухина Анна Матвеевна, жена И.А. Золотухина, мать М.И. Золотухина 382, 383, 395, 397, 400, 416, 417

Золотухина Варвара Ивановна, сестра М.И. Золотухина 411

Золотухина Зинаида Матвеевна, дочь М.И. Золотухина 387, 394, 395, 410

Золотухина Лидия Матвеевна, дочь М.И. Золотухина 387, 395, 401, 410

Золотухина Мария Матвеевна, дочь М.И. Золотухина 387, 395, 410, 411, 415, 416

Золотухина Надежда Ивановна, сестра М.И. Золотухина 387, 402, 409, 411, 414, 415

Золотухина Татьяна Ивановна, сестра М.И. Золотухина 393

Золотухина Фаина Ивановна, сестра М.И. Золотухина 387

Зубов Валериан Александрович (1771—1804), граф, генерал-аншеф (1796), с 1800 г. шеф 2-го кадетского корпуса 126, 247, 269

Иван (Иоанн) III (1440—1505), Великий князь Московский (с 1462) 144

Ивской (Иевский) Давид Иванович, в 1812 г. прапорщик 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386

Ивской (Иевский) Степан Иванович, в 1812 г. поручик 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386

Избаш (Избаша) Никита Нестерович (?—1822), полковник 13-го егерского полка, участник кампаний 1812—1814 гг., с 1814 г. командир 22-го егерского полка 205, 243

Иловайский (12-й) Василий Дмитриевич (1788—1860), генерал-лейтенант (1826), во время Наполеоновских войн командовал казачьими полками 57

Ильяшенко, прапорщик 26-й артиллерийской бригады 266

Кавелина Мария Абрамовна, теща А. Т. Болотова 415

Кавер (искаж. — Кивер) Евстафий Васильевич (1773 — после 1844), генерал-майор (1820), в 1812 г. ротмистр л.-гв. Уланского полка, адъютант генерала М. Б. Барклая де Толли 43, 64

Казаков Андрей Михайлович, офицер 32-го егерского полка, участник Наполеоновских войн, умерший от ран, полученных в сражении под Баутценом 298, 326

Казаков Иван Михайлович (1797—1883), офицер л.-гв. Семеновского полка, участник Наполеоновских войн, автор мемуаров 5, 295, 301, 305, 309, 323

Кайсаров Паисий Сергеевич (1783—1844), генерал от инфантерии (1833), в 1812 г. полковник, состоял дежурным генералом Главной армии, затем начальником авангарда казачьего корпуса атамана М. И. Платова, в 1813 г. произведен в генерал-майоры 179

Каменский (2-й) Николай Михайлович (1778—1811), граф, генерал от инфантерии (1809), во время русско-шведской войны 1808—1809 гг. командир корпуса 20, 113

Каменский (1-й) Сергей Михайлович (1771—1834), граф, генерал от инфантерии (1810), в 1812 г. командир корпуса в 3-й Обсервационной армии 226

Канивальский, в 1814 г. знакомый штаб-офицер С. И. Маевского 211

Канкрин Егор Францович (1774—1845), граф (1829), генерал от инфантерии (1828), в 1812 г. генерал-интендант 1-й Западной армии, в 1813—1815 гг. — всех действующих армий, в 1823—1844 гг. — министр финансов 113

Каподистрия Иван (Иоанн) Антонович (Иоанис Капо д'Истрия) (1776—1831), граф, греческий и русский государственный деятель, с 1815 г. статс-секретарь по иностранным делам 59, 60

Карл Людвиг Иоганн (1771—1847), австрийский эрцгерцог, фельдмаршал, командовал австрийскими войсками в 1809 г., считался лучшим австрийским полководцем в наполеоновскую эпоху 90, 93, 118

Карл X (1757—1836), король Франции с 1824 по 1830 г., из династии Бурбонов 326

Карпов Петр, в 1812 г. прапорщик Тульского ополчения 398

Карцов Павел Петрович (1821—1892), генерал-лейтенант (1870),

- военный писатель, публикатор воспоминаний Ф. Ф. Берга 271
- Касторский** Николай Егорович (1775—1814), в 1812 г. подполковник, командир фельдъегерского корпуса 40
- Кивер** — см.: Кавер Е. В.
- Кикин** Петр Андреевич (1775—1834), генерал-майор (1812), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. выполнял обязанности дежурного генерала 1-й Западной армии, в 1815 г. с чином действительного статского советника назначен статс-секретарем «у принятия прошений на высочайшее имя приносимых» 62, 113, 178
- Клейнмихель** Андрей Андреевич (1757—1815), генерал-лейтенант (1811). С 1799 г. директор 2-го кадетского корпуса 247
- Клейст** Фридрих Генрих Фердинанд Эмиль (1762—1823), граф фон Ноллендорф (1813), прусский генерал-фельдмаршал (1821), в 1813 г. командовал прусским корпусом в сражении при Кульме 283
- Клибер** Егор Андреевич (1890 — после 1812), поручик (1811), в 1812 г. принял командование над легкой ротой № 2 1-й артиллерийской бригады 250, 258, 259, 269, 270
- Ключарев** Федор Петрович (1751—1822), действительный тайный советник, московский почт-директор, 10 августа 1812 г. выслан из Москвы по необоснованному обвинению в сношениях с французами 133, 134, 136, 137, 140
- Кнорринг** Богдан Федорович (1748—1825), генерал от инфантерии, в декабре 1808 — апреле 1809 г. главнокомандующий русской армией в Финляндии 20, 29
- Козловский**, князь, женатый на сестре Д. Н. Болговского 81
- Козловский** Г. Я., автор воспоминаний 5, 372
- Козодавлев** Осип Петрович (1754—1819), действительный тайный советник (1818), с 1810 г. управляющий, с 1811 г. министр внутренних дел 25, 29, 94
- Койленский** Иван Степанович (1778—1814), генерал-майор (1813), в 1812 г. полковник лейб-гвардии Артиллерийской бригады, участник Наполеоновских войн 43, 259
- Колезиков**, в 1812 г. командир батальона 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386
- Коленкур** Арман Огюстен (1773—1827), маркиз, герцог Виченцкий (1808), дивизионный генерал (1805), посол Франции в России в 1808—1811 гг., участник Наполеоновских войн 89, 97
- Колзаков** Константин Павлович, генерал, сын П. А. Колзакова 199, 279, 280
- Колзаков** Павел Андреевич (1779—1864), адмирал (1843), генерал-адъютант (1831), в 1812—1814 гг. адъютант Великого князя

- Константина, участник Наполеоновских войн, мемуарист 5, 199, 279, 280, 285, 287
- Коломитинов**, в 1814 г. поручик 226
- Колычев**, писарь Тульского ополчения 426
- Коновницын** Петр Петрович (1764—1822), граф (1819), генерал от инфантерии (1817), генерал-адъютант (1812), участник Наполеоновских войн 39, 61, 122, 132, 165—167, 178—183, 185—187, 191—193
- Константин** Павлович (1779—1831), великий князь, брат императора Александра I, второй сын императора Павла I, участник Наполеоновских войн 28, 82, 87, 123, 192, 226, 230, 231, 247—249, 282, 285, 287
- Коньков** Антон Семенович (ок. 1760—после 1811), войсковой старшина 288
- Коньков** Венедикт Антонович (1786—после 1855), штабс-ротмистр лейб-гвардии Казачьего полка (1815) 288
- Коньков** Емельян Антонович (1788—1882), генерал-лейтенант, автор воспоминаний об атаке лейб-казаков в Лейпцигской битве 5, 288—290
- Коньков** Иван Антонович (ок. 1790—1840), полковник лейб-гвардии Казачьего полка (1823) 288
- Копьев** Петр Андреевич (1768—1812), подполковник (1811), командир легкой роты № 2 1-й артиллерийской бригады, имел трех дочерей. Убит в Бородинском сражении 269, 270
- Корнилов** Петр Яковлевич (1770—1828), генерал-лейтенант (1818). В 1812 г. генерал-майор, сражался на р. Березине, с 1813 г. командовал 15-й пехотной дивизией, в 1814 г. назначен командовать 19-й пехотной дивизией 227
- Корнух-Троцкий** Петр Яковлевич (1803—после 1858), ботаник, профессор Киевского университета, доктор философии 371
- Корсаков** Алексей Иванович (1751—1821), генерал от артиллерии (1800), инспектор всей артиллерии в 1800—1803 гг., с 1803 г.—сенатор, директор Горного корпуса, в отставке с 1811 г. 28
- Корсаков** Матвей Прокофьевич, в 1814 г. офицер л.-гв. Финляндского полка, ординарец генерала А. П. Ермолова 306
- Корф** Модест Андреевич (1800—1876), барон, граф (с 1872), президент Департамента законов Государственного совета, историк 94
- Корф** Федор Карлович (1773—1823), барон, генерал-лейтенант (1812), генерал-адъютант (1810), в 1812 г. командовал 2-м кавалерийским корпусом 176
- Косов**, чиновник в Витебске 347
- Костенецкий** Василий Григорьевич (1768—1831), генерал-лейтенант (1826), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. начальник артил-

- лерии 6-го пехотного корпуса 250, 251
- Костюшко** Тадеуш (1746—1817), руководитель Польского восстания 1794 г. 242
- Коцебу** Август Фридрих Фердинанд (1761—1819), писатель, в 1813—1814 гг. издавал в Берлине «Русско-немецкий народный листок». Убит в 1819 г. студентом К. Ф. Зандом 46
- Кочубей** Виктор Павлович (1768—1834), князь (1831), русский государственный деятель, в 1812 г. находился в свите императора Александра I 88
- Кошелев** Павел Иванович (1764—после 1827), генерал-майор (1802), участник Наполеоновских войн 300
- Красиков**, пермский почтмейстер 33
- Красовский** Афанасий Иванович (1781—1843), генерал от инфантерии (1841), участник экспедиции русских войск на Корфу и в Неаполь в 1805 г. С 1812 г. командир 14-го егерского полка, в 1814 г. произведен в генерал-майоры 162, 202, 204, 207, 208, 211—218, 220—222, 227
- Кришкевич**, в 1812 г. владелец трактира в Вильно 115
- Крыжановский** Максим Константинович (1777—1839), генерал-лейтенант (1826), участник Наполеоновских войн 48
- Крылов**, камер-фурьер императорского двора 296
- Кудашев** Николай Данилович (1784—1813), князь, генерал-майор (1813), участник Наполеоновских войн, зять М. И. Кутузова 188
- Кузьмина-Караваева** Елизавета Андреевна, жена П. И. Апраксина 64
- Кулебякин** (Колюбакин) Антон, майор (затем — подполковник), в 1812 г. командир батальона 4-го пехотного полка, позднее — командир 2-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 425
- Кульнев** Яков Петрович (1763—1812), генерал-майор (1808), участник Наполеоновских войн, в 1809 г. командир авангарда войск генерала П. И. Багратиона при переходе на Аландские острова 20
- Кунцевич**, подчиненный и сослуживец Г. Добрынина 339, 340
- Кутайсов** Александр Иванович (1784—1812), граф (1799), генерал-майор (1806), в 1812 г. начальник артиллерии 1-й Западной армии, погиб в Бородинском сражении 113, 123, 255
- Кутузов** (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1747—1813), светлейший князь (1812), генерал-фельдмаршал (1812), в 1812 г. главнокомандующий всеми русскими армиями 31, 38, 39, 42—47, 49, 54, 123—128, 130, 140, 142, 145, 146, 156, 169, 176, 178—195, 198, 243, 244, 256—259, 261—265, 358, 398, 410

Кутузов Павел Васильевич — см.: Голенищев-Кутузов Павел Васильевич

Кутузова (Голенищева-Кутузова-Смоленская, урожденная Бибикова) Екатерина Ильинична (1754—1824), светлейшая княгиня (1812), жена М. И. Кутузова 40, 41

Лабзин Александр Федорович (1766—1825), вице-президент Императорской Академии художеств, издатель, литератор, известный мистик и масон, возглавлял ложу «Умиравший сфинкс» 82

Лавинский Александр Степанович (1776—1844), действительный тайный советник (1835), в 1812 г. виленский гражданский губернатор 114, 117

Лавров Николай Иванович (1764—1813), генерал-лейтенант (1811), в начале военных действий занимал должность начальника штаба 1-й Западной армии, затем командовал 5-м (гвардейским) корпусом 85, 98, 113

Ла Гарп (Лагарп) Фредерик Сезар (1754—1838), генерал-лейтенант русской службы, воспитатель Великого князя Александра Павловича 94, 99

Лазарев Сергей Григорьевич (1786 — после 1818), в 1812 г. подпоручик 1-й артиллерийской бригады 269

Ламберт (Деламберт) Карл Осипович (1772—1843), граф, генерал от кавалерии (1823),

генерал-адъютант (1811), участник Наполеоновских войн 236

Ланская Александра Михайловна, урожденная Ханыкова, жена П. С. Ланского 40, 41

Ланской (1-й) Алексей Павлович (1788—1855), генерал-майор, сын П. С. Ланского, в 1812 г. поручик л.-гв. Егерского полка, адъютант генерала Д. В. Голицына 40, 64

Ланской Василий Сергеевич (1754—1831), действительный тайный советник (1812), с 1813 г. президент временного правительства герцогства Варшавского, с 1815 г. наместник царства Польского 61

Ланской (2-й) Михаил Павлович (1792 — после 1829), сын П. С. Ланского, генерал-майор (1822), в 1812 г. поручик л.-гв. Егерского полка, адъютант генерала Л. Л. Беннигсена 40, 64

Ланской Павел Сергеевич (1857—1832), генерал-майор (1801), участник Наполеоновских войн, муж А. М. Ланской 40

Лебрюн, кадет 2-го кадетского корпуса 248

Левенгельм Карл Аксель (1772—1861), шведский генерал и дипломат, в 1812—1818 гг. шведский посланник в России 21

Левенштерн Карл Карлович (1771—1840), барон, генерал от артиллерии (1829), в 1812 г. командующий артиллерией 2-й Западной армии 165

Леонов, кантонист, в 1813 г. служил писцом при А. А. Аракчееве 31

Леппих Франц (1775—после 1814), изобретатель управляемого воздушного аппарата, прибывший с помощниками в 1812 г. из Германии в Россию и предложивший использовать свое изобретение для борьбы с Наполеоном 34, 35, 153

Леса́ж Ален Рене (1668—1747), французский писатель, автор романа «История Жиль Блаза из Сантьяны» 347, 354

Лешерн Иван Францович, действительный статский советник, губернатор Витебской губернии в 1812 г. 353

Ливен Христофор Андреевич (1774—1838), светлейший князь (1826), генерал-адъютант (1798), генерал от инфантерии (1819), с 1798 по 1808 г. начальник Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии, с 1809 по 1812 г. посол в Пруссии 17, 19, 63

Линдберг Анна, публикатор мемуаров А. И. Золотухиной 383

Линдель, помощник С. И. Маевского 171

Лисецкий, в 1814 г. полковой адъютант 13-го егерского полка 218

Литвинов, поручик 13-го егерского полка, убит в 1814 г. в сражении при Краоне 209, 210

Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758—1838), князь,

генерал от инфантерии (1807), в 1812 г. формировал на Волге резервные части, в 1813 г. главнокомандующий Резервной армией 34

Лодомирский (Ладомирский) Василий Николаевич (1784—1848), полковник, в 1814 г. полковой казначей л.-гв. Семеновского полка 311, 327

Ломоносов Григорий Андреевич (1767—1810), генерал-майор 15, 17

Лопата, житель Витебска 345

Лопухин Петр Васильевич (1753—1827), светлейший князь (1798), министру юстиции с 1803 г., с 1816 г. председатель Государственного совета и Комитета министров 337

Лористон Жак Александр Бернар (1768—1828), граф (1808), маркиз (1817), маршал Франции (1823), участник наполеоновских походов 263

Лукомской, витебский помещик 342

Любомирский Константин Ксавьеревич (1786—1870), генерал-майор (1821), в 1812 г. флигель-адъютант императора 123

Людовик XV (1710—1774), король Франции с 1715 г. из династии Бурбонов 74, 322

Людовик XVI (1754—1793), король Франции с 1774 г. из династии Бурбонов 224, 225, 320

Людовик XVIII (1755—1824), король Франции с 1814 г. из династии Бурбонов 69, 315, 322

Ляпунов Дмитрий Петрович (1775—1821), генерал-майор (1812), участник Наполеоновских войн, в 1800 г. — полковник л.-гв. Семеновского полка 14, 15

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844), действительный статский советник (1810), статс-секретарь Государственного совета (1810), в 1812 г. сослан в Вологду, в 1816 г. назначен воронежским вице-губернатором, в 1817 г. — симбирским гражданским губернатором 63, 80—82, 84, 89, 97—101, 108, 109, 112, 128, 129

Мадатов Валериан Григорьевич (1782—1829), князь, генерал-лейтенант (1826), участник Наполеоновских войн 59

Маевский Сергей Иванович (1779—1848), генерал-лейтенант (1837), автор мемуаров 4, 155—157, 161—165, 168, 172, 175—179, 183, 186, 187, 194—196, 200, 205, 210, 214, 218, 228, 232, 236, 240—242

Мазурин, протоколист Могилевского губернского правления 13

Малахов, кучер Г. Добрынина 340

Маньковский Игнатий Антонович (1765—1831), статский советник, вице-губернатор Витебской губернии в 1813—1818 гг. 353

Марин Сергей Никифорович (1776—1813), полковник (1809), флигель-адъютант (1807), поэт и переводчик, в 1812 г. занимал должность дежурного генерала 2-й Западной армии 23, 164, 172, 242

Мария-Антуанетта (1755—1793), королева Франции, жена Людовика XVI 225

Мария Федоровна (1758—1828), урожденная принцесса Вюртембергская, вторая жена императора Павла I, мать императоров Александра I и Николая I 40, 43, 51, 248, 297

Маркграфиня Баденская — см.: Амалия Фредерика, маркграфиня Баденская

Марков Евгений Иванович (1769—1828), генерал-лейтенант (1807), с 1808 г. командовал 9-й пехотной дивизией (с 1810 г. — 15-й пехотной дивизией, затем корпусом) в войне против турок, в 1812 г. находился в 3-й Западной армии, а затем при Главной армии 162, 188—190, 235, 236, 239

Марков (правильнее — Морков) Ираклий Иванович (1753—1828), граф (1796), генерал-лейтенант (1798), в 1812 г. начальник Московского ополчения 94, 112, 131

Маркович Марк, полтавский казак 8

Мармон (Мармонт) Огюст Фредерик Луи (1774—1852), герцог Рагузский (1807), маршал Франции (1809), участник наполеоновских походов 304

Марс (мадмуазель), французская актриса 313

Марченко А. Я. 7

Марченко Александра Романовна, сестра В. Р. Марченко 13

Марченко Анна Романовна, сестра
В. Р. Марченко 13

Марченко Варвара Васильевна,
дочь В. Р. Марченко 57

Марченко Василий Романович
(1782—1840), действительный
тайный советник (1840), государ-
ственный секретарь (1834), мемуа-
рист 4, 7, 8, 9

Марченко Василь, старший канце-
ляр, депутат Днепровского пи-
кинерного полка 7

Марченко Екатерина Романовна,
сестра В. Р. Марченко 13

Марченко Елизавета Васильевна,
дочь В. Р. Марченко 22, 32

Марченко Мария Васильевна, дочь
В. Р. Марченко 22

Марченко Мария Осиповна,
(в первом браке Шмит), жена
В. Р. Марченко, умерла в 1858 г. —
см.: Шмит М. О.

Марченко Надежда Васильевна,
дочь В. Р. Марченко 57

Марченко Ольга Романовна, се-
стра В. Р. Марченко, замужем за
Рахубовичем 13, 63

Марченко Петр Романович, брат
В. Р. Марченко 13, 26, 32

Марченко Петр Савич, дядя
В. Р. Марченко 11

Марченко Роман Савич (?—1795),
коллежский асессор, стряпчий
Могилевской губернской палаты
казенных дел, отец В. Р. Марченко
9—11

Марченко Сесиман Савич, дядя
В. Р. Марченко 11

Маслов Иван Афанасьевич, в
1812 г. купец и городской староста
г. Алексина Тульской губернии 391

Массара, в 1812 г. солдат Великой
армии 375, 376

Мелас Михаэль Фридрих Бенуа
(1729—1806), австрийский гене-
рал, главнокомандующий австрий-
скими войсками в Италии в 1799—
1800 гг., после поражения при
Маренго эвакуировал австрийцев
из Италии 169

Мельников, камердинер императо-
ра Александра I 23

Менцель (Манцельман) Иван, ви-
ленский купец и банкир, в 1811—
1812 гг. вместе с группой прибал-
тийских купцов по договоренности
с варшавскими банками снабжал
наполеоновскую агентуру деньга-
ми 117

Меснов (Мясново) Никита, в
1812 г. прапорщик 4-го пехотного
полка Тульского ополчения 386,
412, 413, 414

Мещеринов Василий Дмитрие-
вич (1779—1853), генерал-майор
(1810), участник Наполеоновских
войн, в 1812 г. шеф 32-го егерского
полка, командир 3-й бригады 18-й
пехотной дивизии 298

Миллер Иван Иванович (1776—
1814), генерал-майор (1799), с де-
кабря 1812 г. командующий Туль-
ским ополчением 404, 407, 413,
424, 425

Миловидов Борис Павлович, историк 246

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825), граф (1813), генерал от инфантерии (1809), участник Наполеоновских войн 56, 142, 156, 169, 171—177, 192, 199, 261, 263, 265, 266

Мительков, в 1812 г. офицер 4-го пехотного полка Тульского ополчения 385

Михаил Павлович (1798—1848), великий князь, брат императора Александра I 61

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал-лейтенант (1835), участник Наполеоновских войн, мемуарист, военный историк 38, 39, 153, 218

Мишо (Мишо де Боретур — с 1839) Александр Францевич (1771—1841), граф (1814), генерал от инфантерии (1841), генерал-адъютант (1813), участник Наполеоновских войн 193, 198

Молчанов Петр Степанович (1760—1837), статс-секретарь Александра I 46, 62

Монтесума (Монтезума) (1466—1520), правитель ацтеков 342

Мордвинов Николай Семенович (1754—1845), граф, адмирал, президент Вольного экономического общества 88

Моро Жан Виктор (1763—1813), знаменитый генерал революционной Франции. В 1804 г. оказался

причастным к заговору против Наполеона и был выслан из страны. В 1813 г. по приглашению Александра I прибыл к войскам союзников и был убит в сражении при Дрездене 193, 198

Мортье Адольф Эдуард Казимир (1768—1835), герцог Тревизский (1808), маршал Франции (1804), участник Наполеоновских войн 304

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), австрийский композитор, музыкант универсального дарования 180

Мурашкевич, председатель департамента Могилевского земского суда 12

Мюрат Иоахим (1767—1815), король Неаполитанский (1808), маршал Франции (1804), участник наполеоновских походов 142, 173, 182, 183, 253, 260, 261, 267

Нагаев, в 1812 г. офицер Московского ополчения 393, 394

Наполеон I (Бонапарт) (1769—1821), император всех французов с 1804 г. 34, 39, 42, 43, 47—51, 58, 64, 66, 78, 79, 94, 97, 115—121, 124, 134—145, 149—155, 157, 169—171, 184, 185, 188, 190, 198, 207, 212, 216, 217, 222, 225, 237, 249, 252—254, 259, 261—263, 267, 281, 297, 302, 303, 312, 313, 322, 338, 344, 347, 348, 352, 365, 376—378

Нарбонн-Лара Луи Мари Жан Амальрик (1755—1813), граф (1810), французский дивизи-

- онный генерал (1801), генерал-адъютант Наполеона (1811), весной 1812 г. был направлен с военно-дипломатической миссией в Вильно 117
- Нарышкин** Александр Львович (1760—1826), обер-камергер, кавалер всех российских орденов, директор петербургских театров 33
- Неверовский** Дмитрий Петрович (1771—1813), генерал-лейтенант (1812), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. командир 27-й пехотной дивизии 168, 169, 253
- Невтон** — см.: Ньютон И.
- Ней** Мишель (1769—1815), герцог Эльхингенский (1808), князь Москворецкий (1813), маршал Франции (1804), участник наполеоновских кампаний 262, 266, 379
- Неккер** Жак (1732—1804), французский министр финансов в 1777—1781 и 1788—1790 гг. 337
- Немировский** (Немеровский), в 1812 г. чиновник Собственной его Императорского Величества канцелярии 36, 57
- Нессельроде** Карл Васильевич (1780—1862), граф, дипломат и государственный деятель, с 1811 г. статс-секретарь, в 1812 г. состоял в свите императора Александра I 59, 61
- Николай I** (1796—1855), российский император, сын императора Павла I и брат Александра I 7—9, 61, 66, 131
- Норов** Авраам Сергеевич (1795—1869), государственный деятель, писатель, участник Наполеоновских войн 153
- Ньютон** Исаак (1643—1727), английский математик и физик 337
- Ожаровский** Адам Петрович (1776—1855), граф, генерал от кавалерии (1826), генерал-адъютант (1807), участник Наполеоновских войн 240
- Ожеро** Жан Пьер (1772—1836), барон (1811), французский бригадный генерал (1804), в 1812 г. командовал бригадой, которая была окружена и во главе с ним попала в плен под Ляховым 267
- Оленин** Алексей Николаевич (1763—1843), действительный тайный советник (1827), художник и ученый, с 1814 г. исполнял должность государственного секретаря, с 1817 г. президент Академии художеств 106
- Олсуфьев** (3-й) Захар Дмитриевич (1773—1835), генерал-лейтенант (1807), участник Наполеоновских войн, в 1814 г. попал в плен под Шампобером 303
- Олсуфьев** (2-й) Николай Дмитриевич (1775—1817), генерал-майор (1812). Состоял в должности адъютанта Великого князя Константина 248
- Ольденбургский** (Гольштейн-Ольденбургский) Петр Фридрих Людвиг (1755—1829), герцог, в 1811 г. его владения были насиль-

ственно присоединены к французской империи Наполеона 249

Ольхин, офицер 1-й артиллерийской бригады 255, 270

Омельяненко Никита Кузьмич (1779—1855), тайный советник (1831), в 1813 г. директор канцелярии генерала М. Б. Барклая де Толли 201

Опперман Карл Иванович (1766—1831), граф (1829), генерал-инженер (1823), участник Наполеоновских войн 187, 191, 192, 194, 197

Ордин Кесарь Филиппович (1835—1892), гофмейстер, тайный советник, историк Финляндии 20

Оржанский Фрол Михайлович, майор Ладожского пехотного полка, комендант Главной квартиры 2-й Западной армии 167

Орлов Григорий Федорович (1790—1853), генерал-майор (1825), в 1812 г. поручик Кавалергардского полка, адъютант генерала М. Б. Барклая де Толли, в Бородинском сражении ему оторвало ногу 168

Орлов-Денисов Василий Васильевич (1780—1843), граф (1801), генерал от кавалерии (1826), генерал-адъютант (1811), командир лейб-гвардии Казачьего полка, участник Наполеоновских войн 264, 267, 291

Остен-Сакен (Сакен) Фабиан Вильгельмович (1752—1837), князь (1832), генерал-фельдмаршал (1826), участник Наполеонов-

ских войн 227, 228, 229, 230, 231, 233—236, 301, 303—305, 307, 313, 320

Остерман-Толстой Александр Иванович (1771—1857), граф, генерал от инфантерии (1817), генерал-адъютант (1814), участник Наполеоновских войн, в 1813 г. командовал русскими войсками в первый день сражения при Кульме 124, 176, 282, 287

Павел I (1754—1801), российский император с 1796 г., сын императрицы Екатерины II 57, 116, 134, 158, 160, 356

Паглиновский Дмитрий Моисеевич (?—1840), переводчик немецких авторов, директор Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества 19, 336

Пажоль Клод Пьер (1772—1844), граф (1813), французский дивизионный генерал (1812), в 1812 г. командовал 2-й дивизией легкой кавалерии и был ранен пулей в руку под Можайском 28 августа (9 сентября) 377

Пален Матвей Иванович (1779—1863), барон, генерал от кавалерии (1843), участник Наполеоновских войн, в 1813 г. генерал-майор, воевал в Северной армии, в 1814 г. — в Силезской армии 203, 243

Пален Павел Петрович (1775—1834), граф, генерал от кавалерии (1828), участник Наполеоновских

- войн, в 1812 г.— генерал-майор, участник боев на р.Березине 243
- Пален** Петр Алексеевич (1745—1826), граф, генерал от кавалерии, организатор дворцового заговора в 1801 г. 110, 116
- Пален** Петр Петрович (1777—1864), граф, генерал от кавалерии (1827), генерал-адъютант (1827), один из лучших кавалерийских начальников русской армии, участник Наполеоновских войн, в 1812 г. генерал-майор 196, 243
- Панафидин** Павел Иванович (1784—1869), капитан-лейтенант, в 1814 г.— старший лейтенант флота 327
- Панчулидзе** Алексей Давыдович (1758—1834), с 1808 по 1826 г. саратовский гражданский губернатор 29
- Панчулидзе** Семен Давыдович (1767—1817), генерал-майор (1807), участник Наполеоновских войн, шеф (с 1806) Ингерманландского драгунского полка 173, 174
- Панютин**, в 1812 г. полковой адъютант пешего полка Тульского ополчения 407
- Панютин** Федор Сергеевич (1790—1865), генерал-адъютант (1849), генерал от инфантерии (1851), в 1814 г.— поручик, полковой адъютант л.-гв. Семеновского полка 301, 311
- Парис** Франциск (1690—1727), французский священнослужитель, прославился чудесами 145
- Пассек** Петр Богданович (1736—1804), генерал-губернатор Могилевского наместничества 10, 11
- Пассек** Петр Петрович (1779—1825), генерал-майор (1799), в 1812 г. был принят из отставки и состоял во вторую половину кампании при генерале М. А. Милорадовиче 177
- Пассек** (урожденная Кучина) Татьяна Петровна (1810—1889), писательница и переводчица 65, 130
- Пастухов** Михаил, в 1812 г. подпоручик 1-й артиллерийской бригады 260
- Паулуччи** Филипп Осипович (1779—1849), маркиз, генерал-адъютант (1812), генерал от инфантерии (1823), в 1812 г. недолго состоял в должности начальника штаба 1-й Западной армии, затем занял пост рижского военного генерал-губернатора 120, 126, 132
- Персидский** Алексей Иванович (1770—1842), тайный советник (1829), в 1809 г.— коллежский асессор, чиновник Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии 26
- Пестель** Иван Борисович (1765—?), тайный советник (1801), член Государственного совета, сибирский генерал-губернатор (1806) 24—26, 32
- Пестов**, директор таможни 10
- Пестов**, зять А. Т. Болотова, в 1812 г. офицер (сотенный начальник) 4-го

- пехотного полка Тульского ополчения 385, 398, 399, 400, 405
- Пестова**, дочь А. Т. Болотова, жена офицера Тульского ополчения 398, 399, 400, 415, 416
- Петр I** (1672—1825), русский царь (с 1682) и первый российский император (с 1721) 110, 143, 144, 157
- Петров**, ефрейтор 1-й артиллерийской бригады 258
- Пирогов** Николай Иванович (1810—1881), знаменитый врач и педагог, основоположник военно-полевой хирургии 371
- Платов** Матвей Иванович (1753—1818), граф (1812), генерал от кавалерии (1809), атаман войска Донского (1801), легендарный предводитель казачьих полков в Наполеоновских войнах 54, 263, 265
- Подбереско**, польский помещик 423
- Покровский**, полковник, член комиссариатской экспедиции Военной коллегии 15
- Половцев** Александр Александрович (1832—1909), промышленник и меценат, председатель Императорского Русского исторического общества 7
- Понятовский** Юзеф (1763—1813), польский князь, маршал Франции (1813), военный министр герцогства Варшавского, в 1812 г. командовал 5-м корпусом Великой армии, погиб в Лейпцигском сражении 7(19) октября 1813 г. 260, 290, 292
- Попов** Василий Степанович (1745—1822), действительный тайный советник, член Государственного совета, в 1807—1809 гг. управляющий Комиссариатским и Провиантским департаментами Военного министерства 18
- Попова**, в 1812 г. знакомая семьи Золотухиных 414
- Поричков**, поручик Лейб-гренадерского полка 266
- Потемкин** Яков Алексеевич (1781—1831), генерал-лейтенант (1824), генерал-адъютант (1814), командир л.-гв. Семеновского полка (с декабря 1812), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. командовал егерской бригадой 17-й пехотной дивизии 174, 311, 312, 325, 327
- Потто** Василий Александрович (1836—1911), военный историк 294
- Потоцкий** Станислав Станиславович (1787—1831), граф, генерал-майор (1813), генерал-адъютант (1817), участник Наполеоновских войн 123, 239
- Приморский**, тульский помещик 419
- Прозоровский** Александр Александрович (1732—1809), князь, генерал-фельдмаршал (1807), с 1807 г. главнокомандующий Молдавской армией на Балканском театре военных действий против турок 162, 163, 170

Протопопов, титулярный советник, начальник канцелярии Высшей воинской полиции в 1812 г., затем до 1816 г. находился в штате Высшей воинской полиции Военного министерства 115

Пурпур Карл Андреевич, генерал-майор (1803), с 1803 по 1805 г. шеф Владимирского мушкетерского полка 158, 242

Пушкин — см.: Бобрищев-Пушкин С. П.

Пушкина (Бобрищева-Пушкина) Наталья Николаевна, урожденная Озерова, жена полковника С. П. Бобрищева-Пушкина 391, 400, 404, 410, 412, 416, 418

Раевский Николай Николаевич (1771—1829), генерал от кавалерии (1813), герой кампаний 1812—1814 гг., в 1812 г. командовал 7-м пехотным корпусом 121, 124, 132, 165, 166, 200, 253

Рахманов Петр Александрович, полковник, известный математик и военный писатель, убит в 1813 г. в Лейпцигском сражении 222

Рахманов Федор Михайлович, генерал-майор, в 1812 г. командир полка и пехотной бригады Тульского ополчения 398, 402

Рахубович, муж О. Р. Марченко 63

Реад Николай Андреевич (1793—1855), генерал-адъютант (1854), генерал от кавалерии (1853), в 1812 г. — капитан 123

Резвой Дмитрий Петрович (1762—1823), генерал-майор (1799), в 1812 г. находился в составе 3-й Западной армии, с декабря командовал артиллерией 1-й Западной армии 190, 191, 197

Рихтер Егор Христианович, полковник, командир Павловского гренадерского полка 270

Ричард Львиное Сердце (1157—1199), английский король из династии Плантагенетов, вел многочисленные войны, участник Крестовых походов 174

Роженецкий Александр (1774—1849), польский дивизионный генерал (1811), участник наполеоновских походов 115

Розенберг Андрей Григорьевич (1739—1813), генерал от инфантерии (1797), в 1798—1800 гг. был шефом Московского гренадерского полка, затем в 1800—1803 гг. Владимирского мушкетерского полка 158, 160

Розенкамф Густав Андреевич (1764—1831), барон, масон, сотрудник М. М. Сперанского 83, 112

Рославский, в 1812 г. полковой адъютант 1-го пехотного полка Тульского ополчения 398, 419

Россини Джоаккино (1792—1868), итальянский композитор, сыгравший существенную роль в становлении жанра большой оперы, автор оперы-буфф «Севильский цирюльник» 180

Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826), граф (1799), генерал от инфантерии (1812), в 1812 г. — главнокомандующий в Москве 34, 94, 112, 126, 134, 135, 136, 137, 138—144, 146—151, 169, 260, 261, 371

Рот Логгин Осипович (1780—1851), генерал от инфантерии (1828), участник Наполеоновских войн 241

Ротшильды, пять братьев, создавшие банковские дома в основных столицах Европы 154

Румовский — см.: Руновский А. М.

Румянцев Николай Петрович (1754—1826), граф (1774), государственный канцлер (1809), в 1807—1814 гг. министр иностранных дел 23, 35

Рунич Дмитрий Павлович (1779—1860), действительный статский советник (1816), попечитель Петербургского учебного округа (1821), автор мемуаров 4, 133

Руновский Андрей Максимович (1761—1813), действительный статский советник (1802), с 1804 г. нижегородский гражданский губернатор 148, 154

Рустам (1782—1845), мамелюк Наполеона (1799—1814), использовался как телохранитель и вестовой, сопровождал Наполеона во время его отъезда из России 378

Рюстак — см.: Рустам

Сабанеев Иван Васильевич (1770—1829), генерал от инфантерии (1829), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. начальник штаба 3-й Западной армии 201, 228, 229, 231, 233

Саблуков, в 1812 г. офицер 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386, 392

Саблуков, офицер регулярной армии, сын офицера Тульского ополчения 392

Савиньков, в 1812 г. офицер 4-го пехотного полка Тульского ополчения 385, 391, 392, 395, 396, 398, 404

Савинькова, жена офицера Тульского ополчения 391, 392, 395, 396, 397, 415, 416

Сакен — см.: Остен-Сакен Ф. В.

Салтыков Николай Иванович (1736—1816), светлейший князь (1814), генерал-фельдмаршал (1796), в 1812 г. председатель Государственного совета и Комитета министров 120, 134, 135, 137, 153

Санглен Яков Иванович де (1776—1864), военный советник (1816). В 1812—1816 гг. — директор Высшей воинской полиции при военном министре (военной контрразведки), автор воспоминаний 4, 65, 66, 92, 104, 128

Сварацкий, врач в Витебске 342, 348

Себастиани Орас Франсуа Бастьен (1772—1851), граф (1809), маршал Франции (1841), участник напо-

- леоновских походов, дивизионный генерал (1805), в 1812 г. командовал дивизией, а затем 2-м корпусом кавалерийского резерва 171
- Сегунов** (Сигунов 2-й), подпоручик 3-й артиллерийской бригады 259
- Селявин** Николай Иванович (1774—1833), генерал-лейтенант (1826), участник Наполеоновских войн, с декабря 1812 по 1814 г. дежурный генерал при Главном штабе Александра I 39
- Семенов**, подполковник 26-й артиллерийской бригады 266
- Семенов** Пафнутий, в 1812 г. подпоручик Тульского ополчения 404, 405, 407, 408
- Сен-При** Эммануил Францевич (1776—1814), граф, генерал-лейтенант (1812), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. начальник штаба 2-й Западной армии, погиб при обороне Реймса 164, 196, 216, 243, 303, 332
- Сен-Сир** (Гувьон Сен-Сир) Лоран (1764—1830), граф, маршал Франции (1812), участник наполеоновских походов 281
- Сергеев** Илья, капитан артиллерии, отец А. И. Золотухиной 382
- Серюзе** Теодор Жан Жозеф (1769—1825), барон, французский полковник, участник наполеоновских походов, автор мемуаров 155
- Сеславин** Александр Никитич (1780—1858), генерал-майор (1813), участник Наполеоновских войн, легендарный командир партизанского отряда 267
- Сибирский** Василий Федорович, князь, генерал от инфантерии, генерал-кригс-комиссар 14
- Сиверс**, в 1816 г. сенатор 63
- Силиверстова** (Селиверстова), жена Ивана Селиверстова, поручика Тульского ополчения 417
- Симанович**, витебский обыватель 341
- Скобелев** Иван Никитич (1778—1849), генерал-лейтенант, писатель, в 1812 г. капитан, состоял при штабе М. И. Кутузова, в 1813—1815 гг. являлся в чине полковника шефом Рязанского пехотного полка 39, 180, 185, 238
- Случевский** Константин Афанасьевич (1784—1848), тайный советник, сенатор, в 1804—1811 гг. — титулярный советник, чиновник канцелярии военного министра 26, 36
- Соколов**, в 1812 г. офицер Тульского ополчения 393, 415, 418
- Сокольский** Григорий Иванович (1807—1886), русский терапевт, автор многих трудов по медицине 371
- Сперанский** Михаил Михайлович (1772—1839), граф (1839), государственный статс-секретарь (1807), в 1808—1812 гг. автор государственных преобразований и реформ 24, 34, 63, 66, 72—75, 77—80, 82—84, 86—90, 94—112, 114, 129, 134, 135, 136, 148

Спиридов Алексей Григорьевич (1753—1828), адмирал (1799), главный командир Ревельского порта 65

Спренгпортен Георг Магнус (1741—1819), граф (1809), шведский, затем русский военачальник (с 1786), генерал от инфантерии, в 1800 г. был отправлен с миссией в Париж для приема русских пленных, в ноябре 1808 — июне 1809 г. генерал-губернатор Финляндии 20

Ставицкий Максим Федорович (1778—1841), генерал-лейтенант (1826), участник Наполеоновских войн, с 1806 г. флигель-адъютант 28

Сталь (Сталь-Гольштейн) Анна Луиза Жермена де (1766—1817), баронесса, известная французская писательница, бывшая в 1812 г. в России 134, 136

Сталь Карл Густавич (1778—1853), генерал от кавалерии (1843), участник Наполеоновских войн, в 1812—1813 гг. полковник, адъютант Великого князя Константина, с 1830 г. московский комендант 285, 287

Старынкевич Николай Александрович (1784—1857), тайный советник (1844), мемуарист, с 1811 г. правитель канцелярии белорусского военного губернатора герцога А. Вюртембергского, с 1812 г. — директор канцелярии 2-й Западной армии 194, 337, 338, 347

Степанов, чиновник Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии 17

Степанов Петр Александрович (1805—1891), генерал от инфантерии (1881), бывший комендант Царского Села (с 1870), писатель, активно сотрудничавший с журналом «Русская старина», публикатор мемуаров 372

Строганов Павел Александрович (1774—1817), граф, генерал-лейтенант (1812), генерал-адъютант (1811), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. командовал 1-й гренадерской дивизией 252, 267

Суворов Александр Васильевич (1730—1800), граф Рымникский, князь Италийский, знаменитый русский полководец 14, 120, 160, 192, 193, 250

Сульт Николя Жан де Дье (1769—1851), герцог Далматский (1807), маршал Франции (1804), участник наполеоновских походов 304

Сумароков Павел Иванович (?—1846), сенатор, писатель, витебский гражданский губернатор в 1807—1812 гг. 336, 353

Суханин (2-й) Василий Максимович (1785 — после 1818), в 1812 г. прапорщик 2-й легкой роты 1-й артиллерийской бригады, брат мемуариста П. М. Суханина 245, 257, 266

Суханин Владимир Владимирович, внук П. М. Суханина 247

Суханин (1-й) Петр Максимович, в 1812 г. подпоручик 2-й легкой роты 1-й артиллерийской бригады, мемуарист 4, 245—247, 249, 251, 270

Сушко Иван Леонтьевич, статский советник, вице-губернатор

- Витебской губернии в 1810—1812 гг., получил назначение губернатором в 1813 г., но умер, не вступив в должность 353
- Сысоев** Василий Алексеевич (1774—1839), генерал-лейтенант (1828), один из лучших казачьих командиров, в 1812 г. за отличие произведен в генерал-майоры 161, 173
- Таландер** Александр, в 1812 г. штабс-капитан 1-й артиллерийской бригады 258
- Талейран** Шарль Морис (1754—1838), князь Беневентский (1806—1815), герцог Дино (с 1817), французский дипломат и государственный деятель, в 1800—1807 гг. — министр иностранных дел, в 1814 г. председатель временного правительства Франции 52
- Тальма** Франсуа Жозеф (1763—1826), знаменитый французский актер 224, 313
- Танеев** Александр Сергеевич (1785—1866), действительный тайный советник, статс-секретарь (1831), с 1812 г. чиновник Собственной его Императорского Величества канцелярии 36, 58
- Тарасов** Михаил Тихонович, в 1799 г. секретарь комиссариатской экспедиции Военной коллегии 14, 15
- Тартаковский** Андрей Григорьевич (1934—1999), историк 6, 245, 269
- Таубе** Карл Карлович, барон, подполковник лейб-гвардии Артиллерийской бригады, участник Наполеоновских войн, в 1812 г. принял командование над 1-й артиллерийской бригадой 250, 270, 307
- Тетюрев**, в 1812 г. урядник Тульского ополчения 414, 415, 421
- Тизенгаузен**, в 1812 г. адъютант А. А. Аракчеева 34
- Тимман** Александр Иванович, в 1813 г. поручик л.-гв. Артиллерийской бригады 46, 64
- Тихменев**, знакомый по Туле А. И. Золотухиной 412
- Тишин**, полковник артиллерии, бывший друг А. А. Аракчеева, которому в 1812 г. было поручено вывезти имущество эвакуируемой Динабургской крепости 29, 30, 41, 64
- Товбич**, в 1814 г. поручик 13-го егерского полка, ранен в сражении при Краоне 209, 213, 218
- Толстой** Лев Николаевич (1828—1910), граф, великий русский писатель 3
- Толстой** Николай Александрович (1765—1816), граф, действительный тайный советник, обер-гофмаршал, президент Придворной конторы, всегда сопровождал императора Александра I 54, 56, 118
- Толстой** Петр Александрович (1761—1844), генерал-адъютант (1797), генерал от инфантерии (1814), в 1812 г. начальник 3-го

округа ополчения (Казанская, Нижегородская, Пензенская, Симбирская и Вятская губернии) 44

Толстой Сергей Васильевич, нижегородский вице-губернатор 34

Толь Карл Федорович (1777—1842), граф (1829), генерал-от-инфантерии (1826), генерал-адъютант (1823), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. генерал-квартирмейстер 1-й Западной армии, затем объединенных армий 39, 59, 123, 187, 191, 193, 195, 199, 257, 270

Томашевский, юный житель Витебска 349

Тончи Николай Иванович (1756—1844), художник 134, 146, 147, 154

Тормасов Александр Петрович (1752—1819), граф (1816), генерал от кавалерии (1801), в 1812 г. главнокомандующий 3-й Обсервационной армией, затем отбыл в Главную квартиру М. И. Кутузова и назначен командовать войсками Главной армии, кроме авангарда и отдельных отрядов 135, 153, 164, 179, 243

Тормасов Петр Петрович (1757—1831), статский советник, младший брат А. П. Тормасова, губернатор Витебской губернии в 1813—1818 гг. 354

Торнов (Торнау) Федор Евгеньевич (Григорьевич, Егорович) (1776—после 1814), полковник (1813), участник Наполеоновских войн, командир 3-й артиллерийской бригады 270

Тургенев, сотрудник герцога А. Вюртембергского 336, 337

Турчанинов Петр Иванович (1746—после 1823), генерал-лейтенант, статс-секретарь Екатерины II по военным делам 14

Тутолмин Тимофей Иванович (1740—1809), генерал-губернатор волынский и подольский 10

Тучков Николай Александрович (1765—1812), генерал-лейтенант (1799), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. командовал 3-м пехотным корпусом, погиб в Бородинском сражении 165—167, 242

Тюрени Анри Амодей Меркюр (1778—1852), граф, маркиз д'Энак и де Пиньян, в 1812 г. был ранен в Бородинском сражении и назначен камергером императора Наполеона 378, 380

Тюрень — см.: Тюрени А. А. М.

Тюфяев Кирилл Яковлевич (1777—1845), действительный статский советник (1824), в 1814 г. чиновник Собственной его Императорского Величества канцелярии 51

Уваров Федор Петрович (1773—1824), генерал от кавалерии (1813), генерал-адъютант (1798), шеф Кавалергардского полка, командир гвардейского кавалерийского корпуса 173, 258

Федор Иоаннович (Иванович) (1557—1598), последний русский царь из династии Рюриковичей (с 1584) 382

Федоров, русский солдат, взятый в плен под Аустерлицем и затем служивший гренадером в Старой гвардии Наполеона 315, 317

Федоров Яков, дворовый семьи Золотухиных 416

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), полковник (1813), в 1812 г. капитан, легендарный командир армейского партизанского отряда 169, 170, 264

Флиоринский (Флоринский) Кирилл (1727—1795), епископ Севский и Брянский, викарий Московской епархии с 1768 г. 336

Фок Борис Борисович (1760—1813), генерал-лейтенант (1800), в 1812 г. шеф Санкт-Петербургского гренадерского полка и командир бригады 1-й гренадерской дивизии 121, 132

Фок Михаил Максимович (1775—1831), действительный статский советник (1826), сотрудник Особенной канцелярии министра полиции, затем директор канцелярии III отделения Собственной его Императорского Величества канцелярии 27, 92, 97, 99, 107, 110

Франц I (1768—1835), император Священной Римской империи германской нации с 1792 по 1805 г. под именем Франц II, с 1804 г.—император австрийский под именем Франц I 48, 143, 152, 285, 286, 294, 322

Фрез, московский врач 92

Фридрих-Вильгельм III (1770—1840), король Пруссии с 1797 г.

из династии Гогенцоллернов 152, 294, 311

Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король (с 1740) из династии Гогенцоллернов и знаменитый полководец 161, 353, 378

Фукс Егор Борисович (1762—1829), писатель, в 1812—1813 гг. действительный статский советник, директор военной канцелярии М. И. Кутузова 39, 179

Фуль (Фулль, Пфуль) Карл Людвиг Август (1757—1826), барон, генерал-лейтенант русской службы, автор знаменитого плана в 1812 г. отступления русских войск к Дрисскому лагерю 41

Фуше Жозеф (1759—1820), герцог Отранский, многолетний министр полиции правительства Наполеона 73

Хамкин, секретарь департамента Могилевского земского суда 12

Хитрово Анна Михайловна (1782—1846), жена Н. З. Хитрово, дочь М. И. Кутузова 85, 88

Хитрово Николай Захарович (1779—1827), генерал-майор (1809), зять М. И. Кутузова, в 1812 г. выслан под надзор полиции в свое имение под Тарусой, в 1813 г. прощен 85, 87—89, 97, 111, 114, 130

Ховен (2-й) Егор Федорович, полковник, генерал-провиантмейстер 259

Ходаковский М., офицер 13-го егерского полка, произведенный в 1815 г. в подполковники 239

Хрещатицкий Борис Ростиславович (1881—1940), генерал-лейтенант, автор книги по истории л.-гв. Казачьего полка 294

Хрипуновы, семья, дружившая с Золотухиными 395, 397

Цвиленев Александр Иванович (1769—1824), генерал-лейтенант (1815). В 1812 г. командир бригады (Павловский и Екатеринославский гренадерские полки) 252

Цезарь (Кесарь) Гай Юлий (102—44 до н.э.), римский полководец, пожизненный диктатор 157

Цеймерн, управляющий делами М. М. Сперанского 106

Чернской-Шелатов, в 1812 г. офицер 4-го пехотного полка Тульского ополчения 386

Чернышев Александр Иванович (1785—1857), светлейший князь (1849), генерал от кавалерии (1827), генерал-адъютант (1812). До 1812 г. — полковник и флигель-адъютант, занимался разведывательной работой в Париже 39, 213, 215, 217

Чихачев Матвей Федорович (1787—после 1837), генерал-майор, в 1809 г. адъютант военного министра А. А. Аракчеева, затем М. Б. Барклая де Толли, участник кампании 1812 г., в 1819—1827 гг. полицмейстер в Петербурге 21, 30

Чичагов Павел Васильевич (1767—1849), адмирал (1807), генерал-адъютант (1801), в 1812 г. главнокомандующий 3-й Западной армией 30, 42, 44, 189, 192

Чуйкевич Петр Андреевич (1783—1831), генерал-майор (1823), военный писатель, в 1812 г. подполковник, сотрудник русской военной разведки, автор плана военных действий русской армии 114

Шаварде Ф., французский полковник, комендант Витебска в 1812 г. 354

Шаховской Иван Леонтьевич (1777—1860), князь, генерал от инфантерии (1826), генерал-адъютант (1850), шеф 20-го егерского полка (1809—1814), в 1812 г. генерал-майор, командир 3-й бригады 3-й пехотной дивизии 384, 385

Шварценберг Карл Филипп (1771—1820), князь, герцог фон Крумау, австрийский фельдмаршал (1812), в 1812 г. командовал австрийским корпусом, воевавшим на стороне Наполеона, в 1813—1814 гг. — главнокомандующий союзными армиями 54, 280, 287, 301, 304, 311

Шепелевская, в 1812 г. жена Николая Шепелевского, капитана Тульского ополчения 407

Шеховской — русский врач, профессор 371

Шипулинский, частный пристав, доставивший М. М. Сперанского в Пермь 34, 106

Широкова, в 1812 г. соседка А. И. Золотухиной 388, 389, 393

Шишкин (2-й) Николай Матвеевич (1777 — после 1818), в 1812 г. капитан легкой роты № 1 3-й артиллерийской бригады, в 1818 г. — полковник 256

Шишков Александр Семенович (1754—1841), адмирал (1823), генерал-адъютант (1797), писатель, в 1812—1814 гг. государственный секретарь, автор большинства манифестов того времени 47, 51, 56

Шлегель Иван Богданович (1787—1851), известный врач, доктор медицины, в 1812 г. — старший лекарь 5-го егерского полка 136

Шмит, фамилия, под которой находился в 1812 г. Ф. Леппих 34

Шмит (Шмидт), надворный советник, домовладелец 16, 17

Шмит (Шмидт) Марья Осиповна, жена домовладельца, будущая супруга В. Р. Марченко 16, 17, 20, 25, 26, 57

Штос, офицер фельдъегерской службы 34, 35

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, издатель журнала «Исторический вестник» 246

Шувалов Павел Андреевич (1776—1823), граф, генерал-адъютант (1808), генерал-лейтенант (1809), участник Наполеоновских войн 126, 128

Шульгин Александр Сергеевич (1775—1841), генерал-майор (1814), в 1812 г. полковник, занимался задержанием мародеров и дезертиров 125

Щербатов, князь, в 1812 г. партизан 406

Щербатов Александр Федорович (1778—1817), князь, генерал-майор (1801), генерал-адъютант (1799). В 1812 г. сформировал и командовал двумя конными полками Тульского ополчения 396

Щербатов Иван Дмитриевич, князь, в 1814 г. подпоручик л.-гв. Семеновского полка 332

Щербачев, предводитель дворянства Козельского уезда 420

Эйлер Леонард (1707—1783), академик С.-Петербургской академии наук (1766), известный математик, физик, астроном 170

Элиот Андрей Иванович (?—1822), контр-адмирал (1812), с 1783 г. служил на российском флоте, участник морских походов во время Наполеоновских войн 327

Эллизен, масон, доктор А. Д. Балашова 81

Эней, античный мифологический герой, защитник Трои, легендарный основатель Рима 339

Энки, витебский помещик 340, 341, 344

Эртель Федор Федорович (1768—1825), генерал от инфантерии (1823), участник Наполеоновских войн, в 1812 г. генерал-лейтенант, командовал резервным корпусом под Мозырем, а затем назначен генерал-полицмейстером всех армий 38, 192

Эссен (1-й) Иван Николаевич (Магнус Густав) (1758—1813), генерал-лейтенант (1799), в 1803 г. был назначен военным губернатором в Каменец-Подольский и инспектором по инфантерии

Днестровской инспекции, в 1812 г. командовал Обсервационным (будущим 6-м пехотным) корпусом, а затем назначен рижским генерал-губернатором 158, 160, 161, 272—277

Юрьев, в 1812 г. председатель Гражданской палаты Нижегородской губернии 34

Ягницкий, в 1813 г. адъютант генерала М. С. Воронцова 203, 204

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие В. М. Безотосного</i>	3
Автобиографическая записка государственного секретаря Василия Романовича Марченко.....	7
Записки Якова Ивановича де Санглена.....	65
Из записок Д. П. Рунича	133
Мой век, или История генерала Маевского.....	155
Из журнала участника войны 1812 года.....	245
Воспоминания Ф. Ф. Берга	271
Рассказы адмирала Павла Андреевича Колзакова	279
Атака лейб-казаков в сражении под г. Лейпцигом 1813 г. 4 октября	288
Поход во Францию 1814 г.	295
Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная	334
Воспоминания Беккера о разорении и пожаре Москвы в 1812 г.	355
Москва в 1812 году, занятая французами	372
Двенадцатый год в записках Анны Ильиничны Золотухиной	382
<i>Именной указатель</i>	427

scan waleriy

ISBN 978-5-85209-268-7



Подписано в печать 08.08.2011.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная.

Уч.-изд. л. 26,5. Тираж 500 экз.

Заказ № 8128. Цена договорная.

Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2011.

ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.

При участии ООО Агентство печати «Столица»

тел.: (495) 331-14-38; e-mail: apstolica@bk.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

